

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2018





Владимир Осипов (Иркутская область) | Байкал. Старый причал. | 83 × 135 | 2018



Сергей Червов (Кемеровская область) | Коксохимзавод. Начало. | 100 × 120 | 2017

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2018

В номере

.....

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Щербаков

3 Выше наркома

Тимур Ишбулдин

6 Записки инженера

ДиН КРАЕВЕДЕНИЕ

Владимир Шанин

23 Одиночество сильного человека

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных

26 Аксаковский полдень,
или Молодые думают по-русски

ДиН СТИХИ

Михаил Синельников

38 Детский плач

Никита Брагин

40 Платочек на деснице

Наталия Кравченко

42 О принцах

Вячеслав Моисеев

44 Между грядок грядущего

Сергей Лыткин

46 Из Иерусалимской тетради

Варавара Юшманова

174 Гелия

Екатерина Сергеева

177 Мне снилась «Альбертина»

Кристина Кармалита

178 Под звёздным куполом-отцом

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Евгений Степанов

48 Короткие рассказы

Марат Валеев

56 Летние рассказы

Виктор Теплицкий

61 Облачки и дворники

ДиН РОМАН

Вячеслав Миронов

73 Королевские шахматы

Елена Крюкова

131 Земля

ДиН ДЕБЮТ

Михаил Червяков

180 Творящие чудо

Дмитрий Дергалов

182 Пусть кому-то будет
не всё равно...

ДиН ЭССЕ

Владимир Замышляев

184 Язык, литература, воспитание

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Арутюнов

187 Господа Порхневичи

Ольга Немежикова

191 Люди и время
в прозе Игоря Германа

ДиН юбилей

- Римма Казакова
22 Самоанализ
Татьяна Смертина
43 Две жизни живём
Роман Солнцев
55 Маленькое тайное общество
Владимир Салимон
72 Похолодание
Кирилл Ковальджи
130 Из книги «Зёрна»

Наталья Горбаневская

- 173 Из новых стихов
Вячеслав Тюрин
181 Вавилонская молва
Александр Городницкий
190 Топонимика
Илья Фоняков
194 Сибирская ностальгия
195 ДиН авторы

Прощайте, Алексей Михайлович! Мы никогда Вас не забудем!



Редакция, редколлегия, авторы и читатели литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» глубоко скорбят о трагическом уходе из жизни нашего друга и благотворителя, одного из самых ярких общественных деятелей региона последнего двадцатилетия — *Алексея Михайловича Клешко*.

«19 ноября 2018 года на 49-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Михайлович Клешко.

Свою профессиональную биографию он связал с журналистикой и оставался верен ей до конца дней. Прошёл путь от корреспондента до главного редактора программ для детей и молодёжи краевого государственного телевидения, был одним из авторов и бессменным ведущим популярной в крае телепрограммы, удостоенной высшей профессиональной награды — «ТЭФИ».

С 1996 по 2001 год был депутатом Красноярского городского Совета, с 2001-го четырежды избирался депутатом Законодательного Собрания края. Яркий политик, талантливый журналист, человек большого сердца и доброй души, он оставил глубокий след в истории Красноярского края. Всегда готовый прийти на помощь, вникнуть в суть любой проблемы, Алексей Михайлович завоевал уважение земляков неравнодушным, искренним отношением к людям, делу и родному краю.

Настоящий патриот Красноярья, верный своим убеждениям, Алексей Михайлович был одним из камертонов общественной и политической жизни

региона. Он был незаменим в решении сложных задач. Много времени и труда посвящал культурным, просветительским, гуманитарным проектам.

Уход Алексея Михайловича — невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах».

*Пресс-служба Законодательного
Собрания Красноярского края*



И будет караул молчать почётный.
В речах прощальных — пламенная дрожь.
И полусвет. И фото будет чётким.
Вот только человека — не вернётся...

Геннадий Васильев



Богатые, знаменитые?
С крючка сорвалась душа,
И тело летит, забытое,
С последнего этажа...
Бездомная, но свободная —
Ах, если бы прямо в рай!
Уймётся молва народная,
Метнувшись из края в край,
Долги и наветы спишутся,
В архивы сойдут дела...
Рассвет горячо колышется,
И дышат колокола...

Марина Саввиных

Александр Щербаков

Выше наркома

Командировка «на Севера» у Василия Шошина, корреспондента краевого радио, подходила к концу. Календарь досчитывал мартовские дни. Из Красноярска, где уже все одевались по-весеннему, Василий тоже прилетел в лёгкой куртке, в полуботинках, отчего вынужден был не ходить, а бегать по Дудинке. Здесь ещё стояли откровенно зимние морозы, веяние весны ощущалось разве что в слепящей белизне снегов под необычайно ярким солнцем, да и то его частенько затягивало «веянием» метелей.

Подмороженным выглядел и ход жизни северян. На нём почти не отражалась перестройка, бушевавшая на «материке». Василий побывал и на суглане (совещании) оленеводов Таймыра, и в школе-интернате у ребятишек, собранных со всей тундры, и на диковинной ферме, где надои молока от коров, не знающих пастбищ, вдвое превышали южные, и в местном этнографическом музее, полном заполярной экзотики. А в качестве завершающего «гвоздя» ему даже удалось взять интервью у «самого» Санникова, первого секретаря окружкома партии.

Василий уже спрятал блокнот в карман пиджака, упакował в чехол микрофон и защёлкивал кнопки на футляре «Репортёра», когда его высокий собеседник, седоватый скуластый мужик, участливо спросил:

— Может, есть какие-то просьбы, проблемы?

Василий скромно пожал плечами:

— Да особых вроде нет, Алексей Петрович. Вот только пуржит третий день, и в Дудинку не ходят самолёты. Придётся ещё разок переночевать и с утречка поездом пилить в Норильск, к аэропорту Алыкель. Там авиация понадежней.

Санников молча откинулся на спинку кресла, раздумчиво постучал пальцами по столу и, поглядев на светлеющее небо в окне, задал ещё вопрос: — А если сегодня — прямо в Красноярск? Вы готовы?

— На оленях? — скептически усмехнулся Василий.

— Нет, на яке, на сороковом, — поддержал его тон хозяин кабинета. — «ЯК-40» будет около пятнадцати пролетать с Диксона. Вообще-то он у нас не садится, но я могу попросить... по такому случаю. Вам три часа на сборы хватит?

— Да я бы хоть сейчас на борт, — обрадовался Василий неожиданной возможности. — Разве только в гастроном забегу, прихвачу каких-нибудь «даров Севера», обещал гостинцев дома и на работе...

— Тогда договорились. Детали утрясёте с моим помощником. Иван Михайлыч. Третий кабинет направо по коридору. Счастливого пути! — привстал «первый», подавая руку молодому журналисту.

Когда Василий, на бегу отметив командировку в приёмной у секретарши, явился к Ивану Михайловичу, энергичному лысоватому толстячку, тот уже был в курсе дела. Видимо, получил цэу по внутренней связи. Он предложил Василию присесть, а сам взялся за телефонную трубку и, накручивая диск, начал выдавать срочные звонки. Старался говорить намёками и обиняками, но всё же из реплик Василий понял, что речь идёт о его проблемах, в решении которых наметились какие-то шероховатости. Звонков было много. Наконец помощник положил, а точнее, бросил трубку на аппарат и, глядя в стол, подвёл итоги переговоров:

— С вылетом всё решено. Полтретьего за вами придёт машина к гостинице. Я сам провожу вас в порт и посажу в самолёт. А вот с лучшими «дарам Севера», простите, осечка. У рыбаков перебои в поставках сырья. Рыбозавод приостановлен на ремонт. В магазинах запасы иссякли. По крайней мере, так докладывают завмаги. В наличии только обычные морепродукты, кое-какая речная рыба, ну и разная здешняя дичь — оленина, полярные куропатки...

— Спасибо, не беспокойтесь. Обойдётся. К выезду я буду в гостинице. До встречи, — вежливо раскланялся Василий.

Выйдя на улицу, он почувствовал, что метель заметно утихомирилась. В мутной пелене, обнимавшей небо, обозначились бегущие облака и между ними появились первые просветы. Надежда на сегодняшний вылет, прежде казавшаяся сомнительной, становилась вполне реальной. Это обрадовало Василия, и он, прежде чем обследовать ассортимент «даров природы» в ближайших торговых точках, решил забежать к сестре Маше, чтобы сообщить о возможном скором отбытии и, на всякий случай, попрощаться. Старшая сестра, как и он, родилась и выросла в далёкой подсалянской

деревне Огнёвке, работала в колхозе, но потом окончила в райцентре курсы кройки и шитья и завербовалась на Север, в Дудинку, где и жила с мужем и тремя детьми уже много лет, став настоящей северянкой. Время приближалось к полудню, к обеденному перерыву, и сестра, работавшая в швейной мастерской, должна была находиться дома, тем более что накануне прихварывала и собиралась взять бюллетень.

Около заснеженного подъезда панельной пятиэтажки стояла, уткнувшись в комковатый сугроб, снегоуборочная машина с тёмно-зелёной будкой вместо кузова и таким сочетанием мехлопаты со щетинистым валом-ершом впереди. Василий вспомнил, что муж сестры Фёдор Березин, в прошлом огнёвский механик, теперь шоферил на некоем «шнекороторе» в «службе снегоборьбы» морского порта, принадлежащего Норилькомбинату, и подумал, что это, должно быть, он подрулил к дому на своём агрегате.

Догадка подтвердилась, едва Василий нажал на звонок знакомой квартиры. Дверь ему открыл сам ударник снегоборьбы. Он был в крытом полушубке и тёплых меховых сапогах. Видимо, только что появился в прихожей и ещё не успел раздеться. — О-о, здорово, шурик! Хороший гость всегда к обеду! — воскликнул Фёдор.

Из кухни, откуда слышалось шипение газовой плитки и скворчение какого-то жарева, тотчас выглянула сестра Мария с ложкой в руках и также начала с гостеприимного предложения:

— Раздевайся, Вася, и подожди немного. Сёдни мой хозяин пораньше подкатил, застал меня врасплох, но я моментом: рыбки поджарю на скорую руку, супец разогрею...

— Ой, нет, благодарствую, некогда. Я проститься пришёл, — и Василий пустился, было, выкладывать свои хлопоты, но как только коснулся проблем с гостинцами для семьи, для друзей, Фёдор сразу всё понял и прервал его на полуслове:

— Да чо ты унижаешься, ходишь по этим чиновным коридорам! Чо они там могут со своими звонками! Самолётам графики ломать? Пошли со мной в народ, и всё решим без всяких столоначальников. А «трепотёр» твой пока оставь. Мы, Машка, через часик будем! — крикнул он жене, уже выталкивая шурина в дверь и нахлобучивая шапку на ходу.

Машина, стоявшая у подъезда, действительно оказалась его «шнекоротором».

— Быстро в кабину! — скомандовал Фёдор.

Василий невольно подчинился приказу бывшего сержанта срочной службы, сосватавшего его сестру. И когда, обещав будку сзади, вскочил на сиденье, командир уже был за рулём. Он тотчас запустил мотор, резко сдал назад, потом крутым виражом вывернул на дорогу, явно демонстрируя водительское мастерство, и машина, потряхивая

подвешенным впереди «шнекоротором», запетляла по кривым улочкам города, меж высоких снежных забоев. В одном из глубинных переулков Фёдор, не сбавляя скорости, подрулил к тёмному башнеподобному дому в два этажа, дал по тормозам, выключил сцепление и сообщил соседу: — Это «Восьмигранник», наш главный рыбный магазин, хотя и на отшибе. Видал?

Василий подался ближе к ветровому стеклу, и перед его глазами действительно предстало необычное деревянное строение — от заметённого снегом фундамента до высокой шатровой крыши. Унего, сложенного не то из толстого бруса, не то из кантованного бревна, было не четыре стены, как обычно, и даже не пять, как, допустим, у пресловутого американского Пентагона, а целых восемь! И столько же углов. Прямо-таки макет полумистической древнеславянской звезды, только с углами, срезанными «заподлицо». Ранее не встречавший подобного чуда-юда, Василий обратил к зятю вопросительный взгляд: мол, зачем же столько? — Стал быть, лес такой приплавил когда-то с материка. Вот и пришлось плотникам кумекать, собирать из наличного. Тут же ни деревца кругом, одна тундра...

Фёдор ещё добавил что-то, но последние его слова заглушило шумное вращение «шнекоротора», запущенного им в работу. И следом, включив скорость, он двинул агрегат по касательной к заметённому метелями «Восьмиграннику», а потом вокруг него. От снежной струи, забившей в сторону, поднялся белый вихрь и почти напрочь запорошил стёкла кабины, так что Василий не сумел толком сосчитать, сколько кругов сделал Фёдор, огибая звёздopodobный рыбный магазин бохранимой Дудинки, но их было, пожалуй, не меньше, чем граней. Притом с каждым заходом витки всё расширялись, а скорость «шнекоротора» всё возрастала, и снежный фонтан из-под него становился всё дальнoбойнее. Наконец, описав контрольный круг, Фёдор остановил своё самоходное орудие снегоборьбы перед крутым дощатым крыльечком с перилами и вырубил мотор.

— Иди за мной! — повелительно сказал он шурина, вручая ему холщовую котомку, вместимостью этап в полкуля, вынутую откуда-то из-за спинки сиденья. Затем откинул дверцу и выпрыгнул из кабины.

Василий покорно проделал то же самое и последовал за направляющим. В магазине с длинным, от стены до стены, прилавком, большую часть которого занимали стеклянные витрины, никого не было, кроме двух продавщиц — полной женщины с рыжими косами, собранными на темени в корону, и молодой чернявой девицы с коротенькой стрижкой. Фёдор почти с порога громко поприветствовал их как старый знакомый и доложил:

— Я там, девки, сверхурочно подмёл круговую площадку, можете хоть танцевать. А пока отпустите северных гостинцев моему шурыку из края. — Ещё бы знать, чего и сколько, — игриво пропела продавщица с мальчишеской причёской. Она, сидя за прилавком, перебирала какие-то бумажки.

Фёдор обернулся к Василию, стоявшему за спиной:

— Сиг? Чир? Муксун?

Василий растерялся от неожиданных вопросов, робко пожал плечами, зачем-то стянул с головы шапку и сбивчиво пробормотал:

— Ну, может, три, четыре... да любого, что есть.

— Унас, как в Греции, всё есть, — крикнул Фёдор, и, видя смущение шурина, взял из его рук котомку, а вместе с нею и бразды правления:

— В общем, так: пойдём по списку, — начал он.

Рыжеволосая продавщица молчаливо удалилась за занавес, в подсобные помещения, а улыбчивая стриженная отодвинула бумаги и поднялась в ожидании заказа уважаемого покупателя.

— Первое: сижок, — продолжил Фёдор, — горячего копчения и холодного копчения, кэзэ по полтора. Так же и чирок, и муксунчик...

— Во что?

— Вот тара, — протянул Фёдор холщовый свёрток.

Молодая продавщица взяла мешок и тоже скрылась в подсобке.

В ожидании её возвращения Василий подошёл к витрине, надеясь по ценникам прикинуть примерную сумму, на которую потянет заказанная рыба, но, к своему удивлению, подобной там не обнаружил. Правда, выбор здешний был побогаче, нежели в магазинах на материке, опустошённых перестройкой, но в общем-то знакомый по недавним застойным временам: от тихоокеанской селёдки и хека серебристого до терпуга и камбалы. Из речных, енисейских рыб он заметил только щуку, окуня и ещё корюшкупряного посола.

Молодая продавщица появилась с пустыми руками, что встревожило было Василия, но она обратилась к нему с обычной улыбочкой:

— Итого с вас...

Сумма оказалась вполне подъёмной. Василий зашуршал кредитками, начал рассчитывать. Фёдор, будто вспомнив о чём-то, тоже торопливо полез в карман и махнул продавщице:

— Да, ещё плюсом от меня пяток добрых муксунов, свежемороженных (пусть побалуеет гостей

строганинкой), и корюшки малосольной, что пахнет молодым огурчиком, вон то корытце.

— Не корытце, а упаковку, — фыркнула стриженная.

В эту минуту хлопнула дверь и в магазин вошли новые покупатели — старуха в длинном пальто с песцовым воротником и мужик в ненецкой меховой малице. Продавщица, как бы между прочим, заметила Фёдору:

— Товар заберёте со двора.

Фёдор понимающе кивнул и, дёрнув шурыка за рукав, направился к выходу.

— По коням! — дал он команду не то себе, не то пассажиру, усаживаясь за руль и включая зажигание.

Василий привычно повиновался боевитому водителю и занял своё место в кабине.

На прощальный, контрольный виток вокруг щедрого на завидные гостинцы «Восьмигранника» Фёдор вывел свой агрегат, уже не запуская «шнекоротора». На половине круга, где в дощатой загородке мелькнул служебный вход, снегоборец остановил машину, вылез из кабины и нырнул в воротца. А через минуту появился в них с мешком в руке, раздувшимся от «товара». Поднёс его к машине и поставил на сиденье рядом с Василием. При этом «посланец эфира» не просто отодвинулся, а, можно сказать, отпрянул в некотором страхе, ибо нежданный-негаданный гостинец пугал его своими габаритами.

— Ну вот тебе и дары Севера, полным черпаком. Блат выше наркома, как говорится, — удовлетворённо заключил Фёдор, когда, обогнув «шнекоротор», снова взялся за баранку, — Хотя, по совести, никакого блата, просто плата добром за добро. Народная дипломатия, называется...

— Так-то оно так, да только с этими дарами, поди, и в самолёт не пустят, — поделился тревожными сомнениями Василий.

— Не тот случай, паря! Там и поболее спецгрузы берут, — ответил Фёдор со знанием дела, выходя на завершение прощального витка вокруг отзывчивого на добро «Восьмигранника», опоясанного сияющим, с продольными бороздками, кольцом, похожим на кольцо Сатурна.

По крайней мере, таким оно показалось Василию с высоты, когда он в три пополудни вознёсся на «яке» над заполярным городком и отыскал глазами в иллюминаторе знакомый очажок «народной дипломатии».

Тимур Ишбулдин

Записки инженера

Какое удивительное время! Какие потрясающие бездны падения! Мы оперативно получаем сводки и известия о жизни воров и бездельников по центральному информационным каналам, ничего не зная о жизни и подвигах трудяг и солдат. Мы в курсе барской, сладкой жизни олигархов, не замечая нищающих день ото дня стариков. Отрыжка девяностых вновь забурлила пеной, вызывая к жизни призраки круглолицых, лоснящихся подлецов в дорогих костюмах. Жизни нас учат разнообразные шарлатаны, не читавшие ничего серьёзнее руководств по скорому обогащению и вымышленных изречений великих людей, быстро нашлёпанных в соцсетях поперёк сомнительных фотографий или вовсе просто в розовых тошнотворных квадратах. Всевозможные коучеры, паразитирующие на невежестве и людском скудоумии, пишат полные затхлои воды книги в глянцевах красочных переплётках и снимают тонны абсолютно пустых и бессвязных роликов, которые затем вываливают в сеть. Моя уверенность в том, что всю эту плесень возмущённый человеческий разум возьмётся однажды вычистить, подкрепляется созерцанием глухой и тяжёлой ярости, которая появляется проблесками первых язычков пламени на тлеющих, присыпанных золой отчаяния углях простого рабочего народа. Переезжая с места на место, кочуя из страны в страну, я всюду вижу признаки этого грозного назревающего и готового прорваться фурункула, который превратит жизнь в свищ, вновь дренирующий надежды не одного поколения в канализацию истории.

Всё дело в умении быть внимательным. Благодаря интернету и современным средствам связи люди наблюдают за событиями, происходящими от них за тысячи километров. Переживают за людей, оказавшихся в экстремальных условиях. Но часто не видят нуждающихся в помощи рядом. Проходят мимо умирающих на улице. Отворачиваются и попустительствуют злу, насилию и несправедливости, творящимся на расстоянии вытянутой руки. Сейчас вообще не учат быть внимательным. Бешено меняющий узоры калейдоскоп современной реальности, созданный злобными и циничными шутами, циркачами, питающимися людскими

страстями, делает своё дело. Оболванивая человечество. Делая нас ротозеями.

Сейчас человек хуже рабочей лошади. Менее значим. У кочевников даже коней, состарившихся в боях и скитаниях, оставляли в стадах на заслуженный отдых. Да, лошадей ели, рассматривали их и как источник мяса в том числе, но никогда не своих боевых, верных помощников. Лопали казы из мясных лошадей. Тулпаров джигитов даже хоронили с почестями. Раскопками скифских курганов подтверждается. Сейчас люди рассматриваются как досадная обуза после достижения «возраста дожития».

Что значит быть удачливым в пространстве современного человека? Во вселенной искусственного пива и пластмассового сыра. Виртуальных эмоций в виде заранее заготовленных смайликов и любви, длящейся веками постукивания ноготков по окошку чата в ватсапе. Новостей и репортажей из мест, охваченных войной, но не вызывающих сочувствия. Как можно сочувствовать посторонним людям? Вот героям голливудского хардкора — другое дело. Они родные. Их лица — как лица членов семьи. Столь же узнаваемы. Причём огромная часть человечества живёт с ними от рождения. Это такая пугачёвщина и старопесняглавщина, только в Голливуде. Холивудщина. Достаточно ли для того, чтобы быть успешным, квартиры в пределах МКАД и авто класса х5? Или нужно быть свободно говорящим на английском, расслабленным SEO, с зарплатой в десятки тысяч зелени? Как выжить в том, во что превратился наш мир? Я не говорю жить, потому что жить здесь уже стало невозможно. Мы вплотную подошли к черте, за которой начинается выживание. Я думаю, что в местах массового проживания людей, в мегаполисах и суперполисах люди уже давно просто выживают. Как мы превратились в термитов, непрестанно подтачивающих дерево, на котором стоит весь мировой дом? Утрачивая индивидуальность, приносящую человеку, в угоду законам экономики, которые были созданы для нашего же оболванивания, мы уже не в силах смотреть на своё отражение в зеркале. Раньше человеку не нужно было смотреть в зеркало. Он мог отразиться в других. Сейчас,

глядя на случайного прохожего, видишь ничто. Муравья, покорно волокущего травинку на всеобщую кучу говна. Так чем же был плох социализм? И при капитализме, и при социализме отдельно взятый индивидуум ничего не значит, но при капитализме наживается, в лучшем случае, кучка подонков. Все остальные так и будут бродить в поисках вечного благосостояния и пропитания для самых отъявленных трутней. Социализм же подразумевает разделение благ. При этом ощутимо ограничивая права и потребности каждого, отдельно взятого, во имя априори недостижимой, высокой цели всеобщего блага. Зачем нужно было менять шило на мыло? Видимо, для того, чтобы свободно смотреть в новостях, как в Мексике, Германии, США или Австралии рабочий с завода рыболовных крючков покупает себе после смены соевое пиво с пластиковыми крабовыми чипсами, чтобы смотреть трансляцию футбольного матча. Это свобода, разумеется. Вот это я понимаю — всё поменяли! Когда мне говорят о прогрессе, мне смешно. Прогресс? Он столь же тонок, заканчивается там же, где кончается мораль. В периоды великих потрясений вся эта позолоченная мишура, которой человек, подобно папуасу, украсил себя и воображает, будто он теперь стал умнее, лучше и достойнее, облезает со скоростью детонирующего подрывного шнура. Приводящего в действие фугас, подложенный под здание человеческой самонадеянности. Так что же это — быть успешным? Это принести максимальную пользу окружающему миру. Это быть полезным самим фактом собственного существования. Всё это уже было. Готовность и желание, радость большого и общего труда, сопричастность великим свершениям народа. Всё это было тогда, когда люди осознавали себя и частью, и целым одновременно. Не серой массой, не вяло текущей по улицам жижей. Именно общностью. Организмом. Живым и сильным.

Сидя на шершавом, бугристом камне, выступающем из-под земли, глядя на ковёр леса, уходящего вверх по склону, до самой верхней линии, разделяющей небо и землю, слушаешь ветер и стрекотание цикад. Почти оно. То самое чувство, когда вдруг ощутил себя частью этого мира, Вселенной. Всего сущего. Не в силах дать этому чувству ни названия, не понимая его причин, не выискивая скрытый смысл, так я сидел на этом же самом камне, когда мне было двенадцать. Тридцать лет назад. Страшно подумать. Заглянув в пересохшую чашу, образованную в скале, увидел лишь пыль и сухую соломку лёгкой травы. Сущее милосердно отняло у меня возможность увидеть своё изменившееся с тех пор лицо. Так как гора и скалы совершенно те же, они неизменны, но я изменился. И ужаснулся бы, получи я возможность увидеть своё отражение в этой маленькой чаше

воды вновь, в сердце исхлётанного временем серого, ноздреватого камня. Ночью, когда отец брал меня в долгие переходы по горам, я лежал у бездымного костра, слушая писк и шипение выходящего из горящего хвороста пара. Костёр время от времени стрелял малиновым угольком. После такого выстрела вверх поднимались снопики искр. Они кружили некоторое время над головой в неподвижном воздухе летней ночи, некоторым удавалось достичь нижних ветвей деревьев, причудливо двигающихся тенями в отсветах пламени. Я тревожился, приподнимался на локте, сился рассмотреть — не горит ли дерево? Не причиняем ли мы вред этому живому и древнему? Мысленно просил прощения за неловкость. Лес отзывался мгновенным серебристым шелестом листвы от внезапно налетевшего ветерка, луна выглядывала из-за облака, и деревья одобрительно двигали ветвями. Я успокаивался и ложился головой на свёрнутую валиком отцовскую штормовку. Отец сидел рядом. Как обычно, пожёвывая травинку углом рта, он смотрел остановившимся взглядом в костёр. Пламя тянулось к нему, тонкие языки ползли в его сторону, словно прирученное животное, старающееся приласкаться к хозяину, и, прыгнув, исчезали. Откатывались. Папа не реагировал. Он был где-то далеко, и я не знаю, о чём он тогда думал и где он бывал в эти минуты. Быть с ним в лесу — быть дома. Он знал эти горы и леса как свои пять пальцев. Он умел находить дорогу безошибочно в темноте. Он находил потерявшихся в лесу людей, руководствуясь лишь одному ему присущим чутьём. Он никогда не конфликтовал с животными и всегда мог с ними договориться. Даже медведица с медвежатами, на которую он вышел неделей ранее, не причинила ему вреда. Просто спокойно разошлись. Я отчётливо помню его уроки. Уважай свой дом. Не оставляй мусора и не убивай без крайней необходимости. Не питай ненависти и не испытывай страха, так как животные хорошо чувствуют страх. Будь человеком, но не забывай, что ты часть природы. Мы шли к Ямбу. Ямбу — так папа называл самую высокую гору в округе. Две острые вершины, царящие над долиной. Идти было недалеко, но отец говорил, что сначала нужно убедиться, что гора пустит тебя. Так как не получив разрешения, ты рискуешь попасть в непогоду. Гора сделает всё, чтобы тебе помешать. Я сам был свидетелем её крутого норова. Туристы, вздумавшие подняться в ясный и погожий летний день, были вынуждены вернуться с полдороги, так как внезапно поднялся шквальный ветер, небо заволочло тучами и пошёл сильный дождь с градом. Поэтому мы расположились у её подножья и ждали утра. Ждали солнца. Лес был тёмным. Хвойный лес ночью кажется очень тёмным, а редкие берёзы у ручья выглядят свешившимися столпами при лунном свете. Я лежал

на спине, глядя в небо, следя за искорками спутников, медленно пересекавшими ночной купол. Тонкая горная речка Шугур на перекатах шептала своё завораживающее, вечное в темноте — «шугур, шугир». Мир был тих и спокоен. И я засыпал, не боясь ничего и ничего не ведая, но зная много больше, чем сейчас, объятый медвежьей лапой старой сосны, под уханье филина. И я не знал, что такое смерть.

Вернулся в Казахстан. К милой сердцу моему работе. Ехал на перекладных. Кажется, не очень далеко, но утомительно, учитывая адскую жару. На попутке до Орска. На забитом пассажирами Ларгусе. Сидел в середине во втором ряду восьми-местки. Удовольствие то ещё, учитывая манеру вождения водителя. Резко вправо и сразу резко влево. Кажется, чуть-чуть, чтобы камешек объехать, а башка мотается. И елозишь, заваливаясь то на бабушку слева, то на молодого человека справа, богатырской наружности и такой же гормональной насыщенности. В общем. Всё как обычно. В Орске на автовокзале есть вполне приличная столовая. Даже хорошая, что неожиданно. Так как раньше там вообще не было ничего, кроме унылых ларьков с ядовито-цветными китайскими игрушками. Но — время идёт. Купил билет на Хромтау. Ехал на той же «газельке», на которой выезжал четыре дня назад, с тем же шофёром. Газель была набита до отказа. Народ потел и лоснился. Ветер, пробиваясь в окошечки сквозь пыльные шторы, не освежал. На востоке собирались тучи, было душно. Проехали пост ДПС перед пограничным пунктом. Вкатили под решётчатые ворота пограничного кпп. Всех завели в помещение с камерой и оочень симпатичной девушкой, прапорщиком пограничной службы, за стеклом. Причём на российской стороне и при выезде, и на въезде нужно вытаскивать из автобуса свои вещи. На казахской, говорят, когда как. Но ни первый раз при выезде, ни второй раз, на въезде, не выносили. На казахской стороне быстро заполнил миграционку (уже привычно и даже графы не смотрю, во всех странах они почти одинаковы) и поехали по казахской стороне. Дорога от пограничного поста до Хромтау, через Бадамшу, это адский аттракцион с сотней ошпаренных чертей, на которых ты должен усидеть, стараясь не сломать шею о прокопчённую крышу старого микроавтобуса. При выезде из Казахстана это не показалось таким долгим, как на обратной дороге, потому что в этот раз на магазинах (первая остановка сразу за пограничным постом) водитель посадил к нам Мадину. Мест уже не было, и он, подмигнув, сказал: «А вон два парня сидят! Они же посадят девушку по-джентльменски!» И дверь, прошелестев по направляющим, лязгнула, как отрезала. Мы переглянулись с соседом и поспешили подвинуться. Мадина — фигуристая молодая тётка,

в теле, в обтягивающих попу зелёных брючках и ажурной блузке:

— Я тебя не совсем прижала?

— О, нет! Что вы! — говорю, свисая одной булкой с сиденья.

— Здесь так трясёт, я буду хвататься сюда (указывает на перекладину передних сидений)

— Не стесняйтесь, можно хвататься за всё. В такой тряске некогда разбираться.

Морщусь мучительно, прикусывая язык на колдобине.

Улыбается сразу тремя фиксами сбоку. Блин. Так-то ничего, симпатичная. Когда не улыбается широко.

Так трясёт и колбасит нас до следующей остановки часа полтора. Мальчика лет десяти, сидящего передо мной, выворачивает раза два. Дорога действительно как после бомбёжки. Все сдержанно молчат. Затем на остановке под весёлое балаканье водили все вываливаются на улицу. Дышат, пьют сок и воду из придорожного ларька, едят мороженое. Русская бабанька лет восьмидесяти пяти, проходившая контроль на границе с российским паспортом, вытирает лицо своему старику, который шёл на контроль с казахским (пара, живущая так, видимо, уже много лет). Казашка, апай, что-то говорящая маленькой русской, совершенно русоволосой и голубоглазой девочке на казахском и тут же получающая ответы на русском. Речь, меняющаяся и переходящая с одного языка на другой мгновенно и неожиданно. И никакого непонимания. Ни одной заминки. Я раздаю леденцы, кто-то суёт мне в руку яблоко. Здесь нет чужих и незнакомых. Здесь все уже породнились, в этой чёртовой, бешеной маршрутке, скачущей по ухабам большой степи. И все друг друга знают. И слыша, как на казахском говорят, что вот же, вчера наши проиграли Уругваю, а седой старик отчётливо произносит по-русски: «Да, блин, вчера проиграли...», — я понимаю, что граница, которую мы проехали — это такая смешная формальность. Что люди здесь вообще не признают этой границы, только следуют формальным процедурам. Как то: пройти через металлодетектор, посмотреть в камеру и ответить на вопрос пограничника. А всё остальное как было, так и осталось. В сердцах, умах и душах. Вот только дороги с казахской стороны до Хромтау чудовищные. После осознания этой большой истины ехать много легче. Всё так же жарко от бедра и бока Мадины, болит затёкшая задница, отсиженным правым полужопьем, но ехать веселее. Разговоры непринуждённые, и смех, и шуршание обёртками леденцов. Доехал, слава Всевышнему. Жара и пыль. Пришёл в свою берлогу. Салун внизу смотрит футбол. Завтра на работу. Иду спать.

Они прекрасны, эти молоденькие девочки. Молодость бьёт из них упругим светом. Лето красит

лица, тела, сверкает искорками, отражаясь в стразах на модных платицах. Они перехватывают взгляды искрящимися глазами, улыбаются. Это нравится им. Они счастливы и полны жизни и энергии. Я люблюсь ими, как люблюсь дочерью. Я думаю о тех, кто вот так же семьдесят семь лет назад шёл, нет—летел над Землёй, не касаясь её ножками. От великого счастья бытия и молодости. Ещё не зная, что их ждало впереди. Какое чудовищное зло. Я думаю об Алие Молдагуловой, на которую так похожа моя старшая. С которой она сейчас одного возраста. И у меня не укладывается в голове—как могла эта маленькая, хрупкая девочка сражаться в рукопашной схватке со здоровенными, тяжёлыми верзилами, обученными всем способам убийства. Сражаться и победить. И не одного и не двоих. Дух—прежде всего. Я чувствую это в нынешних. В своих дочерях. В тех, кто идёт следом. Значит—будем жить.

Видимо, столовские повара отчего-то невзлюбили меня сильно. Каждый вечер, где-то между одиннадцатью и двенадцатью часами до полуночи, они изошённо травят меня густым запахом готовки. Жарят что-то на чудовищно вонючем постном масле. Представляю, как они перемигиваются и говорят друг другу:

—Эй, Жасик, плесни ещё уксуса на сковородку. И масла не забудь!

А второй отвечает, расплываясь в улыбке во все тридцать два:

—Сделаю, Бердибек! Пусть задохнётся этот татарин! Гульназ! Где картошка? Масло кипит уже.

Ароматы кухни плывут по лестнице, просачиваются под дверь и втягиваются невидимым, удущивым облаком в комнату. Я сижу, сгорбившись над мерцающим в полумраке экраном монитора, быстро настукивая текст. Вот же гадство! Вскидываю. Ну я сейчас покажу этим казахам! Быстро нашариваю руками рукава куртки, мчусь по лестнице вниз, захлопнув дверь. Жасик и Бердибек стоят на лестнице, на выходе из таверны.

—Салам алейкум, уважаемые!

—Валекум ассаламу, Тимурбек! Калайсын? (Как дела?)

—Хейбет! Уртаса! (Хорошо, нормалёк.)

—Айда, с нами покуришь!

—Конечно, как же, откажусь что-ли? Шулай шул... (Именно так.)

И стоим мы с Жасланом, выдыхая сизые облачка дыма, а агасы Бердибек сидит на ступеньке. В кафешке смотрят телек за пивком и мясом Витёк со своей командой местных русских работяг. И так хорошо и мирно вокруг. И никто, конечно, травить меня не собирался. И вообще я дома. Прямо на обочине большой дороги, в мирном, очень маленьком рабочем городке. Мир, покой и простое человеческое братство—это так хорошо...

О трудовом разложении. По работе бываю много где. Не только в России, но и в других странах. Лучше всего работают небольшие компании, где доход каждого работника и его права обусловлены успешностью предприятия в целом. В небольших компаниях каждый человек понимает, что от его труда зависит получаемый результат. Отсюда и качество, становящееся результатом прилежности каждого работающего. Но совершенно иная ситуация в крупных государственных компаниях и мегакорпорациях. Там, где труд каждого работника оценить сложно. Послушайте, что говорят работники обычно:

—Мне за усердие медаль не дадут и премию выплачивать не станут. Никаких гарантий не предоставляют, зарплаты не индексируются, так зачем я буду стараться?

Это постепенно приводит, уже привело к наплевательскому отношению. Каждый человек в отдельности хороший работник, специалист, но в результате совершенно не заинтересован. Мотивация отсутствует, разложение уже произошло. При капиталистическом способе производства таких людей может мотивировать только кнут. Только угроза нормальному существованию. Но человек при этом всегда будет пытаться саботировать и отлынивать от работы, как только это возможно. Поэтому нельзя ждать никаких особых прорывов в области машиностроения, технологий и прочего-прочего. Там, где мотивацией является только кнут или пряник в виде денег, а при капиталистическом способе только деньги являются конечной целью,—не будет и не может быть никаких прорывов в области человеческого труда. Труд в этом случае воспринимается как тяжёлая, неизбежная повинность, которую каждый втихаря будет стараться саботировать, чтобы снизить нагрузку. Для движения и развития необходим дух. Там, где властвуют деньги,—духа быть по определению не может. Если сможете возразить, приведите хотя бы один пример, когда эти совершенно несовместимые понятия сосуществовали бы. Я таких примеров не знаю. Иное дело в социальных государствах. Здесь политика распределения материальных благ по принципу справедливости между всеми гражданами даёт замечательные плоды. Вспомните СССР. Двадцатый век как эпоха колоссального научно-технического рывка, сказавшегося на всем человеческом мире.

Об умении ждать и терпеть. Терпение—великое благо. Это настоящее искусство. Отец учил меня этому. Уметь контролировать эмоции, сдерживать гнев, рассчитывать время. Мне кажется, я до сих пор ещё так до конца и не оценил полностью, какой титанический труд он проделал, занимаясь моим воспитанием. Но я любил его. Он был для меня настоящим примером мужества и стойкости.

Поэтому я повиновался ему, старался перенять то, что он пытался дать мне. Терпение особенно необходимо в стрелковом деле. И он каждую тренировку терпеливо и спокойно объяснял, как правильно лечь, как устроить позицию, как разминать затёкшие конечности, не меняя положения тела и т. д. и т. п. Для меня, подвижного и любознательного ребёнка, это было непросто. Два часа тренировки набивать руку. Просто набивать руку и тренировать глаз. Без практики, только прицеливаясь. Но это оказалось очень полезно. Умение спокойно переносить тяготы и разочарования. Быть наблюдающим сознанием и только. Но человек не совершенен. Бойтесь терпеливых, когда весь запас их терпения исчерпан.

Мама, бывало, пеняла мне, что я смеюсь, когда она или отец говорили мне о пенсии.

— Не хохочи, хохотун, когда-то это случится.

Милая мама, я люблю тебя бесконечно, но мне как было смешно, так и есть. Я давно не жду от государства заботы. Ему, большому, не до меня. И я это давно и прочно усвоил. Оно интересуется моей персоной, когда я ему или кому-то, по его мнению, ущемлённому мной в правах, должен. И я молча принимаю это и соглашаюсь. Я люблю эту землю, людей. Эту страну. Я не свалил отсюда тогда, когда была возможность, и делать этого не собираюсь. Все мои предки рождались, жили и умирали здесь, стараясь принести максимальную пользу. Мои друзья и боевые товарищи. Могу ли я бросить её? Нет. Всю свою сознательную жизнь я работаю в опасных, вредных и тяжёлых условиях. Среди огромного количества рабочих людей, вкалывающих честно в столь же трудных условиях. Мне сорок два. У меня хватает проблем со здоровьем. Нужно ли говорить об этом? Любому дураку будет ясно, что, если вкалывать по четырнадцать часов в день в любую погоду, в любых условиях, ты не будешь сияющим молодцом. Спасибо предкам за гены. Просто большой запас прочности. Пенсия? А что пенсия. Я сразу знал, что надеяться на неё—бред бредовый. О старости и смерти говорить тоже нет смысла—каждому своё время. Вредность мне в стаж не идёт, поэтому буду вкалывать, пока сил хватит. И дальше буду. И ещё дальше, сколько Бог даст.

Всюду я встречаю людей, которые, округлив глаза на моё «бесконечные дороги», говорят: «Ах! Какая у вас интересная жизнь!» Да, друзья мои, воистину не видеть ничего, кроме бесконечных дорог, не столь интересно, как кажется. Я тоскую по дому. По лучу света, косо падающему сквозь неплотно прикрытую штору, освещающему нежное смуглое. Разметавшиеся по белизне подушек волны волос, обрамляющие прекрасное лицо. Полуоткрытый бутон нежных мягких губ. Скучаю по чувству

великого тепла, наполняющему существо смыслом и радостью. По ощущению мира и гармонии. Мимолётному, как сама жизнь, и оттого столь бесценному. По безграничному, как море тайги, волнами бегущему вниз, в голубую и сиреневую даль! О, как дорого бы я дал, чтобы вновь ощутить это. Открыть дверь в навсегда ушедшее в прошлое лето. Но колёса наматывают очередной километр степи на изъезженную мелким крошевом резину, я вижу мелькающие сараюшки деревень, промозглы, серое, свинцовое небо, рвущееся суховеём в бесконечную тьму космоса. Я в пути. Всё дальше.

Почему мы не поймём друг друга? Я не имею в виду—вообще не поймём. Мой коллега прекрасно понимает мой не самый лучший английский, а я прекрасно понимаю его хинглиш. Мы можем общаться на отвлечённые темы, болтать о философии и жизни. Наше общение не ограничено лишь сотней-другой профессиональных терминов. Уровня, на который я взгромоздился, достаточно для общения на любые темы. Но почему мы не поймём? Да потому, что они ничего не знают о нашей истории, культуре. Не мыслят, как мы (я не имею в виду общечеловеческие истины, тут как раз всё хорошо), но думают, используя иные формулировки. Оперируют иными знаниями и фактами. Нет, разумеется, мы похожи во многом. Но, например, я похож с соседом Виталием несоизмеримо больше. Мы даже на одном языке думаем и говорим, а понимания и, следовательно, общности—не возникает. Итак, поработав за свою трудовую жизнь с большим количеством иностранцев, могу утверждать—ничего они не знают о нашей истории. Не понимают нас, не представляют масштабов этой страны и народа. Точно так же, например, для многих будет сюрпризом, что в Индии более двух тысяч диалектов пятисот различных языков. Понятно, что хинди государственный наряду с английским, но, согласитесь, поражает. А культура страны и народа столь безгранично разнообразна, что и востоковеды всего не знают. И так любая страна. Они не знают ни о Великой Отечественной, слышали что-то о том, что нацизм победили американцы (так думают, например, японцы. Индусы знают о участии СССР, но не знают, как и в какой мере). Немцы с презрением говорят о китайцах, совершенно игнорируя блестящую древность ушедшей в прошлое империи и т. д. Казахские нацпаты—все сыновья великого хана. Как башкирские и татарские националисты... В этом чудовищном человеческом безумии, в микробиологическом космосе одноклеточного шарика, плавающего в бесконечном океане Вселенной, каждый человек думает, что он пупочек чего-то важного. Являясь лишь сверхбыстрой частицей, которая остаётся незаметной супергигантам, которых не в силах узреть

вспыхнувший и сразу же утасаживающий человеческий разум. Разум не тот инструмент, который помог бы понять истинные масштабы великого Бытия. Совсем не тот. Но каждый человек есть зёрнышко. Проклюнется росток или нет — зависит от него.

Здесь на самом деле дикий Запад. Именно по ощущениям. Обстановка. С казахским колоритом. Я даже не знаю, как это правильно описать. Во-первых, это действительно западная область Казахстана, во-вторых — это степь. Везде. Повсюду. Пыль, пережаренное поле, жара и внезапный ветер, и дождь, и жёсткий колотун вечером. Это большая дорога, пролегающая прямо у порога мотеля, в котором я живу на окраине микроскопического пыльного городка. Это дорожный сброд, тусящийся в кафешке на первом этаже мотеля, настоящего ковбойского салуна, двадцать четыре часа в сутки. Дальнебойи, непонятные работяги, люди, привязывающие лошадей у входа. Смешение времён, эпох, народов, миров. Я бы не удивился, если бы на заднем дворе приземлился Тысячелетний сокол, а у входа привязывали бы коней нукеры Тамерлана, попутно перебрашиваясь с бродягами Буффало Билла. В общем... Я где-то тут. Если что...

Когда я выхожу из очередной гостиницы, придорожной кафешки или просто иду по городу, я вижу всё, что сделано руками рабочего человека. Здания, мосты, автомобили... Всё. Я вижу не просто машину, а я вижу сотни людей в касках и робах, которые пыряют в шахтах, добывая металл, бурящих скважины в тайге, ломающих уголь в чёрной пыли разрезов. Строителя, заляпанного бетоном, прораба, матерящегося и размахивающего чертежами. Их чумазые лица, острые скулы и кожу лиц, больше похожую на коричневый пергамент. Курящих на поребрике заводской курилки, хохочущих и плюющих в ведро, полное бычков. Руки, покрытые сетью морщин с сорванными ногтями. Я чувствую шершавость бетона, слышу сладковатый запах нефтеперерабатывающих заводов и гудение гидравлических штампов, режущих автомобильные корпуса. Я их вижу отчётливо и ясно. Весь этот колоссальный труд. Так как я прошёл всю цепочку. Начиная от добычи полезных ископаемых до выпуска и ремонта техники, материалов для строительства, прокладки дорог. Даже ваша пища, которую вы едите в кафе и ресторанах или каждый день дома, готовится на том и из того, что работяги вытащили на себе. На своём горбу. А что видите вы?

Я хорошо понимаю, что упускаю что-то. Это что-то неуловимое и прекрасное мчится мимо, летит с девятой космической скоростью в гиперпространстве, а я остаюсь на рыжей, пыльной обочине трассы, ведущей в неизвестность, под палящим

солнцем. И шепчет в ухо бес внутри: «Брось всё! Сколько ты ещё будешь пырять в пыли, а главное — какой в этом смысл? Жизнь идёт где-то, пока ты в дороге. И она закончится...» Да, давно можно было бросить всё и всех, свалить в блестящий мегаполис или к берегу моря, в огни вечного ночного куража. Познакомиться с правильными людьми, зашибать деньги, заделавшись гуру неомодернистской теории плевания с парашюта на проходящих внизу. Но я ли буду тогда? Наверняка стало бы физически легче, но я помню, что говорил мне друг перед смертью: «Не жди, легко не будет никогда. А стало легко — бойся, ибо больше ты не нужен». И я иду дальше, а пыль скрипит на зубах в пересохшем рту. Смотрю на линию горизонта и вижу места, где умереть невозможно. Потому что здесь просто нет времени.

Счастье... Счастье это вовсе не тогда, когда жизнь твоя подобна масляной ванне, в которой ты беспрепятственно катаешься, как кусок нежного сыра. Это не тогда, когда у тебя есть всё и ты ни в чём не нуждаешься. Это не деньги, не успех, не слава и не работа. Это тогда, когда ты точно знаешь — для чего ты живёшь.

Я привычен к производственному бардаку. Я многое видел такого, от чего у инженера может вспыхнуть и не просто подгореть, а взорваться и запылать. Я и ключи резакон вырезал на площадках, где монтаж оборудования или ремонт ведётся, и специнструмент сам делал. И в кучах мусора копаться приучен, дабы из промышленного говна конфеты работающих механизмов лепить. Но ни у одного иностранца такого опыта нет. Я-то в любом производственном хаосе выжить могу, но это умение нарабатывалось годами необходимости находить выход из любого технического тупика. А вот коллег бывает жалко. Порою они просто не знают что делать. Причём каждый мнит себя суперпрофессионалом, иногда так и есть, а тут такой трюндец. Поражаюсь прозорливости моего папы, который гнул меня в бараний рог, заставляя думать и учиться всему и каждую секунду. Спасибо, папа. Теперь я понимаю тебя очень хорошо.

Несмотря на весьма, как мне представляется, надуманную способность человека к рациональному мышлению, сознание его стремится к определённому порядку. Любой под влиянием внешних факторов формирует некую картину мира. Представление об окружающем. Насколько она соответствует действительности — вопрос очень непростой. Едва ли поддающийся полному разбору на составляющие, учитывая принципиальную непознаваемость сущего. Однако выводы делать необходимо, чтобы не провалиться в необратимую энтропию пустой философии о бессмысленности

существования. Так как представления о действительности разнятся и увеличиваются в геометрической прогрессии вместе с количеством людей, живущих в данный момент, а также зависят от их территориальной удалённости друг от друга, разности культур, условий, в которых они живут, способов выживания и так далее, то возникает необходимость к приведению всего этого многообразия к некоему знаменателю. Люди составляют общность, народ, который нуждается в том, что будет их объединять, облегчая достижение блага. Под благом понимается баланс, спокойствие, способность удовлетворять простые и сложные постоянные потребности. Для этого необходим труд, развитие, действие. Что-то, что бы приводило к перечисленному выше. На самом деле потребностей у человека великое множество, и они отнюдь не исчерпываются лишь физиологическими и биологическими. Но, как я уже ранее упомянул, раз уж так сложилось, что представлений о мире и правильной жизни столь же много, как и самих людей, то возникает необходимость приведения к некоему общему воззрению. Проще говоря—необходимость принуждения. Это продиктовано жизнью, неумолимым законом её естественного течения. Там, где существует принуждение, всегда возникает сила противодействия. Некая компенсаторная величина, которую приходится преодолевать. Возникают возмущение, недовольство, отрицание. Избежать этого эффекта не представляется возможным в силу разности индивидуумов. Мы не можем быть одинаковы. Физически, психически, рационально. И тогда перед человеком встаёт проблема выбора, который тем сложнее, чем более или менее рационально способен он мыслить. Всегда приходится ограничивать себя. Укрощать чувства, контролировать эмоции. Терпеть. Я рассматриваю терпение как одно из величайших благ, которое было даровано человечеству наряду с возможностью выбирать. Устанавливая жесточайшие правила для своих воинов, Чингисхан преследовал великую и благую цель—установление порядка, мира и равновесия. Именно так он создал свою империю. Угрожая смертью трусам и дезертирам, красный комиссар поддерживал порядок в рядах своих бойцов, мотивируя их сражаться, так как в ином случае, в случае поражения, уничтожение грозило всему народу. Существует огромное количество способов контроля и мотивации человека к определённым действиям на благо общества, так как в противном случае цель—выживание—не будет достигнута. Что грозит хаосом и распадом. Именно поэтому общественное всегда превышает личного. Так как эгоизм, в его чистом виде, ведёт к разложению и смерти. В кризисные моменты люди должны объединяться, иначе шансы уцелеть весьма невелики. И да, порою приходится использовать

методы принуждения. Не все способны понимать и осознавать происходящее. Делать правильные выводы. Разумеется, люди, облечённые властью, должны быть убеждёнными в своей правоте последователями идеи достижения всеобщего блага, т. е. человеками, по сути отрёкшимися от собственных эгоистичных воззрений. В противном случае—они сами становятся проводниками хаоса. Общность не подразумевает полного отречения от индивидуальности и растворения в массах. Индивидуализм как способность мыслить и творить совершенно необходим в этом случае. А творчество должно поощряться. Чего почти никогда не происходит, к сожалению. Вообще, настоящее творчество очень редко может быть оценено правильно и по достоинству, так как это измерение духа и психики. А люди разучились чувствовать и понимать на этих уровнях. Человек, качнувшись в сторону биологии, совершенно забыл, что он существо многомерное. Если люди вновь научатся внутреннему зрению, перестанут бояться видеть и узреть сердцем, как это происходит иногда в минуты наивысшего напряжения всех сил, в периоды тяжёлых испытаний или эмоциональных всплесков, то они обретут способность быть такими, какими были созданы изначально.

— Да плохо у вас там в России. Я когда была последний раз, у меня чуть машину не отжали на дороге. Да и народ у вас живёт бедно. Грязь кругом. Нищета. Нет. Я к вам туда больше на машине не поеду. Опасно. Кругом бандиты,—женщина, водитель такси.

Я грустно смотрю на мерно плывущую за окном лексуса степь. До места, где я родился, триста км. В Актобе на дороге несколько дней назад застрелили дальнобойщика. Перед этим обстреляли автобус.

— А давно вы в России были?

— Давно. И не хочу больше. Всё равно у вас там ничего не меняется. Разруха.

Невозможно получить всё и сразу. Я сейчас вовсе не о деньгах, машинах, желаниях плоти вообще. Я о другом. Хотя и это принципиально важно, это применимо ко всему. Не знаю, почему так было задумано Творцом, почему именно такой порядок, но факт—необходим упорный труд и поиск. В свете этого существует масса разнотчений, совершенно чудовищная вариативность человеческих представлений. Например—Космос бесконечен, существует сам в себе и не имеет завершения, а следовательно, любые попытки что-либо изменить бесплодны, тщетны, бессмысленны. А значит, что бы я ни делал, не имеет никакого значения. Следующее—бесконечный прорыв, чудовищное напряжение сил и упорство в достижении власти, богатства, накачивания попы, совершенствования

тела, уничтожении себе подобных, продавливание супер-пупер новейших учений о смысле жизни — что кому больше нравится. Или ещё — медленное, медитативно-неторопливое созерцание в ожидании, что «само придёт». Всё неверно. Будучи мальчишкой, я яростно и фанатично занимался рукопашным боем, ошибочно полагая, что сила материальна. Понимал это буквально — ты должен быть физически сильнее, чем твой противник. Вышел на ринг и уложил его пяткой в челюсть. Но со временем медленно и неизбежно приходит понимание, что сила нечто большее. Что же это? Я постоянно искал ответ на этот вопрос. Чем более страстно хотел найти ответ, тем более от него удалялся. Мне повезло с людьми. Многими и разными. И хочется думать, что теперь я чуть-чуть приблизился к пониманию этого. Я видел умирающего ребёнка. Это была красивая девочка, чуть младше меня. Мы были очень юны, и я до сих пор отчётливо помню последний вечер, когда видел её. Она со своим отцом была у нас в гостях. Мы с папой сидели с ними. Спокойно и неторопливо общались, словно в запасе была целая вечность, хотя все знали, что у неё остались считанные дни. Часы. Я фотографически помню её глаза. Это был совершенно ясный и незамутнённый взгляд. Не обременённый страстями. Чистый. Спокойный. Помню это странное ощущение её силы. Теперь я понимаю, что на самом деле тогда я, возможно, видел настоящий свет. Настоящее сознание. После, когда я был в полной жопе, так скажем, мы несли одного из наших парней на брезентовых носилках, я видел взгляд похожий. Мы мчались галопом, вымазанные глинистой грязной жижей, чужой кровью, спешили, он был ранен очень серьёзно... Я оступился неловко, сделал ему больно. Он посмотрел на меня таким чистым взглядом. Я не знаю, как это передать. Абсолютно, кристально чистым и осознанным. Такие глаза были у моего брата Марса, когда мы с ним говорили о настоящей силе, которая кроется в сознании человека. Мы виделись с ним первый и последний раз, но он дал мне очень многое. Сейчас я понимаю, что объединяло всех этих людей. Они были абсолютно и сосредоточенно спокойны. Они пребывали в гармонии, которую не нарушало стремление к сиюминутному и преходящему. Девочка, умирающая на руках своего отца, любила его всем сердцем и всеми силами старалась дать ему всё возможное и без остатка. Она знала, зачем это нужно и почему это и есть главное. Дэн... Накануне я обидел его, был виноват перед ним. В тот момент, когда мы волочили его растерзанное тело на грёбанных носилках, мне было тяжело вовсе не потому, что он был здоровым парнем, а от осознания своей вины. Посмотрев в его глаза, я вдруг увидел нечто. Это, наверное, как посмотреть в открытый космос. Я и сейчас не понимаю до конца, что я увидел,

но вдруг успокоился. Понимание, что есть нечто более важное, чем глупые обиды, пришло позже. Тогда я увидел просто что-то, что враз обрезало мои терзания. В глазах его не было страха, как и в глазах юной Айгуль. Марс, будучи воином, любил людей всем сердцем. Собственно, именно поэтому он и был им. Для них. В каждом из нас есть Создатель. Универсум. Бог. Называйте как нравится. Только это, эта голографическая, иллюзорная креатура, порождаемая внешним и материальным, навязывающая своё господство всеми силами, контролирующая человека так сильно, — не даёт увидеть нам самим себя настоящими. Это, как надев маску, смотреть в зеркало и думать, что маска и есть лицо. Сила в спокойствии. Сняв маску и посмотрев на себя истинного, человек обретает настоящее. Так как истинное не может быть уродливым. В каждом из нас есть ослепительно прекрасное. Мы все и есть Его лик. Посмотрев на человека настоящего, открывшегося, освободившего себя от власти эго, можно увидеть Бога. И нашедший в себе силы увидеть это обретает силу бесконечную. И мир.

Мама попросила свозить её в храм. Я уже говорил, что моя семья и её история — страна в миниатюре. Мы в ней очень разные, но мы — семья, и мы живём в любви. Даже тогда, когда бывает не совсем понимаем друг друга. Храм богородицы один из старейших в Уфе. Город пробуждается, весна трогает лица людей. Они смотрят веселее, молодёжь кипит на остановках бульоном, пеной, кружевами. Девчонки оделись полегче. Мир прекрасен, Господи. Спасибо за это. И неважно, на каком языке я это скажу, и пусть у меня в голове первыми словами мелькает — «Биссмиллях». Следом, на русском, всегда приходят — «Спаси и сохрани». И не боюсь в этом признаться. Главное — какой смысл вложен в слова, рождающиеся в голове. Есть ли в них устремление духа к свету.

Возможно, я покажусь восторженным идиотом, я не претендую на ваше понимание. Все мы лишь цветы. В большом саду. Кто-то раскрылся и сияет всеми цветами радуги, кто-то ещё плотно закрыт, дело не в этом. Просто попробуйте ощутить Весну! Посмотрите на мир, ненадолго оторвавшись от ваших дел, в которых все мы так увязли. От рутины и повседневности. Снимите очки, серое отфильтровывающее стекло, захватывающее восхитительные краски мира. Отбросьте на минуту ваше вечно недовольное всем эго, требующее постоянного сосредоточения на боли и страхах. Отбирающее у вас возможность видеть полно. Почувствуйте радость, вдыхая воздух, наполненный миазмами городов. Найдите в нём ароматы, которые дарит жизнь. Обнимите своих жён. Вновь восхититесь их совершенством. Теплом. Почувствуйте любовь,

приходящую к человеку разными путями. Через тех, кто есть рядом. Просто через людей, угрюмо бредущих в сутолоке гигантского потока. Через ваши глаза и руки. Через биение ваших сердец. Взгляните на солнце и радуйтесь каждой минуте, потому что всё это существует только сейчас.

День начинался с настойчивого стука в дверь и с требовательного крика старшей поварахи: «Эй, вы там чего! Засони! Подъём!» Вставать не хотелось. Особенно, когда ты заснул в два-три ночи после трудовой смены и ночных посиделок. Шесть утра, стылая свежесть летнего утра пробирает сыростью и влагой. Но солнце, встающее из-за горы, светит ярко и неумолимо, роса постепенно испаряется с травы, жар солнечных лучей подсушивает влажную землю. Слышится мерное тарыхтение лагерного «Рафика» дяди Фидариса, собирающегося на ферму за молоком. Приходится вставать, натягивать прохладные, влажные джинсовые шорты, майку и шлёпки. Лето звенит цикадами, жужжит стрекозами, роящимися в умывальнике. Со стороны столовой тянет чистый запахом горячей еды. Повара уже давно на ногах — шутка ли, нужно приготовить еды на четверста человек, поэтому весёлой молодой поварахе Айгульке, прекрасной Шахерезаде, приходилось нас буквально вытряхивать из нашей каморки папы Карло. Нас ждали бачки, крупы, посуда и овощной склад. Старшаки делили, кому сегодня достанется хлеборезка — самый знатный загашник, оборудованный автоматическим станком для резки ароматных ломтей свежего, хрустящего хлеба. Мне пятнадцать. Я второе лето работаю в пионерском лагере, где прошло всё моё детство. Я — элита. Поварёнок. Когда я был в отрядах, а я прошёл их все, начиная от младшего шестого, для детей от шести, и до первого, для старших, я смотрел на них. Классных. Уверенных. Работающих. Какие они были красивые, загорелые, сильные. Дружные. Как хорошо и просто они одевались. Как всё в них было гармонично. Мы завидовали их самостоятельности. Тому, что над ними не было такого надзора, как над воспитанниками. Тому, что ночами они могли ходить на озеро купаться в тёплой, чёрной воде. Тому, что могли сидеть у костра с гитарой. Теперь я стал таким. Но сразу же выяснилось, что кухонный труд нелёгок. Повара требовательны и остры на язык. Вкалывать иногда приходилось до одиннадцати вечера. Но всё это было так неважно! Мы были счастливы и были семьёй. Практически весь персонал лагеря был молод и весел. Но кухня, столовая — особый мир. После работы повара становились твоими друзьями, простыми девчонками, просто чуть постарше. Я думаю, что это было лучшее время в моей жизни. Ночной воздух был сладким с нотой горечи цветущих гор. Мы были свежи, а наша

одежда пропиталась дымами костров. Мы были асами выживания в лесах. Мы были всесильны. Не было большего могущества, чем осознавать себя юным. Не было преград, пусть мир был неизвестен, безграничен и прекрасен. Рассветы, встречаемые вповалку у огня, были полны свежести и лесной влаги. Тёмная вода в ночном озере скрывала тонкие девичьи силуэты купавшихся с нами русалок. А их руки были самыми тёплыми и самыми нежными. Что ещё может быть столь кристально чисто и остро, чем бегущая тугим пульсом по жилам юность? Волшебство, которое даётся не каждому и цену которому понимаешь лишь много жизней спустя.

— Эй, лежебоки! А ну! Быстро за картошкой. Нужно притащить два бачка. Нико! Тебе хлеборезка, Амирхану к Юрию Ивановичу, мясо разрубить. Тимур, ты со мной.

Айгулька смеётся чисто и звонко.

— Поднялись — и вперёд!

— Гуль, ну чего ты... Мы встаём...

Нико, ладный шестнадцатилетний парень, пытается защититься от влелевшей вихрем в кубрик поварахи, которой я открыл дверь. Она хохоча стаскивает с него одеяло, когда он тщетно пытается отмахнуться от неё. Светловолосый Амир, поднимаясь, клацает клавишей старого кассетника, и комнату наполняет Цой. Восьмиклассница. Это хорошо и приятно, так как на улице уже вещает громкоговоритель — радио с утренней зарядкой.

Встав и умывшись, почистив зубы у жестяного корыта общего умывальника, ёжусь от утренней свежести. Пробегаю сланцами по потемневшему от времени дощатому настилу над сливной канавкой. Осока предательски хватает за ноги влажными листьями. Бррррр! Иду на работу. Пар валит клочьями, на плитах уже бурлит, парит и шкворчит. Девчонки уже пришли, на посудомойке слышен смех, играет магнитофон с иностранщиной. Наш шеф-повар, эффектная блондинка Надя, озабоченно поглядывает вокруг. Повара шутливо переругиваются и подгоняют повара.

Через час приходят дежурные ребята от отрядов и начинают накрывать на столы. Столовая, огромное её помещение, залитое летним солнцем, — театр. Здесь можно увидеть жизнь в миниатюре. Смех, слёзы, мелькают лица деловитых вожатых, заглядывающих через раздачу. А потом кульминацией вваливается детвора, и столовая превращается в гудящий улей.

Вечером, уже без сил, дочисая четвёртый бак картошки на завтра, мы сидим вокруг его жестяной чаши и обсуждаем, как сейчас пойдём на озеро. Сладко пахнет Анькиными духами, она загорело-смуглая, сидит напротив. Нико, в панамке и шортах, рядом со мной, травит байки, она смеётся, обнажая белые ровные зубки. Светятся в полутьме, отражая лучи фонаря над столовой,

огромные глаза на тонком миловидном лице. Элка сосредоточенно-безмятежна, как обычно. И как всегда нежно-красива. Бретелька сарафана сползла с плечика, выглянула из-под белого фартучка, и почему-то это вдруг делает её такой незащищенной.

Надя ушла с вожатыми и физруками на выходной, они идут куда-то в лес, мы слышим, как они хохочут, удаляясь в темноте по тропинке за корпусами. Плещется в бассейне за столовой отдыхающая смена. Везунчики! Сейчас бы тоже в воду! Но всё будет...

— ...будет, Тимка, будет. Всё, что было, будет вновь! — напевает щекотным полушёпотом прямо в ухо сзади Айгулька, обнимая ласково и жарко. — Замёрз, наверное?

Мне становится неловко, а кровь неистово бьёт в голову и, наверное, в лицо. Темно, вряд ли это видно, но я смущённо передвигаю её руку выше, на плечо. Девчонки делают вид, что ничего не замечают, но я вижу, как Анька кривит губы в усмешке. Позже Гулька, подождав, когда я закрою замок на двери служебного входа, вдруг повернувшись и прижавшись ко мне в углу между овощным складом и входом в столовку, сильно и крепко целует в губы. От неожиданности я порывисто отталкиваю её. — Ты что?

— А что такое? Испугался? — хохочет.

— Девчонки обидятся — серьёзно говорю я.

— Они уже ушли на озеро. Никто не видел. Эх, Тамерлан! Хахаха! — проводит рукой по щеке и с упругой грацией уходит мимо домика персонала. — Пошли купаться. Догоняй!

Выйдя на балкон пожарной лестницы, вдыхаешь воздух. Воздух городского кипения. Бензиновый выхлоп, пар, что поднимается от земли. Рождающуюся весну. Ночь спокойна и безветренна. Над головой безоблачное чёрное небо, усыпанное миллиардами звёзд. И стоишь под этим безмолвием и над этим кипением, и чувствуешь себя бесконечно одиноким. И в то же время неразрывно связанным со всем, что есть. От потрясающей бездны Космоса над головой до испаряющегося под балконом гладкого мутного истёртого шини льда, до проплешин чёрного асфальта. Ты есть. Вот он ты. Во всём. В бетонных коробах многоэтажек, в мелькающем свете фар на проспекте, в людях, обитающих внутри рукотворных муравейников. В детях, играющих за окном дома напротив, в деревьях. В воздухе, упруго трепещущем в лёгких. В сердце, толкающем кровь по артериям. В безмолвной бесконечности Вселенной. Ты есть и ты вечен. И будешь и был всегда. И нет нужды беспокоиться о прошлом и сомневаться в будущем. Так как существует только этот момент, этот миг длительностью в вечность. Есть понимание и спокойствие. И есть любовь. Ты и есть это чувство. Вдруг что-то толкнётся внутри — обеспокоенное эго.

Встрепаётся тревожно, требовательно потянет за тонкие ниточки — и вот уже боль. Ощущение единения потеряно. Медитация сорвана. Труднее всего удержать себя в состоянии покоя. В состоянии спокойного созерцания.

Любой, имеющий опыт невозвратных потерь, знает, что душевные страдания неизмеримо тяжелее страданий плоти. Страдания плоти трудны, подчас кажутся невыносимыми, но они почти всегда связаны со страданиями духа. Так как душа и тело в этом мире связаны неразрывно, страдание одной из составляющих неизбежно влечёт и страдание других. Нарушение равновесия приводит к возникновению нескончаемого личного внутреннего ада. Для меня, прошедшего долгий и порой очень трудный путь к пониманию тех вещей, о которых сейчас пишу, совершенно очевидно, что нет никакого другого пути для достижения гармонии, чем возвращение человека на созидательный путь добра и любви. Лишь это способно дать отдохновение душе страдающей и мятущейся. Только это способно вернуть спокойствие, уверенность и внутреннюю гармонию. Я считаю, что лучшим вариантом является общение с миром и людьми с настоящей любовью. Это высшая ценность. Поэтому так важно дать близким максимально, что имеешь в плане духовном. Всё в этом мире подвержено изменению, тлению и смерти как конечной точке земного бытия, но человеку, истинно познавшему радость понимания других, не страшно ничто. Такой не устрасится и самой смерти, ибо любовь не даст ему утратить равновесия и в самые трудные часы, минуты и мгновения. Поэтому так важно чувствовать каждый момент, проживать его максимально полно в этом чувстве. Это невозможно заменить чем-либо ещё. Все остальные суррогаты оказываются грубой подделкой и не проходят проверки временем. Только искренность перед самим собой. Только стать этим чувством, и никак иначе. Это возможно, точнее, даже так — иначе и быть не может, так как это и есть естественное состояние человека. Этим человек и был создан. Это столь же нормально и естественно, как дышать воздухом и состоять на три четвёртых из воды и на одну четвёртую из минеральных соединений. Истинно. Этим чувством мы в мир приходим и им же остаёмся, рассыпаясь на атомы, которые были также созданы этой энергией в термоядерных реакциях, породивших всю элементарную базу материи. Это единственный способ справиться с чудовищной болью каждого личного ада. Разделить боль, растворить её, превратив в любовь. Найти гармонию. Что без искренней веры и в высший смысл и свет, без настоящего знания, не представляется возможным.

Мы стремительно черствеем. Многие смерти, становящиеся обыденностью, ожесточают сердца

людей. Детские смерти, так шокировавшие в начале войны на Донбассе, перестают удивлять. И ужасать. Стримы самоубийц становятся трендом. Человек, не чувствующий чужой боли, социопат, опасен. Это раковая клетка в организме общества. Уничтожение милосердия — реальная угроза существованию не только народа. Человечества в целом. Представьте такого бесчувственного человека, имеющего власть и оружие массового поражения? Примеры в мировой истории были.

Мир нынешнего человека — фикция. Обман. Правды нет нигде. Нет ни одного уголка планеты, куда бы не добрались хитрые манипуляторы, жадные плотоядные твари, недостойные называться даже людьми. Не то что именем — Человек. Эксплуатация человечества в интересах кучки меньшинства столь же вопиюще бесстыдна, как в самый расцвет эпохи рабовладения. Лишь слепой и окончательно обманутый может не замечать кандалов, в которые он закован. То, что кандалы эти не ощутимы, не откованы из металла и не защёлкнуты на запястьях и лодыжках, не говорит о том, что их не существует. Они вполне реальные и именно потому, что осознать их сложнее — они много страшнее. Люди должны смотреть внутрь себя. В свои души, чтобы найти настоящее. Только так можно победить всё это безумное зло. Освободиться.

Кажется, что ещё немного, чуть-чуть, и я снова смогу это почувствовать, то мощное озарение, как много лет назад. Но всегда быстро ускользает. Я был высоко в горах. И просто бездумно смотрел на мир внизу. Я был ребёнком, поэтому не имел способности анализировать и бесконечно жевать реальность своим разумом. Просто смотрел. Это такое чувство, когда вдруг ты весь мир, а мир — ты. И знаешь, и понимаешь без мыслей, что ты не комок плоти, а трава под рукой. Деревья, шелестящие на ветру, солнце. Медведь, тяжело ковыряющийся в малиннике под скалами. Мерный и гармоничный гул с фермы из ущелья. Ты — горы и синяя даль до горизонта. Люди и небо. И нет ни страха, ни смерти, ни времени. Это какое-то состояние глубокой медитации. Думаю, приблизительно можно сравнить с этим. Состояние, доступное детям, совершенно естественное. Так как сознание их не отягощено страхами, условностями и барьерами, возводимыми машиной рационального ума. Они просто знают, что они и есть всё. Центр. А взрослым нужно сражаться с собственным эго. Этим чудовищным монстром, так тщательно взращённым за долгие годы. Который терзает и мучает их, не давая жить. Но у детей пронзительное состояние ясности сознания. Кристальная чистота видимого внутренним взором. Способность чувствовать. И быть в равновесии. Сейчас я думаю, что то, что мы называем знанием, — большая ошибка.

Это не знание. Это бред поражённого тяжёлым недугом всеобщего безумия. Потерявшего способность чувствовать и творить. Но совершаемые и в наше время настоящие поступки — любовь и способность к самопожертвованию во имя других — подтверждение того, что истинно. В том, чтобы отказаться от постоянно гибнущего эгоизма, который и причиняет человеку страдания, словно гниющая рана, которую он непрерывно ковыряет. Моё безграничное уважение тем, кто, сумев превзойти своё эго в минуты наивысшего напряжения, познав истину, не убоился смерти. Мир им.

Человек так тяжело, трудно и трагически ищет Бога. Всю свою жизнь остро желая найти его. Но не понимает, что Создатель всегда пребывает в нём. Как и во всём окружающем. Неважно, как человек устремляется к нему, всё это есть желание счастья. Счастье — это любовь, счастье есть Бог в истинном понимании. Но мы так боимся жить, что этот страх подчас сильнее страха смерти. Мы так боимся умереть, что не позволяем себе жить настоящим. Две противоположности и крайности бытия, которые не дают человеку обрести истину, так как истина всегда находится в центре. А испытывая страх и стремясь избежать встречи с самим собой, каждый раз убегая от осознания и страдая в мире иллюзий, человек мечется от одной крайности к другой. Что более, чем осознание собственного одиночества, страшит великий разум? Что, если непонимание вечности в отсутствии друга, страшит более всего любую сущность? Не это ли переживание острого одиночества делает смерть столь страшной? Пугающей безысходностью и обречённостью быть с самим собой наедине целую вечность? Не страх ли этого вызывает в человеке такое яростное отрицание жизни — «Меня не спросили — хочу ли я родиться!» Ужас от одиночества и небытия, которое вдруг представилось неизбежным. Которое угрожает мятущемуся духу. Протест против самой жизни. Парадоксальное стремление к смерти. Уходу в безболезненное ничто. Но и это вновь не будет спасением, так как спящее сознание создаёт сны и иллюзии, выбрасывающие человека в новую реальность. И вновь он проходит муки рождения, жизни и смерти, далее опять пробуждение в другом мире. И вновь, и вновь. И всё до тех пор, пока сознание не сможет, пробудившись, принять собственное одиночество и единство со всем сущим. Которое — и есть само. Победив собственное эго, стремящееся убить Бога. Тогда, человек будет способен обрести равновесие и, посмотрев на величие Вселенной, стать тем образом и подобием, по которому был создан. Отбросив иллюзии. Наконец обрета Бога. Без страха, сомнений и боли. Знай человек, что он бессмертен, что он лишь спит и видит сны, что

одиночество его иллюзорно, как и страхи, так как он часть более великого и грандиозного сознания, что, осознав это, он обретёт то, что люди называют рай, блаженство, нирвана и дхармакайя, он смог бы наконец вернуться домой.

О способности дарить. Вещи, время, тепло, любовь. Себя. Любой «спящий» человек ревнив. Но тратить время на ревность и жадность — глупость несусветная. Это не только глупо, но и вредно. Вредно для самого субъекта и окружающих. Ревновать вещи? Деньги? Есть ли более бессмысленное и дурацкое занятие? Возможно — лишь выискивать симптомы разных болячек, ковыряясь в медицинской энциклопедии. Я уверяю вас, при желании вы найдёте у себя все известные миру болезни. Так что не тратьте времени попусту. Не расшатывайте нервную систему свою и тех, кому вы по ряду причин не безразличны. О глупости, ревности и жадности я сказал. Теперь об их естественных противоположностях. Великодушии и способности дарить. О, есть ли что-то более потрясающее по степени доставляемого наслаждения правильно настроенному духу, чем это! Когда ты даришь человеку то, о чём он мечтал, а порою и помыслить боялся, и вдруг видишь это изумление, радость. Признательность. И чувствуешь эмоции, переполняющие его существо. Это совершенный восторг! Воистину, отдавать — большее наслаждение, чем получать. И совершенная правда, что, отдавая, возвратно, бумерангом ты получаешь такую мощную положительную энергетику, что есть самая лучшая награда за щедрость духа.

Мало времени. Не хватает ужасно. На семью, детей, родных и близких. На — жить. Не хватает для работы, развлечений и приведения себя в порядок. На медицинские осмотры, лечение брэнного тела и сон. На осознание себя частью великого замысла Создателя. На то, чтобы, открыв глаза, стоять на вершине горной цепи родной земли, вдыхая её цветущий ароматами разнотравий воздух, и любоваться сиреневой, уходящей за горизонт долиной. Чтобы видеть мир во всём великолепии и сиянии. Чувствовать гармонию и пульс сердца вечности, понимая, что нет ни рождения, ни смерти. А есть только всеобъемлющее чувство, из которого было создано всё. Вся вселенная. Что мысль и есть то, что создаёт время. Его движение, шаг, скоротечность. Что сон разума и создаёт ту последовательность, которая влечёт нас подобно равнодушной, маслянисто поблёскивающей реке, делая её осязаемой. Присни! — говорю я себе, тщетно пытаюсь освободиться от иллюзорности окружающего. Пытаюсь понять себя настоящего, чтобы суметь любить так, как должно человеку.

Интересно, что больше всего исходят русофобией и клокочут падальщики, разрывающие труп величайшей страны двадцатого века. Живущие только её позволением. Имеющие жизнь, плоть и кровь только благодаря этому народу. Где бы были они, если бы не было СССР? Пеплом. Золой. Дерьмом и навозом, оставшимся после скота, вскормленного на костной муке перемолотой человечины.

Светлые, творческие душевные порывы бывают у всех. Абсолютно любой человек способен к добру и правильному творению. Но запал короток и не ярок. Быстро иссякают силы, заканчивается терпение. Это основная беда. Лень. Этот курдючный неплавящийся, жёсткий жир, обволакивающий душу. Мешающий её движениям. Сковывающий и уничтожающий человеческое в человеке. И поэтому лень, возведённая в ранг добродетели, пропагандируемая из всех щелей и электронных устройств, передаваемая из уст в уши как высочайшая ценность — пресловутая «зо-на комфорта» — гибель. Для человека, общества и идей. Лишь находящиеся в себе силы противостоять ей и вынужденные сражаться на два фронта, со злом в чистом виде и ленью как завуалированным его проявлением, способны достичь результата. Подняться и засиять по-настоящему тем подлинным светом, которым наделил человека Создатель.

Несколько лет назад я испытал на себе чудовищное. Внезапное откровение посреди безбрежного людского моря в час пик. Мегаполис, конец дня, вечер. Я спускался в метро и застрял на наглухо запечатанной толпой лестнице. Я смотрел на океан людей внизу. Море голов волновалось, подёрнутое неспешной мимической рябью лиц. Шелест тысяч голосов доносился до ушей. Тогда я понял и ничтожность человеческой жизни, и её же величие. И спросил себя — почему я должен слушать, что они мне говорят? Почему я должен жить так, как хотят другие? Тщетные, опасные раскольниковские мысли поразили прямо и мгновенно, и я спросил себя — ужель я глупее, чем любой из них? О, нет! И сакральная вера в разумное коллективное разбилась вдребезги, разлетевшись миллионами осколков, канувших в людские бездны. Некоторое время я был потрясён этим откровением, пережил его нелегко и остро. Рад, что всё же моей сути это не затронуло, но придало осознанности. Часто, когда во мне начинает зло и мощно ворочаться тусклая и тяжёлая мизантропия, я вспоминаю этот день. Ощущение горечи и разочарования, вслед за которыми вновь приходит прозрение и осознание, не дающие мне окончательно сорваться в штопор безверия.

Можно ли в блоге говорить об усталости? О желании сменить род профдеятельности? Выгорании?

Личные страницы интернет-дневников перестали быть персональной территорией. Люди сейчас десять раз обдумывают всё, прежде чем что-либо написать. Эйчары (слово-то какое), кадровики, начальники и прочие-прочие могут прочесть, сделать выводы, оценить и взять на заметку. Плохо ли это? Хорошо? Не знаю. Мир всё плотнее. Всё гуще людская каша. Всё сильнее проникновение электронного, вездесущего в человеческую жизнь. Это меняет восприятие, искажает привычное, преломляет выпукло до поры скрытое. Выпячивая шероховатости и уродливые трещинки. Что там пела о трещинках забытая ныне Земфира? Технический прогресс, подхлестываемый жадной наживы и потребления, всё быстрее вращает шестерни своих сервоприводов, скребёт колёсиками нанороботов, тычет в мягкое, незащищённое хоботками и усиками зондов, щупов. О, человек! Воистину несчастен тот, кто опоздал. Опоздал с принятием и пониманием сути происходящих изменений в окружающем мире. Остался за бортом белого скоростного поезда, уносящего избранных в прекрасное далёко. И был обречён созерцать буйство научно-технического прогресса из промасленной мехмастерской проржавевшего насквозь и забытого депо. Продолжающий чинить никому не нужные механизмы уходящей в бездны истории эпохи.

Слушая ровный шелест проносящихся поездов времени, на которых мчатся в будущее юные разработчики стартапов, работники цифровой индустрии и блестящие менеджеры, я скрежесу гаечным ключом по бурому швеллеру, закручивая стопятидесятый болт на 24. Скриплю, обводя глазами толпы шествующих под путепроводами мимо меня серых и угрюмых. С которыми скоро кану в свинцовый океан забвения. Вдыхая волглый воздух ржавой свалки, которая, медленно разрушаясь, превращается в ил и чернозём. На котором постепенно вырастают бледные грибы чудовищных высоток и из которого поднимаются средостения мощных фундаментов и путепроводов. Глухо падают время от времени аппарели и пандусы для того, чтобы очередная партия технического хлама была выгружена за ненадобностью. Великая треш-зона, питательная среда будущего. Попранная и презренная вышедшими из неё.

Доброе утро, человеческий мир.

Аэропорт. О, это место, тревожащее неокрепшую душу обывателя, внезапно нюхнувшего запаху кофейной жижи. Гущи из аппарата кафешки «Шоколадница» и укусного парфюма из шопы «Л'Этуаль». Вдохнувшего воздуха, перебродившего испарениями газетных киосков и столовок, и сию же секунду вообразившего себя Марко Поло, Жакм Ивом Кусто или, на худой конец, Туром Хейердалом. Люди, проходящие под своды этого

храма воздухоплавания, суетливы и согбенны под тяжестью поклажи. Но за линией контроля приосаниваются, принапускают на себя вид надменный и чинный — «не дай бог подумают, что в первый раз порог аэропорта переступил...». Женщины, летающие раз в два года, раздают советы на чек-ине замешкавшимся. Бизнесмены с кожаными портфелями, раздвигая толпу пивными набрюшниками со спокойствием атомных ледоколов, бесцветно поглядывают поверх голов. Протискиваясь первыми на икс-рей в зону контроля. Им важно! Есть ещё мамы с детьми, иностранцы, бледные и нервные молодые люди неопределённого пола, спортсмены, полиция, собаки, дети и пластичские старики, а также совершенно непостижимым образом здесь оказавшийся — Старик Хоттабыч. В чалме и халате. Аэропорт бурлит, людей носит от стены к стене, от бутиков к кафе и опять к бутикам и от туалета к стойкам информации. Чекиновые очереди змеятся по кафелю пола, стянутые по краям упругими лентами ограничивающих стоек. Икс-рей набивается людьми, которых оттуда аккурратно извлекают служащие, тщетно пытающиеся упорядочить процесс. Человек, сумевший пройти все девять кругов до чистой зоны, чувствует себя избранным. Пройдя в зону жрален и дьюти-фри, он понимает, что вот она — вершина мира! Любимец фортуны явственно ощущает, что круг избранных отныне для него открыт. Спина его автоматически распрямляется, а рот начинает слегка кривить ироническая ухмылка бывалого путешественника. Это состояние лёгкой эйфории от причастности к небу, путешествиям и, как я уже говорил, кругу избранных, напоминает временное и весьма забавное помешательство. Женщины перед посадкой активно фотографируются на фоне самолётов, устало ползущих к трапам. Фотографии можно будет постить в «одноклассниках» и «ВК» ровно два года, до следующего полёта в турецкие края. Красиво прогнувшаяся спинка, отставленная, откоряченная попка и сложенные подобием бантика губки непременно соберут энную тонну лайков. Мужики оседают в креслах заведений, спят у выходов на сиденьях ожидания, торчат со смартфонами, аки подсолнухи, посреди залов и непрерывно ищут отсутствующую в принципе в аэропорту зону для курения. Гости столицы, возвращающиеся домой, шумят, удобно заняв три ряда кресел на пять человек. Смеются и громко обсуждают проходящих женщин. Но так как говорят они на своём языке, то всем на это наплевать. Все равно никто, кроме меня, этого не понимает. Для других их речь лишь набор гортанных, щёлкающих и свистящих звуков. Завсегдааи аэропорта, кочевники поневоле, отличаются спокойствием и отсутствием эмоциональных перепадов. Они скучны. Большую часть времени читают или спят, забившись в какой-нибудь уголок. Никогда не

встают в выстраивающуюся очередь при объявлении посадки и всегда чётко просыпаются к её окончанию, чтобы, пройдя сквозь стеклянные двери в кишку трапа, перенестись на тысячи километров. А после ещё, а потом ещё. И так бесконечно.

В свободе моего современника отсутствует сам экзистенциальный компонент свободы. Научно-технический прогресс и освобождение человека от необходимости прикладывать усилия при выполнении привычных, повседневных действий вовсе не сделало его свободнее. Напротив — человек попал в ловушку простого выбора и выбрал потреблять вместо творить. С этого момента он всё сильнее и сильнее затягивает у себя на шею пластиковые шнуры от зарядных устройств и всевозможных гаджетов. Цацек и модных вещей. Высочайшая потребность в социализации парадоксально сочетается с тяжёлым и порою невыносимым одиночеством в муравьиной суете огромных мегаполисов. Человек превращён в винт. Источник дешёвой рабочей силы. Оглулён и оглушён. Жизнь его коротка, иллюзорна. Она оставляет оскомину недоумения — а была ли жизнь вообще? Не нужно обманывать себя — сильным мира сего вовсе не нужен образованный и творческий человек. Такой не будет послушным и бессловесным. Такой опасен. Сеет смуту и возбуждает напряжение. Именно поэтому у нас сейчас подавляется спрос на настоящую литературу, науку и образование. Говоря «у нас», я имею в виду весь человеческий мир, не только Россию. Но о России следует сказать отдельно. При всей её кажущейся простоте, простоте людей, здесь живущих, мировому капиталу так и не удалось до конца раздавить человеческое в человеке. Хотя в девяностых представители капитала добились весьма впечатляющих результатов.

О многом хочется написать. Ветер за окном скрипит замёрзшей ветвью карагача, метёт. Хочется написать о том, что жив и надеюсь. О боли в простуженном плече, на два вдоха стреляющей в грудь. Об усталости и приконченных нервах. Чёртовы траблы на работе. О боли более сильной от разлуки с дочерьми. О любви неистовой, что не даёт осесть мешком в сугроб, когда я тащусь в надоевший отель под горой. О том, что жизнь и смерть столь близко, что кажется, что ничего не закончилось в девяносто шестом, когда я приехал домой. О том, что погиб лыжник, которого не успели спасти ребята из МЧС. Для которых тоже ничего не закончилось, так как большинство из них — те же бывшие солдаты и отставные офицеры. Что сны странны и безумны. Как сегодня ночью, когда вдруг проснулся и ощутил явственно чьё-то присутствие. Встал, нащупал выключатель, щёлкнул, но тьма не рассеялась. Отель был мёртв и пуст.

Вышел в коридор, постоял у двери в номер, прошёл дальше и пощёлкал выключателем в коридоре, но свет не включился. Ходил по мёртвой гостинице. Лучи света от фонаря, проникая в окна, искрились инеем на столах, стойке администратора. Темень. Опять проснулся и понял, что это был сон. И опять всё повторилось, и опять, и опять... Так несколько раз. Вложенные сны, как я их называю. О тоске по ушедшему в прошлое. О том, что ничего не изменить и ни черта не легче от того, что это не моя вина. И что вряд ли я мог бы вообще изменить хоть что-то. О судьбе. О том, что все мы лишь мгновение в бесконечности Вселенной, о которой не знаем ничего. Как не знаем ничего ни о себе, ни о живущих рядом. О Боге, который не оставляет человека даже тогда, когда человеку кажется что он лишь прах.

Однажды, когда я был у бабушки в доме, у неё тогда был свой дом, я залез под крышу сарая. Там было уютно и пахло сеном. Я ползал там по старым доскам и не заметил несколько снятых. Я был мал. Может быть, года четыре? Я не помню. Помню лишь запахи и блеск солнечных лучей, проникавших сквозь щели. В них кружились чешуйки соломы. И пыль, которую я поднимал, пронизываемая лучами, образовывала светлые дорожки. Я не заметил несколько снятых досок и провалился в хлев. К свиньям. Они были большие. Хряк, три-четыре огромных свиньи и столько же поросят. Корова стояла рядом, за стеной, но я угодил к свиньям. Бояться свиней и падений я не умел, травмы не получил, так как навоз, ясное дело, мягкий. Помню, что они здорово толкались, эти туши, между которых я закатился. И, наверное, они бы меня сожрали, но бабушка, заметив моё отсутствие, забеспокоилась и везде меня искала. Она ворвалась в хлев и вытащила меня. Так она первый раз спасла мне жизнь. Она спасала мне жизнь не однажды. И я этого не забуду никогда. Её нет уже много лет, но я до сих пор иногда, когда закрываю глаза, слышу её молитву шёпотом. На непонятном мне древнем русском языке. Она была православной. Русской. Настоящей, сильной женщиной. Люблю её.

Я инженер. В ранней юности я и предположить не мог, что жизнь моя сложится именно так. Что мне придётся работать с металлом и огнём. С высоким напряжением и автоматическими устройствами. С агрегатами столь мощными и огромными, что порою трудно представить. Многие бы испугались лишь грохота и шума, которые они издают. Приходилось лезть и в подземелья, и работать на высоте. Балансировать на двадцатисантиметровой ширины двутавре. Разумеется, без страховки. В воде зимой. Много всего было. Многого вспоминать не хочется. Хочется изречь метафору.

Часто мне приходилось исправлять ошибки других людей. Намеренный брак. Когда люди ленятся и торопятся, они часто портят то, что можно было бы сделать хорошо. Например, забивают шурупы, вместо того, чтобы их закручивать. Или даже болты. Я видел и такое. Понятно, что то, что должно работать, разваливается и распадается при таком подходе. И с людьми то же самое. Коли уж, простите за прямоту, у людей резьбы разные, то не стоит силой забиваться в друг друга. Такой союз обречён распасться. Но что хуже, при этом люди срывают друг другу резьбы напрочь. А после уже не смогут больше «накрутиться» на того, с кем должно было бы найти своё счастье. Явный брак может навсегда забраковать человека. А так как люди — система, система, соединённая очень прочно и гибко, имеющая определённые степени свободы, но при этом имеющая довольно жёсткую зависимость узлов и точек сборки друг от друга, то вред весьма масштабный. И никакая дефектоскопия не поможет разобраться. Берегите себя и окружающих. Трудитесь над жизнью честно. Без брака.

Любите своих близких здесь и сейчас. Не стоит откладывать выражение своих чувств на потом, завтра, когда будет время. Единственное, что совершенно не терпит отлагательства и не должно быть отложено на потом, — тепло, которое испытывает человек, думая о своих близких. Пусть они знают о ваших чувствах. Поверьте — вы ни при каких обстоятельствах не вспомните о своём классном мобильнике или машине в последний момент. И не будете сожалеть о куске пластика с цифрами или заляпанных старых или хрустящих новых купюрах. Нет. Вы будете думать даже не о себе, так как в этот момент это будет лишено всякого смысла. И только любовь спасёт и проведёт через все тернии, став осязаемой и реальной защитой, когда этот мир растворится в тумане и рассыплется в ничто. Только тепло неразрывно связанных душ. А там это превратится в прекрасные сны, точно так же, как превращаются в сны для нас те, кто уже там. Границы между мирами условны и не имеют значения для любящих истинно. По-настоящему.

Как много случайного в нашей жизни. Случайное рождение при практически невозможном совпадении множества отдельных факторов, начиная от той обезьяны, которая в не лучшее для себя время свалилась с дерева и, чтобы защитить себя от нападающего хищника, схватилась за случайно оказавшуюся рядом палку. Хотя, и вполне вероятно, она вовсе не была нашим предком, а лишь той обезьянкой, которая потом стала любимым питомцем в доме мужчины, который хищника отогнал. Случайно оказавшись рядом с этим деревом.

Затем нелепо, невероятно и непостижимым образом встретил именно ту женщину, которая родила ему детей, которые играли с этой обезьянкой в своём жилище, в случайной пещере, хижине или вигваме. А после была бесконечная случайная последовательность случайных происшествий, которые привели к тому, что в случайном роддоме или избе повитухи, в случайном городе или деревне родился розовый, голый и скользкий малыш, который волею случая сумел вытолкнуть из лёгких околоплодные воды и, вздохнув в первый раз в своей случайнейшей жизни, смог закричать. Это вызвало новую лавину случайностей, способных свести с ума любой самый совершенный компьютер при условии случайно загруженных в него данных случайным безумным программистом, случайно захотевшим это всё просчитать. А всё потому, что, устав от тяжёлой рутины составления алгоритмов расчёта случайностей, он случайно и со злости оттого, что пролил кофе на клавиатуру, решил запустить программу раньше срока. Розовый карапуз, совершенно непонятно как уцелевший во всех детских передерягах и реальных опасностях случайных инфекций, рос, мучал и созревал. А превратившись в серого и скучного дядьку, решил поведать миру о своём неслучайном происхождении и увенчать собой Великое Творение. Именно так и сказал: «Человек — венец природы». Звучит гордо и правильно. Господи, если Ты вдруг существуешь, прости нам наше дурацкое самомнение и слепоту. Безумную гордыню деревянной щепки, отколотой случайной молнией со случайного дерева, плывущей в бесконечность по случайному ручью. И подумаешь обо всём этом, помедитируешь, и приходит понимание, что всё это настолько случайно, что невозможно умишком охватить величие и бесконечность Мироздания. Это смотреть в бездну. А значит, бояться, гордиться, жрать без меры, виноватить себя и всё вокруг, убивать и красть — не имеет никакого смысла. Так как все эти поползновения низкого духа лишь следствие самого большого греха. Гордыни, которая присуща только человеку. Из чего следует одно — коли уж так крупно повезло, необходимо использовать столь невероятную удачу сполна и сделать что-нибудь настоящее. Созидать и творить. Так как лишь это возможное истинное призвание и задача существа, прошедшего столь долгий путь. Быть полезным миру.

Всё странно. Вышел, клацнул ключом зажигания, скрежетнул в замке, а авто скрипнуло и заводиться отказалось. Пришлось пускач маленький достать. Чудесная штука. Раньше я бы скакал на морозе пару часиков, пока не нашёл бы согласного поделиться аккумуляторным зарядом, а сейчас — прищёлкнул крокодильчики на клеммы, сунул развём в пауэрбанк и завёл. Дел на полминуты. Крутнул и поехал.

До чего же дошёл прогресс! Рулил по ночному городу, смотрел, какой он праздничный и красивый, и думал—Суета. Всё суета. И глубокомысленно возносился над этой суетностью. А потом засмеялся над собой. Высоколобий зануда! В том-то и фокус! Воротя нос от жизни, истины не найти. Здесь она. В этом броуновском пару январской ночи, на раскатанном колёсами и отшлифованном, заплёванном мутном льду. В испарениях и мареве огромного города. В этих людях с красными мокрыми носами. Страшных и съёжившихся. Во мне, совершенно таком же, как и они. Замученном до бессонницы бытовухой. Забывшем, что Человек звучит гордо. В тяжёло ищущем Бога слепце, не видящем лика Его, который отражён во всём окружающем. Во мне, не умеющем, но страшно и мучительно желающем научиться любить.

Как интересно устроено человеческое воображение. Молотит не останавливаясь. Пока был в душе, десять-пятнадцать минут, увидел жизнь двух прекрасных и странно родных и близких мне людей во всех подробностях. Подумал—...хороший бы вышел рассказ... Как в параллельный мир заглянул. И прожил среди них жизнь. Даже имена сами всплыли. Так может, это правда, что ничего мы не выдумываем, а видим каким-то особым зрением? Видим другую реальность и события там происходящие? Теперь я понимаю, отчего так интересно читать мастеров слова. Они ничего не измыслили. Они были свидетелями.

Люди нуждаются в сказках. В сказках и фантастических историях, дающих надежду. В не лгущих напраपालую авторах. В добрых и разумных сочинителях, способных говорить и повествовать от имени миров, где добро побеждает зло, где боль и ненависть рубцуются и сшиваются добром и любовью. Где жизнь вечная гармонична и светла. Где истина совершенна и явственна. Потому что жить стоит только тогда, когда есть надежда.

Злом зла не победить. Яростью спокойной жизни не построить. Но с фразой гуляющей мемом по сети: «Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... руку предплечьем наружу, левым кулаком со всей силы в солнечное сплетение и правым локтем—в челюсть»—я согласен полностью. Она очень хорошо описывает необходимые и правильные реакции на внешнюю агрессию спокойного и нормального человека. Без ярости, злобы и фанатизма решающего возникшую проблему. Добро и зло часто размыты в современном обществе, замыливаются и расплываются. Однако, чтобы не потерять ориентиры и берега, существуют чёткие правила, пронесённые человечеством от начала времён. Что ещё более точно описывает основы «хорошо и плохо», чем заповеди? Ведь понятно,

что жить—хорошо, а погибнуть—плохо. Раз для меня это так, то и для другого соответственно? Получается, жить для него—хорошо, но погибнуть также—плохо. Таким образом, убивая его, посягнув на его жизнь,—поступлю плохо? Сотворю зло? Всё очень логично, просто и точно. Так можно все заповеди, примерив на себя, проверить на истинность. Раз мы определились, что такое зло, значит, нужно ему противодействовать. Иначе оно подомнёт всё. Друзей, родных, самого тебя, мир. Бороться с ним необходимо, но злом зла не победить. Так его можно лишь приумножить. Но что же делать? Я восхищаюсь мудростью людей, живших десятки тысяч лет назад. Они сказали—«подставь другую...», т. е. реагируй спокойно. Без ярости, не порождая ответного зла в своей душе. Это важнее. Важнее душу свою защитить. Так как конечной целью зла является именно душа человека. Завладев ею—оно одержит победу. Поэтому необходима спокойная, разумная и адекватная реакция. Врач, вырезающий опухоль у пациента, не колотит по ней молотком в ярости, он просто спокойно удаляет её из тела больного. Воин, вынужденный уничтожать врага, должен делать это спокойно. Без варварского энтузиазма или беспричинной ярости. Выполняя трудную и опасную, но необходимую работу. Человек должен понимать, что то, что он делает, правильно. Необходимо. А для того чтобы человек был способен это понимать, нужно, чтобы он был полноценным. Осознанным. Настоящим. Получил полноценное образование, жил в нормальной человеческой семье, где есть любящие папа и мама, а не родители №1 и №2. Чтобы понятия о хорошем и плохом не были перевернуты с ног на голову, чтобы основные и главные правила человеческого общества не попирались, а были ясны, понятны, непреложны и осознанно приняты каждым. Тогда возможно построение общества, прочно основанного на понятиях добра и справедливости. К сожалению, с осознанием людьми себя, своей сути и предназначения у нас сейчас очень большие проблемы. Отсюда перекосы, нервные болезни, неуверенность в завтрашнем дне, непреходящее чувство вины. Так как человек не может понять, прав ли он, совершая какой либо поступок, или нет. И как вообще нужно, правильно? Есть и другие. Те, кому плевать на всё и всех. Отсутствие совести и чувства вины при аморальном поведении. Абсолютное крушение ценностных ориентиров, слом внутренней системы координат—тяжёлая патология, в конечном итоге приводящая к гибели. Поэтому, я считаю, что нужно возродить систему воспитания думающего человека, обладающего широким кругозором. А для этого нужны серьёзные инструменты. Такие, как набор настоящих знаний, основанных на научных фактах, критическое мышление, которое воспитывается в человеке

настоящими наставниками, а не проходными людьми. Необходимо научить человека работать и над духом своим, а не полагаться во всём лишь на материю. Может быть, тогда фронт борьбы добра и зла хоть немного стабилизируется. Но пока у меня полное ощущение, что мы проигрываем по всему фронту.

Думаю о доступности информации во времени. Многие полагают, что с развитием информационных технологий и совершенствованием технических средств хранения исторические данные станут легче защитить от искажения. Дескать, мы плохо представляем события пятисотлетней давности, да что там—столетней давности, а теперь-то уж мы всё сохраним. О себе напишем,

оставим чёткий след. Наши потомки всё будут представлять прекрасно и помнить хорошо. А я считаю, что с развитием всех этих замечательных технологий риск искажения истории и обольщения потомков только возрастает. Так как средства манипуляции данными становятся всё более совершенны. Одним нажатием клавиши на одном конце мира можно изменить тысячи копий текста на другом. Быстро, тихо и эффективно. Существуют копии книг в электронном формате, настоящих, несущих подлинные знания, энциклопедии, но большинство людей читает Википедию и их совершенно не интересуют научно доказанные факты! Впрочем, теперь очень часто научно доказанное таковым вовсе не является. И разобраться очень непросто.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №11-12 | 2005

Римма Казакова

Самоанализ



Говорю не с горечью, не с болью,
но, презрев наивное враньё:
самой безответною любовью
любим мы отечество своё.

То ли у него нас слишком много...
И не стоит спрашивать так строго,
требовать,
грубить
и тербить?

Может быть, не брошен, не несчастен
каждый, кто к отечеству причастен
долгом и достоинством—
любить...

И пускай оно не отвечает,
нас не замечает,
не венчает...

Ну а мы в просторах долгих лет
понимаем и с плеча не рубим.

Просто любим.
Безответно любим.

Но сама любовь—
и есть ответ.



Были в детстве счастливые сказки,
уносили они, как салазки,
по снегам, по лугам и по снегу—
и дарили отвагу и негу.

Надоело мне верить политикам,
надоело быть винтиком, нытиком,
надоели бездарные встряски,
возвращаюсь в забытые сказки!

И иду я не в Кремль, а к соседу,
непростую веду с ним беседу...
И, решив, что ответ не отыщем,
подаю неимушим и нищим.

Всё окрашено в добрую краску,
всё похоже на детскую сказку.
Никто запретить мне не в силах—
поступать, словно в сказках красивых.

Что в душе моей—то и наружу.
Так живу,—без тоски и опаски,
ибо знаю: и лажу, и стужу
побеждают счастливые сказки.

Владимир Шанин

Одиночество сильного человека

Михаил Семёнович Перевозчиков — автор книг «Марьина заводь», «Два выстрела», «Братья», «Староверы» и многих публикаций в коллективных сборниках, журналах, газетах. Лауреат международной премии юнеско «Гран-при» за сценарий фильма о коренных народностях Сибири «Оторванные ветром от костра» (1994). Умер в ночь с 25 на 26 февраля 1993 года. А мы, его друзья, в декабре того же года готовились отмечать 65-летие со дня рождения талантливого писателя.

Трудно в это поверить, однако всё произошло так, как он сам себе напророчил: «Вот закончу своих „Староверов“, а там и помереть можно!» Сказал вроде бы в шутку, с улыбкой, а в серых глазах стояла тоска. Я возразил, дескать, чего это ты заговорил о смерти, тебе ещё дочь надо поставить на ноги и вторую книгу «Братьев» закончить, не говоря уж о «Староверах». Михаил с иронией, скорее даже с сарказмом, свойственным его манере отвечать, когда чем-то недоволен или не доверяет, резко выдохнул:

— Х-хо! В наше время писатели долго не живут. А впрочем, они всегда рано умирали. Исключения — не в счёт. Мне бы только «Староверов» «добить» да спонсора подыскать, — и, взяв несколько листков из стопы отпечатанной рукописи, сказал: — Послушай, если есть время, как на слух воспринимается...

«...В этот час о раннем отъезде прогорланили петухи и, словно по уговору, из молчаливых изб один за другим потянулись к заутрене старики и старухи в дом наставника, где молельня. Мы в ожидании катера вышли на берег, и — чудо! — из-за хребта как раз брызнуло солнце, озолотило деревья ближнего острова, и над туманом среди Бирюсы макушки трёх самых высоких елей ближнего острова вдруг превратились в маковки загадочного монастыря, даже угадывались кресты. Что это? — у меня мурашки по коже. От ветерка туман колыбался и розовел, отражал восход, казалось, что сказочный монастырь изнутри излучает свет и плывёт по реке, приближаясь к деревне, вот-вот сторожкую тишину и туман разорвут колокольные звуки, оповестят к заутрене...».

— По-моему, неплохо, — сказал я, когда Михаил кончил читать и вопросительно посмотрел на меня сквозь толстые стёкла очков.

Михаил вздохнул:

— Конечно, материал богатейший, мог бы развить его в роман или большую повесть, но, боюсь, не успею закончить. А так хочется, чтобы моих «Староверов» прочитали мои староверы, я им слово дал написать всю правду о них. Только бы найти спонсора!

Спонсора Михаил нашёл и бумагу достал подешевле, пришлось обить немало порогов, многим поклоняться, чего делать не любил, не в его это было характере, но что поделаешь? Кровь из носу, а книга должна выйти в свет: обещал ведь! Раньше, при советской власти, было проще: принёс рукопись в издательство, её отрецензировали, включили в план — и вот она перед глазами, ещё пахнет типографской краской, выстрадавшая ночами, такая родная и вроде бы как чужая, незнакомая, в строгой непривычной «одежке». Рукопись превратилась в книгу. Теперь же всё по-другому, и непонятно, по какому правилу: есть у тебя деньги — издавай хоть что, нет денег — гениальная рукопись останется невостребованной. Я говорил Михаилу, что так долго продолжаться не может, когда писатель платит за свой труд. Михаил снисходительно хмыкал, потом сказал, что у него мало времени ждать. Он торопился жить. И торопился хоть что-то успеть сделать.

Своих «Староверов» он подарил мне, как только получил сигнальный номер из типографии. Тоненькая, в тонкой коричневой обложке, с рисунком горящей избы и буквами церковнославянского начертания, она захватила меня своей густой, плотно насыщенной грозными событиями строгой прозы, и я не мог остановиться, пока не дочитал её до конца. Прочитал и подумал, что, пожалуй, Михаил был прав, отказавшись от основы романа, написав документальное повествование о трагедии сибирских старообрядцев советского времени, потому что был бы второй «Хмель» или что-то вроде того, причём наверняка хуже, чем это сделал Алексей Черкасов. Повторяться Михаилу было не с руки, а рассказать о том, что знал и о чём болела душа, нужно было.

Он ходил по комнате в серых валенках, неспешно пришаркивая, потом сел в своё рабочее кресло, накрытое полушубком, вдавил спину в белый мех и вытянул ноги под письменным столом.

— Мозжа-ат,— поморщился, оглаживая колени.

— Артроз?

— Не знаю. Наверное. Ног ведь мы по молодости разве жалели? Сказалось, видимо, многолетнее странствие по Таймыру, где и тонуть приходилось в ледяной воде и не раз мёрзнуть, ночуя в заснеженной тундре, и обмораживать ноги, а как итог—заболевание артерий. Беда! Лечащий врач, кажется, сделал всё возможное, а болезнь прогрессирует.

Михаил помолчал, собираясь, как видно, с мыслями, наконец лицо его просветлело каким-то далёким приятным воспоминаниям.

— В народе бытует мнение, мол, врач только лечит, а исцеляет—природа,—заговорил он задумчиво, массируя колени тонкими пальцами.—И с этой верой однажды я решил отправиться на таёжное озеро Плахино, благо, что путь знаком. Но и опаска была: тайга да ещё перевал—доберусь ли туда на своих двоих?.. Была и надежда: к озеру, говорят, иные добираются на костылях, зато обратно идут чуть ли не танцуя... Вдруг, думаю, и мне поможет? Плахино—это по имени деревни, что стоит неподалёку, а вообще-то озеро называется Никольское. Ещё в шестьдесят пятом году, будучи в Абанском районе, я впервые узнал о нём, о чудесной воде и морозе, как называют местные жители ил-сапропель со дна озера. В ней целебная сила. Журналисты ещё то озеро «не открыли», а его загадки и тайны обросли чуть ли не легендами...

Михаил всё же съездил туда, сколь смог полегчил, а думал прежде всего о том, чтобы донести до читателя правду о целительном озере. Так появился в «Красноярском рабочем» большой материал «Из блокнота писателя» под заголовком «Живая вода».

«По вечерам,—писал Михаил Перевозчиков,—собираясь возле костров, мы прикидывали, что станет с озером и окрестностями лет через десять-пятнадцать, и чаще всего недоумевали, почему уникальное озеро не имеет хозяина? Как сохранить окружающую красоту и помочь людям, жаждущим здоровья и радости? И пришли к выводу: нужен здесь дом отдыха или пансионат, куда бы люди ехали по путёвкам. Много раздумий вызвала эта поездка. Имея в Сибири целебные водоёмы, пора бы их приблизить к народу, организовав в таких местах нормальные условия для лечения. Это, пожалуй, гораздо эффективнее, чем строить больницы в черте загазованных городов. Что тормозит? Прежде всего непредприимчивость и равнодушие местного руководства. По поводу озера, в частности, мне заявили, дескать, пошлешь туда медсестру—запросят врача, откроешь ларёк—начнутся жалобы, мол, почему перебои, допустим, с хлебом. Зачем лишние хлопоты? Лучше уж так. На нет и суда нет...».

За несколько дней перед смертью Михаил целыми днями бродил на своих больных ногах по большому городу, во все углы которого постепенно вползала бесцеремонная иностранщина в виде многочисленных фирм и фирмочек, ларьков и палаток с нерусскими названиями и «забуторным шумтём», с оглушающей какофонией, называемой почему-то музыкой, с видеозалами, в которых бывшие комсомольские работники крутят кино, сотворённое на манер американского, где в открытую, в деталях и подробностях преподносят тайное из тайных человека разумного—совокупление. Михаил пристраивал для продажи тираж своих «Староверов» куда только мог. А вечером, уставший и обессиленный, падал в кресло с меховой подстилкой, включал телевизор, смотрел новости или хоккей, возмущался крикливой эстрадой—так называемой попсой—популярной самодеятельностью, изо всех сил старающейся догнать и перегнать Высоцкого в подражательстве его хриплому голосу.

В конце 1992 года, перед новогодними праздниками, скоропостижно скончался старейший сибирский писатель, бывший тесть Михаила, Константин Николаевич Шней-Красиков. В день похорон был крепкий мороз, народу приехало немного. Наскоро попрощавшись с покойным, произнесли положенные по такому случаю речи. Отделение солдат под командой молоденького продрогшего лейтенанта трижды пальнули в небо из автоматов, гроб опустили в могилу, и Михаил как бы самому себе произнёс негромкие, тоской и скорбью помеченные слова:

— Ушёл от нас ещё один ветеран. Кто следующий?..

«Следующим» оказался он сам.

Накануне Дня Советской армии антикварный магазин «Дар», существующий тогда при писательской организации, которым заведовал писатель Сергей Задереев (ныне он хозяин художественного салона «Дар»), одарил писателей-мужчин походной алюминиевой фляжкой и неведомой доселе книгой А. Флегона «За пределами русских словарей», которую теперь достать почти невозможно. Меня попросили отнести подарки домой больному Перевозчикову. Я позвонил Михаилу, он сказал, что всегда рад видеть меня у себя и похвастался, что есть у него немного благородной рыбы—друзья-северяне прислали, да картошка в мундире, а вот вина, чтобы угостить, к сожалению, в доме нет...

Я пришёл с поллитровочкой, с подарками в честь праздника, Михаил высыпал в чашку пышущую жаром картошку, поставил на журнальный столик тарелочку с ломтиками малосольной стерляди, и мы выпили водки «по первой». Михаил, правда, лишь пригубил и отставил рюмку.

— Ты на меня не смотри, пей, а я поостерегусь.— Он взял Флегона, повертел в руках, полистал, ещё не читая, и, прибавив, что выпил бы, но нельзя,

пожаловался:—На днях сердце так прихватило, думал—всё, конец, но ничего, оклемался.

Последнее время он жил один и своим одиночеством явно тяготился. Гостеприимный, хлебосольный, поддерживающий дружбу со всяким бродягой, с которым когда-либо встречался, и всю жизнь проведший в путешествиях, он всегда радовался приходу друзей, звонил сам и приглашал в гости—пообщаться, поговорить... Получилось так, что молодая жена (третья по счёту) после тяжёлой размовки уехала в Новосибирск к матери и забрала любимицу-дочь Машеньку, в которой Михаил души не чаял, и потому сильно страдал. Характер у него был—не сахар, к тому же он весь уходил в работу, мало заботился о семье. А дочерей он своих любил всех: и от первого брака двух девочек, уже взрослых, и от второго—вытравившуюся тонкой тростинкой, почти невесту, и от третьей... Машеньку он просто обожал. И это беленькое ласковое создание тянулось к нему. Он всем помогал чем только мог, и дочери навещали его, звонили, справлялись о здоровье, советовались, поздравляли с праздниками, в день рождения дарили подарок.

...Мы просидели весь долгий зимний вечер, обговорили все новости, искурили всю махорку. Михаил листал Флегона, всхлахывал, как мальчишка, над цитатами классиков, умилявшими его своей непосредственной скабрёзностью. А на другой день его видели в городе озабоченным, страдающим без курева. На сигареты, которые тогда можно было купить только у спекулянтов в тридорога, у Михаила не было денег. Он курил

как одержимый махорку да ещё хвалил её—дёшево, мол, и сердито... Видели его и на другой день, а в ночь с 25-го на 26-е его не стало.

Член Союза писателей СССР Михаил Семёнович Перевозчиков, проживший трудную жизнь со всеми своими скитаниями, метаниями, падениями и взлётами, скончался, не приходя в сознание, в реанимации скорой медицинской помощи, которая находилась напротив дома, в котором он жил. Соседи рассказывали: когда с ним случился удар, он сам позвонил в «скорую», сам открыл докторам дверь, успел сказать, чтобы ключ от квартиры передали соседям, и потерял сознание. Его увезли, и домой, в пустую квартиру, он уже не вернулся. Многие полагали, что если бы кто-нибудь был с ним в тот самый час, может быть, этого и не случилось бы. Надо прямо сказать: убило его одиночество. Человек, писатель, жизнелюб, имевший много друзей, казалось бы, не должен быть одиноким, но в том-то и парадокс сильного человека. Михаил ни для кого не хотел быть обузой и после смерти: похоронить себя завещал подальше от города, на кладбище деревни Бугачёвой, что под Красноярском, где погребён его брат, убитый во время межнациональной драки.

Далека от нас, живых, его могила, до которой не так-то легко добраться: сначала надо ехать на электричке до остановки «Овинный», пройти километра два редким березняком и подняться на голый взлобок. Прошло с тех пор пятнадцать лет. Не затерялась бы эта одинокая могила нашего друга, писателя, одинокого человека, среди новых и новых захоронений, которым уже несть числа.

Марина Саввиных

Аксаковский полдень, или Молодые думают по-русски

1.

Оренбург— удивительный город. Кажется, воздушные потоки, гуляющие над ним, находятся в непрерывном соперничестве... летишь этак из Москвы— почти на всём протяжении маршрута небушко ясное, под крылом проплывают ничем не прикрытые разноцветные квадраты, прямоугольники и параллелограммы сельхозугодий, лесные массивы, сверху похожие на широко разбросанные хлопья рыжей, бурой и зеленоватой пены, нитки речек и ленточки рек... и— вдруг, когда командир воздушного судна уже объявил снижение, откуда ни возьмись, прямо под брюхом самолёта— без всякой видимой подготовки— обнаруживаются такие массы облаков, что страшно становится... дальше— больше, облака всё сгущаются, на глазах превращаются в грозные тучи, начинают даже попыхивать электричеством, и хуже того— опускаются чуть ли не до самой земли, переходя в непроницаемый туман...

Честно говоря, после случая с сочинской аварийной посадкой в грозу... я даже несколько оробела... самолёт садился буквально под дождём. Но— поверите ли?— как только мы благополучно приземлились, влагоизлияние с небес прекратилось, тучки разбежались, стало проглядывать солнышко.

А когда минут через двадцать из аэропорта мы примчались собственно в Оренбург, над городом не было ни облачка, и солнце жарило вовсю. Конец сентября. Под открытым небом— +25.

И так все четыре дня моего пребывания на оренбургской земле— дождь сменяется ярким солнцем и наоборот буквально каждые полчаса, а облака летают здесь так низко, что хочется встать на цыпочки, потянуться и схватить плывущий над головой соблазнительный комочек сладкой ваты...

Мистические места! Рано утром 20 сентября я фотографировала рассвет из окна десятого этажа гостиницы «Факел». Каково же было моё удивление, когда, просматривая снимки, на одном из них я обнаружила... нЛО! Никак иначе странную— по всей вероятности, гигантскую— конструкцию высоко-высоко в небе, над облачной грядой, ни я сама, никто из друзей, даже имеющих сугубо техническое образование, объяснить так и не смогли.

А впоследствии оказалось, что нЛО для Оренбуржья— явление совсем не редкое. Например, в начале 2000-х туристы несколько раз видели цилиндры со светящимися отверстиями над рекой Сакмарой. А местные краеведы рассказывают, что здесь огромное количество древних могильников, городов исчезнувших народов, кладов и археологических находок, шахт и карстовых провалов, а также магнитных аномалий. Так что ничего особенного. Обыкновенное чудо.

2.

В конце сентября в Оренбургской области— традиционные Аксаковские дни. Под их благосклонным солнцем успешно стартовало Всероссийское совещание молодых литераторов «Мы выросли в России», в котором я работала руководителем секции поэзии. Участники совещания были приглашены в результате строгого конкурсного отбора. Из 153 соискателей ведущими сотрудниками ГБУК «Областной Дом литераторов им. С. Т. Аксакова» выбрано сорок финалистов— по десять для каждой секции. Кроме «поэтической рубрики», были ещё секции прозы, публицистики и фантастики. Чтобы поработать с молодыми писателями, приехали из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Севастополя Л. П. Быков, Н. А. Ягодинцева, Арсен Титов, Андрей Щербак-Жуков и Платон Беседин. Да и оренбургские мастера не преминули принять участие в деле наставления литературной молодёжи на путь истинный. Тут были Виталий Молчанов, Наталья Кожевникова, Пётр Краснов, Вячеслав Моисеев, Диана Кан... Открывали семинар-совещание в областной научной универсальной библиотеке им. Н. К. Крупской. Библиотека старинная. И несмотря на модернизацию, придавшую её архитектурному облику и интерьерам вполне современный вид, заметно стремление и городских властей, и самих библиотекарей по возможности сохранить исторический воздух книжного царства, удержать наследие, не прерывать традиции. Сам факт неприкосновенности имени жены и соратницы вождя социалистической революции и основателя Советского государства в названии библиотеки говорит о многом. В Оренбурге

с предельной бережностью относятся к памяти и памятникам. Любим.

Самый знаменитый памятник, конечно,—мост между Европой и Азией. Путеводитель сообщает: «Первый мост из дерева через реку Урал соорудили в 1835 году. Каждый год после весеннего половодья его приходилось ремонтировать. Современную конструкцию из металла построили только в 1982 году. Мост имеет определенное символическое значение, так как по нему пешеходы попадают из Европы в Азию и обратно. С набережной Урала на него можно подняться по широкой лестнице с классической балюстрадой». Добавлю, для этой цели имеется и фуникулёр. В позапрошлом году, когда я приезжала в Оренбург для участия в фестивале «Красная гора», мы с моей милой спутницей Дианой Кан и пешочком по мосту прошли, и по канатной дороге над Уралом проплыли. Говорят, правда, что «канатка» эта убыточна... но если закроют, будет жал! Вид сверху на реку, её берега, на город и ближайшие окрестности—просто великолепен.

Пушкин и Даль, Чкалов и Гагарин... имена, оренбуржцам более чем не чужие. И горожане, я убедилась, гордятся прославленными соотечественниками и именитыми гостями не менее, чем знаменитым на весь мир рукодельным промыслом—оренбургскими пуховыми изделиями. Гильдия оренбургских пуховниц каких только чудес не выпускает в свет—от традиционных платков до пончо, жилетов, перчаток и носков. Всякий раз, возвращаясь из Оренбурга, привожу с собой несколько таких шедевров. Но подруг у меня много, и я в кратчайшие сроки умудряюсь раздарить свою роскошную добычу, так что, оказавшись в Оренбурге снова, бегу по знакомым адресам—за красотой.

Конференц-зал библиотеки полон. За круглым столом и вокруг—заинтересованные персоны: писатели, журналисты, представители литературной общественности, студенты, творческая молодёжь... Участников семинара-совещания приветствовали первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Владимировна Лигостаева, один из вдохновителей семинара-совещания, поэт, директор Областного дома литераторов им. Сергея Аксакова, председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Виталий Молчанов, директор Оренбургской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Людмила Павловна Сковородко.

Сразу после открытия мне была дана возможность представить публике наш журнал «День и ночь»,

его историю, редколлегия, редакцию и авторов, в том числе и тех, кто находился тут же, в зале... 25 лет журналу! все выходившие к микрофону нас поздравляли сердечно, произносили стихи и... задравные речи. Это было очень трогательно.

Во второй половине дня молодые писатели работали в секциях. Поэты разместились в Оренбургском Доме литераторов.

Этот дом—уникален. Он расположен на улице Правды, что само по себе воспринимается то ли как намёк, то ли как завет. Здание—памятник регионального значения. Двухэтажный кирпичный особняк с очаровательным внутренним двориком, уютным залом для встреч и маленьким, но плотным книгохранилищем,—стал надёжной пристанью и для редакции литературного журнала «Гостиный двор», переживающего ныне новый этап своей истории. Ещё совсем недавно это оригинальное, со своим неповторимым обликом и голосом периодическое издание выходило в статусе альманаха. Теперь вот, слава Богу, журнал. Яркая планета в кругу российских региональных журналов, всё более активно и последовательно поддерживающих развитие писательской профессии и читательского интереса к творческой продукции современных литераторов.

Возглавляет «Гостиный двор» поэт Наталья Кожевникова. Её постоянным—вне всякого регламента—трудом обеспечена присущая каждому номеру атмосфера высокого художественного вкуса, изысканность содержания и формы и то разнообразие имён, тем и жанров, без которого сегодня не обходится ни один уважающий себя литературный журнал. В этом году Наталья Юрьевна отметила юбилей (не стану уточнять сумму лет, ибо женщине столько лет, на сколько она выглядит, а выглядит Наталья Юрьевна, как... дай Бог каждой из нас выглядеть в самую цветущую пору жизни), у неё вышла новая книга стихов—вот и «Гостиный двор» преобразается, становится всё более живым, активным, воодушевляюще талантливым. Дай Бог!



Не октябрь, а одно пепелище,
Вместо облака—запах золы.
Опустело к обеду жилище,
Кто-то вымыл до блеска полы.
Бесполезна мольба—нет ответа
Потрясённой душе. И готов
За пределами жизни и света
Опуститься небесный покров.
Солнце встало в углу и не светит.
И не знают, не знают во мгле
Первый снег и пронзительный ветер,
Что тебя уже нет на земле...

(Наталья Кожевникова)

Не упущу случая рассказать и о директоре Дома литераторов—Виталии Митрофановиче Молчанове. Во-первых, это поэт очень непростого, я бы сказала, внутренне противоречивого дарования. Его муза преисполнена той особой Православной горячности (даже и не тепла, а именно—страстности, подчас возвышающейся до точки кипения), которая порождает правдоискателей и бунтарей. При этом стихам Молчанова часто свойственна повествовательность, а иногда—совершенно европейский—балладный дух. Путешествуя, встречаясь с людьми, поэт как бы заряжается от всего встретившегося на пути острым грозным электричеством, которое затем должно ударить такой же силы разрядом по сердцам и нервам читателей. Не случайно его новая книга, только что изданная в Москве, так и называется «Свѣтъ». Но и в другой своей ипостаси—руководителя, организатора и хозяйственника—Молчанов показывает не менее мощный темперамент. Сам факт удержания за писателями Дома литераторов в Оренбурге—весьма показателен. Можно припомнить множество адресов по всей России, где прежде были Дома писателей, а теперь... их там нет. И если кто-то думает, что не отдавать столь лакомый кусочек в центре города в некие цепкие предприимчивые лапы легко,—то это глубочайшее заблуждение. Нелегко. И суды, и пересуды, и борьба, и маленькие, но травматичные внутренние войны—всё это было и есть. Но Молчанов—держится. И не просто держится, а непрерывно будоражит всех вокруг новыми проектами. Одних только литературных премий, поддерживаемых Домом литераторов, в Оренбургской области—четыре. Не говорю уже о фестивалях, семинарах, летних школах для талантливых детей и других всевозможных формах развития литературного процесса. Как говорится, снимаю шляпу.

Наталья Юрьевна и Виталий Митрофанович—мои коллеги на секции поэзии. Честно говоря, мы не заметили, как промелькнуло отпущенное нам время. Участники, ребята и девушки, по первому ощущению—сильные. Мало того что, опираясь на плечи великих предшественников (их влияние в работах наших семинаристов было весьма заметно), они бросаются в бой за право следовать за ними (иногда, правда, отрицая прерогативы наследников), так они ещё и обсуждать друг друга умеют без насмешек, оскорблений и уничижительных вердиктов. Это большой плюс! Совсем вечером молодёжь ещё читала стихи и наслаждалась общением в оренбургском «Некафе». А я в гостиничном номере допоздна разбирала рукописи.

Валентину Устинову

Есть новости—от них спасенья нет...
Ты навсегда ушёл... И пепел
Всех недокуренных тобою сигарет,
С небес, как снег, летит, крылат и светел.

О чем мечтал ты в двадцать лет, отец?
О доблестях, о подвигах, о славе?
Ты теплоту остуженных сердец
Будил, я осуждать тебя не вправе

За то, что был ты от меня далёк.
За то, что ты не знал мои печали.
Что от разлуки долгой ты продрог
И счастлив был в разлуке той едва ли.

И за стихи, что ты не дописал,
И за любовь, не ставшую судьбою.
За те слова, что ты мне не сказал,
За женщин, недолюбленных тобою.
(Анастасия Устинова)

Городу на Неве

— А что там, в Питере?

— Дождь, конечно.

Насупив брови изящных арок,
Умытый город на старом Невском
Ответит звонкой струной гитары.

Чирикнет Чижик с ночной Фонтанки,
Ловя на счастье ещё монету.
Закружат волны в игривом танце
Цветной баркас с запоздавшим летом.

Елагин остров упрямой белкой
Качнёт смешливо макушку клёна.
Скрипуче крыши Адмиралтейской
Застынут тенью в дверном проёме.

Дворцовый мост заиграет польку,
Мигнув украдкой в морщинках стен.
И дождь прошепчет: ты лишь иголка
В щедро насыпанном стоге сена.

А Питер молча обнимет всех.
(Анна Терентьева)

Здесь утром, видя скисшим молоко,
Молочник узнаёт о вашей смерти...

Иосиф Бродский

Я вырос в том городе, где по кресту у подъезда узнают о смерти;
Там, где не приход священника говорил о причине ухода,
Пока десятки глаз отражали уважение
К человеку, сделавшему свой последний выбор.

Там, где голос вступал в борьбу с молчанием,
Где напевы молитвы заставляли одуматься

И взглянуть на себя, как на жертву времени,
Что упадёт однажды в объятия земли...

(Илья Щербинин)

3.

21 сентября участники семинара-совещания «Мы выросли в России» долго-долго ехали из Оренбурга в Бугуруслан. Дорога—прекрасная во всех отношениях. Да со мной рядом ещё и дорогая сердцу собеседница... Сколько идей рождается, а зачастую и проверяется в таких дорожных разговорах! ехали мы ехали—наконец приехали! Бугуруслан—очаровательный городок. На вкус жителя мегаполиса—слегка заторможенный... но—бесконечно милый!

Мы с молодыми поэтами завершили обсуждение рукописей (ещё и ещё убеждаюсь: при всей своей раскованности в критике друг друга литературная молодёжь всё-таки умеет критикой не унижать, не бросать кирпичи на неокрепшие крылья... с нами в своё время поступали куда как... строже).



Есть только мир, и только мы,
Единственные в этом мире,
К изменчивой, но вещей лире
Склоняем пыльные умы.

Не знаем, как проляжет путь,
Зловещий признак чёрной масти—
Неотделима боль от страсти,
Но в этом жизнь и жизни суть!

И, отщепенцы-чужаки,
Мы—воплощение свободы,
Незримо нас минуют годы
Под лёгкий взмах твоей руки.
(Елизавета Курдикова)



По осколкам души, по ведущим к обрыву тропинкам,
По наглядным примерам падений, по стёртым следам,
По спасительным роцам Забвения—гордости в пику—
Мы бродили, покуда неистовый ветер сметал—
Миг за мигом—уверенных в том, что душа первородна,
Что отнюдь не кусок пирога есть конечная цель.
Но, поскольку нельзя круглый год оставаться голодным,
Взяли нас на прицел—и Господь изменился в лице.
Что теперь вялый бред о навеки потерянном Рае,
Коль победа стекла по обвисшим—что плети—рукам?
Новый день—по текущим расценкам—не стоит стараний;
И не важно, что будет потом—не потоп, так вулкан.
(Иван Попов)

...а вечером был концерт в городском театре. Ох, показалось мне, будто некая временная лапа перенесла меня в годы моей ранней юности... не знаю даже, порадовало меня это или огорчило.

Ностальгическое переживание, конечно, имело место. Но. Всё время думалось о заброшенности наших малых городов, об их отчуждённости от всяческих «трендов»... хотя—возможно, именно в этой отчуждённости и кроется великая сила для будущего... Народ, его культура, речь, нравственность, ценности, если где и сохраняются почти в нетронутom состоянии, то только вот в такой глубинке, заповеднике честной, преисполненной достоинства народной души!

На следующее утро весь писательский табор снова снялся с места и под настойчивым сентябрьским солнышком помчался в Аксаково.

4.

Четыре года назад я впервые побывала в этих местах. Тёплые и радостные воспоминания счастливо всколыхнулись теперь в душе! Аксаково... предчувствие осенних головокружений, падений и парений... а так-то—бабье лето. Оно, родимое.

Неспешно прохаживаясь по аллеям и тропинкам аксаковской усадьбы, поневоле вспоминаешь о той, прошлой, жизни, которая тихо, но полнокровно здесь протекала... и как же душе было не петь, не радоваться, не сплетаться с этими ветвями, листьями, водами, небесами, облаками?

Ах, славно было тут жить Сергею Тимофеевичу со чада и домочадцы, даже и принимая во внимание все беды и проблемы, без которых вряд ли нашлась бы семья и в тогдашней, и в нынешней России, поневоле завидуешь им... И нам нынче славно было вновь причаститься светлому духу этого места. Аксаковский праздник принял нас, как старых знакомых.

А какой потрясающий концерт под открытым небом дала на импровизированной сцене Оренбургская областная филармония! Какие голоса! Воистину мирового уровня! (Как же мы иногда неразборчивы в провозглашении «звёзд» и кумиров! и как беспечны и расточительны, когда речь идёт о подлинных талантах, настоящих—без глупостей и протекций!). Елена Гусева, Елена Богуславская... волшебные сопрано! просто чудо! И баритон хорш, и камерный оркестр... и вся эта дивная музыка органично сливалась с пейзажем и общим настроением людей.

Награждали лауреатов Аксаковской премии—Арсена Титова и Вячеслава Моисеева, вручали сертификаты на издание книг участникам семинара-совещания «Мы выросли в России», читали стихи... а я ещё успела взять интервью у замечательного оренбургского писателя—классика современной русской литературы—Петра Краснова...

Мы шли по тропинке—мимо пруда, заросшего такими старыми ивами, что одну из них уже признали «памятником природы» и запретили к ней прикасаться... она склонилась над прудом, как донна Анна над могилой Командора. Словно бы пресытившись славой, древняя, печальная, прекрасная... Вдали, на импровизированной сцене, «разминался» камерный оркестр, где-то малиновым звоном рассыпался колокол, нас постоянно обгоняли и навстречу нам шли, громко смеясь и переговариваясь на ходу, гости праздника, но мы, увлечённые беседой, очень скоро перестали обращать на это внимание.

А говорили о насущном...

мс. Как Вы думаете, Пётр Николаевич, то состояние писательского сообщества, которое возникло в конце 80—начале 90-х годов, которое многих поссорило и, мне кажется, очень дурную службу сослужило русской словесности, оно, это состояние враждебности, сейчас продолжается или всё же как-то преодолевается? И вообще, есть ли возможность это преодолеть? И нужно ли это преодолевать? Нужно ли, чтобы мы все были вместе, как раньше, или это совершеннейшая утопия, иллюзия?

пк. Дело в том, что всё это—часть очередной Русской Смуты. А в смуту всегда всякие разногласия и противоречия, порой вторичные по значению, вылезают наверх... И не только на дневную, как говорится, поверхность, но и пробиваются во всё: в социальные взаимоотношения, в психологию людей. Подымается наверх вся эта донная муть, и начинается раздраз. Думаю, что это неизбежным было. Просто те противоречия, которые были в скрытом, латентном состоянии, неминуемо должны были всплыть, и в любую переломную эпоху они обязательно всплывают и начинают глушить всё доброе, что было наработано до этого. К великому сожалению, это объективно обусловленное, реальное состояние нынешнего нашего общества, в том числе и писательского сообщества. И теперь приходится как-то выправлять всё это. Но это процесс очень долгий и не без серьёзных конфликтов, которые уже были и ещё будут.

мс. В чём суть этих противоречий? Вы говорите—это объективные вещи... в чём суть? Между чем и чем? Чего поделить-то никак мы не можем? Только ли в идеологическом плане эти разногласия существуют?

пк. В идейном плане—это само собой. В каком-то смысле это продолжение гражданской войны за ценностные основы, ориентиры, а они у разных слоёв народа нашего подчас весьма разнятся. Такого рода гражданская война всегда идёт, в любом обществе, только в более или менее

скрытой форме она идёт. Другое дело, что в нашем литературном сообществе это, прежде всего, конфликт между бездарностями и талантами, и он принимает самые разные формы, в том числе порой и чисто политическое разделение на патриотов и либералов, хотя ни то ни другое не гарантирует литературного качества. Угарный официозный «патриотизм» заслуживает тех же кавычек, что и «либерализм»—большой охотник до «апелляций к городовому», как в октябре 1993 года. К настоящему свободолобию он не имеет никакого отношения, разве что к «свободе для больших денег», для олигархата, около которых жирно и с несварением желудка кормится. Освобождаясь по пути от всяких нравственных обязательств, впадая в постмодерн и всяческие изыски психологического характера, вплоть до неприкрытого сатанизма, одно слово—люмпен-интеллигенция... Так что вечного мира ждать не приходится. Потому что это, по сути, более или менее «нормальное» состояние человеческого общества вообще. В этом перманентном нескончаемом споре, попытках добиться взаимопонимания, очень часто неудачных, конца не проглядывается. Что поделаешь, так устроены люди, так они устраивают свои сообщества. Такой человек. Человека «разрешить», вывести его на нравственный путь, решить все человеческие проблемы, на мой взгляд, может только чудо.

мс. А как Вы думаете, наша Православная церковь способна хотя бы как-то к этому чуду подвигнуть русских людей?

пк. К чуду—нет, конечно же. К чуду может людей подвигнуть только Сам Господь Бог. Свои капли масла на бушующие воды человечества Церковь, конечно, пытается пролить, сгладить противоречия. Но её роль сегодняшняя ведь тоже во многом политическая. С этим ничего не поделаешь. Тем паче сейчас, когда старое поколение батюшек, которые прошли Крым и Рим, как говорится, прошли вместе с народом все испытания, почти полностью сменилось на новую генерацию священников, частенько заточенных на экспансию, в том числе и на союз с богатыми, на олигархию, мягко сказать—малонравственную... Причём количество школ у нас скоро сравняется с количеством церквей. По последним данным, в стране уже 36 тысяч приходов и ещё 6 тысяч отданных Церкви, но ещё не введённых в строй храмов, и 43 тысячи школ. Как видите, почти сравнялось. Но количество-то школ быстро убывает—вместе с сёлами, деревнями. Тысячи деревень за последние три десятка лет исчезли, стёрты с лица земли дикими «реформами». Мало того, даже относительно большие сёла, и те находятся, можно сказать,

в явной социальной прострации. Всё захватили зерновые и прочие латифундии чуть ли не латиноамериканского образца. Им социалка и все прочие нужды деревни, как говорится, до фонаря. Им подавай прибыль с земли. Работают из села два-три десятка механизаторов, доярок — и всё, остальные выживай, кто как сможет, к тому же и сельская инфраструктура в давно запущенном состоянии. Так что и сама окормляющая роль Церкви (но ведь и кормящейся с весьма небогатого нашего народа) в этом смысле тоже покороблина, политически встроена в нынешние вопиюще несправедливые, неправомерные отношения в обществе, и потому тут ожидать от неё и от нас самих особых подвижек в нравственном одолении Смуты пока не приходится. И это мы видим уже тридцать с лишним лет...

МС. Так что же делать-то? Меня всегда поражают необыкновенные размеры России. Я только в Калининграде, пожалуй, не была, а так... скажем, от Ленинграда до Южно-Сахалинска... и самолётом, и поездом... с запада на восток, с востока на запад, с севера на юг, с юга на север... я всё извездила. Меня поражают всегда эти огромные пространства. Мало населённые.

ПК. Которые надо сшивать — не только политически, но и не в меньшей степени культурно.

МС. Сшивать! И совершенно удивительный народ. Ведь даже само понятие «народ» сейчас как-то... стало проблемным! У нас был «великий советский» народ... сейчас всё расплозлось, распалось... и к самому понятию «народ» возникло такое отношение, как к чему-то пафосному, ненужному, избыточному, придуманному, навязанному...

ПК. Тем не менее народ существует. Другое дело, что численно народ не всегда равен населению...

МС. Мы это чувствуем, но он пребывает сейчас в состоянии какого-то недоумения и полураспада. Мы понимаем, что это плохо, что с этим нужно что-то делать, трудно в России найти человека — только уж совсем отморозки об этом не думают, — который бы не мучился этим вопросом. Так вот... сидишь ли в парикмахерской — об этом разговариваешь с людьми... едешь ли в такси — с таксистом разговариваешь... у всех состояние недоумения и ожидания чего-то ужасного. И люди не понимают, что делать. Наше образование совершенно перестало этим заниматься, оно работает на диссоциацию. Вы говорите, и Церковь не справляется с этой ролью. Писатели в каком-то разброде, непонятно, чем они занимаются. Про писательские Союзы даже и не говорю уже. Они приравнены

к клубам по интересам. Но ведь русский народ... начиная, пожалуй, с конца 17 века становился всё более и более литературоцентричным. Со второй половины 19 века и весь 20 век эта литературоцентричность была определяющим фактором в духовном развитии народа.

ПК. Верхних социальных слоёв народа преимущественно. А в деревнях не сказать, чтобы очень интересовались литературой или чем-то таким, в наших понятиях, глубоким. Но было великое, не меньше, устное народное творчество — былины, сказки, песни. Из него, как из почвы, и выросла русская литература.

МС. Но сельская интеллигенция до сих пор вызывает у меня восхищение. Учителя, врачи... ведь очень многое для этого делали!

ПК. И сейчас делают, традиции сильные. Только вот государство не может ещё определиться, что же оно хочет получить на выходе — творца или потребителя?

МС. Моё поколение... последний троечник Коля, девятиклассник обычной школы в городе Красноярске, свободно цитировал целые куски из «Евгения Онегина», мог спорить до хрипоты о героях «Войны и мира» или «Преступления и наказания». Даже на таком, ниже среднего, уровне люди понимали, что это такое. Я не верю, что и сейчас (тридцать лет после т.н. «совка») есть глухая деревня, где проживает некий среднего возраста алкаш-мужичонка, у которого хоть что-то такое не теплилось бы в душе и не трепетало...

ПК. Заложенное в детстве в человеке очень сильно, на это именно и рассчитано классическое воспитание. Непонятно только, на что рассчитывает эта так называемая «элита» кремлёвская, введя Болонскую систему. С нею наша наука долго не протянет, а с этим и само государство... Её сейчас стараются держать на уровне именно воспитанники советской, классической педагогики — как и литературу, культуру вообще. Широко образованные, разносторонне развитые. Сказывается это воспитание даже и на троечниках, как вы сказали...

МС. Вот это и важно! Потому что на Западе этого нет вообще. А у русского человека это есть.

ПК. Ну не зря же мы были самой читающей страной в мире. Чтение хороших книг — решающее в деле народной культуры и сейчас, во времена ТВ и интернета.

МС. Так, может, действительно задача писателей — служить... слово «скрепы» — красивое слово, но и оно уже подаётся в каком-то извращённом, искажённом виде. Так «скрепам»

надо служить, надо самому быть «скрепой». Мы сейчас работали на семинаре молодых писателей. Я спрашиваю ребят: а зачем вам это? в чём вы видите цель своей работы? Потому что писательский труд — это труд. Ра-бо-та. Это не просто так... как один мой знакомый писатель говорит: поэта рвёт стихами. Кому интересна твоя рвота, пардон? Писатель работает! Если вы понимаете, что это труд, надо работать... зачем вам это? И как-то мы не пришли к какому-то общему пониманию... как Вам кажется, сейчас ради чего писатель работает, если вынести за скобки все эти наши разногласия, идеологические и прочие? Что заставляет нас, несмотря на то, что мы сейчас работаем в условиях, невероятно тяжёлых, приближённых к фронтовым... ради чего?

пк. Во-первых, настоящее понимание цели и смысла литературы возникает далеко не у всех. И не может возникнуть у всех, кто за первые пробы пера берётся. Или даже у тех, кто долго работает, давно пишет. Мотиваций тут много может быть, начиная с инстинкта самовыражения. Дело тут в том ещё, что в литературной иерархии, как у горной вершины, бывают и склоны свои, и подножья. Поэтому требовать от всех чёткого понимания, чёткого осознания истинных целей и смыслов, как и своего места в мире, не приходится. Пробиваются по-настоящему талантливые, да и то не все, жизнь к талантам и ревнива, щедро на испытания, и неимоверно строга подчас. Немало более или менее способных, хватает и дельцов околотитературных, которые своего рода карьеру на этом строят... мало ли кого не тянет на литературные подмости. Но вот это ожидание и желание высокого, я бы даже сказал — тяга к идеалу, действительно живёт в русских людях, независимо даже от социального положения. Это высокое и является почвой для литературы, для суждения о смыслах жизни. Это основа, фундамент нашего народа, на который мы надеемся, в который я бесконечно верю. В ком-то это просыпается и зовёт к действию, деяниям, в ком-то дремлет, но это желание идеала живёт в народе, слава Богу! И если народ всё же находится по многим навязанным политическим причинам в некой растерянности, даже якобы в прострации, то это обманчивое впечатление. Потому что осмысление всего произошедшего в стране, всех этих пресловутых «перестроек» и «реформ» идёт очень медленно... да, медленно мельют мельницы Божьи. Не сразу нарабатывается новый опыт исторический, но осмысление всё-таки происходит. Посмотрите хотя бы на разницу, например, в отношении к записным «демократам» в начале 90-х и в дне

сегодняшнем... Народ многое стал понимать и соответственно реагировать. Другое дело, что ему не дают это мнение и понимание выразить в значительном историческом действе, да он и сам ещё не вполне готов к этому. Но то, что общий настрой переменялся во многом и волей-неволей подталкивает правящие круги к необходимым и давно назревшим переменам — это же видно. Та же реакция на пенсионную реформу так называемую...

мс. Знаете, какая у меня мысль возникла. Помните, Некрасов мечтал, что «не милорда глупого, а Белинского и Гоголя» мужик с базара понесёт? Какую книгу, как Вы думаете, люди будут искать, покупать... не то, что навязывается нам бесконечно... прости Господи, даже имена называть не буду, чтобы в грех не впасть... понятно, что людям это не нужно, они не читают это... это читает только ускользающее ничтожная прослойка «антилигенции», считающая себя очень высоколобой. Но — что жаждущий идеала русский человек ищет? Чего он хочет? Чего от писателей ждёт? Потому что он явно чего-то ждёт! Он ждёт Слова. Совершенно определённо.

пк. Ждёт, конечно же. Ждёт подсказки, как выйти из этого нынешнего пагубного состояния. Речь даже не о том, что мы можем что-то дать, какие-то книги, произведения свои. В нынешней ситуации с мизерными тиражами и с той же схваченной дельцами книготорговлей нам тут намеренно обрезаны все возможности распространения честного слова.

мс. Искать, брать, издавать, возить, предлагать людям, действовать активно...

пк. Что мы и пытаемся делать. Но одно дело — издать двухсоттысячным тиражом, а другое дело — двести экземпляров...

мс. Ну да... мы — Давиды против Голиафа. Каждый из нас — такой, почти микроскопический по массе, Давид против этого жуткого Голиафа.

пк. Нет, Давид был в куда как лучшем положении... Но мы-то вместе со своим народом, вернее — частью его являемся. Зато пресловутый Голиаф сейчас за охраняемыми периметрами, зная силу нашу — увы, потенциальную пока.

мс. Конечно! Мы ощущаем это, и в этом — наша сила! И знаете, о чём я сейчас подумала. Ведь эта чудовищная контрреволюция, которую мы восприняли как освобождение в 91-м году, была подготовлена и учинена именно писателями, властителями душ...

пк. Нет, средствами информации массовой. А если отчасти и писателями, то далеко-далеко не всеми. Много ли в «Апреле» их было?

мс. Не всеми, да. Но очень многими, слишком многими. Я помню, как жадно мы ловили те самые публикации в «Новом мире», в «Октябре» тогдашнем... нам казалось, наконец-то открылась Правда! Которую от нас скрывали.

пк. Я никогда так не считал и с момента поражения ГКЧП понимал, в какую мерзкую яму нас всех затаскивают.

мс. Вы—опытнее! А я-то как раз из тех людей, которые были захвачены эйфорией перемен. Помню, как 21 августа 91-го я плакала, глядя на российский триколор, который взвился над зданием нашей городской администрации. Я рыдала. Я была так счастлива! Наконец-то—свобода!

пк. Ну да, наконец-то Боровой поднял этот флаг торгашей... это же с его подачи. Так под ним проторговались, что до сих пор все убытки не можем подсчитать. И продолжаем в том же духе торговать—врагам на радость...

мс. Может быть, действительно победа над монстром, который тогда захватил... я часто говорю: наш мир захватили гоблины. Может быть, победа над этим страшным гоблином огромным—тоже в наших руках? Может быть, именно у писателей есть возможность медленно, планомерно, методично разворачивать народ в сторону признания высших духовных ценностей?

пк. Пытаемся делать, но и силы не равны, и само общество «не созрело», не готово твёрдо настоять на нужных переменах... А тот Яблочный Спас 19–21 сентября в плане мировоззренческом, духовном—для меня стал самым чёрным днём. Я прекрасно тогда понимал, что происходит. Я восемь лет жил в Москве и поэтому был достаточно подготовлен к пониманию того контрреволюционного переворота... Конечно, были среди «демократов» и честные писатели, впавшие в эйфорию обещанных свобод, но в основном-то это была окололитературщина всякая, прикормленная журналистика, с «Московского комсомольца», «Московских новостей» начиная и всей прочей лакейской либеральной швали. В гламурном «Огонёк», «оплоте демократии», ещё за несколько лет до контрреволюционного переворота всю уже воровали редакционные, казённые деньги... Рвались к власти, чтобы ограбить и народ, и государство. И теперь-то это всё достаточно обнажилось и народ понял наконец-то, что тогда происходило на самом деле. Большинство народное попросту было обмануто массовой пропагандой, тем, что Андрей Фурсов назвал смрадом—средствами массовой рекламы, агитации и дезинформации... Обмануть народ не так уж трудно, если за это берётся

сама верхушка, примеров в истории сотни, из ближайших—украинская драма, перешедшая в трагедию. Ну обманули—а дальше что? Мы-то свою работу старались, стараемся и будем стараться проводить, но, повторяю, осознание народом того положения, в которое его затащили, в которое он сам достаточно покорно шёл,—дело это очень долгое. Сравнительно долгое. И пока нынешняя «антисистема», как я её называю, в нынешнем нашем государстве существует—иного не будет... Она, кстати, сама подрывает свои основы, сама пожирает себя, и тут приходится ждать не только пробуждения народа, но и того момента, когда эта антисистема сама пожрёт себя, выродится вконец—до ситуации, когда «верхи не могут, низы не хотят». А то, что она это поневоле делает, мы тоже видим. Так что это двоякий процесс. Вспомните, сколько Россия вылезала из своей первой Русской Смуты при воцарении Романовых. Для этого ведь потребовалось не менее полувека.

мс. А потом она в новую впала. Едва высунула нос из старой—как тут же впала в новую.

пк. Нет, совсем иное тогда было, государство росло, расширялось, крепла его мощь. Да, кризисы были неизбежны, как во всяком растущем организме, но они преодолевались усилиями и элиты, и самого народа. Происходили и другие значимые процессы, на которые, кстати, современная историческая наука почему-то не обращает никакого внимания. А ведь у нас с середины 18 века верховную власть перехватили немцы и, до предела ужесточив крепостничество, превратили его фактически в колониализм—внутренний, обращённый против русского в основном населения. И прямые последствия этого привели к Смуте начала 20 века. А немцами они так и не перестали быть... вы помните хоть один законный брак императора на русской, Рюриковне или из какого другого древнего русского рода? Немецкое засилье сыграло тогда весьма пагубную роль во всей нашей последующей истории...

мс. Это очень долгий, серьёзный разговор. Мы отдельно об этом поговорим. Я бы с удовольствием опубликовала Ваши статьи на эту тему. То, о чём Вы говорите, указывает на одну из важнейших причин, которыми обусловлен глубокий раскол между правящими кругами России, т. н. «элитой», и русским народом. «Элита» была инокультурная, инородная и даже иноязычная...

пк. Да, дело в том, что после смерти Петра Первого, с середины 18 века, русская элита отдала в чужие руки верховную власть и, по сути дела, утратила вместе с нею и стратегическое, проектное

мышление, саму возможность постановки и достижения своих, русских долговременных целей, то, что называют прозревающей в грядущее «длинной волей»... И если в западных странах больше грабили свои внешние колониальные приобретения, то у нас этот гнёт лег целиком на русское подавляющее большинство, на крестьян, составлявших до 85% населения...

мс. Да. Разговор долгий. Чувствую, сейчас нас уже позовут на концерт, так что—последний вопрос... Вы руководили секцией прозы. Буквально в двух словах. Есть ли у Вас оптимизм по части молодой русской прозы?

пк. В этом отношении у меня оптимизм был и есть всегда. Я верю в духовные и художнические силы нашего народа. Талантливые люди у нас есть и будут появляться, проявляться. Другое дело, что не надо здесь предъявлять молодёжи какие-то завышенные ожидания. Талант—явление штучное, редкое. Поэтому я вполне удовлетворён нынешним семинаром. Ребята стараются. Главное, они находятся в поиске, а не в опущенном состоянии, как «золотые» сынки-дочки богатеньких. И сейчас мы проявили на нескольких наших секциях способных ребят. Дадим им небольшие гранты, чтобы они могли издать свою первую книжечку. Ведь семинар—это только верхушка нашей воспитательной работы. А мы её ведём в нашем областном оренбургском Доме литераторов, в писательских организациях ежедневно, можно сказать. Так что литературное дело движется, интерес к нему продолжает оставаться в народе огромным и появление новых талантов попросту «запрограммировано» в самом сло-воцентричном коде нашего народа.

5.

Говорят, belles lettres—это не «что», а «как». Но когда речь заходит о молодых литераторах, то любопытствующих чаще всего интересует как раз—«что», вернее, «о чём». О чём они пишут, о чём думают, что их беспокоит, «по ком звонит колокол»? Ответ, как ни парадоксально, всё тот же: по тебе, по тебе они звонит, спрашивающий... по всему, что тебе дорого, что для тебя свято. Что бы это ни было, в конце концов. Звон колокола отчётливо слышен в стихах и прозе молодых. Их обуревают тревога, снедает печаль, терзают отчаяние и боль. Но—отрадно, что всё чаще и чаще в лавинном потоке «актуальных» текстов наталкиваешься на размышления, апеллирующие к здравому смыслу читателя, к его способности не «вестись» на бесовские приманки, но понимать происходящее. Вот, например, как увидел одно из событий, возбудивших мировую паутину, молодой писатель, москвич (и крымчанин).

ГЕОРГИЙ ПАНКРАТОВ

Не время для драконов

О неожиданном уроке, который преподнесли нам Оксимирон и Гнойный и который может пригодиться каждому

Признаюсь, меня удивило и возмутило присутствие новости про баттл Оксимирона и Гнойного в топе Яндекса. Да, новость хорошая, интересная, спору нет, но неужели в стране не происходит ничего другого, более важного, заслуживающего большего внимания? Всё-таки место таким новостям в специализированном сегменте. В то время как топ Яндекса—это что-то вроде программы «Время», это официальные новости страны. И начинать их с баттла? Мне кажется такое неприемлемым.

Во-вторых (а может, даже и во-первых), вызывает раздражение сам по себе информационный повод: не «Гнойный победил Оксимирона», а именно «Количество просмотров баттла превысило... (и стабильно возрастающее числовое значение)». В мире, который формируют эти новости, важны не смысл и не качество, а количество просмотров—в погоне за этим показателем давно выродилась работа редакторов и журналистов всех современных сми. Именно в таком мире, где наивысшим показателем ценности чего-либо является количество просмотров, приходится жить, ведь других вариантов нет. В мире, где «кто-то посмотрел что-то такое-то количество раз»—главная новость нескольких (!) дней подряд. В мире, где со страниц любых сми и информагентств на тебя ежедневно вываливаются новости, начинающиеся со слов «в соцсетях». Хотя никто ведь не тащит в информационную повестку то, что написал на заборе хулиган Вася, или в дневник, что хранит под подушкой 15-летняя Маша, или разговор соседей на лестничной клетке во время перекура—а ведь явления-то одного порядка.

Жить в таком мире, повторяюсь, приходится, но всё это кажется глубоко неправильным.

Сразу оговорюсь, что не собираюсь заниматься морализаторством по существу самого события—я могу послушать рэп и делаю это иногда с удовольствием. Правда, ни Оксимирон, ни тем более Гнойный в круг моих музыкальных интересов никогда не входили. Ни одного трека Гнойного я так и не нашёл, у Оксимирона слышал один альбом, тот самый, что в итоге назвали «дешёвой литературой в мягкой обложке». Рэп-баттл—это по-своему интересно, талантливо и содержательно. Дело в другом. Приходится признать—и признать с явной горечью—что действительно есть и в этой новости, и в невероятном (как нас убеждают) количестве просмотров и реакции на неё, да и в самом

содержании битвы нечто выводящее её за пределы рэп-пространства прямо в рубрики «Общество», «Психология», «Культура» и подрубрику её «Литература» в частности.

«Во всём вашем человечестве мне интересен только один человек—я, то есть. Стою ли я чего-нибудь, или я такое же дерьмо, как некоторые прочие?» Возможно, именно с таким зарядом выходил на бой Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Слава КПСС. Во всей этой завершившейся истории интересен только один аспект—поражающее воображение восприятие медийными персонами и обычными сетевыми обывателями того, что сотворил на баттле Гнойный,—как победы. Причём победы блистательной.

Дело в том, что на этом баттле у его участников были совершенно разные задачи.

Первое, что бросается в глаза,—три разных никнейма Гнойного, никак между собой не связанные,—он словно жонглирует ими, выбирая наиболее соответствующий моменту и настроению. Это создаёт ощущение неуловимости, обтекаемости: сегодня он один, завтра другой, и всё время он—это он, и в то же время он никогда не он. Так же, как и с именами, Гнойный поступает со словами—главным оружием вышедшего на баттл-арену. Игра словами не выглядит виртуозной, но каждое соответствует моменту и соответствует даже не самому сопернику, а стереотипам, которые шлейфом тянутся за соперником (ведь творческий путь Оксимирана куда длиннее аналогичного маршрута Славы КПСС). Гнойный понимает, что победить нужно в первую очередь не самого Оксимирана, а тех, кто изначально ему симпатизирует, находится на его стороне—а не победить, так хотя бы заткнуть. Не Оксимирон проиграет, а судьи (в широком смысле—зрители, в самом широком—общество) назначат его проигравшим, а значит, и работать нужно с ними, на самого соперника—плевать. Вот как пишут в «Афише»: «Но, когда разговор уже ушёл в поле эмоций, слушатель перестает подвергать их критике. „Берут старую модель Reebok, лепят лого Окси, повышают цену в 2 раза“,—описывает Гнойный то, о чём не имеет представления,—раз, и что не соответствует действительности—два. Но звучит это вполне убедительно, а значит, действительно, „здесь неважно, какой факт настоящий“».

Оксимирон важен Гнойному лишь как материал для утверждения себя, Славе не интересно понимать, каков его противник настоящий, имеет значение лишь одна цель—разбить образ Окси, существующий в коллективном сознании, и освободившееся от прежнего кумира пространство максимально заполнить собой. Выяснение истины в этом «споре» не присутствовало даже на последнем месте в списке задач Гнойного. Мирон, пускай, как мне кажется, и выходил на баттл ради

другого (об этом позже), но всё-таки ставил задачу объяснить. И он объяснял. Оксимирон—человек идейный, человек наполненный, Гнойный—лишь наполняющий. Причём наполняющий тем самым, чем «ассенизатору выдали зарплату».

При этом Оксимирон произнёс много лишнего, Гнойный же говорил правильно, но чем чаще и больше он произносил правильное, тем очевидней становилось, как низка этого правильного цена. Проговаривая своё правильное, Гнойный превращал его в профанацию, в бессмыслицу в лучших примерах, и в откровенную гадость—в худших. А как ещё, если цель—не установить истину, а задавить соперника любой ценой? Любое слово хорошо, любое подойдёт—эта тактика всегда выигрышная. Такие всегда побеждают.

И действительно, когда начинаешь смотреть баттл, довольно долго симпатию вызывает только один человек—Гнойный. До тех пор, пока внезапно не обнаруживаешь, кому всё это время симпатизировал, и не ужасаешься. Судя по результатам баттла, многие не обнаруживают—и уже не обнаружат.

Особенно показательны в плане искусственности, фальши и очевидной бессмысленности слова гнойного про рэпера Рема Диггу: «За него люди шли в траншеи». Вроде бы, всё и правильно—Гнойный противопоставляет рэперов с активной позицией якобы «аполитичному» Мирону—но если вдуматься, естественно, ни за какого Рема Диггу ни в какие траншеи никто не шёл, под его музыку—может быть, но ведь это удар совершенно другой силы, согласитесь.

Мирон честно рассказывает, как сидел в Киеве на балконе и читал впечатлившую его книгу. В середине 2017 года такое признание означает одно: Крым, Донбасс и прочие забавы простолудинов—не для этого русского артиста. Но Слава КПСС со своим совершенно неуместным упоминанием Донбасса выглядел куда чудовищней: он использовал человеческую трагедию походя, как файербол не самых крупных размеров в своей личной—мелочной—борьбе.

Какое отношение имеет сам Слава КПСС к Донбассу? Да никакого, в гробу он его видел.

Но вот что удивительно—подобной фальшью многие прониклись. Публицист Дмитрий Ольшанский нашёл в выступлении «гуманистическую историю». Вот что он пишет:

«Смешно, но Оксимирон против Гнойного—это же в чистом виде журнал „Огонёк“ против „Нашего Современника“. И выяснилось, что через тридцать лет в жанре, который ну никаким образом не контролируется и не фальсифицируется кровавым режимом—йоу, „Наш Современник“ побеждает с разгромным счётом. Высокомерный, состоящий по большей части из самолюбования и—„культурность свою хочут показать“—претенциозных цитат либеральный мальчик-суперзвезда

не смог сделать нашу гнойную Славу КПСС, как до него Навальный не сумел разбить Стрелкова».

Удивительно, как человек с таким тонким чутьём и внутренним барометром, позволяющим безупречно отличать живое от мёртвого, не сумел разглядеть главного: эта «гнойная слава» — лишь конструкция, не имеющая содержания, способная наполниться чем угодно ради сиюминутной локальной задачи. И то, что она приняла форму «Нашего Современника» — крохотный эпизод, продиктованный тактической необходимостью. В народе таких, как Гнойный, называют просто: стебок. Изучать тут нечего, восхищаться тоже — стебок неглубокий и недалёкий персонаж. Он одинаково выстebet и «Огонёк», и «Современник», и «Правый сектор», и ополченцев, и Навального, и Стрелкова с Ольшанским на сдачу, и чёрта, диктующего ему текст в одно ухо, и ангела, зачитывающего в другое.

Но именно это и ценит та публика, что собирается на баттлах.

Оксимирон держался достойно, зная, что на длинной дистанции, разумеется, никакой Гнойный ему не соперник. Уже произнося свою ставшую знаменитой речь про героев, одинаковых во все времена, он понимал, да и все понимали, что баттл проигран. Эту речь про героя никто не хотел слушать, не за этим туда пришли. Её не поняли не потому что не могли, а потому что не хотели — не были настроены на эту волну.

Вот здесь-то и становится понятно, почему этот баттл действительно отражает состояние и общества, и так называемого «творческого мира» как его части. Побеждают всегда Гнойные.

Оксимирон — человек со стержнем. При том что обвинения в его адрес по части запредельного эгоцентризма и непомерно раздутого самомнения вполне справедливы, но в его «геройском раунде» нет никакой элитарности, никакого снобизма. Он рассказывает — и это именно рассказ, обстоятельный и четкий, и через этот рассказ даёт диагноз Гнойному, спокойно описывая по пунктам, что тот представляет собой как творческая, то есть созидательная единица (ничего). Это нервный Слава всё время использует слово «мразь», потому что сам факт применения этого слова к кумиру десятков тысяч призван демонстрировать смелость, оторванность и отморозченность вчерашнего «ноунейма». Оксимиру это не нужно, он давит знанием: просто потому что сам им обладает, а соперник — нет.

Кажется, в момент «геройской речи» от Оксимиона отвернулась даже та часть публики, что пришла с ним. От этих лиц веяло холодом. Все они хотели, чтобы Мирон «переславил» Славу КПСС, «перекапээсэсил» — задавил в жанре, заданном Гнойным, а не спокойно выступив в своём, за сим отклонялся. Ведь это не прикольно, это вам не Ургант с чем-то несвойственным ему на шее.

Оксимирон вёл этот баттл один против всех, и уже само по себе это вывело его на новый уровень. А победа Славы, что бы там ни утверждал Ольшанский, ни в коем случае не победа «Нашего современника». Это победа прошлого только лишь в том смысле, что это победа чистого постмодернизма, а постмодернизм давно в прошлом. Пока по нему бьют «Знаменем» и «Огоньком», он прикрывается «Нашим современником», а когда в ход пойдёт «Москва» или, допустим, «Роман-газета», Гнойный спокойно вытасит какой-нибудь «Нью Таймс» или «Медузу», да что угодно, хоть иллюстрированный альманах «Флирт» с постерами. Слава КПСС — это сорокинский Роман, который на четырёхсот-с-чем-то страницах философствует, восторгается русской природой и обществом любимой и друзей, при этом с нетерпением дожидаясь момента, когда уже можно будет достать топор и пойти рубить всю деревню к чертям собачьим, между делом испражняясь на трупы. Победа Гнойного — это победа над искренностью и свободой, но победа не «кровавого режима», что их давит и искореняет, а имитации, которая воспроизводит их форму с одной-единственной целью: притворяться, придуриваться. Пусть эта свобода (в лице Оксимиона) далеко не такая, какой многим хотелось бы, и потому она бесит и злит, но искусственная победа Славы (он вроде сам зачитал что-то про «пластмассовый мир»?) по формуле «затопчем любыми средствами, лишь бы затоптать» — злит куда сильнее. И уж тем более злит, что такой победе все рукоплещут, не желая слышать доводов соперника и разума. (А что, разум тоже бывает соперником.)

Подозреваю, что новость об этом баттле нам «подкинули» совсем не случайно — словно кость изголодавшейся собаке: смотрите, простой парень, никто, «ноунейм» (да ещё и «КПСС») уделывает выскочку, зазнайку. Торжество справедливости, победа добра над злом!

Но когда справедливость утверждается словами: «Слышь, чепуха е**ная, можешь других охмурять сонетами», — и такая модель победы вызывает всеобщий восторг, это наводит оторопь. В конце концов, за кого вы будете в «баттле» дворового гопника с научным сотрудником, возвращающимся поздно вечером домой, где аргументация точь-в-точь такая же? Но даже подобная, не слишком привлекательная справедливость мало отношения имеет к самому Гнойному. Она — всего лишь то оружие, которое он выбрал, чтобы победить. В следующий раз выберет другое.

Понятно, что личные отношения тех же Мирона и Славы нормальны, между ними нет вражды. Речь идёт о творческих соревнованиях, коим и является баттл. И продемонстрированная в нём модель неожиданно близка к тому, что происходит в нашей культуре вообще и литературе в частности,

а может, и в первую очередь. В ней легко увидеть себя, а также своих дорогих и уважаемых коллег, как некоторые говорят, «по цеху».

Люди без достижений и стремления к ним побеждают тех, кто хочет что-то сказать важное (Слава КПСС — он ведь даже не рэпер, а человек, внедрившийся в среду, чтобы над ней глумиться). При этом они громче, они суетятся, потому что те, кто им оппонируют, суетиться не любят. Хотя правда на их стороне, потому что правда вообще ведь всегда одна, но кому она нужна, правда? Те, кто ходят вокруг да около, да ещё это делают так весело, агрессивно и задорно, всегда побеждают тех, кто вгрызается в истину, стремится всеми силами схватить её за вечно ускользающий хитрый хвост. Но герои идут, их миссия в том, чтобы идти дальше — после побед, после поражений, а особенно — после таких вот встреч с Пустотой и подвижной, принимающей любые облики, имитирующей жизнь формой.

Ведь немаловажно во всей этой истории то, что Оксимирон сам вызвал на бой Гнойного. И кажется, что перед нами — живой пример ошибки, которую не стоит повторять, но вот ведь в чём дело: похоже, в нём-то и кроется смысл. Мирон вызывал Славу на бой не как дракона, не как достойного соперника. Вообще, очень хочется предположить, что он выходил на этот бой, заранее понимая, что проиграет, но я не знаю истинных мотивов Мирона. В любом случае, он наверняка понимал, что получит новый опыт, другой, отличный от битв с драконами. Оксимирон вызывал на эту битву себя и сражался на ней с собой — на протяжении всех раундов, но только в третьем это стало окончательно понятно.

Для опыта героя такое испытание бесценно: когда ты внутренне побеждаешь, и понимаешь, что ты победил, но никто не признаёт этой победы и не считает тебя победителем, когда никто не видит того, что кажется тебе очевидным, потому что просто не хочет. Потому что «г**дон в женском

монастыре» веселей, чем одинокий герой, строящий жизнь.

Когда ты проиграл в честном бою, встать всегда легче, чем когда ты победил, но этого не признали. Быть поруганным и остаться при своём. Сохранить это своё и, вздохнув, нести дальше: что ж, не понимаете, болваны, это ваши проблемы — оставайтесь в своём монастыре, а меня ждут драконы.

Я не говорю о самом Оксимироне — его переживания мне не столь интересны, да и в том, что он справится, у меня нет никаких сомнений. Я говорю, что урок, который преподнесла эта история, простирается гораздо шире пространства рэп-баттла как локального творческого соревнования. Этот баттл — отличный, универсальный пример для всех, кто думает, делает и создает — против тех, кто, согласно известному выражению, просто делает то, что значительно легче, чем ворочать мешки. Пусть и делает это по-своему талантливо.

Вы никогда не победите их. Но вот себя — можете.

6.

Аэропорт в Оренбурге — тоже своего рода артефакт. По сравнению с московскими монстрами, хотя, впрочем, и с новым красноярским тоже, это небольшая взлётно-посадочная площадка... пассажиры, собравшиеся на один и тот же рейс, увлечённо наблюдают, как садится их самолёт, как его покидают прилетевшие из Москвы, как разгружается, а потом загружается багаж... Других самолётов в это время на поле нет.

Но после разбега и прыжка железной птицы в гудящую и пружинящую высь — снова чувствуешь всем существом своим: велика Россия, а отступать — некуда. Всюду — свои, всюду — своё. И любые границы кажутся далёкими и нереальными. Как у Гоголя — помните? «Да отсюда, хоть три года скажи, ни до какого государства не доедешь». Но, может быть, и не надо «доезжать»? Вон ведь сколько всего, своего, непочатый край...

*Красноярск — Оренбург — Красноярск,
сентябрь, 2018 г.*

Михаил Синельников

Детский плач



Как я любил их! Но хлынула пена
Новых волнений и нынешних нужд.
Чувствую, что становлюсь постепенно
В сумрак ушедшим всё более чужд.

Прежде всего, я намного их старше,
И на далёкую жизни зарю
Из темноты, с высоты патриаршьей,
Как на пролог чуть наивный смотрю.

Нет, не прощусь, не расстанусь я с ними,
С теми, что в жизнь проводили юнца,
Но остаются они молодыми
И ничего не поймут до конца.



Ты в погоне за призраком славы
И за тенью последней любви,
Ну а там поднимаются травы,
Их цветенье, попробуй, прерви!

Вновь полягут волной приувялой,
Всё под снегом замрёт до весны.
Ничего и не нужно, пожалуй,
Кроме зелени и желтизны.

И не надо судьбы знаменитой,
Лишь растения детства верни!
Но опять на могильные плиты
Осыпаются тихо они.



Был детский плач невыносимым,
Теперь в нём брезжит жизнь моя.
Прильнув к своим летам и зимам,
Любовно вслушиваюсь я.

Вот у соседей, в час рассвета
Зовущее к началу дня
Нытьё томительное это
Живит и радует меня.

И сквозь текущие виденья
В сознание возникает вдруг
То, что давалось от рожденья
И перешло из звука в звук.



Над бездною стоял на дикой крутизне,
Где весь Большой Кавказ покачивался шатко,
И с детством в этот миг смешались, как во сне,
И первая любовь и воздуха нехватка.

Куда-то за угол вплывали облака,
На выступах застыв, задумались архары,
Из гулкой глубины звала меня река,
И сердца слышались тяжёлые удары.

Куда рвалась душа, как лошадь без удил?
Кто удержал её, какое Провиденье?
Зачем-то к пропастям себя я подводил.
Я и теперь ещё в паренье и в паденье.



Изменились отца фотоснимки
И теперь по-иному видны,
Словно гаснут черты невидимки,
Проступившие из желтизны.

Или вправду меняются лица,
Оттого, что томятся в плену,
Зорким душам не дав отдалиться,
Без остатка уйти в глубину.

Мне ещё предстоят перемены,
Вспять пойдут в развороте своём
Эти годы, густы и мгновенны,
Чтобы стать остановленным днём.



Я тронул камень, он и выпал,
Вдруг вывалился с жалким всхлипом
Из древней крепостной стены.
Немедля выползли мокрицы,
А камень катится, искрится,
Речной коснулся быстрины...

Во мгле, где прежде боги жили,
Орлы раздумчиво застыли,
Река не уставала течь.
Но Тот, кого не стали слушать,
Пришёл минувшее разрушить
И вам принёс не мир, но меч.



В те времена принцесс портреты
Везли порой на край земли,
Чтоб, сребролюбьем подогреты,
На них глядели короли.

Но в размышленья о приданом
Соблазна томные цвета,
Являясь в блеске богоданном,
Переносила красота.

Конечно, малость приукрасил
Художник истину, а всё ж
Роскошен жар фламандских масел,
И пыл Флоренции хорош.

И долговечны краски эти,
И вот в плену своих времён
Всё верен я Елизавете,
В Марию нежную влюблён.



— Скажи мне, ты взялась откуда?
Недавно и почти вчера
Вот это плачущее чудо
К нам выносила медсестра.

И вот уж волею природы
Растёт и, прыгая, звеня,
Смеясь и отнимая годы,
Бежит ко мне и от меня.

Душа

«Прости меня!» сказать пора бы,
Но велика моя вина,
И знают персы и арабы:
Не будет у геенны дна.

Отговорюсь каким хадисом
И чьим сочувствием спасусь?
Бежать бы к шорцам, к черемисам,
В полуязыческую Русь!

И, если приговор условен,
Всё ж больше, чем пред всеми, я
И без прощения виновен
Перед тобой, душа моя!

А ты, не ведая о гневе,
Презрев пристанище твоё,
С улыбкой, как дитя во чреве,
Глядишься в инобытие.



В ликующей одышке перевала,
Или в чаду удачи... Да, бывало
То счастье, для которого живём.
Или, когда по липовой аллее,
Одной недугом сладостным боля,
Пошли мы, взявшись за руки, вдвоём.

Иль позже, в одиночестве, на зное,
В Бишкеке, или, может быть, в Ханое,
Иль в Индии на берегу морском,
Я произнёс: «Остановись, мгновенье!»
Но время, словно ветра дуновенье,
Не слушалось и хлынуло песком.



Как море падает на камни
И тотчас прочь бежит от них,
Бывала изредка близка мне,
И плеска ропот не утих.

Потом недуг, потом больница,
Протекших лет водораздел,
И вот приехала проститься...
Как будто берег обмелел.

Что это — всё, мы знали оба,
Здесь одного хотелось ей —
Оставить не виденье гроба,
А память редких, бурных дней.

Всё вновь склоняюсь сиротливо
Над тем, что не вернётся вспять,
Как будто море в час отлива
Молю меня не забывать.



Для тебя теперь живу
И не знаю — снится,
Иль возникла наяву
Эта баловница.

Ранней радуясь весне,
Обогнав мальчишку,
В жизнь, неведомую мне,
Ты бежишь вприпрыжку.

С каждым днём на эту прыть
Глядя чуть усталей,
Я хотел бы не дожить
До твоих печалей.

Никита Брагин

Платочек на деснице



Туда, где мох и спелая морошка,
моя душа влетает спозаранку
сквозь отворённое во сне окошко,
минуя поезда и полустанки.

Еловый сумрак без конца и края
она вбирает, раскрывая очи,
и ведьминными кольцами играя,
себе самой — и родине пророчит.

Свои слова сама не понимает,
поёт их, словно песню берендеев,
и плачет вдруг, и бьётся, как немая,
увидев над собой топор злодея.

И, соскользнув по иззубренной грани,
плывёт к надежде паутинной нитью,
и в омутах сознаний и страданий
горит и говорит, что снова быть нам!

Что будет снег, пуховый, непорочный,
и будет смех, тишайший и легчайший,
и в сердце будет нежность многоточий,
зовущая всё дальше, дальше, дальше.

И будет как платочек на деснице
моя страна, где радуешься, плача,
где, умирая, улетаешь птицей
сквозь дым родной, смолистый и горячий!



Солотча милая, уснувшая в снегу
как шишка с золотыми семенами!
Поделишься со мной своими снами,
пока я твой покой постерегу?

Краса сосны и крепость кирпича
плывут косыми строчками на белом —
их тихий строй мне только что напела
заката литургийная парча.

И я спешу, родная, за тобой,
вослед изгибам луковиц и гроздьев,
по колеям в подковах и полозьях
в твой дух — и смоляной, и зерновой!



Пока безбрежность мира для тебя открыта,
пока душа лазурна и просторен ум,
тебя не беспокоят ржавые корыта,
избыток болтовни и недостаток сумм.

Но в замкнутом объёме за бетонной стенкой
ты экономишь воду, сторожишь покой,
накапливаешь мусор, собираешь пенки,
и силишься поспеть рассудком за рукой.

Ты подгоняешь время, словно эпизоды
наскучившего фильма, торопя финал,
а время подтирает памяти разводы
и ластик не спешит укладывать в пенал.



Какое счастье, тихо просыпаясь
увидеть, как печально и легко
отходит ночь, согбенная, слепая,
и сумерек снятое молоко
сочится сквозь разошедшиеся рамы
дыша студёным, талым, снеговым,
а дальше — крыш и кровель панорама
и полосой туман, а может, дым.

Какое счастье выплыть из болезни,
коснуться невесомого ковра,
почувствовать — всё жёстче, всё железней
и недоступней бедное «вчера»,
а память обвивается спиралью
вокруг души и норовит насквозь
пролиться простодушной пасторалью
на тени рук, на губы, на авось...

Какое счастье вспомнить о любимых,
пока минуты, годы и века
из прошлого текут неумоимо
как тёплая и тихая река...
Вином и мёдом наполняет устье
из океана выросший рассвет,
а за плечами тающие грусти
и жизнь, которой больше нет.



Не спрашивай, не умничай—я слышу,
что говорит любовь—резцом по камню,
рукой по струнам, а огнём—всё выше!
Наверное, сейчас о самом главном
она мне скажет. Медленно и строго
она перебирает ключья свитков,
и, кажется, иной раз даже трогать
ей больно, словно золотые слитки
из огненной печи. Горит и плачет
душа слепого мотылька, а сам он
давно забыт. На сцене лай собачий,
на всех аренах похоть и реклама,
но я всё помню. Память, словно парус,
улавливает отголоски бури,
и рвётся, и трепещет в сердце старом,
а собеседник кашляет и курит,
вычёркивает книжные глаголы,
и нашивает на язык заплаты...

Но всё равно я слышу тихий голос,
и вижу свет, клонящийся к закату.

Алёнушка

Небес отучневшее брюхо
всё лето дождём истекало,
и зелень винного духа
трещину в сердце искала,
и утро было как вечер,
и дни как сумерки длились,
и смерть с ночами делили
по мере тоски человеческой.

Ручьями радуги плыли,
и лужи цвели зеркалами,
дремало в сырой могиле
полудня светлое пламя,
молитвы творили монахи,
и вторили им мещане,
водители раздражались речами,
но всех уравнили страхи!

И всё про себя шептали—
когда ожидать потопа,
единства крови и стали
в офисах и окопах?
Кляли природу и власти,
прошлое поминая,
и память плелась, больная,
сквозь горести и напасти.

А где-то в русском раздолье,
среди земляники алой,
плача последней болью,
Алёнушка умирала!
Вьюнки пеленали рану,
вились по крови и стали,
и в гуще трав и бурьяна
кузнечики стрекотали...

Добрый пастырь

Ах, пастырь, пастырь, наши годы, что пыль
сухого камня, перекасти-поля—
взбивают её то колесо, то костыль,
сдувает ветер, и поглощает море.
А Ты всё зовёшь и продолжаешь путь,
как будто весь мир Тебе—мелованная бумага...
А как же мы? Каким великаном ни будь,
за год не пройдёшь и четверти Твоего шага.
И если споткнусь на повороте крутом,
то угасающим зрением я увижу,
как, под насмешки и плач, со своим крестом
Ты поднимаешься в гору, всё выше и выше.

Небытие или страдание—что страшней?
Если и то и другое пребудет вечно,
Ты, вселивший бесов во стадо свиней,
Ты же знаешь пути тоски человеческой?
Знаешь, доколе ещё, задыхаясь и семена,
буду плутать между пропастью и трясинкой?
Милости Отчей прошу—проводи меня
в тёмную ночь, как на войну провожают сына.



Non, mon âme jamais de toi ne s'est lassée!

Emile Verhaeren

Нет, не устала жить тобой душа
ни через двадцать лет, ни через сорок,
и каждый прошлый миг мне так же дорог,
как будущий, что к нам летит, спеша!

И в этом нескончаемом романе
всё соразмерно чувству моему—
и счастье, что я на руки возьму,
и холод неизбежных расставаний,

и колокольчик смеха в тишине,
и прядь седая на твоей ладони,
звук каблучков на солнечном перроне,
и горькие слова наедине,

мои поступки и твои обиды,
прощенье, одоление беды,
за радостью—несчётные труды,
забот и дел стога и пирамиды,

и снежный путь меж каменных громад,
ручьёв камчатских ледяные воды,
суровое объятие природы,
и будущего тайный аромат...

Оно, такое близкое, как вечер,
когда мы возвращаемся домой,
и веет свежей хвоей и зимой,
и на душе предощущенье встречи.

На Сретенье мерцает Орион,
звонящей чистотой наполнен воздух!
Мой дивный мир услышан и воссоздан,
мой скорбный дух спасён и окрылён!

Наталия Кравченко

О принцах



По кругу, по заезженной орбите
плетётся жизнь у радости в хвосте.
Я на неё однако не в обиде,
ведь дышит дух повсюду и везде.

Я еду вдаль по волчьему билету
и складываю счастьяще из цифр.
Но и такого на поверку нету —
пароль, наверно, нужен или шифр.

Гляжу в окно на уличные клипы.
Ответ в уме готовлю на семь бед.
«Билетов нет», — шумят в аллее липы,
и вся земля закрыта на обед.

Нет ходу тем, кто не ходок по трупам,
на праздник жизни, на Наташин бал.
Дворец сменился стриптизёрным клубом,
а вместо принца лыбится амбал.

Мир подменён, как туфелька кроссовкой.
Сердечный спазм кому-то просто спам,
пир всеблагих — обычная тусовка,
где пища по карману и зубам.

Мне небо льёт серебряные пули,
я бисер слов бессмысленно мечу.
Мы, кажется, друг друга обманули —
мой спор с судьбой закончился вничью.

Придумать жизнь и разыграть по нотам.
Пичугам — петь, деревьям — шелестеть,
такая уж у них с весной работа,
и дождик рассыпает щедро медь.

Всем по трудам, по вере — без обмана.
Холодный день согреется в груди.
А жизнь темнит или глядит туманно,
и вновь неясно, что там впереди.

Принц

Когда мне было восемь лет —
раздался в дверь звонок.
За дверью принц. В руках букет.
Стою, не чуя ног...

Соседку Таню он спросил.
(Всё было как во сне).
И мне едва хватило сил
сказать: «А Тани нет...

Она на даче». Принц смущён,
расстроен, удручён.
Букет, потисканный ещё,
мне в руки был вручён.

А принц шагнул через порог
и канул в никуда...
Он стал причиной столько строк,
написанных тогда!

Букет прижавши, как трофей,
приняв его всерьёз,
я на глазах у кухни всей
бегу, не пряча слёз.

И мысли об одном: скорей,
укрыться, словно тать,
от всех за створками дверей,
и плакать, и мечтать...

И было не понять самой
загадку бытия:
букет не мой, жених не мой,
а вот любовь — моя!



Твой подарок в сердце отложился,
где-то там под ложечкой храним.
Он как две забившиеся жилки
с именем рифмуется твоим.

Даже в сочинённом мною супе
лишь одно читается: люблю,
даже покосившийся твой зубик
и в носу замёрзшую соплю.

Ты мой негибачей солдатик,
принц и нищий, мальчик золотой.
Знаю, я и поздно, и некстати—
с этой глупой песенкой простой.

Бьюсь о стенки ложечкой в стакане,
слышишь—это жизнь моя звенит,
то, что не утихнет в ней веками,
навсегда вошедшее в зенит.

Да, не балерина и не Герда,
но не почернеет и в золе
то, что так отверженно и верно
для тебя лишь билось на земле.



Плывёт туман под облаками
и в сказку сонную ведёт...
Там дворник с тонкими руками
печально улицу метёт.

Его изысканные пальцы
несут лопату и ведро,
а им пошли бы больше пальцы,
смычок, гусиное перо.

О, дворник, не от сей планеты,
с дворянской косточкой внутри,
однажды мне пришёл во сне ты,
как Принц из Сент-Экзюпери.

Метла твоя волшебной кистью
всё украшала на пути...
На сердце так похожий листик
ты разгляди и не смети.

Так сны над мыслями довели,
что на обложке я вчера
«Хочу быть дворником. М. Веллер»—
«хочу быть с дворником»—прочла.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №1-2 | 2006

Татьяна Смертина

Две жизни живём



Приснилась сирень—цветущая мгла!
Гроздь пышных цветов—была тяжела.
Такую сирень плетут из сирен,
В такую сирень—уходят, как в плен.

Когда разорвёшь лиловые мглы
И выйдешь на свет, то все—не милы.
В багряных цветах почудится стынь,
И в белых цветах померкнет белинь.

Мой сон отлетел—наплыл серый день.
Но вся я была—ночная сирень.
Запастья изгиб—как ветки излом,
И вышивки все—качались крестом.

Пойду, погляжусь в зелёный родник—
Увижу сирень, пойму хоть на миг:
Две жизни живём—и та, что во снах,
Не знает времён и плачет во мглах.



Всё, что было предательским в мире,
Потемнело до чёрных глубин
И зависло, как туча в эфире,
И сплотилось вдруг в образ один:

Брови—хмурые, взгляды—опасны,
Лоб—землистый и голос—лукав.
На экранах всех теликов ясно
Он предстал, передачи прервав...

И попадали в обморок тыщи,
И заплакали тысячи враз.
На других он уставлял глазищи,
Те—с ума посходили смеясь.

Только дети и чистые девы
Равнодушно туманили взгляд,
Просто—слышали ветра напевы,
Просто—видели белый квадрат.

Вячеслав Моисеев

Между грядок грядущего

Евангелие детства

Моему отцу

Геннадью Алексеевичу

В апокрифическом Евангелии детства
Читаем, как ребёнком Иисус
(Нам никуда от этого не деться)
Творил суровый и жестокий суд.

Вот в лужице сияет свет небесный,
В неё глядит несовершеннолетний Бог.
Но воду замутил шалун безвестный,
А Иисус велел, чтоб он иссох.

Иосиф к старцу сына, чуть подрос он,
Привёл учиться грамоте, и сын
Об альфе задал простенький вопрос, но
Учитель бросил только бету на весы.

Евангелие детства — древний мрак,
Где строгий пятилетний Иисус
Над всеми, кто ведёт себя не так,
Свершает скорый и суровый суд.

И лишь палаточник Иосиф, укоряя,
Смог мальчику явить добро и зло.
И, сидя вечерами с сыном рядом,
Передавал не только ремесло,

И милосердие прохладною водою
Текло из рук отца Христу в уста,
И точно знаем нынче мы с тобою,
Откуда взялся добрый мир Христа.

Так Бога-сына научает Бог-отец,
За ремеслом палаточника скрывшись,
Так всякий сын однажды, наконец,
Отца поймёт, как бы воды напившись.

А древний сказ, как некрещёный скиф,
Скитается по миру нищим старцем.
Он жив, поскольку людям нужен миф,
И всё-таки апокрифом остался.

Сколь удивительна прозрения пора —
Всё, как положено транслятору-поэту:
Господь с дарами по ту сторону добра,
А я с Евангелием — по эту.

Корсак

Корсаком зима ступает,
Тает, солью присыпает,
Тает вновь.
Правда мне перепадает,
Но в глаза не попадает,
Только в бровь.

Ты, свинцовая невеста,
Выходи из-под ареста
На простор.
Нет ни совести, ни места,
Нет ни повести, ни жеста,
Только спор —

Трёп о бесконечном спорте,
Кто у вечности что спёр там
Для себя.
Опасаясь всё испортить,
Не даю простора спорам,
Не любя.

Мечется корсак по кругу,
Ищет верную подругу —
Нет её.
По завьюженному лугу
Он танцует буту-вугу,
Ё-моё!

На картину насмотрелся,
И в руке моей согрелся
Мастихин.

Зиму соскоблю — созрел я
Для грядущего апреля.
Но стихи

Корсаком бегут по полю:
— Дайте волю! Дайте волю
Быть с людьми!
Рифмы крошатся от боли.
— Звери, дайте сдохнуть, что ли!
— На, возьми.

Белый лес

Белый лес меня окружал, пугал,
Я тебя хотел, я всю жизнь искал,
Через лес протекает Пингал-канал.
Ты стоишь за каждым стволом.

И когда тебя обступили стволы,
Мои мысли чисты, мои руки белы,
И сквозь нервную бель, хоть мне глаз коли,
Я пойду к тебе направо.

У тебя стволов—целый белый лес,
Может, тебе надо, чтобы я исчез?
Но я, словно твой верный бес,
Всегда буду рядом.

Я всегда буду знать, что в твоём лесу,
Надо будет—от чёрных видений спасу,
На руках, на закорках тебя унесу,
Позже свидимся с адом.

Ты всё реже мне о любви говоришь,
Ты забыла Уфу, ты забыла Париж,
Ты уже не пылаешь, ты слабо горишь,
Ты можешь послать меня к чёрту.

У меня нет слов, кроме одного.
И ты чувствуешь воплощение его,
Постоянного, неизменного:
Я люблю. Остальное—по борту.



Между грядок грядущего,
Между списанных спин
Мне не надо ведущего,
Я управлюсь один.

Пролечу без пропеллера
Над ручьём и жнивьём.
Разве мало пропели мы?
Разве мало живём?

Снова сутки отстукали,
Снова год отгудел.
Маясь горюшком луковым,
Углядишь свой удел.

А кругом беспредельная,
Запредельная степь!
Только с ней и поделишься,
Попытаешься спеть.

И споешь, как прикаянный,
И подумаешь всклянь:
Что мне ворог прикаркнутый,
Что мне мелкая дрянь!

Между грядок грядущего,
Где ручьи и жнивье,
В ожидании лучшего
Вечное ё-моё!

Путешественник во времени

Запись в дневнике

...Вот теперь—никогда, ибо дальше—смерть.
Не боюсь, просто нечего больше сметь.
Ездил в прошлое, в будущем побывал,
Нечто среднее тоже, увы, знал.

Как-то раз вышел в жизнь, напился ручьём,
Ныне думаю: собственно, я о чём?..
Ну пытался любить, любить пытались меня,
А теперь стряслось утасанье дня.

На уровне сего безотчётного этапа
Реальны мне только мама и папа,
Вы все, остальные, лишь снитесь мне,
Как грачи на сугробе в немывтом окне.

Грает грачик, тихо себе навоз клюёт,
Между делом песни грачи свои поёт.
Чёрный птиц никогда вам не скажет «да»,
А я—да: дальше—смерть, и поэтому
не бывал я у вас никогда.



Ты играй, играй, воображенье,
Мой бухой баян на горькой свадьбе,
Расскажи о Сене и о Жене,
О любви сопутствующем аде.

...Каменная устрица раскрылась,
Лезвием реки слегка поддета,
В неба перламутре башня билась—
Скоро мы её закажем где-то

За столом в квартале-карнавале
И запьём закатным красным солнцем.
Вспыхнет ночь на нашем сеновале
Так, что и рассвет не будет сонным—

Мы в глаза посмотрим Первой Даме,
Отдохнём в саду на черепице,
К нам придут доверчивые птицы,
Утомившись Райскими полями...

Ты играй, играй воображеньем,
Рваная гармонь на вечной свадьбе,
Расскажи, чем кончилось сраженье
За свободу плавать в снегопаде.

Рви меха, моё воображенье,
Адовы лады ломай на части!
Удостоен человек рожденья
Для чего-то большего, чем счастье:

На корабль взойти с любовью вместе,
Долго плыть по платиновой речке
В жемчугах дождей—лет, скажем, двести.
Или вечно.

Сергей Лыткин

Из Иерусалимской тетради



Горит звезда над Вифлеемом,
 Идут волхвы на дивный свет,
 Дитя Давидова колена
 Дыханием вола согрет
 Лежит в яслях, являя миру
 Отца прощенье и Любовь
 Всем обездоленным и сирым,
 Ты слышишь радость пастухов?
 Ему и золото и смирну,
 И ладан в дар уже несут.
 Царя пещера приютила,
 Пещерой кончится приют
 Его земного искупленья
 Людей, адамова греха.
 Пока же ангельское пенье,
 И весть от Бога в небесах.
 А Он лежит в руках Марии,
 «Я есмь спасение и путь»!
 И свет звезды в глазах Мессии,
 Как факел веры. Не забудь
 И ты мгновенье Божьей славы,
 И час Святого Рождества,
 Когда над нами воссияла
 Звезда Любви и торжества
 Над пропастью, где правил князь
 Неправедности и обмана.
 Над ней теперь другая власть
 Что Божьей силой осиянна.
 Младенец Иисус Христос,
 Ты слышишь плач Иерусалима
 Когда свой крест над ним пронёс,
 А он смотрел стыдливо мимо
 Кровавых риз и светлых глаз
 Наполненных любовью кроткой.
 Молился Ты в последний раз,
 Когда тяжёлою походкой
 Под римскою жестокой плёткой
 Ты шёл к Голгофе ради нас.

Всё это будет, но потом.
 Сейчас же в хлеве пахнет мятой,
 Соломою едва примятой,
 Козой, овцою и волом.

Вот это царские палаты.
 Тепло лучится от костра.
 И Ты ни в чём не виноватый
 Лежишь в предвиденье креста.



Гефсиманский сад не виноват,
 Что мы здесь проходим по аллее
 Души христианские лелея,
 На оливы бросив беглый взгляд.

По обеим сторонам горы
 Кладбищем засеянное поле
 Здесь давно никто не беспокоит.
 Почернели камни от жары,
 Или от забвения, не знаю.
 Вечный город тут хранит молчанье,
 Сам как будто поминальный камень,
 Или орошённый кровью крест
 Обитателями здешних мест.

Здесь туристы, обливаясь потом
 Нескончаемым плывут потоком.
 Чтобы утолить их интерес
 Безучастно гид неторопливый
 Произносит вымученный текст...
 И крестясь на монастырский крест
 Две монашки пробегают мимо,
 Отводя от нас стыдливый взгляд,
 Что арабский сын Иерусалима
 Здесь торгует ветками оливы,
 Гефсиманский сад не виноват.



Скажи-ка мне что-нибудь умное
О том, что я с детства не знал.
Как улицей этою шумною,
К примеру, пройти на вокзал.

Там поезд стоит до Саратова,
Где верно, такая же глушь...
Страна покорённого атома
И вечно мятущихся душ.
А может, блуждающих? Кажется,
Чего там искать в темноте?
С толпою не истины жаждущих,
А горькую пьющих везде,
Где только отыщется станция,
А там, как-никак, магазин,
И водка, чтоб легче покаяться
И снова валяться в грязи.
Похоже, моя родословная
Из тех же ведётся болот,
Где жизнь, словно песня острожная,
По глади озёрной течёт.
И всё бы, наверное, к благу,
Когда бы в конце пути
Прийти бы смогли мы к Богу,
Да как его только найти?
Ведь он не икона церковная,
Крести ты свой лоб не крести.
Про меч и повинную голову,
Про крест, что не в силах нести...



А потом я воскресну
в чьём-нибудь сне,
Словно голубь небесный
На ладони присев.
Буду я ворковать
и крыльями бить,
не в силах понять
кого надо хранить
от соблазнов и лжи
этой жизни мирской.
Ведь покуда я жил
ты теряла покой,
ты гнала—уходи
Ты жалела, звала,
словно наши пути
состояли из зла.
А когда разошлись
по решению небес,
оказалось, что жизнь
невозможна без...



Когда коснётся сон твоих ресниц
И на губах растает поцелуем,
Пусть с неба донесётся Аллилуйя,
И вспыхнут в окнах сполохи зарниц.

Сиянье глаз Создателя, творца,
Всевышнего, Владыки, Иеговы
Прольётся светом над твореньем новым,
Убрав печаль с усталого лица.

Спи, милая, Господь хранит твой сон,
И ангелы Его стоят на страже,
Пока душа твоя любовью страждет,
И наполняется живым огнём.

Наступит новый день и оживёт
Всё сущее с хвалой и песнопеньем,
И освятится Духом воскресенье,
И благодать от Господа сойдёт.



Ну, вот и все прошли обиды,
И те, что были сгоряча...
Как слёзы русской панихиды,
Живу, тревогу волоча.

Порог зимы—ноябрь—к концу,
Всё ближе Рождество с Крещеньем.
И только сон, предвестник тленья,
Улыбкой ходит по лицу.



Иудейские печали.
Самоправедная ложь.
Фарисействуя в начале,
До чего к концу придёшь?

Слово истинно нетленно,
Не поверишь, как уйдёшь
Из египетского плена,
через море как пройдёшь?

И в стране, где мёд и млеко,
Как построишь главный храм,
оставаясь человеком
с верой в Бога по утрам.

А в ночи, когда бывает
Сердце грешного алкает,
Лишь душа в кругу обид
Тихо с Богом говорит.

Евгений Степанов

Короткие рассказы

Фотоаппарат

В благолепном и спокойном 1977 году (я, тринадцатилетний подросток, учился тогда в седьмом классе московской средней школы) отец пришёл домой и спросил:

— Хочешь пожить у моря, в Крыму, в санатории?
— Конечно, хочу.

— Можешь поехать на целую четверть. Нам на работе дают для детей путёвки...

Я стал собираться. В мечтах мне виделся роскошный пансионат, пляж, чайки, море, никаких тебе строгих московских учителей, свобода.

И вот меня отправили в Евпаторию, в школу имени Олега Кошевого.

...Это оказался интернат. Самый настоящий интернат. Правда, на берегу моря.

Там собрались ребята и девчонки со всего Советского Союза—из Москвы и Московской области, Томска и Челябинска, Киева и Харькова... Жили мы, ребята и девчонки, в огромных палатах (разумеется, раздельных), в которых стояло по двадцать пять коек.

Что-то было, конечно, в этом интернате и от санатория: нас водили на лечебные грязи, давали кислородный (очень похожий на молочный) коктейль, возили на экскурсии—в Севастополь, Ялту, Феодосию...

Но всё равно отсутствие свободы ничем не заменишь.

Свобода в интернате была, пожалуй, только ночью. Вечерами, после отбоя, все как сумасшедшие болтали—травили анекдоты, обсуждали прожитый день...

А вот в дневное время дисциплина в интернате была на самом деле очень строгая, казарменная. Мы ходили маршем, всегда под прямым углом. Пели песни, скандировали речёвки.

— Кто шагает дружно в ряд?

— Пионерский наш отряд!

— Наш девиз?

— Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Однако там, в Крыму, в этом суровом и каком-то полувоенном интернате, я впервые очень сильно влюбился. Девочку звали Лена Сидорчук. Она приехала из Киева. Она была высокая и чернявая, её длинные, выющиеся волосы красиво развевались на крымском тёплом ветру. Я смотрел на неё

и понимал: никогда в жизни я не встречу девочки (девушки) прекрасней. Это моя судьба.

Как-то мы с Леной находили возможность уединиться, иногда тайком—после отбоя—выбегали на улицу и болтали, болтали, болтали. Она писала стихи, читала их мне—о природе, о взрослой любви, о «высоком Крымском небе», а я только слушал и восхищался её непостижимым талантом. Пьянящий воздух поздней крымской весны, начинающегося лета, высокие, как любовь, кипарисы, расцветшие и неизвестные мне ранее магнолии, первое сильное чувство... Всё это не могло не влиять на формирование мягкой как пластилин души подростка. Иногда я начинал думать, что жизнь снится мне, что я попал в какую-то непостижимую тёплую и чистую сказку, и хотя здесь, в интернате, полувоенная дисциплина и нужно ходить под прямым углом, может быть, это и замечательно. Как-то здесь всё понятно. Белое—это белое, чёрное—это чёрное. А когда идёшь под прямым углом, даже быстрее доходишь до цели, чем когда пользуешься кривыми путями-дорожками...

Однажды мы с Леной поцеловались. Как взрослые. И я, тринадцатилетний нахалюга, позволил себе прикоснуться рукой к её молодой и сводящей меня с ума груди. Впервые в жизни, да, впервые в жизни я набрался решительности (наглости), впервые в жизни вкусил сладостный запретный плод, о котором тайно стал мечтать, наверное, с шестого класса... Но всё-таки отношения были скорее платонические, ни я, ни она не могли окончательно переступить запретную черту. Не решились. Да и где?

...После ужина все мы, ребята и девчонки, смотрели телевизор. Одна программа, как сейчас помню, шла на украинском языке.

Как-то раз Лидия Ивановна, наша суровая воспитательница, женщина лет сорока пяти, всегда носившая строгий отутюженный костюм, спросила нас, школьников:

— Ребята, вы когда-нибудь слышали нехорошие анекдоты про Ленина?

Мы удивились:

— Нет. А разве такие есть?

— Не слышали, и хорошо,—ответила Лидия Ивановна.

На этом все «политические» разговоры были закончены.

...В школе мне пришлось несколько раз подраться, чтобы меня не задирали. Сильная драка была с пареньком из Красноярска Геркой Плетнёвым. После этого он меня зауважал.

— Я-то думал, все москвичи — салаги, а ты кремень, хотя с виду вроде и ботан, — сказал Герка. — Если будут проблемы, обращай ко мне. Нас, сибиряков, тут целая кодла. Мы любой банде можем навалить...

— Спасибо, Гера, — ответил я. — Если что, обращусь, но пока вроде всё спокойно.

Иногда я убежал на море один, ходил босиком по камням (сам себя лечил от плоскостопия, как мама научила), собирал ракушки, однажды — к своему ужасу! — набрёл на мёртвого дельфина.

Учили в школе спокойно, без надрыва. Лучше, чем в Москве. И спрашивали не так строго. Оценки я получал хорошие. Не было ни одной тройки. Мне легко давались и точные, и гуманитарные предметы. Многие ребята списывали у меня алгебру и физику, диктанты и изложения. Я, разумеется, никому не отказывал.

Школа стояла на самом берегу моря. Глядя в окошко во время уроков, я постоянно видел, как частыми синхронными нырками плыли по морю дельфины.

Проживая в Крыму, я активно тренировал свою волю. Когда я увидел, что мои сверстники, местные аборигены, свободно прыгают головой вниз с пирса в море, я удивился их смелости и решил стать на них похожим. Сделать это было непросто. Однако я переломил себя и вскоре отчаянно нырял в солёную воду с трёхметрового пирса; вода была не шибко тёплая, но всё-таки уже прогрелась к маю. Потом мы стали прыгать в море вместе с Володькой Черепановым, с которым удирали в тихий час на побережье; Володька приехал в Крым из Томска, море вообще никогда раньше не видел. Поначалу он тоже робел, но я его подбадривал, и он стал нырять ещё лучше, чем я: очень плавно входил в плотную солёную воду.

Потом у меня появилось ещё одно экстремальное морское развлечение, от которого даже Володька Черепанов отказался. Я полюбил прыгать в огромную, страшную, пугающую пляжников волну. Она крутила, переворачивала меня в своей стихии, как стиральная машина — бельё. И выбрасывала на берег. Обессиленный, но почему-то жутко счастливый, я лежал на песке.

Там, в интернате, мой другой соученик, Саша Коломийцев из Харькова, прочитал на одном школьном «капустнике» стихотворение «Вересковый мёд». Я был потрясён. Это стихотворение как-то особенно запало в душу. А Саша Коломийцев мне казался настоящим поэтом, почти как Лена. Я мало тогда знал других поэтов.

Однажды в школе произошёл неприятный инцидент. У моего одноклассника — киевлянина Серёжи Смирнова — пропал фотоаппарат. Ко мне подошла наша воспитательница Лидия Ивановна, строго глядя мне в глаза, сказала:

— Женя, это не ты, часом, украл фотоаппарат у Серёжи? Он тебя подозревает.

Я даже растерялся. Таких претензий мне раньше никогда не предъявляли.

— Нет, — ответил я, — ничего я не украл. У меня и свой фотоаппарат есть, «Смена-7».

— И всё-таки, — парировала Лидия Ивановна, — нам придётся проверить твой чемодан.

— Пожалуйста, проверяйте, — ответил я. — Но только вы ничего не найдёте. Даже если бы я украл, не такой уж я дурак, чтобы хранить украденную вещь у себя в чемодане.

Мы пошли в кладовую. Я открыл свой чемодан и на самом верху (о, ужас!) увидел чужой фотоаппарат. Это был выдавший виды, старенький потёртый ФЭД.

— Это чей фотоаппарат? — спросила, нахмутив брови, суровая и непроницаемая Лидия Ивановна.

— Не знаю, — промямлил я. И понял, что случилось нечто страшное. Как теперь докажешь, что ты не верблюд?!

А потом было открытое пионерское собрание. И наш председатель совета отряда, мой товарищ Володька Черепанов, говорил обо мне жутковатые слова («как ты мог, Евгений, разве так ведут себя советские люди, мы не ожидали...») и даже поставил вопрос на голосование: «Быть Евгению в пионерах или не быть?».

Я стоял посередине класса и, точно главный герой фильма «Всадник без головы», молчал. Уже тогда, в детстве, я понимал, что спорить с толпой, даже если ты прав, бесполезно. Тебя всё равно не услышат и не поймут. И уже тогда я понимал, что молчание — весьма сильное оружие, оно обескураживает оппонентов.

А вдруг он и в самом деле не виноват? Ведь если не оправдывается, то, может быть, правда на его стороне?

Короче, я стоял и молчал. А на меня смотрели десятки глаз моих товарищей и — глаза моей прекрасной возлюбленной Лены.

Именно Лена встала и сказала:

— Володя, ребята, я никогда не поверю, что Женя мог что-то украсть. Это невозможно. Я знаю его, наверное, лучше других.

— Сидорчук, мы всё знаем, знаем, — одёрнула Лену Лидия Ивановна. — Всем известно о ваших отношениях с Евгением.

Лена вспыхнула и села на место.

Володька Черепанов, опасливо глядя на Лидию Ивановну, поставил вопрос на голосование:

— Кто за исключение Евгения из пионеров?

И тут произошло нечто неожиданное, чему я поражаюсь до сих пор.

За моё исключение не проголосовал никто. В самом деле—никто! И даже Володька Черепанов только воздержался.

А потом встал поникший Серёжа Смирнов и признался, что это он сам подстроил кражу, мол, хотел мне отомстить. И разрыдался.

Лидия Ивановна увела его в палату...

Как потом рассказал мне сам Серёжа, он был с детских лет влюблён в Леночку Сидорчук и не мог видеть, как между ней и мной развивается любовь.

Я, разумеется, простил Серёжу.

А класс на него рассердился, ему объявили бойкот. И ему пришлось вернуться домой, в Киев. За ним приехали родители.

А вскоре закончился и учебный год, мы все разъехались по домам, навсегда сохранив нежную память о Крыме.

...Мы, крымские одноклассники, до сих пор переписываемся. Серёжа Смирнов, кстати, женился на Леночке Сидорчук, у них сейчас трое детей и пятеро внуков.

Невеста из Питера

С Аришкой, загадочной красавицей из Питера, мы познакомились в девяностые годы на какой-то вечеринке у общих друзей. Дело было в постперестроечном холодном и неухоженном (тогда) Ленинграде. Я пригласил девушку в Москву, в гости.

...В первый же день, как только Аришка приехала ко мне из северной столицы, она вычистила до ослепительной белизны мою не самую, прямо скажем, чистую ванну, перемыла все чашки, тарелки и ложки. При этом она постоянно приговаривала таинственные фразы:

— Маленький хочет купаться в беленькой ванночке, маленький хочет пить из чистеньких чашечек. Жоня (это она меня почему-то стала так называть) должен радовать маленького. Не сорить, не мусорить.

Я не возражал.

Приехала девушка на выходные, а осталась надолго.

По ночам Аришка тоже удивляла меня своей милой оригинальностью. Почему-то как только я засыпал, она толкала меня в бок своим изящным, спору нет, коленом и властно требовала:

— Жоня должен почесать маленькому спинку, а также сделать массажик.

Этому я сопротивлялся, спинку чесать не хотел, массаж делать (тогда!) не умел. Аришку это не устраивало. Она хмурила брови:

— Подлый Жоня устраивает бунтик на кораблике. Маленький бросит Жоню.

В итоге я, трусливый и запуганный подкаблучник, чесал спинку и делал массажик.

Иногда по ночам Аришка учила меня и вовсе каким-то немислимым вещам, которым я никак не мог обучиться.

— Милый, милый Жоня,—говорила Аришка,—зажмурь глазоньки, сейчас твой маленький черепашонок, ленивый такой черепашонок, научит тебя делать хрю-хрю.

— Какие такие хрю-хрю?—испуганно спрашивал Жоня, то есть я.

— Жоня глупый. Не понимает,—отчитывала меня Аришка,—хрю-хрю—значит хрюкать.

И Аришка демонстрировала, что значит делать хрю-хрю. Получалось по-своему очаровательно.

Рано утром я уходил на работу, рассказывал о нашей семейной жизни секретарше Полине. Она смеялась. Я тоже. Мне было хорошо. И радостно. Потому что впервые за три последних года я жил не один и не был одинок.

Когда я возвращался домой с работы, Аришка кормила меня сытным ужином, потом мы уходили в театр или на концерт либо оставались дома. Жили мы тогда на 3-й Тверской-Ямской улице, в квартире гостиничного типа, среди других неординарных и вовсе небогатых—как правило, сильно пьющих!—личностей. Квартира хоть и в центре, но крошечная—всего девятнадцать квадратных метров. Богатые в таких не живут.

Как-то раз к нам стали стучаться. Аришка спросила наигранным детским голосочком:

— А ктё тям?

— Милиция!

— Мамоськи и папоськи дёма нет, а откликать они мне не лязлесят.

Менты отвалили.

Аришкин лексикон меня изумлял, как и весь её образ жизни. Слова она творила. Я уважал её, как Хлебникова. Ну чего стоит, например, «ушляндия»! Или такие словосочетания, как «свободные уши» (то есть человек, который охотно слушает собеседника), «зацепились языками» (разговорились)! А фраза «куй железный пока горячий» поражала меня как филолога своей глубинной полисемантической. Возможно, конечно, что все эти перлы придумала не сама Аришка. Но, во всяком случае, аккумулировала она в себе нестандартные, яркие вербальные образы несравненно. При этом надо заметить, что никакого образования она не получила, на работу никогда регулярно не ходила, занималась (кроме того, что сдавала квартиру, доставшуюся ей по наследству от бабушки военного) мелкой спекуляцией...

Красота Аришки меня пугала. Длинноногая, кареглазая, молодая (ей тогда было двадцать восемь лет). Светлые волосы до плеч.

Я боялся, что она от меня уйдёт, и я лишусь не только приятной спутницы жизни, но и милой носительницы русского новояза, за которой я иногда записывал всевозможные слова и выражения.

Корыстный меркантильный интерес (интерес литератора) подогревал мои любовные чувства. Я не считал и не считаю, что это плохо. Мне представляется, что в основе любой поэзии (если широко!) лежит проза. А прагматичные союзы наиболее прочны.

Потом неугомонной Аришке жить в Москве надоело. Она где-то купила приглашения в Штаты. И мы оказались в Чикаго, городе Аль Капоне и героев кровавого балабановского фильма «Брат-2». В польском-мексиканском районе (на окраине) сняли комнату в коммуналке, хозяйка Аня, американка польского происхождения, брала с нас чёрным налом 250 долларов. Аришка (оказалось, что она наполовину еврейка) устроилась благодаря помощи друзьям из Синагоги кергивером в русскую (иудейскую) семью. Платили ей по тем временам очень хорошие деньги — две тысячи в месяц. Работа кергивером — довольно распространённая в Америке. Это уход за пожилыми людьми. Моя спутница жизни ухаживала за бывшей одесситкой Белой Моисеевной, которой было 82 года. Аришка должна была помочь ей встать утром, пообщаться на отвлечённые темы, подать стакан воды... При этом уборщица и повара оплачивались отдельно. Аришка могла есть всё, что лежит в холодильнике. Проблема заключалась в том, что находиться у Беллы Моисеевны надо было шесть дней в неделю, и только по воскресеньям (в выходной) Аришка приезжала ко мне, в нашу комнату.

Я скучал без подруги.

Впрочем, бизнес в Америке превыше всего. Тем более что работа была посильной, не изнурительной и хорошо оплачиваемой. Белла Моисеевна оказалась очень общительной и с утра до вечера с ностальгией вспоминала любимую Одессу и ругала «проклятые» Штаты, куда её привезли дети-программисты.

— Лучше бы я сидела дома, шо я тут не видела, — возмущалась бывшая одесситка. — Тю, поговорить за жизнь не с кем! А если есть — тильки за баксы...

Российское телевидение работало в её доме почти круглосуточно. Американской жизнью Белла Моисеевна практически не интересовалась, хотя получала всевозможные пособия от своей новой Родины.

...Я жил, по сути, один, Аня (моя домохозяйка) этим пользовалась и практически не включала паровые котлы, которыми отапливался её большой трёхэтажный дом. Мы с другими квартирантами (рижанкой Галей, крутившей баранку такси) и киргизом Ашымом (он работал водителем-дальнобойщиком) иногда робко пытались устраивать забастовки и грозили Ане, что переедем в другой дом... Тогда она на время включала отопление.

Правда, когда в воскресенье приезжала Аришка, в доме было всегда тепло. Аня побаивалась Аришку.

Я сделал несколько попыток устроиться на постоянную работу, но безуспешно. Кергивером меня не брали, на стройку приглашали помощником кровельщика, но у меня с детства боязнь высоты, в итоге я иногда подрабатывал с друзьями-мексиканцами на работах по озеленению частных домов — косил траву электрической газонокосилкой, убирал листву, подстригал кусты. В день я зарабатывал примерно 50 долларов.

На жизнь нам с Аришкой хватало.

По воскресеньям мы ходили в польский либо китайский буфет (недорогой ресторан, работающий по принципу шведского стола), наедались там от пуза, либо ездили в даун таун (центр), катались на коньках на искусственном катке, несколько раз даже были в знаменитом Чикагском художественном музее (Арт-институт), где любовались картинами Шагала, Кандинского, Дали...

Ночами слушали арии, которые распевали обосновавшиеся в соседнем доме голосистые и непосредственные мексиканцы.

Так бы мы и жили в Чикаго, но жизнерадостная Белла Моисеевна как-то быстро стала гаснуть на глазах, почти полностью отказалась принимать пищу, пила только воду и вскорости, видимо, от тоски и голода, ушла в мир иной. Диагноз врачей был лаконичный и беспощадный — сердечная недостаточность.

Аришка потеряла работу.

Мы стали думать, что делать дальше?

У нас были небольшие сбережения. Месяца два Аришка пыталась найти работу, но, увы, не получилось. И мы приняли решение поменять в очередной раз место жительства.

Мы переехали в Нью-Йорк. Поселились на Брайтоне, на Корбин Плаза — знакомые русские нам опять-таки сдали комнату.

Я стал как проклятый писать статейки в эмигрантское «Новое русское слово», платили мне тогда, в середине девяностых, 30–50 долларов за статью. Аришка работала уборщицей, мыла полы в богатых домах. Получала примерно тысячу.

Мы начали вживаться в нью-йоркскую жизнь, связи с Чикаго, а тем более с Россией особенно не поддерживали.

Я стал ходить на литературные вечера, выступал с чтением стихов в различных артистических клубах, меня изредка приглашали читать лекции о современной русской литературе в университеты на кафедры славистики.

Аришка мыла полы. В общем, как-то мы пербивались.

Однажды нам позвонили из Петербурга.

— Аришка, Женька, приветики, это Светик, — зашебетала наша общая питерская знакомая, работавшая в городе на Неве парикмахершей и откуда-то узнавшая наш телефон. — Я узнала, что вы в Нью-Йорке... А я получила приглашение

в Штаты. И, как ни странно, мне визу дали. Я уже и билет приобрела. Встречайте! Я у вас поживу... Прилетаю в четверг, в аэропорт Кеннеди, в 12.00 по нью-йоркскому времени, рейс 1518.

Мы напряглись. Что значит — поживу? Почему именно у нас? Как долго? Но Светка уже положила трубку.

— Ничего, Жоня, — сказала решительная и добрая Аришка, — мы, русские, своих не сдаём, сейчас спустись в бейсмантик, я там давно припрятала на всякий пожарный случай надувной матрасик. Постелим ей в уголочке, в четверг возьмём трейн, потом на басике доберёмся до аэропортика. А что делать? Мы должны дорожить своей репутацией, а то потом ещё скажут в Питере, что Аришка негостеприимная... Маленький Светку не бросит.

Я покорно пошёл в бейсмант, то есть в подвал, и притащил в нашу комнату хороший надувной матрас.

...Встретили мы в аэропорту Светку, пухленькую, сисястую молодку лет двадцати пяти. Привезли в нашу брайтонскую комнату. Стали думать — куда бы её пристроить, к какому делу приобщить? Она, увы, ничего толком делать не умела. А парикмахеров в проклятом Нью-Йорке — как собак нерезаных.

Как может устроиться женщина, если она совсем ничего не умеет? Правильно, нужно найти приличного мужчину. Главное, не жадного.

Стали мы Светке кавалеров искать. Я сначала всех своих знакомцев, писателей-евреев, в гости пригласил. По очереди, разумеется. Двух-трёх невзрачнейших ребят Светка с Аришкой сразу отвергли. А вот один из последующих произвёл весьма яркое впечатление.

— Джозеф, — представился жених, — я еврей, ортодоксальный, на счету у меня триста тысяч долларов США. Годовой доход — сто пятьдесят тысяч долларов США. Работаю программёром в крупной компании, в свободное время сочиняю стихи. Я имею кооперативную квартиру из трёх комнат в Квинсе стоимостью семьдесят пять тысяч долларов США и дом из шести комнат на южном побережье стоимостью четыреста тысяч долларов США. В Союзе меня звали Иосиф. Здесь я всё изменил. Даже имя. Рашу вспоминаю с ужасом. В Америке я уже двадцать пять лет. Справка о том, что не болею венерическими болезнями и СПИДОМ, у меня с собой. Теперь вы, кажется, знаете обо мне всё. А теперь вы расскажите о себе!

При этом он посмотрел почему-то на Аришку.

Аришка смутилась. И сказала, что она моя гёрлфренд, а невеста у нас — Светка.

Пока Светка что-то мычала невразумительное о себе, мы с Аришкой старательно подливали им чаёк в чашечки и подкладывали в блюдца русские дорожные шоколадные конфеты.

На следующий день Джозеф и Светка сходили в ресторан. А ещё через день она к нему переехала.

Мы вздохнули.

Однако ровно через недельку Джозеф привёз Светку с вещами назад. И прорычал:

— Юджин, вы меня обманули. Вы сказали, что ваша знакомая — порядочная девушка, но она же выпивает, да-да, выпивает, и здорово! Короче, она жрёт как лошадь...

Светка рыдала:

— Я что, вещь, я вещь? Чтобы меня так перевозить с места на место!

Гадкий Джозеф оставался неумолим.

Мы опять стали жить втроём.

Вскорости я догадался, как избавиться от Светки и деликатно подsunул девушке моё любимое «Новое русское слово», где всегда в изобилии печатались брачные объявления.

Светка позвонила по некоторым указанным телефонам.

К нам опять стали ходить женихи. Один даже было согласился взять Светку к себе. Но вскоре опять нарисовался Джозеф и... сделал (о, таинственная еврейская душа!) Светке официальное предложение. Её руки он попросил у... меня.

Светка и Джозеф уехали через полгода в штат Висконсин. Джозеф получил там более высокооплачиваемое место. А через два года он умер от внезапной пневмонии. Все его деньги и недвижимость, разумеется, перешли к Светке. И она сделала нам с Аришкой хороший подарок — две тысячи долларов. Мы долго думали, как их потратить и придумали. Мы купили билеты домой. Домой, в Россию.

Куроедов

В детстве его дразнили «куроед», «кур» — из-за фамилии. Но уже в подростковом возрасте дразнить перестали — он стал известным самбистом, чемпионом Москвы. И все его уже называли только по имени — Володя. Был он взрывным, непредсказуемым, искал всегда на свою задницу приключений, постоянно влезал в какие-то потасовки, если на улице шла драка, обязательно становился её участником, будто не имел страха. Даже если перед ним была толпа — всё равно не отступал. Щуплый, маленький, но отчаянный.

Самбо Володя занимался до 21 года, был призёром первенства Союза, ездил на Европу, но выше полуфинала не пробился.

В 1991 году, во время распада СССР и реставрации капитализма в России, ему стукнуло 23 года.

За плечами была тренерская школа в Малаховке, повешенное на гвоздь кимоно, надорванное от постоянных изнурительных тренировок сердце и школа систематического труда в экстремальных условиях — условиях профессионального спорта.

Многие его друзья по самбо тогда остались не у дел, некоторые уехали на Запад, некоторые ушли

в рэкет, а Куроедов колебался. Чем заниматься—он толком не знал.

Друзья-спортсмены устроили его телохранителем руководителя банка «Славяне» Левона Варданова. Работа была непыльная—он сопровождал президента банка в его поездках по городу, в командировках по России и за рубежом. Познакомился с семьёй Левона Сергеевича, его единственной дочкой Светланой. И как-то быстро у них всё со Светланой завертелось. Любовь с первого взгляда... это бывает. Шеф не возражал против свадьбы. Ему нравился этот молодой, спортивный парень. И уже вскоре Володя был не просто охранником тестя, а замом руководителя банка по безопасности и общим вопросам.

Куроедов оказался способным организатором. Быстро вникал во все вопросы, поступил учиться в финансовую академию. К третьему курсу—в 27 лет—стал внештатным советником правительства России, оброс там связями. Всё шло удачно.

...Прошло 20 лет. Располневший и седовласый, страдающий отдышкой сорокасемилетний долларовый крепкий миллионер Владимир Иванович Куроедов проводил в своём офисе планёрку, перед ними сидели наиболее приближённые топ-менеджеры его Холдинга—страховой компании, банка, руководитель бизнес-центра, директор управляющей компании.

— Всем всё понятно?—спросил Куроедов.

— Всё,—отчеканили его подчинённые.

— Тогда за работу, меня не будет два дня, надеюсь, справитесь. За меня остаётся Андрей Александрович, мой первый зам. По всем вопросам—к нему.

Куроедов сел в машину и поехал домой. Он жил в особняке в центре города, в Замоскворечье. Особняк был окружён, как положено, гигантским кирпичным забором, по периметру стояли вооружённые охранники. Жил Куроедов один, с женой они хоть и не развелись, но общего крова уже не имели, дети у них учились за границей.

Куроедов выпил сто грамм виски и, сказав Ахмеду, начальнику своей службы безопасности, чтобы его не сопровождали, вышел на улицу. Охранники знали, что примерно раз в месяц шеф куда-то уходил пешком и просил оставить его одного.

Куроедов пошёл в метро, купил билет и доехал до станции Выхино. Потом он спустился к билетным кассам и приобрёл билет до Рязани.

Раз в месяц он совершал такие поездки в электричке до Рязани или выходил раньше—в зависимости от ситуации.

Протиснуться в Выхино в электричку в час пик—дело сложное даже для бывалых жителей Подмосковья. Это целая наука. Нужно предвидеть, где остановится вагон, чтобы забежать в него одним из первых и занять место. Иначе—можно всю дорогу простоять.

Куроедову не повезло, вагон остановился вдалеке от него, места быстренько заняли, а богачу досталось место в тамбуре нос к носу с трудовым народом. Куроедов не мог шелохнуться. Душный перегар, запах едкого пота пронизывал тамбур—Куроедов терпел. В Люберцах народу стало меньше, и можно было хотя бы продвигаться в вагон.

Пассажиры были заняты своими делами—читали, говорили по телефону и друг с другом.

Пожилая пара (мужчина и женщина) оживлённо дискутировала:

— Ну как жить в этой стране?—возмущался мужчина.—Горстка людей захватила власть и радуется. О нас, простых людях, никто не заботится.

— Почему вы так говорите?! А коммунисты? Зюганов всегда защищает простых людей.

— Ну, я вас умоляю. Зюганов защищает собственную персону. Путин, сохраняющий власть на последующие годы, сохраняет её не только для себя. Он её сохраняет в том числе и для так называемой оппозиции, которая совсем неплохо устроилась. Все эти Зюгановы, Явлинские, Лимоновы—часть путинской системы. Если бы было по-другому, они бы уже давно торчали в тюрьме. А если господа на свободе, значит, они не оппозиция.

— Нет, я не согласна. Зюганов многие смелые вещи говорит. Если бы он был президентом, он бы такого беспредела не допустил.

— Ну это ваше мнение—я не буду его оспаривать,—отступал мужчина.

— Хорошо, допустим вы правы. Что же делать? Куды крестьянину податься?

— Во-первых, нужно понять: Путин—это мы. Он нас, ленивых, инертных, вороватых, боящихся брать ответственность на себя потомков крепостных, устраивает. Не устраивал бы—давно бы власть изменилась.

— Я, знаете ли, ничего не своровала, и дед у меня был дворянин.

— Я не о вас, я вообще, фигурально...

— А... фигурально. Тогда понятно. А во-вторых?

— Во-вторых, конечно, нужны новые лидеры оппозиции, иначе застой будет хуже брежневского. В-третьих, надо использовать ту здоровую витальную энергию, которая ещё есть в народе. В частности, максимально поддерживать дачников, то есть нас с вами, это огромный процент населения. Подвести к дачам газ, свет, канализацию. Дать возможность людям жить в домах, почувствовать хозяевами своей земли. Если этого не сделать, так и останемся рабами.

— Да, тут я с вами согласна, если бы у меня на даче был газ, я бы вообще там круглый год жила, и внуки бы со мной были, да и дочка с зятем работу нашли бы рядом с домом. А то и фермерством могли бы заняться.

— Вот-вот...

Куроедов слушал молча, в разговор не вступал. Ему было интересно, о чём говорят люди.

Неожиданно он заметил, что в одном купе сидят не шесть человек, как положено, а пять.

— Свободно? — спросил Куроедов группу молодых мужиков, играющих в карты и потягивающих дешёвое отечественное пиво.

— Занято, — сказал один из парней. И продолжил опустошать бутылку.

— Почему занято? Для кого?

— Для женщины.

— Ну вот она придёт — я уступлю, — сказал Куроедов и решительно уселся на свободное место.

Мужики промолчали, только не слишком дружелюбно посмотрели на возрастного дядьку.

Откуда-то подошёл ещё один молодой человек. — Вот, мы для него место заняли, — сказали мужики.

— Я не вижу перед собой женщины! — парировал Куроедов.

— Сейчас увидишь, — прорычал самый молодой. И попытался ударить Куроедова.

Тот увернулся и нанёс обидчику удар в челюсть. Парень схватился за лицо, однако не упал, силы у Куроедова уже были не те, что в молодости. На него набросилось ещё пять человек. Били руками, ногами. Куроедов защищался. Неожиданно за него заступились — трое здоровенных парней из соседнего купе, они встали стеной между Куроедовым и молодыми мужиками.

Драка закончилась, мужики сошли в Бронницах, а Куроедов поехал дальше.

Он доехал до Рязани. Снял номер в гостинице, позвонил своему заму и попросил прислать за ним машину.

Когда утром Андрей Александрович спросил у шефа, как дела, то услышал обычный в таких случаях ответ:

— Всё нормально, всего одна драка, но адреналин выделился по полной программе. Через месяц поеду на электричке в Можайск, белорусское направление мной ещё плохо изучено. А люди у нас всё-таки хорошие. Пропасть не дадут. И за слабого заступятся.

Предатель

В тот год мы всем нашим многонациональным семейством (жена Наташа, наша дочка Настя, её германско-тамилский муж Кубера, внучка Катинка) зимовали в Болгарии, в любимой, родной и очень удобной для жизни стране. Несколько лет назад я купил двухкомнатную квартиру недалеко от старинного и боголепного Несебра, в Солнечном берегу, и привозил туда своих домочадцев не только летом, но и весной, и даже зимой.

Зимой в Солнечном берегу мне нравилось как-то особенно — он совершенно отчётливо напоминал добродетельную Ялту застойной эпохи,

которую хорошо показал Сергей Соловьёв в своём легендарном фильме «Асса».

В нашем комплексе «Солнце и сад», в котором летом негде было яблоку упасть, зимой жило всего две семьи — наша и семья Андрея, Светы и их двухлетней дочки Милочки.

Самое удивительное, что управляющая компания, которая обслуживала дом, не бросила нас на произвол судьбы, а вполне сносно следила за тем, чтобы нам и зимой жилось комфортно и радостно. Садовники ухаживали за розами и туями в нашем приквартирном садике, управляющая Татьяна растапливала по первому требованию сауну, которая размещена в подвале.

Наташа и Настя много работали — переводили по заказу русские книги на немецкий язык, а я ничего особенного не делал, ездил в Бургас, смотрел там, прицениваясь, вместе с риэлторами квартиры (это моё любимое занятие — им я занимаюсь даже тогда, когда денег нет вообще), отвечал авторам по электронной почте и составлял номера своих литературных журналов, которые теперь можно выпускать, не выходя из собственного дома. Лишь бы Интернет (вай-фай) работал.

По вечерам Настя показывала всем нам через компьютер советские, российские и зарубежные (изредка!) фильмы и мультики. Мы посмотрели: «Тот самый Мюнхгаузен», «Время желаний», «Аквапанги на дне», «Джентльмены удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Тимур и его команда», «Друг мой Колька», «Убить дракона», «Брильянтовая рука», «Трое из Простоквашино», «Свинка Пепа» и т. д.

Это огромное счастье — близким людям вместе смотреть хорошее кино.

Каждое утро, ровно в девять часов к нам приходила бездомная кошка-крысоловка. Серая, зеленоглазая, с тёмным обворожительным пятнышком на мордочке. И мы её кормили. Сначала она приходила одна, а потом стала приглашать на завтрак своего сына, серенького котёнка, а потом и мужа, огромного кота-крысолова, и даже белого худощавого кота-любownika. При этом кошка держала своё семейство в аскетической строгости, никому из сородичей не разрешала входить в квартиру — если кто-то переступал порог — сурово кусала. И сама тоже не входила в дом. Я радостно кормил кошачье семейство, им, безусловно, это нравилось, и вскоре они вошли во вкус — стали приходить не только на завтрак, но и на обед и на ужин.

Я стал понимать, в чём смысл моей жизни. Раньше я этого толком не знал. Один не самый талантливый автор, которого я печатал, всегда мне говорил: «Женя, смысл твоей жизни заключается в том, чтобы мне дали Нобелевскую премию». Так, надо признать, говорили многие авторы. Но я им не верил.

А тут я действительно стал понимать, в чём смысл моей жизни. В том, чтобы накормить кошку и её семью. Я полюбил эту красивую, умную, интеллигентную болгарскую кошку. И она отвечала мне взаимностью. Встречала меня аж у автобусной остановки, а это примерно метров триста-четыре от нашего дома, гордо шла или бежала со мной до самой квартиры, и всегда провожала — когда я уезжал в Бургас, Несебр или Святой Влас.

Иногда кошка, стремясь показать своё особенное расположение ко мне, приносила к порогу дома пойманных мышек, один раз даже притащила огромного баклана... Как только дотащила? Я старался, как мог, объяснить благодарной подруге, что лучше мне таких подарков не делать, но она своё дело знала туго. Она знала наверняка: за добро надо платить добром.

Строгая внучка Катинка меня контролировала: «Покормил кошку? А котёнка?»

Я старался оправдать доверие подрастающего поколения. А потом пришла пора уезжать домой.

Кошка, точно настоящий экстрасенс, это почувствовала. И вообще перестала отходить от квартиры, сидела на порожке день-два-три.

Я договорился с Андреем, что он будет кормить кошку, носить ей еду к нашей квартире на первом этаже. Выделил ему на это дело средства в левах и евро.

...В день отъезда лил проливной дождь, а мы, закрутившись, позабыли заказать такси. Пошли на автобусную остановку, мы с Настей по очереди несли Катинку, промокшие и замёрзшие. Кошка бежала за нами. Я не знал, что делать. Моё сердце обливалось кровью. И оттого, что мучаются мои родные, совершенно не привыкшие к дождям и холодам, и, конечно, оттого, что мучается оставленная мной на произвол судьбы кошка, а мне, предателю, нечем ей помочь.

Катинка вела себя мужественно, прижималась ко мне (или к Насте) и молчала.

Автобус — нам повезло! — подъехал сразу. И мы запрыгнули в него. А кошка осталась. Я до сих пор помню её взгляд.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №3 | 2014

Роман Солнцев

Маленькое тайное общество

В кафе

А. Аникевичу

«Не судите — не судимы будете».

Я согласен — больше не сужу.

С чаем и сухариком на блюдечке
в стороне от музыки сижу.

Пусть там пляшет нечто полуголое...

некто власть ругает в микрофон...

Я всё это видел в годы школьные,
был в студентах злобой вознесён.

Слыл и я державы грозным критиком,
гибелью грозил чрез пару лет.

Бабушки пугались: что за крики там?

Девушки шептались: он поэт!

Но поэт плывёт в морях с русалками,
выдувает радуги с пера.

А не ходит с бабами усатыми
на базары, митинги с утра.

Хоть стихи твои взошли на лозунги —
ты обманут: захватили власть

те же люди толстые... а слёзыньки

можешь пить до самой смерти всласть...



Друзьями и самим тобою
забыты лесть, взаимный торг,
когда над каждой плыл строкою
преувеличенный восторг.

«Мы в мире лучшие навечно!

И обижать нас не дадим!»

Но время юности конечно.

Зря трёшь свой лобик, Аладдин!

Есть книги в мире те и эти...

Есть премии и прочий бред...

Но есть и гамбургский на свете

жестокый счёт: тянись, поэт!

Шекспир и Пушкин — вот где сила!

Труды переменили всех.

Суровость в лицах победила,

и похвальба сегодня — грех.

Угрюмые, сойдясь под кровлю,

стоим, как доктора, стеной

над истекающею кровью

любовью, а не над строкой.

Марат Валеев

Летние рассказы

И лучше не бывает!

Как я любил купаться в детстве! Нет, и сейчас, конечно, люблю. Но в те свои пацанские годы часами не уходил домой с Иртыша или с пойменного озера Долгое. Идти хоть туда, хоть туда было примерно одинаково, с полкилометра или чуть побольше. Причём, идя туда, надо было спускаться вниз, с крутого и высокого берега, на котором и по сей день стоит моя деревушка.

А вот обратно надо было, естественно, подняться. Вот здесь-то возвращающихся с водоёмов и поджидало коварство, особенно в наиболее жаркую погоду. Ведь шли домой уже измотанными от долгого купания и голодными, то есть еле волочили ноги. А ещё надо было под палящим солнцем взбираться на высокий крутой берег.

Сил—ну никаких, пот с тебя так и льёт градом. И часто случалось так, что, едва взобравшись на середину подъёма и переглянувшись между собой, пацаны вразнобой отчаянно кричали «А, на фиг!», и скатывались снова вниз, к излюбленным купальным местам. И оставались там уже до вечера, пока не спадала жара.

Конечно, дома потом доставалось. Но что такое родительская беззлобная ворчня или даже несильные подзатыльники по сравнению с тем блаженством и счастьем, которые приносит радостное бултыхание в тёплой воде со своими сверстниками?

Чаще всего мы купались на Долгом, длинном и узком озере, поросшем по берегам камышом, на узких стреловидных листьях которого сидели или барражировали над зеркальной гладью воды, сверкая перламутровыми крылышками, разноцветные стрекозы, от совсем крохотных голубеньких до гигантских пучеглазых и коричневых.

Камышовые невысокие стены озера прерывались специальными выемками для захода купальщиков в воду, а также намытыми ручьями песчаными мысами, с которых так клёво было, разбежавшись и тупнув пятками в упругий податливый песок, с визгом плюхнуться в тёплую воду.

Здесь не было течения, вода намного теплее, чем на Иртыше, да и окрестности куда живописнее—и ребятя в перерывах между купаниями любила ползать по заросшим склонам старого берега в зарослях черёмухи, боярышника, джигиды (мы её

называли просто красная ягода), ежевики и полакомиться уже спелыми или только созревающими ягодами. А на самом Долгом и соседних озёрах можно было «перекусить» стеблями чакана—озёрного камыша-рогоза. И, конечно, не жёсткими и плоскими стреловидными листьями, а нижней частью, находящейся в воде и крепящейся к толстому продольному корню.

Камышину можно было вырвать из корня, лишь приложив определённые усилия. Обычно это делалось или с лодки, или с резиновой камеры. С чакана сдирались плотные трубчатые, тесно примыкающие друг к другу листья, пока не обнажалась нежная и белая хрупкая сердцевина, имеющая приятный, ни на что не похожий вкус. Вот она-то и поедалась пацанвой.

Но ещё вкусней и питательней был белый мучнистый и сладковатый крахмал, который содержался в корневищах чакана. Корни эти, толщиной с бамбуковую лыжную палку, горизонтально лежат на дне озера и легко вытаскиваются вместе с самими стеблями чакана, остаётся лишь оторвать их и, промыв в воде от ила, разделявать. То есть сдирать внешнюю оболочку корня и добираться до сердцевинки, как раз и состоящей из очень вкусного крахмала, облепляющего жгутик тоненьких нитевидных «проводков». Оставалось лишь откусывать от этого жгута, разжёвывать и слатывать вкуснящий крахмал, время от времени сплёвывая образовавшиеся комочки нитей. Это лакомство мы называли сметана, и оно на какое-то время давало ощущение сытости.

А ещё на береговых склонах можно было найти сочную заячью капусту и ещё какие-то странные съедобные плоды небольших травянистых кустарников, которые мы называли огурцами—они были веретенообразные, сочные и хрустящие. Никто не знал, как они правильно называются. Но их ели до нас, потому их безбоязненно ели и мы.

А кто хотел сладкого—подходил к разлапистым зарослям солода, с усилием тянул из земли его жёсткий стебель, за которыми волоклись облепленные землёй и лопались узловатые длинные корешки. Их надо было промыть в озёрной воде, счистить от тоненькой шкурки и тщательно жевать

светло-коричневые прутики, и тогда рот начинал наполняться приторно-сладким соком.

В общем, на озёрах на подножном корню можно было продержаться целый день, что мы и делали с превеликим удовольствием. Это был наш счастливый детский мир в уголке практически девственной природы, в котором мы самозабвенно предавались разнообразным утехам: играли в прятки в береговых зарослях, устраивали догонялки, или пятнашки, в воде. Крики, визг и смех плещущихся в воде детей был слышен далеко окрест.

Замёрзнув в воде (какая бы она ни была тёплая, но от долгого пребывания в ней, подпитываемой ключами, тело начинало покрываться мурашками, а губы синеть), мы, стуча зубами, отогревались на солнышке тут же на песчано-глинистом берегу или повыше, на поросшей травой и кустарниками береговой террасе.

Кстати, на этом же озере, отойдя немного дальше от купального места, можно было и неплохо порыбачить: в озере водились сороги, окуни, щуки, лини и караси. Но обычно рыбаки, такие же пацаны, как и мы, долго не выдерживали соблазна и, бросив на берег свои удочки, присоединялись к купальщикам.

Вот сейчас вспоминаю то время и чувствую, как блаженная и глупая улыбка блуждает у меня на лице. Господи, как же мы были счастливы от того единения с природой! А всё потому, считаю я, что не было у нас тогда, в начале 60-х, ни телевизоров в деревне, ни тем паче сегодняшних электронных штук, которые сделали домоседами большую часть населения страны, включая и детей.

Удивительно, но родители никогда не боялись отпускать нас одних в эти длительные походы на лоно природы — наверное, потому что сами также выросли, без излишней опеки и надзора. И ничего ведь с нами не случилось! Ну там, разве что наступил на колючку от боярышника или расшибёшь большой палец на ноге об выступающий корень, когда шляешься по кустарникам — ходили-то почти всегда босиком, — а то и подерёшься со сверстником, что, впрочем, случалось крайне редко.

Не помню случая, чтобы кто-то из моей деревни утонул в озере или на Иртыше. Чужих утопленников к нам по реке — да, прибывало, из стоящего выше по Иртышу райцентра, а свои чтобы — ни-ни! Правда, всё же был один случай гибели нашего парнишки, связанный с водой. Но Серёга не утонул, а неудачно нырнул и сломал себе шейные позвонки (покойся с миром, дорогой мой земляк).

После тех благословенных дней я прожил уже, можно сказать, целую жизнь, за которую купался не в одной реке, не в одном море. Но лучших водоёмов, чем Долгое и Иртыш, я не встречал, да и уже не встречу. Потому что — лучше не бывает. Потому что они — из далёкого счастливого детства!..

Грибная страсть

Страсть к тихой охоте, как и к рыбалке, у меня возникла ещё в детстве. Я рос в лесостепной зоне Павлодарского Прииртышья, на самом его севере, фактически на границе с Западной Сибирью. И потому грибы у нас тоже водились. Правда, для того чтобы набрать, скажем, обабков, надо было выбираться за несколько десятков километров от Иртыша, к берёзовым колкам, где и водились эти чудесные грибы, а также сухие грузди и нередко — деликатесные белые.

А дома, в окрестностях Пятерыжска, можно было набрать на жарёху шампиньонов, с которых я и начал своё увлечение этим промыслом. После хорошего дождя буквально на второй-третий день они начинали вздымать землю свои беленькими шляпками везде: на лугах, за околицей села и даже на глинобитных крышах сараев и каких-то других хозяйственных построек.

Говорят, ещё в начале 50-х годов шампиньоны (их называли печерицей) в Пятерыжске за грибы не считали. Но когда начался подъём целинных земель, со всех концов страны понаехали целинники, в том числе и в наш бывший казачий форпост. Они обрадовались такому количеству грибов, буквально подступающих к порогам домов пятерыжцев, и стали их усиленно собирать и готовить.

Вот тогда и местное население, что называется, раскусило, что такое шампиньоны и с чем их едят. Конечно же, лучше всего — жареными с картошкой, аппетитный запах этого блюда запросто может довести человека до желудочных колик! Во всяком случае, когда я приносил шампиньоны домой, мама готовила их именно так, и это было объедение!

Да, ещё у нас очень много было дождевиков — такие шарообразные грибы, из размера с пятак вырастающие до величины человеческой головы. Они после дождей появлялись повсюду на открытой местности, и знай себе росли, сколько им надо — их никто не трогал, потому что считал тоже несъедобными. Перезревшие грибы эти были наполнены изнутри каким-то ядовито-зелёным порошком, который облаком вздымался над грибом, если его пнёшь — да мы и пинали от нечего делать. И лишь сравнительно недавно я узнал, что молодые дождевики вполне съедобны и жареные по вкусу напоминают свиные шкварки.

Пятерыжцы же испокон века (вернее, уже три века, сколько существует это село!) отдают предпочтение груздям. Эти, справедливо считающиеся царскими, грибы облюбовали влажную луговину в пойме Иртыша и приречные леса. Хорошо запомнил, как мы нередко ездили всей семьёй на конной повозке за груздями и ягодами в урочище Четвёртое, в трёх или четырёх километрах от села.

Вообще, любой поход в этот крохотный, по вселенским меркам, лесок, круто огибаемый Иртышом, но большущий лес для нас, пацанов, в

котором реально можно было заблудиться, для меня всегда был праздником. Четвёртое было наполнено щебетом птиц, и особенно из этого гомона выделялось мелодичное пение иволги.

Я её никогда не видел, но её трели, если так можно назвать переливчатые звуки, издаваемые как будто каким-то музыкальным инструментом, разносились по всему лесу. Если честно, я и не знал, что это поёт иволга, пока не наткнулся на её пение, воспроизведённое в интернете. Вот тогда я и понял, кто так очаровывал меня своими рудами. Но иволгу живьём так ни раз и не увидел.

В Четвёртое мы ездили и ходили за разными дарами природы: тут и калина, и чёрная смородина, и конечно же, кудрявые заросли кустов великолепной, иссиня-чёрной ежевики, вареньем из которой запасались на долгую зиму все уважающие себя пятерых.

Грузди выдавали своё присутствие не только взбурившимися холмиками суглинистой почвы и выглядывающими краешками своих белоснежных шляпок, но и неповторимым ароматом, напоённым запахом трав, влажной луговины и особой горчинкой, присущей только этим деликатесным грибам.

Ломали мы грузди—так называется у нас процесс их сбора,—ведрами, а когда и телегами! Правда, возни с ними затем дома было очень много. Это не лесостепные сухие, а луговые грибы, в них много горечи, поэтому грузди сначала надо долго вымачивать, регулярно меняя воду, и солить их затем не менее месяца.

Но зато потом... когда на улице трещат морозы, а у вас дома на столе исходит паром отварная картошечка... а мама накладывает в одну большую тарелку засоленные грузди, уже не белые, правда, а сероватые... но зато такие ароматные... с прилипшим листиком смородины, с одуряющим запахом укропа и чеснока... что ты сразу вспоминаешь и лето, и с благодарностью думаешь о Четвёртом, подарившем тебе такое гастрономическое чудо, как солёные, хрустящие ароматные грузди...

И ты отправляешь в рот сначала уже немного остывшую картошку, приправленную жареным луком, а затем нанизываешь на вилку глянцево поблёскивающий груздочек... Всё, не могу дальше писать, спешно иду к холодильнику, чтобы чем-нибудь закусить и таким образом остановить процесс обильного слюновыделения...

Ну вот, поехали дальше. После школы я недолго, год с небольшим, прожил на Урале. Там с грибами было побогаче, чем в Северном Казахстане, но мне как-то не довелось побывать в уральских лесах. Если пару-тройку раз и выезжал, то просто на пикники, там не до грибов было.

А вот в армии я, сам того не ожидая, снова мог, хоть и урывками, предаваться своей страсти. После стройбатовской учебки я попал в всо

(военно-строительный отряд) в Костромской области, где мы строили ракетную шахту и сопутствующие ей объекты. Часть находилась в дремучем лесу и ограждения вокруг неё (кроме, разумеется, шахты) не было—солдатам в самоволку идти просто некуда, а к нам всяким врагам с диверсионными целями незачем было проникать, так как ракетный ствол ещё только-только строился.

И вот тут-то оказалось, что грибов вокруг части—хоть косой коси. И порой я и ещё несколько парней из нашего отделения в свободное от пахоты на объекте время набирали полные подолы гимнастёрки и сносили к кострищу за казармами, где на самодельном противне уже шипел расплавленный маргарин и в нём плавал порезанный лук. И редко когда поджаренные грибы—а это были маслята, подберёзовики, подосиновники,—получалось съесть самим. На дразнящий запах нашего яства сбегались и некоторые другие свободные солдаты. И мы не жадничали, делились своим приварком, грибов-то вокруг было множество.

Но самый настоящий грибной рай ожидал меня в Эвенкии, куда я уехал работать в конце 80-х. Столица округа посёлок Тура буквально окружён тайгой, на окраинах она подступает к самым дворам. А в ней раздолье грибов: те же маслята и подберёзовики, подосиновники, грузди (причём нескольких видов: белые, жёлтые и чёрные), белянки, волнушки, моховики...

В пору сбора грибов и ягод посёлок в выходные дни буквально вымирал: люди на моторных лодках—они в Туре, стоящей у слияния двух рек, самый распространённый транспорт,—устремлялись подальше от поселения, в самые таёжные дебри. Понятно, что там и грибов, и ягод побольше. Забыл сказать про эвенкийские ягоды—это, конечно же, брусника, чёрная смородина, кислица (красная смородина), жимолость, малина, княженика, кое-где севернее и морошка.

Но и пешим сборщикам рядом с посёлком даров тайги вполне хватало. У меня моторки не было, и я бродил по таёжным окрестностям Туры сначала пешком, а потом, когда обзавёлся «окушкой», выезжал чуть подальше, по пробитым в лесу дорогам, насколько позволяла проходимость моей 40-сильной машинёшки, или по единственной в Эвенкии дороге федерального значения—16-километровой трассе Тура—аэропорт Горный. Отъехав подальше, бросал «Оку» на обочине и углублялся в лес в поисках грибов и, конечно же, никогда пустым к машине не возвращался—ведра два грибов, а то и более, обязательно домой увозил.

Все 22 года жизни в Эвенкии в холодильнике и в морозильной камере у нас дома практически круглый год стояли банки с солёными груздями и волнушками, белянками, лежали контейнеры с обжаренными и замороженными маслятами, подберёзовиками, подосиновиками, моховиками.

Грибы весьма разнообразили наш рацион питания, основанный, кстати, также преимущественно на дарах природы — мясе северного оленя и рыбы из местных водоёмов. Но конечно же, не столько гастрономическое пристрастие к грибам гнало меня в лес, сколько азарт охотника, только бескровного.

Поиск грибов — это всегда увлекательное и захватывающее занятие, от которого трудно оторваться. Вот уже у тебя, казалось бы, все ёмкости забиты маслятами и груздями. Но грибы, насколько хватает ваших глаз, видны во мху, траве, под какими-то кустиками, взбугрившимися холмиками грунта там и тут. И они всем своим видом говорят тебе: неужели не заберёшь нас, неужели оставишь? Вот и ищешь в машине какие-то дополнительные пакеты, ёмкости, чтобы не оставить их тут «бедовать», а забрать с собой. Я думаю, это чувство знакомо каждому грибнику.

Правда, походы за грибами в таёжной местности чреваты тем, что в пылу их сбора можно было заблудиться или, хуже того, нарваться на косолапого, коих в Эвенкии очень много. На моей памяти в округе от их лап погиб не один грибник, искали и порой не находили заблудившихся. Но истинного грибника ничто не может остановить. И продолжают тянуться в тайгу, в урман, в лесостепные колки нашей необъятной страны тысячи и тысячи любителей тихой охоты, любителей общения с природой.

Я же, переехав в огромный миллионный Красноярск, отошёл от этого дела — теперь за грибами надо ехать чёрт знает куда, за десятки, а то и сотни километров. Но без грибов не остался — Светлана моя всегда следит за их появлением на ближайшем рынке, и постоянно покупает и носит их домой. А я же, с упоением вдыхая их лесной аромат, могу часами обрабатывать их и заготавливать на предстоящую зиму, чтобы (читай 12-й абзац заново)...

Страсть к грибам — это навсегда.

Озеро Долгое

Своенравный Иртыш, спрямляя себе путь, за тысячелетия течения местами отошёл на сотни метров от прежнего русла и проложил новое, оставив после себя намытый им высокий песчаный берег. Склоны его с годами стали покатыми и покрылись зарослями боярышника, осинника, черёмухи, джигиды, ежевики и хмеля.

Под старым берегом зеленеют обширные луга с кудрявыми ивовыми рощицами, с множеством пойменных озёр, среди которых и моё любимое Долгое. Этот красивый водоём с берегами, поросшими рогозом и тростником, с покачивающимися на лаковых зелёных листьях желтоглазными кувшинками, в ширину имеет всего пару десятков метров, а протянулся параллельно Иртышу примерно на километр. Потому-то, видимо, и называли озером Долгим, то есть длинным.

Выглядит Долгое как речка, но таковым, конечно, не является, так как и начало его, и конец находятся в пределах видимости, особенно если смотреть с высокого правого берега, под которым и располагается иртышская пойма.

Озеро это неглубокое, всего метра два-три, но достаточно рыбное. В причудливых переплетениях водорослей Долгое водятся горбатые тёмноспинные окуни, краснопёрая сорога и серебристая плотва, золотистые караси и тускло-бронзовые лини. И, конечно же, щуки — отдельные экземпляры этих озёрных хищниц могут весить и два, и три килограмма.

И хотя в глубине жёлто-зеленоватых вод Иртыша таятся стерляди, язи, громадные лещи, случается и нельма, и клёв здесь практически всегда гарантированный, мне больше нравилась озёрная рыбалка. Здесь она выглядит настоящим поединком между человеком и осторожной рыбой — кто кого перехитрит. Сидеть на берегу или в лодке надо без излишнего шума и резких движений, так как рыба в прозрачной и весьма ограниченной акватории озера прекрасно всё слышит и видит и очень пуглива.

Если щука хватается живца, надо усмирить свой азарт и не вытаскивать жерлицу сразу, а терпеливо дожидаться определённого момента, когда вдруг притопленный поплавок (у меня он обычно был вырезан из приличного куска белого пенопласта, и когда щука хватала наживку, проваливался под воду с негромким, но отчётливым звуком «буп!») начинает быстро уходить вглубь и вбок, обычно куда-нибудь в гущу водорослей.

И лишь когда леска натягивается струной, а удилище начинает рваться из рук, вот тогда и приступаешь к борьбе с очень сильной хищницей, не желающей расставаться ни со своим завтраком, ни с уютным домом-озером.

И не всегда этот поединок заканчивается в пользу рыбака — щука может или порвать леску, или перекусить её острейшими зубами, а то и переломить конец ивового удилища.

Вот за такие переполненные адреналиновыми всплесками минуты я и любил рыбалку на озере Долгом, и потому хаживал на него куда чаще, чем на Иртыш.

Обычно шёл я на Долгое, до которого надо было шагать с километр, или поверх старого иртышского берега, или низом, между береговым склоном и тянущимися вдоль него огородами, по извилистой влажной тропинке, пересекающей бесчисленное множество негромко журчащих ручейков, заросли крушины и ивняка.

Отправлялся я из дома ранним прохладным июльским или августовским (самые лучшие для озёрной рыбалки месяцы) утром, когда заспанное солнце только-только начинало выкатываться из-за кромки горизонта и по всему селу стояла предрассветная тишина, нарушаемая лишь редким

побрёхиванием собак да нестройным хором петухов, своим неутомимым и бодрым «Ку-ка-ре-ку!» возвещавших о начале нового дня.

С утра почти всегда было ещё безветренно и уютно лежащее меж камышовых берегов Долгое ещё дремало, укрывшись лоскутным одеялом тумана. Но уже то там, то тут слышались громкие всплески, и по воде разбегались круги. Это у окуней и щук начинался утренний жор, и они гонялись за чебачками, да и порой за своими сродственниками поменьше, по всему озеру, иногда даже вылетая из воды и обрушиваясь на свои жертвы сверху.

Вот почему я и спешил на рыбалку пораньше: надо было успеть наловить сорожек, у которых в это время тоже был неплохой аппетит и которых ещё не распугали радостным визгом и громким бултыханьем в неостывшей даже за ночь тёплой воде набежавшие ближе часам к десяти-одиннадцати утра в купальные места озера ребятишки из села Пятёрыжск, угнездившегося на высоком песчаном берегу Иртыша.

Снарядив изловленными живцами жерлицы (обычно пару штук), я аккуратно, по возможности бесшумно закидывал их в укромные и свободные от кувшинок уголки, под широкими листьями и между длинными стеблями которых могли стоять в засаде зубастые хищники. Ну а главным надводным хищником в это время на озере, получалось, был я. Хотя, такова уж диалектика жизни: сорожки (да, это их местные жители называют чебаками) охотились в воде на всяких безобидных букашек; сорожек преследовали окуни да щуки. А уж им укорот наводил я — человек, повелитель природы, «язви его-то» — так обычно мило и беззлобно поругиваются коренные пятерыжцы, потомки прииртышских казаков, которых, кстати, также называют чебаками жители соседних сёл — за пристрастие к рыбной ловле.

Вот как затянулась преамбула моей, в общем-то, короткой истории, которую я всё собираюсь вам рассказать, да никак не доберусь до её сути. Но без подробного описания милого моему сердцу озера Долгое, которое и сейчас ещё мне порой снится, хотя уже прошло больше тридцати лет с того дня, когда я последний раз на нём рыбачил, у меня просто ничего не получится. Потому что я страстно желаю, чтобы и ты, дорогой читатель, тоже проникся тёплым чувством к этому замечательному прииртышскому водоёму.

Наконец вот оно, о чём я хотел вам поведать. Однажды я вот так же отправился на рыбалку. Ну, может быть, чуть позже обычного, когда солнце уже не просто застенчиво выглядывало из-за краешка горизонта, а уже смело встало во весь свой круглый рост и щедро испускало тёплые и ласковые лучи. И вот, когда я стал подходить к известному среди пятерыжцев месту озера, именуемому Красненьким песочком (бьющий в этом месте из крутого склона особенно мощный ключ натаскал на берег озера много железистого и оттого красноватого песка, образовавшего очень удобный для ныряния с него мыс), ещё издалека заметил, что вся округлая кромка песчаного мыса выглядит необычайно тёмной, почти чёрной.

Ничего не понимая, я даже ускорил шаг, стараясь всё же при этом не шуметь. И когда тропинка уже сворачивала к Красненькому песочку, до которого оставалось, может быть, метров пятнадцать, я своим, тогда ещё молодым и цепким взором, выхватил вот такую картину: всё полукружие обширного песчаного мыса у самой воды было плотно, как мухами, облеплено... раками!

Выложив свои клешни на песок, они смиренно сидели, если можно так сказать, плечо к плечу на мелководье и грелись в ласковых лучах ещё нежаркого солнца. И раков этих было, по меньшей мере, штук сто-сто пятьдесят. Конечно, если бы они мне позволили, я бы их пересчитал. Но при виде такой поразительной картины я от неожиданности уронил пустое ведро, с которым всегда ходил на рыбалку (и нередко возвращался домой с наполненным!). Чёртово ведро, гремя, покатилося вниз, к той самой клешнястой тёмной кайме. И песчаный мыс мгновенно взорвался: десятки раков одновременно шлёпнули по воде перепончатыми хвостами и тут же стремительно исчезли в глубине озера.

Лишь помутившаяся и вспенившаяся у берега вода свидетельствовала, что мне всё это не привиделось: только что здесь сидели десятки раков и принимали солнечную ванну (а может, не просто грелись, а обсуждали на бережку какой-то очень важный для них вопрос — например, как пережить очередную зиму?). Больше ничего подобного я в своей жизни не видел. И это незабываемое и загадочное зрелище, которое до сих пор стоит у меня перед глазами, мне подарило моё любимое озеро Долгое.

Виктор Теплицкий

Облачки и дворники

Бессонница

Андрея Кривдина мучила бессонница. Началось это лет пять назад. Не каждую ночь, но довольно часто. Чего он только не перепробовал, пытаясь от неё избавиться; даже обращался к целителю — всё было тщетным. Травы и заговоры не действовали, а таблетки Кривдин пить наотрез отказывался. Врачам он не доверял, в химию не верил.

Жил он один. Изредка появлялись подруги, но долго не задерживались. С приходом бессонницы они и вовсе исчезли, поэтому и прозвал её Андрей роковой любовницей.

Когда он понимал, что уже не заснёт, — переворачивался на спину, закрывал глаза и представлял: то он продирается сквозь джунгли, разрубая лианы широким мачете, то бредёт по горло в воде, держа над головой винтовку, а за ним следует отряд отчаянных смельчаков... Воображение у Кривдина было богатое.

К утру, измученный опасными переправами или жестокими схватками, он забывался коротким сном. Беспощадно звенел будильник. Андрей отработанным движением хлопал по кнопке, заводил ещё на пятнадцать минут и проваливался в какую-то бесцветную муть. Снов Кривдин не видел.

Разумеется, он почти всегда опаздывал на работу. К этому привыкли, но при малейшей оплошности ставили на вид.

Работал Кривдин в двух шагах от дома. И это спасало. В обеденный перерыв он отключался на полчаса и таким образом дотягивал до конца рабочего дня.

Вечерами он дремал у телевизора. В выходные отсыпался.

Однажды Андрея вызвал начальник и строго отчитал, пригрозив увольнением. Ещё через неделю его обвинили в каком-то грубом нарушении и потребовали заявление об уходе. Кривдин выкручивался как мог, но главный был непреклонен. Он дал Андрею несколько дней, чтобы передать дела сослуживцу.

Андрей не чувствовал за собой вины и был уверен, что его просто-напросто «подсидели».

Ночью без стука вошла роковая любовница. Кривдин закрыл глаза...

Ревела и кипела битва. Стрелы закрывали полнеба, трещали щиты, ломались копья, крики раненых перекрывали звон металла. Андрей бросился в самую гущу. Кровь хлюпала под ногами. Он был ловок, как рысь, и свиреп, как медведь. Вражеское войско дрогнуло. Вот-вот раздастся победный клич. Но вдруг бежавшие остановились, расступились — на поле битвы вышел богатырь. На две головы выше Андрея, сверкающие доспехи, огромное копье. Андрей узнал начальника, хотя мощный шлем закрывал пол-лица. Он увернулся от копья, перерубил древко. Зазвенела сталь. Два войска замерли, зачарованные поединком — яростным, но недолгим. Клинок вошёл в разгорячённую плоть. Андрей поставил ногу на грудь поверженному и намотал волосы на руку...

И тут Кривдин уснул.

Когда он входил в кабинет начальника, его тело сотрясала мелкая дрожь.

Когда выходил — на губах играла улыбка удивления. Главный сказал, что произошла ошибка, что виновный будет уволен, а Кривдину будет начислена премия за, так сказать, моральный ущерб.

Только ложась в постель, Андрей задумался — из головы не выходил поверженный великан.

Несколько дней бессонница не приходила.

После разговора с начальником дела пошли в гору. Андрею предлагались ответственные задания, с которыми он худо-бедно справлялся, а если где-то затягивал или ошибался, ему прощалось без вызовов на ковёр. Служивцы перешёптывались за его спиной. Но были и те, кто открыто издевался. Особенно Варшанович. Его колкие фразы, брошенные как бы невзначай, выводили Кривдина из себя. Андрей огрызался, но неумело, и это только придавало вес словам противника.

Дома перед зеркалом Кривдин репетировал, тщательно выискивал в словаре хлёсткие выражения. Но когда доходило до дела, всё найденное вылетало напрочь из головы. И, как назло, любовница не приходила — измученный работой и противостоянием Варшановичу, Андрей засыпал, как только голова касалась подушки. Наконец он сдался и бросил вёсла...

Она пришла на следующую ночь.

Это тоже был поединок, но теперь Кривдин представил дуэль. На этот раз звенели шпаги и на рваных белых рубашках алели пятна крови. Варшанович теснил Андрея. Они бились на площадке высокой мрачной башни. Силы были на исходе, пот заливал глаза. Но тут Варшанович замешкался, и Андрей сделал выпад. Трёхгранный клинок вошёл чётко под левый сосок...

Кривдин ничуть не удивился, узнав о внезапном увольнении Варшановича по собственному желанию. Главный не удерживал. Андрей ликовал. Шепотки за спиной прекратились.

Его смущало только одно: любовница была капризна и избалована. Она приходила когда, ей вздумается, а не когда ему хочется. Он умывался холодной водой, пил крепкий чай, но сон подкрадывался незаметно, и серая муть снова втягивала в себя и отпускала только по сигналу будильника. И всё-таки бессонница не оставляла Андрея надолго. Он завёл дневник, пытаясь найти хоть какой-нибудь алгоритм её прихода. Но безрезультатно. Ему оставалась быть её верным вассалом, записывать свои фантазии и... строить планы.

Андрею уже давно нравилась экономист смежной компании Лена. Симпатичная блондинка купалась во внимании мужчин, и её совсем не интересовал инженер по фамилии Кривдин. Случалось, Лену забирали после работы очень дорогие машины. Разные.

...Они стояли друг против друга: Андрей в греческих доспехах и прекрасная предводительница амазонок—без правой груди, с туго натянутым луком, ветер развивает светлые волосы... Что для него поймать на лету стрелу? Пустяк. И вот волосы намотаны на кулак, а она молит о пощаде, обнимая его колени...

Он действовал наверняка. Несколько выписанных острот, два билета на концерт поп-дивы, ужин в ресторане. Вполне можно обойтись без шикарного автомобиля, если есть дерзость и уверенность в себе.

В эту ночь Кривдин ночевал у Лены. Спал он спокойно.

Тот, кто дочитал до этих слов, наверняка ожидает трагичной развязки. Ну да, возмездие! За всё нужно платить—игры в мистику до добра не доводят. Но о развязке мне ничего не известно. Будет ли она вообще? Здесь или в ином измерении? Не знаю. Могу сказать только вот что. Недавно к нам в редакцию прислали рассказ «Бессонница». Он показался мне слабоватым. Я вежливо

отказал, пожелав автору будущих успехов, как обычно делается в таких случаях. Но тот оказался напористым. Приехал к нам за объяснениями. Я старался быть корректным и объективным. Он слушал внимательно, но почему-то лёгкая улыбка не сходила с его лица. Поблагодарив, он ушёл, оставив рассказ на столе. Когда через несколько дней я вернулся из поездки, почему-то решил перечитать «Бессонницу». Удивительно, но на этот раз миниатюра об инженере Кривдине мне понравилась! Есть в ней что-то необычное, чего сразу и не уловишь. Да и мистика здесь кстати. Несмотря на возражения коллег, я решил рассказ напечатать. Нужно давать дорогу начинающим талантам. А как же иначе.

Облачки и дворники

Кошка подкрадывалась бесшумно. Нервно махала хвостом, выжидала, когда голубь подойдёт ближе. Голубь суетился возле хлебной корки и ничего не замечал. Одно крыло безобразно топорщилось, волочилось по земле. Когда кошка изготовилась для прыжка, Пётр Милютин замахнулся на неё метлой. Хищница бросилась в кусты, птица заметалась между мусорными баками. Дворник снял куртку, изловчившись, набросил на голубя. Посадил в коробку.

Он сидел на корточках, поглаживал сизую головку. Объяснял: «Дурик ты. Смотреть надо. Слопают—не заметишь».

— Милютин, почему инструмент на земле?—стальной голос застал его врасплох. Пётр втянул голову в плечи, закрыл картонку. Подобрал метлу. Маргарита Зиновьевна Груббе—начальник жко—надвигалась, как гигантская волна. Грозно и неотвратимо. Тёмное пальто, короткая стрижка, руки в карманах—она напоминала сейф. Тяжёлый, прямоугольный, стальной.

— Почему лист ещё не собран? Скоро машина, а у тебя конь не валялся.

— Да я успею, Зиновьевна. Они сначала на пятый заедут,—мямлил Пётр.

Он никогда не обращался к ней по имени-отчеству. Ему думалось, что у женщины, похожей на несгораемый шкаф, вообще не может быть имени; что здесь вкралась какая-то ошибка. Милютин даже отчество старался произнести побыстрее.

— Я успею,—повторил дворник.

— Успеет он,—хмыкнула Груббе.—Здесь что?—указала на коробку.

— Голубь.

— Какой ещё голубь?

— Обыкновенный. У него с крылом что-то. Сломано, наверно. А тут кошка лазит. Вот,—протянул начальнице.

Птица забилась в руках, боязливо выхватывая зрачком человеческие лица.

— Ну и на что он тебе? — Груббе отодвинулась.

— Так сожрут ведь...

— Милютин, прекращай уже. Собирай лист и не морочь мне голову. До седых волос дожил, а ведёшь себя как ребёнок. Выкинь его и делай кучи. Ты понял?

— Понял.

Груббе ещё раз придирчиво оглядела двор и направилась к машине.

— А ты понял? — Милютин обратился к сизарю. — Посиди-ка, брат, покамест тут. Всё лучше, чем у кошки в брюхе. А там что-нибудь придумаем.

Когда грузовик с листом уехал, Милютин спустился в подвал. Спрятал лопаты, запер дверь и отправился к Константину Капитоновичу Бернавскому. Дворнику самого дальнего участка.

Частил дождик. Прохожие укрывались под зонтами. Кто поднимал воротник, кто держал над головой сумку. Все спешили.

Пётр Милютин шёл медленно. Возраст не тот, чтобы бегать. Да и с коробкой особо не разгонишься. Люди с интересом посматривали на щуплого человечка, смахивавшего на персонажа считалки: под горою у реки живут гномы-старики...

Несколько раз Милютин останавливался под балконами, стряхивал капли с одежды. Голубь сидел тихо.

...Вряд ли мастер сегодня будет проверять. А если заглянет? Всё равно найдёт, к чему придраться. Не привыкать. Лист будет идти ещё месяц, а то и больше. Да и Груббе уже побывала. За шесть лет он хорошо изучил повадки начальства. У Капитоныча птице будет спокойней...

Он заглянул в ларёк — с пустыми руками заявляться не хотелось. Но до зарплаты было ещё далеко. Вдохнул, прошёл мимо.

Каптерка Бернавского находилась на чердаке сотки.

Милютин поднялся по железным крашеным ступеням. В дверь постучал условным стуком. Константин Капитонович открыл, как всегда, улыбаясь:

— Милости просим, любезный. Проходите, не стесняйтесь.

— Здорово, Капитоныч, — Пётр опустил коробку, пожал руку.

— Прошу к столу. Чай только закипел. Интуиция — великая вещь! Я почему-то не сомневался в вашем приходе.

Бернавский выставлял из настенного шкафчика стаканы в подстаканниках. Сахарница и чайник, укрытый полотенцем, уже ждали гостя. Милютин всегда удивлялся таланту Капитоныча создавать уют там, где это, казалось бы, невозможно. Вот, к примеру, чердак: вытянутый бетонный короб,

керамзит под ногами, тусклые лампы, пыль. Что тут придумаешь? Но Капитоныч нашёл доски и сгородил что-то вроде комнатёнки. Шкафчик и табуретки — тоже с улицы. Над круглым столиком потёртый абажур. На полу рванный спальник. В чемодане книги и журналы. На работе Бернавский не пил.

Милютин повесил куртку на рожек вешалки.

— Я тут не один. С приятелем. Глянь-ка.

— И что сей за фрукт? — Константин Капитонович неспешно вынул очки из футляра. Наклонился. Поднёс голубя к свету.

Пётр наблюдал за Капитонычем. Высокий, сухопарый, всегда побрит и в галстук. Большие ладони, сосредоточенный взгляд. Милютин про себя называл его профессором.

Бернавский ощупал сломанное крыло. Птица занервничала.

— Я так понимаю, это не на ужин. Где раздобыли несчастное создание?

— Возле мусорки. А у жильцов из тридцатой кошка. Воробьёв таскает — только шум стоит. Вот на товарища нацелилась. Кормят её плохо, что ли?

— Инстинкт, мой друг, — жестокая вещь, — сказал Бернавский.

— Вот я и хотел метлой по хребтине. Увернулась, зараза.

— Э, так вы, оказывается, спаситель голубей. Кстати, чай, — Константин Капитонович протянул Милютину стакан.

— Я за справедливость, — сказал Пётр, размешивая сахар. — Чтоб все на равных условиях. У той все лапы целы, а у этого крыло сломано. Непорядок. — И что прикажете делать?

— Тебя хотел спросить.

Голубь возился в коробке. Константин Капитонович барабанил пальцами по столу.

— Слушай, Капитоныч, может, он какое время у тебя поживёт? Поправится — сам улетит. Я бы в подвале оставил, да там слесаря шлындают. И Груббе косо смотрит. Выкидывай, говорит.

— Перво-наперво его нужно отнести ветеринару. А потом... У меня ведь тоже оказия случается — неугомонный наш Василий сюда недавно заглядывал. — А ему-то что надо?

— Не ведаю. Ну да Бог с ним. Итак, оставляем птицу здесь. Я всё равно ночую. К племяннице нагрязнул какой-то дальний родственник. Суэта невообразимая. Им сейчас хватает на орехи. А завтра я голубка кое-кому покажу. Это во-первых. Во-вторых, мне нужны газеты. Много газет. Желательно «Правда».

— На кой?

— Для политинформации. Голубь должен быть идеологически подкован. Перестройка! Новое мышление. Вы что, Милютин, прессу не читаете? — Что-то я в толк не возьму...

— Да шучу я. Газеты нужны большого формата. Птица, как известно, не только семечки клюёт. Она ещё и гадит.

Милютин понимающе улынулся.

— Вот и пусть гадит на «Правду», — продолжил Бернавский. — Она для этого лучше всего подходит.

Следующим вечером Пётр Милютин поднялся на чердак с двумя кипами газет. Ему пришлось походить по этажам общаги.

Теперь голубь обитал в углу за фанерной перегородкой. Крыло забинтовано, прихвачено над хвостом.

— Ого, — присвистнул Милютин — эвон как тебя обработали. А что так насупился?

— Вас бы так спеленали, мой дорогой, посмотрел бы я на ваш vultus.

— На кого?

— На выражение лица.

— А что-то там у него? — Милютин потрогал бинт.

— Шина.

— И долго он так будет? Ветеринар-то что говорит?

— Не ветеринар. Сосед. Хирург от Бога. Может, как оказалось, врачевать без скальпеля. Говорит, недели три при хорошем раскладе. Так что не знаю. Но деваться некуда. Будем держать гулю здесь до последнего.

— Да обойдётся как-нибудь.

Они расстелили газеты, налили в блюдце воды, рассыпали пшено. Голубь сидел, поджав лапки. К пище не притронулся, только внимательно наблюдал за руками людей. Тёмно-синее оперение с белыми крапинками делало его похожим на лоскут хмурого осеннего неба.

Когда Бернавский налил чай, Милютин вынул из кармана талоны. Положил на стол. Не глядя на Капитоныча, зачистил:

— Это лишние. На сахар. Я сладкое не очень, ты же знаешь. Не обессудь. Возьми.

— Да вы своим уме, любезный?! — Бернавский поднялся со стула. Ладони вспорхнули над абажуром. — Вы поглядите на него! Перебивается на сухарях, а мне несчастные бумажки толкает.

— Я — один. Ты у родни живёшь. А ещё этот на голову свалился.

— Не извольте беспокоиться. Не обеднеем. Убегите. И не нужно глупостей, — он сел, закинул ногу на ногу.

Милютин, громко вздохнув, убрал талоны. Он знал: спорить с Капитонычем бесполезно.

Потом Бернавский сказал:

— А ведь птица не зря нам дана. Есть тут какой-то смысл. В каждом событии имеется своя логика, мой друг.

Милютину нравилось смотреть на «профессора», когда тот пускался в рассуждения. Бернавский продолжал:

— Именно голубь принёс Ною ветвь маслины. Всё, мол, кончено. Господь сменил гнев на милость. Вылезайте из ковчега. Пора жить, а не существовать. Помните?

Пётр кивнул.

— Мне так нравится эта фраза: «но голубь не нашёл место покоя для ног своих». Красиво звучит?

Пётр кивнул снова.

— А потом, сказано, голубь не вернулся. Этот тоже не вернётся.

Дворники посмотрели за перегородку. Птица, казалось, внимательно слушала Константина Капитоновича, чуть наклонив голову.

— Точно не вернётся. Нынче тварь непослушна человеку.

— Тварь?

— Именно тварь, мой непревзойдённый усмиритель кошек. Это ведь библейское слово. Творение. Просто мы — гомо советикус — низвели его до ругательства.

— Мудрёно, Капитоныч.

— А в нашем мире, и особенно в стране, всё очень не просто, Пётр Данилович.

— Что есть, то есть, — вздохнул Милютин.

И вдруг брякнул:

— А я за правду.

— В смысле?

— Ты вот всегда говоришь — милость. У кого там «милость к падшим призывал»?

— У Пушкина.

— Вот. Значит, тебе в душу харкают, а ты другую щёку подставляешь. Неправильно это. Прихлопнут как муху и не поморщатся. А вот справедливость — всё ясно и понятно. Не зашкаливай. Облюдай закон. Живи честно. Напортачил — получи, — Милютин рубил ладонью воздух.

— Ну да, чья бы корова мычала. Вам начальство что сказало? Выбрось. А вы? Нарушили должностные обязанности. Не по закону, выходит.

Милютин стукнул кулаком по колену:

— Ну не возмёшь его! На всё ответ имеется.

— Нет, мой справедливый амиго. Далеко не на всё. Я вот думаю, как наречь его?

— Голубя? Зачем?

— А затем, что у всего под солнцем должно быть имя. Раз мы с птахой завязались, надо её как-то назвать. В этом наше господство. Владение и ответственность, так сказать.

— А оно нужно? Господство это? Я лично не хочу никем владеть. Кто я такой?

— Действительно, кто вы такой? Кто мы вообще такие? — Бернавский задумался. — Знаю! — воскликнул он. — Мы не будем никем владеть. Мы не будем унижать человеческое имя, нарекая птицу. Мы дадим фамилию. Коли голубь здесь прописан, хоть и временно, у него должна быть фамилия.

— Ну ты голова, Капитоныч!

— Дифирамбы потом. Вам решать. Думайте.

— Почему мне? — Милютин заёрзал на стуле.

Улыбка не сходила с лица Бернавского:

— Кто спас, тому и карты в руки. Давайте. Любую. Русскую, английскую, хоть еврейскую. Только не нужно Голденблюмов или Розенцвайгов.

— И не Груббе, — вставил Пётр Милютин.

— Только не Груббе, — согласился Константин Капитонович.

— Я вот как думаю, — Милютин размышлял вслух. — Голубь он хоть и тварь, но всё же птица. Летает в небе. Тучкин? Нет, не то... Облачки! Во!

— Да вы настоящий Адам, — Бернавский пожал руку Милютину. — Здорово! Вы — творец имён. Вернее, фамилий. Я не лшу, поверьте. Облачки! Восхитительно!

Дворники подошли к загородке. Сизарь спал. Из-под забинтованного крыла виднелся уголок «Правды».

Зарплату обещали выдать в конце месяца. Если не задержат, то через две недели они отметят день наречения Облачкина. Но до этого надо было ещё пережить санитарную пятницу.

День коллективной уборки всегда начинался с планёрки. На втором этаже конторы, в ленинской комнате, завешенной плакатами. Советские труженики, как и полагается, были изображены внушительными; антисоветские тунеядцы — мелкими. Но те и другие — одинаково угловатыми. Здесь всё, от чугунных батарей до рядов кресел и щитов го, было грубым и несуразным, словно топором вытесанным. Только бюст вождя на подоконнике выделялся округлостью. Иногда на него складывали шапки и вешали куртки...

Когда Милютин вошёл, свободных мест почти не было. Опоздания карались строго. Константин Капитонович помахал рукой. Рядом пустовал стул.

Привычно зубоскалили сантехники. Шептались дворничихи, передавали ещё горячие сплетни. Дворники поругивали власть, но вяло и беззубо. Электрик уткнулся в журнал. Все ждали начальницу. Ровно в восемь она появилась. В неизменном пальто, с яркой косынкой на шее. Грузно опустилась за единственный стол. В руке, словно дирижёрская палочка, возник карандаш. Голоса смолкли. Маргарита Зиновьевна начала планёрку.

Пётр снова увидел несгораемый шкаф.

Груббе формировала группы, распределяла объекты. Деловито, привычно, будто возводила кирпичную стену. Фамилии и названия улиц равномерно заполняли пространство комнаты, не оставляя места для сомнений и возражений. Милютин и Бернавский уже знали, куда их направят. Каждую санитарную пятницу они грузили мусор частных дворов в самосвал.

— И ещё, — начальница выдержала паузу. — Зарплату в этот раз будем выдавать в два, а то и в три дня. Занимайте очередь пораньше.

Народ взволнованно зашумел, но не слишком громко.

— Ещё раз повторяю — занимайте очередь. И без толкотни. Иначе будем выдавать деньги по списку. — По-чёрному, что ли? — подал голос сантехник Васька Булдаков — буян и заводила. — А бронировать можно?

Поговаривали (шепотком), что Балда — любовник Груббе. Домыслы домеслами, но вставить шпильку Васька иногда себе позволял.

— Для особо говорливых тоже будет список. Отдельный. Есть ещё вопросы? — Груббе поднялась. — Планёрка окончена. Вперёд и с песней.

Когда Пётр выходил из комнаты, начальница остановила его.

— Ну как птичка твоя, Милютин? Жива? Или уже переварили?

— Не знаю. Не видел, — Петр надвинул кепку на лоб.

У выхода его ждал Капитоныч.

— Вот дался ей этот голубь! Не уймётся, — жаловался Милютин другу. — Что думаешь?

— *Tempus consilium dabit.* Время покажет. Не будем суетиться. Будущее туманно, а вот настоящее реально. Нас ждут грязные делишки, амиго.

Их ждал длинный ящик, заполненный отходами. Самосвал грузили молча. Под сапогами хлюпало, по черенкам лопат текла вонючая жижа. Водитель курил в сторонке. Потом был ещё один ящик. Потом они сменили верхонки...

Наконец грузовик уехал. Широкие ворота были распахнуты. Дворники сидели на сгнившем бревне возле палисадника. Наблюдали за прохожими. День клонился к вечеру, но солнце ещё грело и золотило листву тополей.

— И всё-таки это лучше, чем мусоропровод, — сказал Бернавский.

— Почему?

— Крысы. Не люблю их.

— Их и тут навалом.

— Не сравнить с бетонным курятником. Там их тьма, и сдаётся мне, они злее.

Мне недавно крысёнок на грудь сиганул. С перепугу наверно. Я его сбросил, а потом лопатой. Пополам. Тоже с перепугу. Бр-р!

— Обычное дело.

— Вот именно. Крысы, мусор, вонь — для нас теперь обычное дело... Тоска.

— Кому-то же надо выгребать дерьмо, Капитоныч.

— Понимаю. Но я не об этом.

Милютин посмотрел на Бернавского. Тот разглядывал свою ладонь. Она светилась в заходящих лучах.

— Я о том, Пётр Данилович, почему именно мы — вы и я — здесь. И через месяц. Через год...

— Ну... — замылся Милютин.

— Вот и я про то же, — Константин Капитонович поднялся. — Ладно. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Кстати, в Горбатом обещают выкинуть «Далляр». Или вы предпочитаете белый портвейн?

— Наша невестка всё трескат, мёд и тот жрёт, — ответил Милютин, закидывая лопату на плечо.

— Ну и отлично. А если не выкинут, я знаю, где искать. Что самое важное в нашем царстве-государстве? Связи, мой друг. Связи! «Тарибаной», по крайней мере, вас обеспечим.

Облачкину явно становилось лучше. Голубь освоился, с аппетитом клевал варево из крупы, забавно семенил и подпрыгивал. Осмелев, принимал еду из рук. Удивительно выворачивая шею, чистил перья. Иногда его выносили на крышу. Облачкин ходил по краю, словно примеривался к будущему полёту. Бернавский менял газеты, следил, чтобы в чашке была свежая вода. Он вычитал в энциклопедии, что необходимо голубям, и теперь Милютин толкался в очередях со списком в руках. Хорошо, что с коротким. Голые полки магазинов снова навевали уныние. А ему думалось, что привык. Зато талоны на куруво он легко обменял на гречку.

Однажды Капитоныч заявил, что газеты птицу больше не интересуют. Пора браться за книги. И Бернавский читал вслух Облачкину. И заодно Милютину.

За чтением их застал Балда.

Он стучал в дверь по-хозяйски. Когда ему открыли, вошёл, громко костеря дворников. Шурша керамзитом, осмотрел чердак, заглянув во все углы. Повертел в руках том Достоевского, бросил на стол.

— А вы тут неплохо устроились, бурундучки. Реально — Чип и Дейл. На хрена вам голубь? Он же валит, мама не горюй!

— Поправится — выпустим, — спокойно отвечал Константин Капитонович. — А к дерьму нам не привыкать. Что-то ещё, молодой человек?

— Только давай без этих вывертов, Бенья. Нагороди тут — не вышпечешь. Думаешь, Марго это понравится?

— Вам виднее.

— Не понял, — Васька прищурился. — Ты это о чём?

Он был похож на деревянного петрушку. Яркая шапка-петушок, засаленная телогрейка, спортивные брюки с лампасами, заправленные в сапоги. Сходство добавляли мясистый нос и глаза-стёклышки.

— Вася, да это он сдуру ляпнул. Что ты, в самом деле? — Пётр встал между сантехником и Капитонычем.

— Миля, цыц! — Балда отодвинул Милютину. — Без тебя разберёмся. Так о чём ты там шепелявил?

— Ни о чём, Василий. Успокойся, пожалуйста, — Константин Капитонович отступил.

Булдаков сплюнул:

— Живи, рыло.

Взял чемоданчик. У двери обернулся:

— В следующий раз держи хлебало закрытым.

Милютин повернул ключ в замке, вернулся к столу. Бернавский грустно разглядывал стакан.

— Не бери в голову, Капитоныч. Хамло.

— Да я не за себя. Его дело. Этот прохвост может растрепать Маргарите.

— Да чёрт с ним. Проскочим. Завтра деньги выдавать начнут.

— Спасибо, Пётр Данилович, что напомнили. Воистину благая весть, — Бернавский подошёл к загородке. — Ну, господин Облачкин, скоро погуляем. Фамилию вашу надлежит обмыть должным образом.

Голубь деловито задвигал шеей. Распустил крыло. В тёмном зрачке читалось любопытство.

Милютин шёл по сонным улицам. Город казался иным. Вроде те же обшарпанные дома, вывески, зарешённые ларьки. Но каждый раз он видел в них что-то иное. Особенно когда шёл за получкой...

...Ну поболтается в очереди часика три. Наслушается всего. Где надо поддакнет. Зато потом... с Капитонычем разговоры разговаривать... под красненькую! Наверняка притащит что-нибудь интересное. У него всегда припасено. На жарят, нарежут, сядут...

Солнце несмело выползло из-за крыш. Расцвечивало хмурые стены и переулки. Милютин любил утра, город, общагу...

В конторе уже толкался народ. В коридоре не помещались, стояли на лестнице. Бабки, скорее всего, пришли ночью. Окошко кассы было закрыто. Все ждали, когда раздастся ласкающий душу хлопок шпингалета. Переговаривались вполголоса.

В этот день у Маргариты Зиновьевны не было нужды обходить участки. Они выглядели почти идеально или близко к тому. Хотя Груббе имела талант находить изъяны там, где никто не мог и представить.

Наконец щёлкнула задвижка. Люди выдохнули.

Милютин и Бернавский стояли в коридоре, когда очередь заходила ходуном. Ватага молодцов бойко пробивала себе дорогу. Балда гудел:

— Посторонись! У нас срочно.

Кто-то попытался возражать:

— У всех срочно. Не наглейте!

Но Васька продирался дальше. Отшвыривался словами:

— Некогда нам! В пятнадцатом вентиль сорвало. Старики ворчали:
— Совесть у вас сорвало.
— Да там и срывать-то нечего.
— Оборзели!

Булдаков вдруг остановился, дёрнул плечами, как заправский урка:

— Чё разгунделись?! Ваше дело — метлой махать, вонь подрейтузная. Сказано же, по-русски, вентиль. — Не въезжаете?

Он вглядывался в лица, крутил на пальце цепочку. Люди опускали глаза. Отворачивались.

От стены отделился Константин Капитонович:
— Это не по-русски, молодой человек.

— Повтори.

— Вы изъясняетесь на жаргоне. Да ещё не нормально. Как вас понять?

Он стоял перед сантехником. Высокий, в плаще, шляпе и галстуке. Васька чуть пониже, но шире, крепче. Слесари перестали ухмыляться. Балда убрал цепочку:

— Э, конь педальный, ты реально утомлять начинаешь. Больше всех надо?

— Не больше, чем другим. Просто, чтобы вы заняли своё место, — Константин Капитонович надавил на последние слова. — И не выражались нецензурно при людях.

— Банан из ушей вытащи, — гаркнул Булдаков. — Я же сказал, в пятнадцатом авария.

— Вы лжёте. Я работаю на этом доме. Там всё в порядке.

— Отвечаешь? — Васька сощурился, зрачки закатились в щёлки. Петрушка стоял вплотную к профессору.

Бернавский побледнел:

— Я всегда говорю правду.
— Следующий, — раздалось из окошка.
— Иду, — крикнул Булдаков.

От него разило перегаром. Он процедил:

— Не зли меня, Бенья. Бедно жить будешь. Лекарства нынче недёшевы.

Булдаков направился к кассе, но Бернавский удержал его за локоть:

— Встаньте на своё место!

Слова прозвучали хлопками выстрелов. И как бывает после стрельбы, тишина звенела неестественно.

Балда выдохнул:

— Руки убрал! Ах ты...

Мат разлетелся жирными брызгами. Васька замахнулся...

Гномик Милютин повис на руке сантехника. Дальше всё мелькало как в калейдоскопе: руки, ноги, тела, крики...

Потасовку остановил рык:

— *Хватит!* Твари...

Ваську оттащили сантехники, Бернавского — дворники. Кто-то помог подняться Милютину. Он подал смятую шляпу Капитонычу. Электрик поправлял щит ГО.

— Да оставь ты его в покое! — крикнула ему Груббе.

Чёрными камешками глаз обвела притихший народ:

— Что же вы за люди такие? За баблом готовы убивать друг друга. Не хотите по-хорошему? Ладно. Выдача денег будет производиться по списку. Завтра.

Когда расходились, кто-то толкнул Бернавского: «Давыёживался?»

Балда в стороне шептался с друзьями. Махнул Капитонычу, большим пальцем резанул по горлу.

Наконец коридор опустел. У Бернавского вспухла губа, у Милютина над бровью кровила ссадина. Константин Капитонович поправил галстук, разгладил шляпу.

— Как они смотрели! — сказал он. — Вы заметили?

— Да как не заметить. Как будто дырку хотели просверлить. Хотя, если разобраться...

— Вот то-то и оно, — перебил Бернавский, — никому ничего не нужно. Всех устраивают волчьи законы. А кто против — на кол! Как еретиков!

— С волками жить — по-волчьи выть, — Милютин потрогал ссадину. — А может, не нужно ворошить осиное гнездо? Может, людям так легче? А, Капитоныч?

— Не знаю, амиго, не знаю. Вы же вроде как за справедливость.

— Так вот где она, эта справедливость? — вздохнул Пётр.

Они расставили стулья. В окна доносился шум проснувшихся улиц.

Зарплату им выдали довольно скоро. Хотя и самым последним, но друзья были рады несказанно. На такой исход они не рассчитывали.

Всё складывалось как нельзя лучше. Начальница на ковёр не вызывала. Булдаков не наведывался. Люди поутихли.

Облачки готовился оставить спасительное убежище: разминая крылья, порхал по картонным коробкам. Шину доктор снял. Повязку обещал снять на днях.

Фамилию решили обмывать накануне выходных. Так сказать, с запасом.

Бернавский пришёл к Милютину вечером. В портфеле интригующе звякало. В общежитии, как всегда, было шумно, но дворников это даже веселило. Они выключили громкость на телевизоре.

Нехитрая закуска, бутылка «Тарибаны» — всё готово к дружескому пиру. Бокалы, подаренные Капитонычем, чисты до неприличия.

Бернавский разлил «Три банана», встал.

— Итак, у меня тост, — начал он. — За нашу дружбу. И за ваше крепкое плечо. Там, у кассы, мы дали отпор этой своре. И неважно, что они на пьедестале. Важно, что мы — вместе. Спасибо, дружище! — И Капитоныч в три глотка осушил бокал.

Пётр тоже выпил до дна. Так они начали отмечать День наречения.

Милютин хмелел быстро. Когда они открыли вторую бутылку, язык отяжелел. Но речь Бернавского лилась, словно белый портвейн...

Мельтешили беззвучно чёрно-белые картинки. Где-то непрестанно бухало. За дверью крыли матом. С улицы летел гогот. Обычная жизнь, думал Милютин. Разве это не нормально? Все мы так живём. И дети так жить будут. А Капитонычу это не нравится. «Не в кайф» — как молодёжь выражается. Чудак человек. Это всё от ума. Образованный. Что с него взять?

Слова колыхались над столом. Обволакивали, убаюкивали. Милютин встряхнул головой. Поднялся, открыл форточку. Где-то высоко чернело небо. Далёкое, беззвёздное, холодное.

Свежий ветер развеял хмарь. Пётр поднял бокал.

— Давай за птицу, Капитоныч. Пусть летает, где... хочет. И не попадает в лапы. Ни к... кошке, ни к этой, как её там...

— Груббе, — подсказал профессор.

— Да. И вообще — ни к кому.

— Отлично! Как говорят англичане: «Bottoms up!» До дна!

Чокнулись. Милютин крякнул, ткнул вилкой в салат. Константин Капитонович вдруг погрузился. — Ну почему люди не хотят оставаться людьми? — его взгляд зацепился за край стола.

Бернавский шумно поднялся. Скрестив руки на груди, закрыл глаза, будто актёр на сцене. Пауза была недолгой. Качнувшись, воздел палец и начал монолог:

— Зачем все лезут в шкуру тролля? Вопрос не прост. Был замечательный норвежец. Генрик Ибсен. Он показал отличие троллей от людей. Хотите знать? Так, слушайте. Тролль — это тот, кто сам собой доволен. А человек — кто может быть самим собой. Улавливаете разницу, мой друг? Чудовище, без тени колебаний. Терзаний и вопросов. Девиз один: «Доволен будь собою, тролль!» И точка!

Выдохнув, сел. Милютин потянулся к бутылке: — За тебя, Капитоныч!

В телевизоре препирались люди в строгих костюмах. Гримасничали, размахивали руками. Пётр кивнул на экран:

— Стараются ребята. Смотри, какие уверенные. Прям твои... чудища.

Бернавский всмотрелся в лица.

— Не думаю, что все. Я за индивидуальный подход.

— Хорошо, — продолжал Милютин. — А наши? У каждого самодовольства — хоть отбавляй. Тот же Балда. Вот где чудо-юдо.

— Согласен. И всё-таки... — Капитоныч разлил остатки вина. — Вся штука в том, что все они рядятся в эту дурацкую одежду начальников. Привыкают к ней. Не могут без неё. Но внутри-то они — другие! Помните, в конторе справляли Новый год. Все ещё удивлялись: что это на Зиновьевну нашло? Булдаков тогда играл на аккордеоне. Вполне, кстати, сносно. Но какое у него было лицо! И улыбался — как ребёнок на ёлке...

— С баяном каждый поболеет.

— В том всё дело, что не каждый, — возразил Константин Капитонович. — Василий на самом деле — дитя. И грубость его — напускная.

— Ну началось в колхозе утро! Ты как накатишь, так у тебя всё — молодцы. Ладно, чёрт с ним — с Балдой. Он хоть на гармошке шпарит. А Груббе? — Что Груббе? Обыкновенная издёрганная баба. — Баба? — в голове Милютина нарисовались тяжёлые прямоугольники.

— Да, вы правы, нельзя так говорить. Женщина! Измученная одиночеством женщина.

Милютин промолчал.

— Если по сути, она глубоко несчастна. Жаль её.

— Правда?! — Пётр вскочил, но тут же сел. — Всё — договорились! Тебе правда жалко её?!

— А что? Ну сталинка, ну сервант импортный, холодильник набитый. В этом, что ли, счастье? Считать дни до пенсии, откладывать на чёрный день, утешаться очередным альфонсом, зная, что ты никому не нужна. Разве это жизнь? Нет, стоит пожалеть Маргариту Зиновьевну. И давайте поставим точку. Выпьем?

Они выпили. Открыли новую бутылку. Милютин крутил штопор.

— А кому помешал голубь? — вырвалось у него.

Бернавский улыбнулся:

— Вместо точки вышло многоточие. Не можете успокоиться?

— Не могу, Капитоныч, — вздохнул Милютин. — Не выходит из головы. По-че-му? Какого хрена... мы должны терпеть. А теперь ещё и жалеть? И кого? Балду и Груббе? Ты же сам давеча говорил, когда грузовик закидывали.

— Кто без греха — первый брось камень. Все мы непостоянны, — Константин Капитонович отпил немного. — И малодушны, — чуть слышно добавил он. Но тут же поднял высоко бокал:

— За Облачкина!

— Да мы уже вроде как...

— Не важно. Как говорится, весь вечер на манеже. Он в отличие от нас свободен. Дерзайте, амиго!

Бернавский снова воодушевился, как боксёр перед заключительным раундом:

— Голубь — птица вольная. Он всегда такой, какой есть. А мы — двуногие разумные — постоянно надаём личины. Все! Слышите меня? Абсолютно все! Прячемся в них. Потому что боимся.

— Чего боимся-то?

— Укаждого свои тараканы в голове. Кто не боится, тот и есть человек. С большой буквы! Он свободен от всяких условностей. Мир — это карнавал. Давайте за жизнь без масок!

— А Груббе прячется в сейф, — вставил Пётр. — Большой такой, «хрен откроешь» называется.

— Интересное замечание. Вы зрите в корень! Но мне кажется, сейчас Зиновьевна нацепила чепчик.

— Какой ещё чепчик?

— Который носила тургеневская барыня. «Муму» помните? Смекаете, о чём толкую?

— Ишь куда вывернул. Да ведь мы не крепостные.

— Как сказать. По факту — нет. Вы, конечно, не Герасим, язычок у вас — шило, да и глаз верный. Но в нашей ситуации есть что-то похожее. Не находите?

— Нахожу.

— И так всегда было на Руси. Бары и мужики. И ничего здесь не поменяется. Потому что оно в крови у нас. Холоп ты, Пётр Данилович. И я — холоп. А Груббе — барыня. Хотя в душе своей — та же крепостная. Без царя в голове.

— И что? Всё равно жалеть?

— Жалеть. И выдавливать из себя раба. Так учил классик. Из себя. Не из других. Совок учит давить ближнего. Выжимать всё до капли. Ради дела. У нас всё — ради дела. Непонятно какого. Но — дави! Отжимай! Нагибай! Шибче! — Бернавский ударил кулаком по столу. — Неровен час, тебя нагнут.

— Ты думаешь, за бугром не так?

— Так. Конечно, так, мой дорогой. На всей земле так! Если не ошибаюсь, старик Августин называл государство шайкой разбойников.

— Тише ты, Капитоныч! У стен тоже есть уши. Августин твой, поди, на нарах сживал.

— Нет. Тут всё нормально. Он жил в четвёртом веке. Святой!

— Подумаешь, — хмыкнул Милютин. — Метлой, поди, не наяривал, твой Августин. Дать ему кайло — посмотрел бы я тогда.

— Аминь! Примкнуть штыки! Крой до краёв, любезный! За дворников!

— За дворников!

Веселье охватило пьяных холопов. Вино лилось в бокалы и на клеёнку. Бутылки катились под кровать...

Потом их накрыло. Придавило, чуть не размазало по столу. И тогда, противясь кручине, они затаили:

Ах ты, степь широкая,

Степь раздольная...

У Милютина выходило хорошо. А вот Капитоныч фальшивил, пропускал целые строки. Но Пётр

не обращал внимание. Слова вытекали из груди — широкими потоками. Как в юности на покосе.

Всё заканчивалось каждый раз одинаково. Бернавский рассказывал о временах, когда знал «Белый аист» по пятнадцать рэ за бутылку. И о том, как гонял студентов за какой-то аллитерацией. Между студентами и литрами Пётр уже связи не улавливал. Но слушал внимательно. Старался, по крайней мере.

Затем Капитоныч начинал плакать. Милютин уже знал о Павлике, погибшем в Афганистане, о Любоньке, сошедшей с ума от горя. Теперь слова звучали глухо, как из подземелья. Наконец Бернавский умолкал.

Милютин расстилал матрас возле стула Константина Капитоновича. Выключал свет, телевизор. Ложился на тахту. По стене ползли огни машин. Они тянули за собой потолок. Тахту Милютина. Качаясь на невидимых волнах, она медленно плыла по течению...

Понедельник выдался утрюмым. Пасмурное утро, свинцовые тучи. Ветер как сумасшедший крутил в закоулках хороводы: пакеты, бумага...

Милютин выметал листья из огромной лужи, когда рядом остановилась знакомая машина.

— Э, на барже! Хорош грязь разводить. Тебя к начальству. Срочно!

Сердце ёкало, мысли вертелись в голове, как ржавая карусель. Он почти бежал.

В конторе, кроме двух слесарей, никого не заметил. Слесаря загадочно ухмылялись. Перед дверью Груббе Милютин выдохнул. Сорвал с головы кепку, осторожно постучал.

Начальница стояла возле окна. Со спины она выглядела ещё прямее. Ни намёка на округлость. — Здрасьте, Маргарит Зиновна, — протараторил Милютин.

Груббе молчала. Казалось, жизнь за стеклом её интересует больше, чем появление дворника.

— Да садись ты уже, — раздался знакомый голос.

Только сейчас Пётр заметил Булдакова. Васька, развалившись на стуле, поигрывал цепочкой. Скалился железными зубами. Милютин сел.

Он отчётливо слышал, как тикают настенные часы, как позвякивает цепочка. Казалось, что самый воздух туго закручен в стальную пружину.

Стул неприятно поскрипывал.

— Успокойся, — бросила через плечо Груббе. — Приятеля твоего ждём.

И тут в дверь постучали.

Сразу было видно, что Бернавскому нехорошо. Пётр знал, как тяжело болеет по утрам Капитоныч. Благо, что на этот раз обошлось без продолжения. Разгону помешали Облачки и отсутствие заначки.

Бернавский поздоровался. Сел рядом. Ладони, сложенные на коленях, заметно подрагивали.

Груббе медленно развернулась. В голосе отчётливо зазвучал металл:

— Ну и рожи! Глядеть страшно.

— У нас лица, Маргарита Зиновьевна,—тихо заметил Константин Капитонович.

— Это у людей, Бернавский, лица. А у алкашей—рожи! Но вы здесь по другому поводу. Итак...

Груббе подошла вплотную к дворникам. Они одновременно поднялись.

— Сидеть!

Васька спрятал цепочку. Дворники опустились на стулья. Груббе начала без предисловий:

— Милютин, в чём дело? Тебе ясно было сказано—выкинь голубя. Я что, невнятно говорю? Или со слухом проблемы? Милютин, ты глухой?! Отвечай!

— Да нет, не глухой,—Пётр видел только ромбы зашарканного линолеума.

— Не слышу! Язык проглотил? Или ты не понимаешь... по-русски?—она метнула взгляд на Бернавского.

— Понимаю.

— А если понимаешь и не глухой, почему не делаешь, как тебе *велят*?! Птичек любишь? Так возись с ними дома. Дома, Милютин! А не на работе. Ты что, самый умный? Или самый хитрый? Ему говорят—выбрось, а он тащит на другой участок. Ничего не скажешь, здорово придумано. Я, мол, ни при чём. Так подставить! И кого? Приятеля своего! Ну ты и жук, Милютин! Смотри, Бернавский, с кем якшаешься. Сдаст тебя и глазом не моргнёт. — Он не подставлял...

— Рот закрой! Я ещё не закончила. С тобой разговор впереди.

Груббе наклонилась к Петру. Он углядел квадратные окошки глаз, дверцу рта. Дверца открылась:

— Достал ты меня. Хуже некуда. Последнее тебе, Милютин, китайское предупреждение. Ещё раз такое отчебучишь, вылетишь—моргнуть не успеешь. Мне наплевать, что тебе до пенсии с гулькин хер. Прижми задницу и не дёргайся. Делай, что приказывают. И другим подлянку не мастери. Уяснил?

— Да.

— Не слышу!

— Да!

Пётр снова опустил голову. Ромбы расплывались и превращались в многоугольники.

Груббе сунула руки в карманы пальто. Плотная тень нависла над Константином Капитоновичем. — Переходим ещё к одному умнику. Ты, я вижу, Бернавский, оперился. Права качаешь, драки устраиваешь. Народ бестолковый,—она кивнула на Милютина,—просвещаешь. Книг, наверное, много прочитал?

— Достаточно, Маргарита Зиновьевна.

Капитоныч сидел прямо, глаз не отводил. Руки были скрещены на груди.

— Ну раз ты такой умный,—продолжала Груббе,—скажи-ка мне вот что. Кто дал тебе право захламлять служебное помещение? Держать голубей? Может, ты ещё зоопарк устроишь? Или избу-читальню? Билеты начнёшь продавать. Ты не обнаглел? Пижон! Хочешь людям головы морочить—иди в депутаты. Там языком хорошо молят.

— Мелют.

— Что?

— Языком обычно мелют. Молят кого-то. Бога, например.

— Слышь, ты, непризнанный гений, учить других будешь. А сейчас вникай в *мои* слова. Ты, наверно, забыл, как выстилался передо мной? В этом же кабинете. Канючил, давил на жалость. Давно с рюмки слез? Хотя, глядя на твою физиономию, так не скажешь. А ведь я тебя простила. Отмазала. Короче, с завтрашнего дня прикрепляешься к мусоровозу. Выгребные ямы, толчки, помойки—твоя сфера деятельности. Лопату в зубы и попёр. Хоть мели, хоть моли, хоть языком вылизывай. С участка ты снимаешься. Месячишко дерьмо поразгребаешь, тогда и посмотрим. Если всё будет ровно—верну обратно. Если рот снова откроешь—пропишешься в сортирах навечно. Так что верни ключи от сторожки и шуруй отсюда. А ты,—начальница обратилась к Булдакову,—дуй на чердак. Разберись с городьбой. И с птицей.

Балда вскочил:

— Чё прям реально разобраться?—глаза-стёклышки холодно блеснули.

— Выкини всё к чертям собачьим. Там, в коридоре, двое ошиваются,—Груббе ухмыльнулась.—Балду пинают. Возьми кого-нибудь.

Начальница отошла к столу. Занялась косынкой. — Сделаем всё в лучшем виде, Маргарита Зиновьевна. Ломать—не строить. А голубку шею свернуть, как два пальца... Ой, пардон. Одно движение...

— Так! Без деталей,—поморщилась Груббе.

Васька подошёл к Капитонычу:

— Ключ.

Бернавский поднялся. Худой, бледный, как покойник в саване.

— Так нельзя,—он почти шептал.—Вы же не звери.

— Ключ,—повторил Булдаков.

Но Капитоныч будто не слышал. Он качал головой:

— Как вы не понимаете? Нельзя так.

— Здесь Я решаю, что можно. А что нельзя,—слова начальницы падали тяжёлыми свинчатками.

— Давайте я сам всё уберу, освобожу...

— Что?! Засунь свои предложения, знаешь куда... Верни ключ Булдакову, и чтоб духу твоего здесь не было.

— Резче, дядя! Мне некогда,—Васька уже не улыбался.

Константин Капитонович сел. Сложил руки на груди. И почти выкрикнул:

— Увольняйте, если хотите, но дверь вы без меня не откроете.

— Ни хрена заявочки!—Васька присвистнул.— Чё делать, Маргарита Зиновьевна? Запасной искать?

— Нет. Пусть он,—Груббе ткнула пальцем на Бернавского,—вернёт. Ещё не хватало за мастерами бегать.

— Понял,—кивнул Балда. Выглянул в коридор, помахал друзьям.

Карусель в голове Милютина бешено вращалась.

— Капитоныч, не бузи! Толку-то! Пусть они...

Но его оттеснили вошедшие сантехники. Васька дёрнул Бернавского за воротник:

— Ключ вернул. Быстро!

Капитоныч брезгливо сбросил руку Балды. Поднялся. Губы его дрожали.

— Животные,—выдал он.

И тут Булдаков схватил Капитоныча за грудки. Его напарник проскользнул за спину Бернавскому. Третий встал перед Милютиным. По лакированным дверцам шкафа заматались отражения...

Голос Груббе прогремел, словно по трубе ухнули железным прутом:

— Отошли от него!

Пол скрипнул под тяжёлыми шагами. Фигуры мужчин словно уменьшились. Начальница резко бросила дворнику:

— Уволен!

— Маргарита Зиновьевна,—кликнул её Булдаков. Над головой он держал ключ от сторожки.

Капитоныч дёрнулся, но его тут же усадили. Две крепкие руки легли на плечи. Кто-то процедил сквозь зубы:

— Не рыпайся, мразь.

Васька сиял. Лицо начальницы прорезала улыбка.

Пётр Милютин вышел на середину. Сжал кулачки, прижал к груди. И, будто заколачивая ими гвозди, отчеканил:

— Довольны? Чудовища, вот вы кто!

Тишина висела недолго.

— Всё сказал? Брысь!—проскрежетала Груббе и села за стол:—Булдаков, Дервянко—на пятнадцатый. Бернавский—заявление. Прямо сейчас. Все остальные—в коридор.

Милютин ждал Капитоныча у доски почёта. Люди на фотографиях сейчас казались чужими. Руководители, мастера, специалисты...

— Присматриваете место?—Константин Капитонович стоял сзади. Возился с карманом.

— Упаси Бог! Висеть рядом с этой... Ну что, всё? Прощай работа?

— Прощай, Облачкин. Давайте присядем.

В коридоре по-прежнему было ни души.

— Чего мы ждём, Капитоныч?—нарушил молчание Милютин.

— Финала, мой друг,—вдохнул Бернавский.

— Так ведь ясен, финал-то. Свернёт Васька голову птице. Жаль, не попрощались.

— А вдруг случится чудо?

— Да ну...—Пётр отмахнулся

— Надежда умирает последней.

— Всё это слова.

Потом Милютин добавил:

— Капитоныч, ты только в загул не уходи. Не стоит оно того.

— Да куда мне! Теперь и пить негде.

Они уже поднялись уходить, когда снизу зашумели. Балда был в ярости. Но тут отворилась дверь кабинета. Маргарита Зиновьевна вышла в коридор.

— Капец!—начал Васька.—Полная жэ. Нагородил там хренову тучу. Работы дня на три, не меньше. И барахла—вагон и маленькая тележка. Пускай сам выносит. Архитектор!

— Булдаков, без выражений,—осадила его Груббе.—Ясно. Что голубь?

— Что-что,—развёл руками сантехник.—Улетел!

— То есть?

— Этот охламон,—Васька кивнул на Капитоныча,—не закрыл дверь на крышу. Всё! Голубок—не дурак. Дунул—поминай как звали.

— Он же забинтован!—вскричал Бернавский.

— Ага, как же. У вас не руки, а грабли. Сдёрнул ваши повязки, как трусы с тёлки.

— Ясно,—повторила Груббе.

— Ничего не ясно, Маргарита Зиновьевна. Полный чердак дерьма. Пусть убирает!

— Вообще-то я уволен,—сказал Константин Капитонович.—В расчёте не нуждаюсь. За трудовой зайду через пару дней. До свидания, Василий. До свидания, Маргарита Зиновьевна. Счастливо оставаться. Вы уж как-нибудь справитесь—без меня.

И он неспешно пошёл по коридору мимо фотографий советских тружеников.

Сердце красавицы
склонно к измене
и перемене,
как ветер мая...

— послышалось с лестницы. Потом хлопнула дверь.

Пётр направился было к выходу, но его остановил голос начальницы:

— Стоять. Милютин, я ещё не отпустила. Завтра с утра—на пятнадцатый. Наведёшь марафет на чердаке. День на всё про всё. Свободен.

Бернавский ждал его у перекрёстка. Город вокруг толкался, напирал. Дневные часы тяготили

Милютин. Особенно сейчас, когда нужно было прощаться. Он спросил:

— И куда теперь?

— Куда глаза глядят. А глядят они на магазин.

— Капитоныч!

— Не переживайте, дружище! Отметить свободу — и можно, и должно. Мою. И Облачкина.

— Ну а потом-то что?

Но Константин Капитонович точно не слышал вопроса. Он смотрел поверх Милютина куда-то вдаль.

— А ловко он оставил с носом этих чугуннолобых! — Бернавский прорывался сквозь городскую какофонию. — Вы говорили — слова. Нет, амиго, это чудо. Настоящее чудо! Чем ярче солнце, тем гуще тени. Так устроен мир. Видите — светофор. Если горит красный, значит, обязательно и зелёный. Одновременно. И так — всегда! А теперь: вам — направо, мне — налево. Обнимемся.

Дворники обнялись.

Милютин сказал:

— Может, всё-таки ко мне?

— Вы же знаете ответ.

— Не теряйся, Капитоныч! Заходи.

— Непременно, Пётр Данилович! Увидимся!

И каждый пошёл своей дорогой.

Они увиделись, когда над крышами закружили первые белые мухи.

Пётр Милютин возился с широкой лопатой. Снег бесшумно крался по асфальту. Высылал

разведчиков. Готовил наступление. Дворник готовился к бою. Он не заметил, как высокий человек выплыл из сумерек. Бернавский наблюдал молча, потом осторожно кашлянул. Милютин поднял голову и отложил лопату...

...Им не приходило в голову, что за ними из машины наблюдают Груббе и Булдаков. Хлопнули дверцы автомобиля. Начальница и сантехник неспешно подошли к дворникам. Беседа четверых текла ровно и спокойно...

Голубь, напоминавший осеннее облако, сидел на козырьке подъезда. Потом захлопав крыльями, слетел вниз. Он потешно семенил и запрокидывал голову...

Четыре пары глаз смотрели на него. Сизарь вспорхнул на бордюр. Прошёл туда-сюда, обвёл людей оранжевым глазом, оттолкнулся и взмыл в небо...

Они смотрели ему вслед. Он сделал круг.

Над гномиком из считалки. Сухопарым профессором. Деревянным петрушкой. Тяжёлым сейфом.

Потом голубь скрылся за домом. А когда появился — летел уже выше. Он сделал ещё один круг. И теперь отчётливо видел четырёх детей, задравших головы. Трёх мальчиков и крупную девочку.

А потом их закрыла туча.

Больше Облачкин их не видел.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №3 | 2007

Владимир Салимон

Похолодание



Как вдох и выдох чередуешь,
так совершенно безотчётно,
то морщишь лоб, то брови хмуришь,
обидевшись бесповоротно.

Всё действует тебе на нервы:
в ночи шаги домохозяйки,
покуда кошка жрёт консервы,
резвятся мышцы без утайки.

Со снегом дождь одновременно,
печная копоть, уголь, сажа,
тут телерадиоантенна —
важнейший элемент пейзажа.



Гербом Советского Союза
луна как много лет назад,
когда значок об окончании вуза
ценился выше всех других наград.

Мне в полнолуние не спится,
приходят мысли грустные на ум,
но рано поутру синица
внезапно поднимает страшный шум.

Она ниспослана нам свыше
уверенность в грядущем дне вселить
и клювиком стучит по крыше,
вовсю стараясь нас развеселить.

Вячеслав Миронов

Королевские шахматы

Окончание. Начало в №5, 2018

Если написать настоящую книгу и издать её, думаю, что многие писатели, подвизавшиеся в жанре шпионского романа, кусали бы себе локти. Настолько увлекательна была жизнь и служба пожилого служаки.

Можно снять сериал. Можно было бы даже и сделать компьютерную игру. Но ни я, ни мои командиры не были заинтересованы в издании книги, постановке фильма. Прости меня, старый полковник «К», обманул я тебя. Но такова служба. И даже в компьютерной игре твой персонаж не появится.

Мне пришлось стать ещё компьютерным игроком. В старые игры. Для новых ходилок-стрелялок я уже стар. А вот добрые проверенные стратегии или шахматы — в самый раз. Только они тоже требуют времени. А это тот ресурс, которого у разведчика всегда мало.

Вот и приходится крутиться как белке в колесе. И моделированием старой агротехнической техники успевай заниматься, и в компьютер поиграть, и по ночам по Европе кататься, с соблюдением правил дорожного движения, по утрам с кандидатами встречаться, бизнес вести, уточек кормить. Всё должен успеть.

А в компьютер поиграть для чего? Там есть чаты, игроки общаются, можно и личное сообщение послать кому-нибудь. Вот и отправляю первое сообщение, что посылка готова, отправка по расписанию. Жди сигнала по плану на «объекте №17». Это в районе Южного вокзала есть Stalingrad Avenue (проспект Сталинграда), там же расположено кафе «Сталинград», популярно у русскоговорящих туристов.

Кафе располагается в районе Южного вокзала. Сейчас он заселён выходцами с Ближнего Востока и Турции. Ведут они себя тихо, прилежно. Относительно безопасный район, но углубляться в него не стоит.

Многие стены внутри дворов испещрены граффити. Поэтому полоса чёрного цвета на углу дома не вызовет подозрений. Одной больше, одной меньше. Уличного освещения там мало, камеры видеоконтроля отсутствуют на этом углу. Камеры магазинчиков тоже не захватывают этот угол. Хорошее место. Там и тайниковые операции можно проводить. Но руководство посчитало иначе.

Это место выставления сигнальной метки. До названного кафе меньше квартала. Ставить надо так, чтобы было видно с основной дороги. Я несколько раз там прогуливался. Получалось, что турист, попил пива, кофе, пошёл прогуляться и «срисовал» меточный знак. Потом или сам топает или передаёт дальше по эстафете, что всё в порядке, можно закладывать или изымать закладку — контейнер.

Взгляд на часы. До работы ещё есть время. Утро, детей мало в парке, только бегуны да старики с их бессонницей, пожалуй, ещё русские туристы из Сибири, у которых разница по времени поднимает ни свет ни заря. Вот маются бедолаги в прогулках ранних, в ожидании открытия кафе и музеев.

Было такое, когда «кормил пернатых», такие туристы уселись за моей спиной, муж с женой. Муж выговаривал жене, мол, за каким чёртом она притащила его в Брюссель, где нет моря и «All inclusive». Жена терпеливо ему внушала мысль о любви к искусству и тяге к прекрасному. Но мужчина гнул свою линию. Что не хочет он скучную Европу с её музеями и пошлой культурой.

Я слушал. Одновременно наслаждался богатым языком, который был у мужа, и изысканностью, интеллигентностью и терпеливостью жены. Для меня эта перебранка ранним утром была как музыка. Вот только слушать надо было не выказывая, что я их понимаю. Они и отвлекали на себя внимание пробежавших мимо физкультурников. Я успешно заложил контейнер, попутно покормил уток. Или наоборот. Не имеет значения. Оставил метку, что тайник заложен. На работу. Работу надо любить. И внушать эту мысль окружающим, тем паче подчинённым.

На работе сегодня я был первым. Сам себе сварил кофе, запустил просмотр видео вчерашнего вечера. Не то, как я общался с Таммом, меня интересовала реакция окружающих. Кто-нибудь сумел увидеть молодого Тамма на фото? Сумел его идентифицировать? Или же вызвало интерес его поведение?

То как вёл себя кандидат на вербовку, я помнил назубок, вплоть до каждой секунды общения с ним. Кофе быстро кончается. От усталости ломит лоб, виски. Недаром же у разведчиков идёт льготная

выслуга. Как на боевых, день за три, даже если томишься в иностранной тюрьме.

Здоровья эта работа не прибавляет. Никакой романтики. Тяжёлая, изнурительная служба. Это в кино хорошо показана романтика разведывательной работы. В действительности всё прозаичнее, каждый шаг должен быть регламентирован Центром, каждый евроцент под контролем Контрольно-ревизионного управления.

Растворил аспирин, он хорошо разжижает кровь, улучшает самочувствие. Витамины тоже помогают взбодриться. Ну а сигарета, пусть и вредит здоровью, но очищает мозги от слизи и тумана. Стопка коньяка сверху, большая кружка кофе. Помотал головой, растёр уши. Уф. Легче. Смотрим. Запустил прогон всех камер на чуть ускоренный просмотр. Сосредоточился. Все сидят, занимаются своим делом, а вот...

Стоп. Эту картинку выделяем и вытаскиваем на монитор. В углу два американца — сослуживцы Тамма, к которым он относится, скажем «прохладно». Что меня насторожило? Взгляд. Хоть и долго сидят, заказали немало выпивки и закуски, сидят в углу у окна, но в окно не смотрят, как делают обычные посетители, разглядывая девушек. Нет. Эти осматривают зал. И подполковника трезвый взгляд в спину Тамму. Абсолютно трезвый. Чуть вперёд. Снова взгляд в спину. На ускоренную перемотку назад. Он подливает больше своему компаньону, а сам чуть цедит. Но так не должен смотреть разведчик! В упор, в спину! Как через прицел! Разведчик может обозревать всё, что происходит у него за спиной, глядя в окно! Всё видно. А тут...

Закончили американцы свои посиделки за полчаса до того, как Тамм вышел. Камера над входом. Так. Вот он вышел. Изрядно выпивший.

Не зря я потратился на качественные камеры и своих шефов убедил в необходимости и целесообразности таких трат. Они долго сопротивлялись. В правом верхнем углу в темноте маячит тень. Так, стоп-кадр, курсор на тень, увеличение. Плохо видно, освещение картинки, ближе. Ещё ближе, контрастность. Маму вашу за ногу!

Какой сон! Сон как рукой сняло и безо всяких стимуляторов. Я откинулся в кресле, затушил один окурок и тут же кинул в рот другую сигарету. Тот самый американский подполковник. Один собственной персоной! Стоит, ждёт, наблюдает за выходом из моего «Бегемота». После выхода Тамма, оживился. Проводил взглядом его. Отпустил такси на метров двести, сел в машину и поехал следом. Сам за рулём. Был там ещё кто, не видно. Испарина на лбу.

Если они его вот так «пасут», то могли и утреннюю встречу зафиксировать. Спокойно, мужик, спокойно. Думаем. Вспоминаем. Дым в потолок. Когда не видишь сигаретного дыма, то и нет такого

удовольствия. От этого, наверное, рождённые слепыми не курят, а ослепшие, зачастую бросают курить. Не видят дыма. Нет ощущения полноты картины. Как у меня сейчас с американцами. Нет полноты картины. Нет понимания их действий.

Устроился поудобнее в кресле, закрыл глаза, вспоминай всю встречу утром. Мелочи. Детали. Лица бегунов. Номера машин. Кто был в машинах. Подозрительная суета. Мне ещё провала не хватало!

Суеты не было на встрече.

От самого выхода из квартиры. Что видел? Кого встречал? Какие машины? Номера машин? Лица водителей? Кто ещё был в машинах? Пассажиры?

В замедленном воспроизведении прогоняю. Это соседки из соседнего дома на пробежке. Это молочник. Этот — водитель доставки рыбы. Здесь — никого. Здесь я смотрю в зеркало заднего вида. Никого. Перекрёсток, какая-то машина сворачивает во двор у меня за спиной. Номер? Как давно она ехала за мной? Приметы машины? Она выехала квартал назад с перпендикулярной улицы к моему движению, свернула во двор, не проехав и квартала. Так не «ведут» объект наблюдения. Менее тридцати секунд.

Не расслабляйся и не питай иллюзий. Самоуспокоенность приведёт к пропасти. Могли и дрона запустить, чтобы с воздуха вести наблюдение. Но для этого надо иметь веские основания. Думай. Что тебе могло не понравиться? Мысленно пробежался в мельчайших подробностях до встречи с Таммом, всю встречу с ним.

Нет подозрительных объектов. И почему ведёт наружное наблюдение кадровый офицер, а не специальные службы? «Вели» Тамма, а не меня. Так ли он чист? Не понятно. Стоит обратиться в контрразведывательные службы Бельгии или иной страны, и вся картина по Тамму будет ясна. А вот так... По-дилетантски... Изображать пьяного, раньше выйти из кафе, чтобы проследить до дома... Зачем? Профессиональные разведчики наружного наблюдения, сделают это качественно и незаметно для объекта оперативной заинтересованности.

Две-три бригады плотно «закроют» объект. Странно. Снова сигарету, снова кофе. Ещё раз просматриваю запись вечера из зала кафе. Американцы. Что делают? Как себя ведут?

По всему получалось, что устроили наружное наблюдение за Робертом пинкертоны доморощенные. Теперь придётся замораживать контакты с Таммом. Сил и средств у меня мало. Придётся просить Центр о помощи провести контрнаблюдение. А жаль, всё так хорошо начиналось.

Эх! Начал писать срочное донесение в Центр. Это не провал, но рядом с ним.

Если Тамм «прокололся» в чём-то раньше, то его могут проверить на полиграфе. И тут выплывает

из тумана, увы, не айсберг, а моя тушка. Ликвидировать Тамма? Концы в воду.

Задумался. Это не истерика. Просто должен просчитать все варианты выхода из ситуации. Никто его убивать не будет и не будет устраивать «несчастный случай». Это в кино всё красиво. Раз-два—и труп.

Не будем торопиться. Но план эвакуации надо готовить для своей персоны. Тамм—не профессиональный разведчик, полиграф не обманет.

Что может обо мне рассказать Тамм? Что я представляю некие силы, которые проводили с ним вербовочную беседу. Отработали задание по сбору доступной информации, плюс на сближение с Брауном.

Для профессионалов этого более чем достаточно, чтобы заняться мною вплотную.

Паники не было. Мозг, как компьютер, просчитывал варианты. Один, второй, третий. Все мои связи. Что можно законсервировать, кого можно передать на связь другому сотруднику, прибывшему из Центра. Кто-то не знал меня лично, а осуществлял связь через тайник. Там же и получал вознаграждение. Встречи личные были раз в три месяца, но так, чтобы он не видел моего лица.

Что может меня скомпрометировать, в случае задержания?

Даже не нужно закрывать глаза, чтобы перечислить. Разрозненные, закамуфлированные предметы. Некоторые просто составные части единого целого. А вот некоторые, как вот этот счётчик посещений, на самом деле просто замаскирован. Всё это можно мотивированно объяснить.

Сам с собой веду диалог мысленный. Без паники. Контейнер ушёл в Центр. Ему добираться ещё долго. Придётся выходить по каналу экстренной связи? О чём? Что за Таммом есть американский «хвост»? Кто знает, они, может, одну девку не поделили. Вот ревнивый американец и следит за «горячим эстонским парнем», не к его ли зазнобе тот ночью катается для утех любовных?

В разведке, как в Библии, «не суди». Источники могут творить нечто, что аморально, порой не приемлемо обществом, но информация, равно как деньги, не пахнет.

С преступным элементом старался не общаться. Всё-таки они зачастую находятся на связи у полиции, да и любят поболтать со своим братом—асоциальным элементом. Но они зачастую знают гораздо больше о тайной жизни добропорядочных граждан, чем спецслужбы.

Именно бандиты засекли, что бывший президент Франции Олланд катается по ночам на мотороллере к любовнице. Я был первым, кто узнал эту информацию.

Захватить его? Вывезти из страны? Скажу честно, у меня это была первая мысль.

Центр принял иное решение и через доверенных лиц, сообщил французским журналистам. Шум, скандал. Олланд не идёт на второй срок. Центру виднее.

А преступный элемент присматривал квартиры для краж. Режим хозяев. Какие квартиры пустуют. А тут знакомое всем лицо, оглядываясь, посещает одну и ту же квартиру.

Я продумал текст донесения в Центр по обычному каналу связи. Не стоит пороть горячку. Если бы что-то было серьёзное, то эстонский подполковник был бы «под колпаком» у компетентных органов, а не у армейских офицеров, пусть, вероятно, причастных к разведке.

Что такое истина? Её никто не знает, но объёмную картину, пусть и частичную, можно воссоздать. Например, вы смотрите на торец многоквартирного жилого дома. Что вы видите? Что-то. Не более того. Вы даже не знаете, сколько там подъездов, какого цвета балконы. Вы не располагаете всей полнотой картины. Точно так же, как, рассматривая только фасад, вы не имеете понятия, каков торец здания. Насколько оно широко. И имеется ли сзади чёрный вход.

Вот также и в этой ситуации. Я случайно увидел кусочек картинки. Судить рано, и делать выводы. Но надо бы расспросить Роберта об его взаимоотношениях с товарищем из Америки. А то как-то неудобно получится, когда случится провал. И в Центр надо представить свои доводы и выводы. А вот так написать, сочтут меня паникёром или вообще прикажут свернуть деятельность на неопределённый срок. И сиди на стуле ровно, командуй опостылевшим баром.

Ничто так не успокаивает нервы, как рутинная работа. А у меня как раз её накопилось немало. Нужно рассчитаться с поставщиками, сделать заказы. Подготовить отчёт в налоговую инспекцию. Проверить, нет ли у меня задолженности по коммунальным платежам. Не хватало ещё, чтобы мне отключили за неуплату электроэнергию. Подготовить ведомости по заработной плате работникам. Хватит дел. По крайней мере, с утра до обеда—это точно. Да! Не забыть провести платёж в банк по кредиту. Открыл календарь, хотя я и так помнил, сделал пометку—напоминание себе. Если кто и будет просматривать мой компьютер, то обычная рутина.

Стал сверять кредит-дебит. Доходы и расходы. Хотя в этом месяце у меня получилось поработать с небольшой прибылью. Это хорошо. Не надо идти на поклон в очередной банк за очередной порцией кредитов или в прежних банках расширять кредитный портфель, а того ещё хуже—открывать овердрафт, там проценты выше.

Пришла Эллис. Она сняла показания кассы, принесла мне. Даже поаплодировала удивлённо. Выручка за вчерашний вечер была выше обычной.

— Мсье был прав, что новая экспозиция фото-выставки должна привлечь клиентов. На кухне сказали, что и чаевые были щедрыми. Поздравляю. Мсье, ваша задумка сработала!

Мне меньше всего хотелось слушать её вежливую болтовню.

Но, чёрт побери, что делать?! Как правильно поступить? Вызвать Тамма на встречу? И что? Сказать ему, что коллеги сами ему «сели на хвост»? Тьфу! Чертовщина какая-то! И Эллис под ногами путается и жужжит как муха у лампочки!

С вежливой улыбкой, которая не сходила у меня с лица, глядя в глаза, я думал о своём, прогоняя через мозг один вариант за другим. Анализируя, моделируя, просчитывая варианты исхода. А Эллис всё трещала как сорока в лесу. Приходилось вставлять реплики. Но пора заканчивать. Улучив паузу в словесном потоке бармена, я вклинился: — Эллис, у меня сегодня платежи в банках по кредитам. Мне нужно собрать в кучу всю нашу бухгалтерию. Поэтому, дорогой мой самый лучший работник и правая рука. Очень прошу, чтобы нам остаться с вами работать тут, подготовить все документы через полтора часа, ни секундой позже.

Эллис зарделась от моих комплиментов, тряхнула головой, смахнула чёлку, поправила — взбила волосы над плечом, подбородок выше, спину выровняла, грудь вперёд. Готов биться об заклад, что она сразу на полразмера стала больше. Это смущение красило её. Но вот говорить об этом ей нельзя, она могла заявить в полицию, что работодатель, то бишь я, сексуально домогается. Не хватало мне ещё закончить карьеру потомственно-го разведчика-нелегала как озабоченный маньяк. Дома тоже особо разбираться не будут, отправят поднимать народное хозяйство после выхода из бельгийской тюрьмы.

Эллис утвердительно тряхнула чёлкой, приложила руку ко лбу:

— Слушаюсь, мой женераль!

— И кофе, Эллис! У меня не получается повторить вкус кофе, который вы варите!

— О, мсье! Благодарю! Есть небольшой секрет...

Она снова готова была открыть фонтан своего красноречия.

— Эллис! В каждой женщине должна быть загадка. И то, что вы мне сейчас поведаете, это разобьёт вдребезги тот флёр кофейной феи, который окутывает вас! Я всегда с нетерпением жду прекрасный напиток, приготовленный вашими стараниями. Не разочаровывайте меня! Очень прошу! Из рук ваших яд приму! Главное, чтобы он был в кофе!

Она ещё больше покраснела, было видно, что ей приятно, повернула голову и на пороге бросила через плечо:

— Мсье, как истинный француз, умеет сделать девушке комплимент. Спасибо!

И вышла. Через незакрытую дверь было слышно, как она настраивает кофе-машину.

Ну и хорошо. Потёр виски, потом уши. Пусть кровь приливает к голове, пусть мозг считает варианты. Растёр лоб.

Выставить контрнаблюдение. Но не самому. Это будет подозрительно, что я кручусь у штаб-квартиры НАТО. Хотя... А зачем мне крутиться там? Я знаю досконально маршрут движения Тамма. Если его просто «провожают», то можно выставиться на маршруте движения.

Хорошо живётся резидентам СВР, гру, есть штатный помощник. Возможностей побольше, ресурсов. Коллеги с дипломатическими паспортами тоже наличествуют. При необходимости из Центра пришлют пару бригад специалистов по профилю.

Какую хочешь. Бригады наружного наблюдения. Технарей, что опутают весь дом невидимыми путями, и даже, как тараканы, подьедят крошки под холодильником, зафиксируют. Есть и специалисты по «мокрым» делам.

Усмежных «организаций» сделают всё, если игра стоит свеч. И мой Тамм того стоил. Но не пришлёт Контора мне три бригады разведчиков наружного наблюдения. Нет меня здесь, и иных тоже не будет. Просить коллег из посольства подсобить... Их там всего два человека. И у самих работы не впрокорот. Брюссель — город разведчиков. Вот и получается, что не только разведчики из России стирают бельгийскую брусчатку, выворачивая на поворотах, но и в отношении их работают все разведки мира в надежде завербовать, скомпрометировать наших дипломатов, и не дипломатов, но с синими паспортами.

Поэтому сиди, кури, думай, смотри в потолок, мысленно черти на нём схемы, ибо тебе рисовать, писать, делать заметки нельзя.

Принял решение. Риск есть, но он есть всегда, даже переходя дорогу или появляясь в людном месте. Посмотрел на часы. Курим, ждём, думаем.

Без паники! Нет поводов.

День прошёл внешне спокойно.

Это хорошо в кино показано, да и в жизни используют, когда на экране монитора видно, как перемещается телефон по городу.

Очень удобная штуковину придумали товарищи из США. Все операционные системы на мобильных устройствах, компьютерах изобретены в США, поставлены на контроль там же.

«Nokia» пыталась развить свою операционную систему. Тут же была перекуплена Майкрософт. Марка упала. Никто не стал покупать. Ничего страшного. Перепродали. Все перешли на «Андроид». Майкрософт потерял деньги? Ничуть не бывало. Они получили чудесный заказ от АНБ (Агентство национальной безопасности), с лихвой покрывающий все потери.

«Samsung» стоило произнести вслух, что они приступают к разработке собственной операционной системе, так тут же последовал скандал, что президент этой южнокорейской компании давал деньги подруге главе государства по просьбе первого лица страны. Итог известен. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе обвинена в коррупции, отстранена от власти. Глава «Самсунг» в тюрьме. Единая компания разделена на пять частей. Ни у кого больше нет мыслей о создании новой операционной системы.

Смешно наблюдать за потугами, кто сообщает, что их приложение на телефоне обеспечивает гарантированное шифрование, потому что «ключ» к шифру находится только в телефоне, а не на сервере. Он-то находится не только в телефоне, а на операционной системе, к которой имеют доступ все разведывательные и контрразведывательные сообщества США. И вот политики, бизнесмены созваниваются, переписываются, используя известные приложения, пребывая в твёрдой уверенности, что они в безопасности. Американцы же молчат, улыбаются, периодически вываливая терабайты компрометирующих материалов строптивым политикам или бизнесменам. Точно так же они сделали «ручным хорьком» главу Германии Меркель.

Хорошо товарищам из Америки — знают всё про всех. Поэтому они и частично свернули агентурную разведку, развивая техническую. Включил программу — и смотри, где Тамм бродит. Хочешь, включи микрофон на его телефоне, слушай, что он говорит. Можно и камеру включить, посмотреть, чем он занимается. А то, что говорит по телефону, отправляет по электронной почте — не проблема. Архивы электронные могут храниться вечно. И все ухищрения с шифрованием — детские забавы на свежем воздухе.

Ну а мне, лишённому доступа к базам АНБ США, придётся по старинке, ножками, глазами, организовывать наружное наблюдение за молодым агентом ФСБ России.

Посмотрел на часы. Пора! На выходе кинул Эллис:

— Буду через пару часов!

Зал начал наполняться туристами и завсегдатаями. Некоторые мне махали приветственно, кто-то приподнял большую запотевшую кружку с пивом в знак приветствия. Постоянные клиенты приносят до семидесяти процентов прибыли, и только тридцать — «переменный состав». Поэтому я сердечно улыбался, махая в ответ. Рад вас видеть, друзья мои! Деньги свои отдавайте Эллис!

До окончания рабочего времени Тамма полтора часа. Покрутился на машине по центру. Зашёл к поставщику, подписал бумаги, попытался выторговать себе скидку и увеличить срок оплаты. Не получилось. Да и не особо надо.

Так. Время. Неподальёку от дома, где проживал товарищ Тамм, был небольшой продуктовый магазинчик. Изучая Тамма, завязал приятельские отношения с владельцем. Даже организовал пару пробных поставок его колбас и сыров к себе в бар. И с ним я рассчитывался в первую очередь. Клиент, который платит вовремя, — лучший клиент.

Так, что всё легендировано у меня сегодня. К одному поставщику заехал, к другому.

Мы сидели в маленьком кабинете в магазине, пили ароматный кофе, болтали о перспективах развития нашего сотрудничества, рассуждая, что же может из продуктов пойти в моём баре. За спиной очарованного владельца было огромное, витринного типа окно, прямо на улицу, по которой был проложен маршрут подполковника Тамма «дом — служба — дом». Этот отрезок был пешеходным. У Тамма не было машины. Его редко подвозили коллеги. Погода хорошая. Отчего же не проветриться?

В стекле за спиной было видно, что у хозяина открыто на мониторе компьютера. Сбоку от монитора были приклеены бумажки с напоминаниями. Одна выделялась. Старая, пожухлая, немного выгорела, потеряла свой первоначальный цвет, что у собратьев. Чуть сдержал улыбку. Это пароль. Он был сложный. Много букв, цифр, символов. Подобрать сложно. Запомнить нелегко. Несмотря на то, что всё это было в зеркальном отображении, я запомнил, «сфотографировал». Потом воспроизведу. Редко мне улыбается удача, а тут она случилась.

Нет, я не хотел воровать у этого милого человека деньги с его банковского счёта. Всё гораздо прозаичнее. Системы видеонаблюдения, включая наружные, были подключены к компьютеру. А сайт этого магазинчика я знал наизусть. Там было всплывающее окно для удалённого доступа.

На стене комнаты, сбоку от стола хозяина висели большие часы, у меня не было надобности незаметно поглядывать на наручные.

А вот и собственной персоной прошествовал Тамм. Обычная походка немного уставшего после работы человека. Плечи не напряжены. Лицо сосредоточено. В форме. Выправка строевого офицера. Отметил, что шедшая навстречу молодая женщина, бросила игривый взгляд на бравого подполковника в иностранной форме. Тамм не удостоил её взглядом. Я бы тоже не посмотрел...

А вот в пятнадцати метрах от него топал один из американцев — офицеров НАТО, часто заглядывающий в мой бар как в одиночном порядке, так и в коллективном. Ух ты! Ребята, что происходит?! Всё более интересно становится с вами.

Я попросил ещё чашку кофе у хозяина магазина. Он никуда не спешил, предложил по капельке женевера. В своё время он послужил основой для английского джина. Возгонка из сбродившего

ячменного сула и можжевельных ягод. Отчего не испробовать. Заодно и обсудить, может, попробовать поставлять его в мой бар. Знаю, что некоторые коктейли делаются на основе женевера, плюс местная выпивка. Туристы часто заказывают местное. В сортах пива они, традиционно, путаются, раскрывая рот перед выбором. Нередко англичане и немцы заказывают крепкое. Пиво у них и своё неплохое. Похуже, чем бельгийское, но вполне сносное.

Говорят, что женевер благоприятно действует на желудок. Не знаю, но ёлочное послевкусие мне определённо нравится.

Пригубив стопку, делаю глоток кофе. На нёбе рта остался привкус можжевельника, делаю глубокий вдох, послевкусие усиливается. Хорошее ощущение.

Рождается мысль смешать кофе с женевером. Есть же кофе по-ирландски. Две трети виски с убийным крепким кофе в одну треть. Бодрит. Кофе по-бельгийски уже есть. Но на любителя. Взбивается в пену яичный желток с сахаром, выпускается в кофейную чашку. Сверху кофе, а потом взбитые сливки из баллона. Тёртый шоколад на макушку. Торт полужидкий, а не кофе. Хотя... кофе с резким ёлочным ароматом вряд ли привлечёт большое количество поклонников. Но поэкспериментировать стоит.

Через десять минут «топтун» прошествовал в обратном направлении. Вообще ничего непонятно. Они вот так «бросили» объект слежки? А если он уйдёт куда-нибудь? Или его кто-то посетит? И сейчас не глубокая ночь. Тамм может спокойно переодеться и упылить куда угодно. Формальная слежка непрофессиональных филеров-любителей? Передал объект для контроля другому? «Пост сдал — пост принял?»

Детский сад. От алкоголя с кофе или от волнения из-за непонимания, что происходит, на лбу выступила испарина. Давненько такого не случилось. Сердечно распрощался с гостеприимным хозяином. Заказал у него пару бутылок женевера. Попробую предложить посетителям. Как-то я упустил его из виду. Пусть Эллис изучат рецепты коктейлей с этой можжевельной самогонкой.

Машину оставил за два квартала. Машину американцев я знал. Через пять минут нашёл её в потоке. Обогнал, ехал впереди на три машины. А то мальчики вошли в азарт и будут постоянно смотреть в зеркало заднего вида, а то и того хуже, установят в порыве шпиономании видеорегиcтpатор на заднее стекло, чтобы потом анализировать машины, что следовали за ними.

Не специалисты всегда думают, что слежка, она сзади. Не менее эффективное наблюдение спереди. Но это нужно уметь делать.

Как я и предполагал, трое американцев в машине вернулись на службу. В штаб-квартиру НАТО.

Похвальное служебное рвение. Внеурочные за переработку доплачивают? Сделал круг. За мной никого? Чисто. На работу.

Приехал в свой бар. На удивление, бар был полон. Даже у стойки почти не было места.

Эллис, с раскрасневшимся лицом, бегала за барной стойкой. Заказов было много. Переоделся, вышел ей на помощь. Вдвоём пошло веселее. Много военных в форме. Они рассматривали фотографии, что-то громко обсуждали. Кто-то пытался «склеить» Эллис. Трое женщин, если бы были без сопровождающих кавалеров, пользовались бы успехом.

Эллис побежала в зал, собирая пустую посуду, вытирать столы. Освобождавшиеся места тут же занимали. До самого закрытия зал был полон. Щедрые чаевые. Некоторые, криво нахлобучив фуражку, сбив галстук на бок, долго трясли мне руку, выражая признательность за тёплую, душевную атмосферу. Клялись, что у меня самый лучший бар в Европе. А они, мол, обошли все значные места Брюсселя и ближайших окрестностей. Почему-то я им верил. Я вежливо поддерживал разговор. Некоторые протягивали свои визитки, просили уведомить, если будет смена экспозиции. Кто-то тыкал пальцем в фото из Ирака, говоря, что на фото его старший брат. И он уже сфотографировал на телефон и отправил брату и родителям. Все счастливы. Просили передать хозяину заведения, что они благодарны за то, что помнят в Европе подвиги на Ближнем Востоке. Дал адрес, где я заказывал коллекцию. В ответ получил визитку, приличные чаевые и заверения в любви к бару и вечной дружбе со мной.

На пару с Эллис мы навели порядок в зале и за стойкой. Она пробилась на кассе «Total». Получилась очень приличная сумма. Хм. Если так пойдёт дальше, то я через пару лет могу стать прибыльным предприятием! Эллис была радостно возбуждена. Она поделила чаевые. Мы пошли на кухню и поблагодарили всех невидимых творцов европейской кулинарии. Люди были уставшими, но чаевые их взбодрили.

Проводил всех. Эллис укоризненно качала головой. Мсье не бережёт себя. Хроническое недосыпание сильно вредит здоровью. Запер все двери, со своего компьютера зашёл на сайт магазинчика, где я «срисовал» пароль доступа. Понаблюдал за активностью на сайте. Тишина. Время уже далеко за полночь. Приличные граждане сопят в своих кроватках. Ввёл пароль хозяина. Так, смотрим. Вот доступ к видеокамерам. О! У него архив хранится месяц. Уважаю, мужчина!

Начали! Примерное расписание передвижения Тамма мне известно. Утро сегодня. Вот он. Один. Ранее утро. За ним в течение пяти минут никого. Утро предыдущего дня. Такая же картина. Так. А вечер? Ну-ка, ну-ка! Не один. В сопровождении

дяди из Америки. В гражданском обличении, с военной выправкой. Да, ребята, что-то у вас не так в организации любительского наружного наблюдения. Сопроводил моего подопечного. И точно строевым шагом через семь минут убыл в обратном направлении. Да что за цирк такой вы устроили? Таким же образом проверил все записи, что были в архиве. Получается, что утром Тамм никто не провожал на работу. В выходные он вообще был предоставлен самому себе. Только вечером сопровождение доводило его до подъезда, а затем топало в обратном направлении. Пять человек. Все они бывали у меня в баре, личности известные, установленные. Так, в баре они у меня были для контроля за обожаемым подполковником али по любви к выпивке и чудесной атмосфере моего заведения?

Курю, думаю. В крови уже мало крови осталось. Кофеин с небольшой примесью алкоголя. Ну и никотина тоже немало.

Надо встречаться с Таммом. А что лучше всего освежает мозги, как не утренняя пробежка агента?

Смотрят за Таммом утром или не наблюдают? Вот и узнаем.

Парк, в котором бегал подполковник, я знал. Маршрут движения агента также известен.

Были известны и диагональные, и перпендикулярные дорожки. Вот и передвигаясь по ним, планировал наблюдать за Таммом, вернее, за его «хвостом», если такой будет.

Спать опять долго не пришлось. Наверное, счастливы те, кто может позволить себе спать по восемь часов. Долгий сон — счастье, награда. От этого у многих разведчиков, мечтавших о пенсии, одна мысль — выспаться!

И дед, и отец рассказывали об этом. Но на пенсии они по привычке вставали ни свет ни заря. Привычка, видать.

Вот и я затемно подъехал на машине. И начал пробежку по парку. Никого ещё не было. Надо убедиться, что филёры не выставились заранее на позиции. Никого. В машинах, запаркованных вокруг парка и прилегающих улицах, никого. Рано для любителей спорта и поздно для хулиганов, грабителей. Тишина. Никого.

Через минут сорок появились первые бегуны. Физкультурники или из службы наружного наблюдения? Военные тоже записались в любителей пошпионить за коллегой.

Машины новые не появились.

Комбинация с Таммом напоминала разновидность шахматной игры Kingchess. «Королевские шахматы».

Думаю, что их придумал кто-то имеющий отношение к спецслужбам. Правила почти такие, как в обычных шахматах. Только игра начинается при пустой доске. И фигуры выставляются в ходе

игры. И количество, как и качество фигур, определяет сам игрок.

Придумали их в России в 1992 году. Наверное, кто-то из пенсионеров упразднённого на тот момент КГБ развлекался.

Всё как в разведке или контрразведке. Когда начинается противостояние, то на поле только две фигуры, а в ходе игры появляются неизвестные. В жизни они появляются из тени, а в игре — из коробки — «запасника».

Вот и согладаи за Таммом, подобно «слонам», в России такие фигуры часто называют «офицерами», как в шахматах, двигаются прямолинейно, точно по диагонали. До дома и назад. Прямо как на шахматном поле.

Светало, а новых фигур не добавилось в парке. Свернул на небольшую тропинку, влившуюся в кустах. С основных дорожек не видно. Зато мне хорошо просматривалось пространство от поворота до поворота. Слева дорожка раздваивалась. Если за эстонским подполковником велось наблюдение, то они должны здесь идти за ним на короткой дистанции, потому что Роберт непременно выбирал то одну, то другую дорожку для пробежки. Одна была длиннее примерно метров на двести. Вот и получается, если за ним плотное наблюдение, не по контрольным точкам, а они требовали много сил и средств, то напротив меня, они должны нестись «ноздря к ноздре». Взгляд на часы. Со своей педантичностью, Тамм должен появиться в любое мгновение. Привычка — враг.

Послышался шум. Тамм бежал легко, размеренно, явно экономя силы. Наверное, все военные любой страны так бегают, сохраняя энергию, понимая, что после этого забега предстоит решать иные задачи. Этим они отличаются от штатских, бегающих за модой или здоровьем, а тем паче от спортсменов. У всех трёх категорий различный стиль бега, даже положение тела во время бега разнится.

Вот если кто за натовцем увяжется, и определим по стилю бега, «из чьих он конюшен» будет.

Чтобы рассмотреть получше, появилось глупое желание, отодвинуть ветки кустарника. С трудом подавил это нелепое желание. Боковое зрение зафиксировало автоматически движение. Это у нас от предков-охотников на уровне инстинктов записано. Зачастую не замечаем, что перед собой, но боковое зрение тут же привлечёт внимание как скрытую угрозу организму. Поэтому лучше стоять тихо и неподвижно, сливаясь с окружающей природой.

Как-то русская компания сидела у меня в кафе, выпили крепко, и один выразился в ходе повествования: «Прикинулся ветошью, лежу, не отвечаю!»

Вот оно сейчас как раз для меня. Тамм быстро пронёсся мимо меня. Умеет военный бегать.

За ним никого. Вплотную никого. Только спустя минуту пробежала девушка. Стиль как у спортсменки на разминке. Мой источник за это время уже скрылся за поворотом. И куда он понёсся, мне было неизвестно, равно как тому разведчику наружного наблюдения, если тот следовал позади.

Постояв ещё пару минут, я выбрался и трусцой проследовал к своей машине. Предварительно сделал вывод, что на пробежке за Таммом нет наблюдения. Непонятно. Как был туман, в котором прятался «фигуры», так и остался он плотной стеной.

В «Королевских шахматах» можно или ход делать, или фигуры выставлять на доску. Вот и непонятно мне, проводя аналогию условную, против меня ход делают или фигуры расставляют?

Ладно. Будем наблюдать. В том же разговоре, когда русские туристы мне сделали хорошую выручку, помимо «ветоши», услышал ещё одно хорошее выражение, неизвестное мне ранее: «По хрену! Пляшем!»

Очень сложно прикидываться «ветошью» и не показывать, что ты понимаешь русскую речь. Особенно когда одобрена сочными, образными выражениями. Зачастую туристы, находясь в чужой стране, полагают, что их не понимают и не стесняются в выражениях. Как и эта подвыпившая компания была. Несколько раз я с трудом сдерживал улыбку от их рассказов, анекдотов, выражений. Но никто не должен был сообразить, что, помимо европейских языков, мне ведом и этот. Русских туристов любят в Европе. Хорошие заказы, чаевые. Главное, чтобы никто из окружающих к ним не лез выяснять отношения. Сами русские туристы никого не тронут. А вот если зацепят... Интерьер придётся менять в зале. Ну и полиция возьмёт на заметку.

Есть такое приложение в телефоне — «Trip-Advisor», там оставляют мнение о заведении гости. Изучал, да и сейчас заглядываю, чтобы понять, что нужно туристам и местным. Многие не стесняются в выражениях.

В Голландии русские туристы подрались в кафе с арабами, что прибыли с Ближнего Востока. Местные жители с возмущением писали о «русских варварах», которые резко отреагировали на попытку арабов вытащить из-за стола русскую туристку. «Применили неадекватную силу». Русские же написали очень хороший отзыв. Описали драку. Приглашали других русских туристов посетить это место, чтобы закрепить победу, если понадобится. Надо отметить, что туристы из России оплатили счёт, оставили чаевые, частично погасили ущерб, нанесённый заведению, и скрылись в переулках до приезда полиции. Отзывов мигрантов я не нашёл.

Только профиль заведения у меня был иной. И не нужны мне были носители родного языка. Они отпугивали хрупких и ранимых офицеров и

сотрудников из штаб-квартиры НАТО. А русские любили поглазеть на это здание и пометчать: «Вот бы „Тополем“ жакнуть!»

Домой. Переодеться, на работу. Рутин.

Если на служебном автоответчике появляется сообщение, то оно автоматически копируется на мой рабочий компьютер, и на телефон приходит оповещение.

И вот как мне теперь поступить? Если за Таммом тянутся натовские офицеры, то как его оповестить об этом? Связь-то я ему дал одностороннюю. За что корил себя ежесекундно. Вроде и не новичок в разведке, а вот надо же! Дал маху! Не мог я в первую встречу вложить в его голову все меры предосторожности, связи, конспирации, сбора, хранения, обработки информации. Да и задание, получается, я ему отработал первое почти провальное. Примут его под белы ручки, обыщут, а там перечень всех документов, сведений, к которым он допущен. Да ещё список офицеров — его контактов.

Уф! Лоб покрылся испариной. В кино показывают разведчиков с железной мимикой, бортовым компьютером вместо головы и тросами вместо нервов. Мне бы такие нервы.

Как? Как с ним связаться? Завтра на пробежке? А где гарантия, что если за ним сегодня не было слежки, то завтра тоже не будет. И наблюдение можно осуществлять, выставив людей по контрольным — «реперным» точкам.

Посидел, покурил, поморщил лоб. Ну а что. Не знаешь, что делать — делай первый шаг. Как по тонкому льду. Медленно, не спеша. Лёд подломится.

Отец и дед очень бережно относились к русскому языку. У русских эмигрантов первой волны, после революции, было видно два класса. Первый, который стыдились, что они русские, старались как можно быстрее раствориться в окружающей среде, с восторгом воспринимали окружающий мир, кляня на чём свет стоит «сермяжную Россию». Сами быстро забывали свои корни, детям не прививали русскую речь. Многие принимали католическую или протестантскую веру.

Второй класс — хранили историю своего рода. Дома разговаривали только по-русски. Часто использовали старинные русские половицы, поговорки, показывая, как многообразен и богат язык, как «несколько слоёв» лежит в незамысловатых поговорах.

Вот и сейчас, когда пришла мысль в голову про тонкий лёд, вспомнилась поговорка, услышанная от деда: «Внешний лёдок ненадёжен, что чужой избы порог». Прав старый разведчик в своей мудрости, используя русский язык.

Через час на телефон пришло оповещение, что на автоответчике оставлено одно сообщение. Вот чего я не ожидал, так это что Тамм запросит встречу по срочному каналу связи. А вот теперь

вообще непонятно. Тамма взяли перевербовали? Так быстро? Через два часа, посмотрел на часы, семь часов после пробежки в парке? Или создали «режим мнимого благоприствования», подсунили много дезинформации, чуть-чуть правды, обильно одобренной ложью, и наблюдают, что сделает подполковник, имеющий сына в России. Прочитает, сделает пометки в служебной тетради, запрет её в сейфе и благополучно забудет. Или будет копировать, шифровать, с ухищрениями выносить с работы и понесёт на встречу иностранному шпиону.

Работа у разведчика — сплошная рефлексия. И труд ума. Анализ, моделирование, прогнозирование. И всегда надо быть готовым к провалу. К нему нельзя подготовиться. Никогда. Так, например, Вик Хайханен предал легендарного полковника Абеля. Когда ФБР ворвались к Абелю в номер, тот из-за жары лежал голый на постели. И десять часов кряду его допрашивали, не давая надеть даже нижнее бельё! И как рассказывал мой дед, лично знавший легенду разведки, Вильям Генрихович поведал, что вот такое состояние психологической незащищённости, больше всего его угнетало в тот момент, не давало сосредоточиться на линии обороны, все мысли были прикованы к собственной наготе. Предавший Абеля погиб, но была провалена целая сеть агентов, помогавших Советскому Союзу. Одно предательство привело к большой трагедии многих людей.

Вот так же, каждый день думаешь, в случае моего провала кто может пострадать? Кто «попылется» следом?

Вот и сейчас, в двадцатый раз прослушивая голос Тамма, заказывающего столик на имя Доминика, пытался уловить в интонации страх, ликование, эмоциональную окраску, подсказывающую, что меня ждёт засада, что он работает под контролем и чужую диктовку. Но ничего. Обычный, как всегда, безэмоциональный, слегка растягивающий гласные голос агента.

Встречу надо готовить.

Первое. Тамм — провокатор. Им известен адрес. Значит, там сейчас кипит работа. Оборудуется помещение техникой объективной фиксации высокого качества. Выставляются посты для моего захвата. По периметру расставляются заранее группы захвата, снайперы. Бельгийцы под руководством ЦРУ, французской DGSE, очень упорны и старательны. Опыт многих успешных операций по противодействию терроризму показывает это. И с каждым годом они всё больше матереют, набирают опыта. Если раньше они смотрели в рот ЦРУ, то сейчас способны на многое самостоятельно.

Можно самостоятельно отправиться в путь и посмотреть, что же там происходит. Но на дворе уже новый век. Есть сайт, удалённый доступ к нему. На него пишется информация из квартиры в моё

отсутствие. Там же установлен датчик подсчёта посещений. После каждого просмотра все записи камер и счётчика стираются.

Когда работал во Франции, один из конфиден- тов любил говорить так:

— Лучше уничтожить героина на миллион долларов, чем быть осуждённым за героин на миллион долларов.

Хотя сам не имел никакого отношения к обороту наркотиков. Но получалось очень образно. Сервер, на который транслировал сайт, находился в Бразилии.

Всё было тихо, хотя это ни о чём не говорило. Переключился на камеры, которые были установлены на окне, они частично захватывали вход в дом. Тоже никакого ажиотажа. Обычная жизнь. Люди входившие и выходящие мне известны. Жильцы, их родственники и знакомые. Добавился новый жилец — беременная с первого этажа родила.

Ладно. Допустим, что Тамм не предатель и честно желает доложить командным голосом об успешно выполненном задании. А вот что делать с его негласным сопровождением? Как мотивированно объяснить, не вызывая подозрений? Врываться «на его плечах» в мою явочную квартиру контрразведка не будет. Да и не пахнет там контрразведкой, а похоже, что натовцы решили понаблюдать самостоятельно, прежде чем пригласить его в команду.

Что не так в поведении подполковника Тамма последнее время? У него не поведение, а благоповедение. Слишком идеальное. Может, это и хорошо, но поручи мне такое задание, я бы засомневался. У каждого человека должен быть порок. Скрытый, явный недостаток. Лучше, чтобы его видели. Тогда отпадают другие вопросы. Каждый человек порочен по своей природе, а западный мир вещает о свободе внутренней, призывая не скрывать, не сдерживать своих бесов, выпускать их наружу, в пределах новых границ. Содомия уже не порочна, а почётна. Равно как и зоофилия. М-да. А подполковник, находясь в прекрасной физической форме, ежедневно, словно паром, дефилирует по одному маршруту — дом — служба. Иногда загуливая в кафе на пару кружек пива. А это мысль! Рядом рассадник разврата — брюссельский «квартал красных фонарей».

Мне понравилась эта мысль, радостно, по-мальчишески, взъерошил волосы на голове.

В моём баре я не жаловал проституток, хотя неоднократно предпринимались попытки «поселиться» в моём заведении. У меня иной профиль. Но визитных карточек сутенёров, бандершей, индивидуальных особ, легальных, нелегальных у меня было много. Предлагали, чтобы поставлять им клиентов за процент. Вежливо отказывался. Разные задачи. Но если подвыпивший гость обращался с просьбой подсказать, где можно найти

проституток, как девочек, так и мальчиков, увы, и такие попадались, то звонил по одному из телефонных номеров своей обширной картотеки.

В моём подъезде, куда должен прибыть товарищ Тамм на randevu, проживала нелегальная проститутка из Украины.

Когда-то была учительницей французского языка. Но после переворота потеряла работу, после отмены визового режима она подалась в Европу. Печальная история. Дома маму и маленького ребёнка она содержала, переводя им деньги.

Работала она нелегально. Не из той категории, что требуют за ночь по десять-двенадцать тысяч евро. Но не стыдно появиться в свету. Высокая, красивая, ухоженная, способна поддержать беседу, как учительница имела психологическую подготовку. Как она сама рассказывала, у неё были постоянные клиенты, которые приходили к ней не за сомнительными удовольствиями, а чтобы поговорить. Вернее, выговориться, порой спросить какой-нибудь совет. Во-первых, дешевле, чем у дипломированного психоаналитика. Во-вторых, всё равно клиент чувствует превосходство над проституткой. Он контролирует ситуацию, а не ситуация его. В-третьих, всегда может встать и уйти. В-четвёртых, конспирация. Кто поверит грязной нелегалке, занимающейся проституцией?! Никто! А значит, можно выговориться. А можно и фантазировать.

Я иногда её рекомендовал озабоченным клиентам, которых после большой порции горячительного тянуло «на сладкое».

Она была мне благодарна. Жестокая конкуренция, тем паче на нелегальном рынке. Украинки «обвалили» цены на рынке интимных услуг Европы. Позвонил ей. Немного поболтал, потом поинтересовался, свободна ли она сегодня вечером. Оказалось, что свободна. Пообещал клиента.

Ничего удивительного, что я как бармен порекомендовал одинокому офицеру девушку, чтобы развеяться немного и скрасить его суровые будни.

Это хорошо вписывается в легенду как мою, так и его. Уф! Отёр испарину со лба. В квартире у меня стоит небольшой магнетрон, кинь туда любой электронный накопитель, менее чем через три секунды от записанной информации не останется ничего. Для уничтожения бумаг использую модифицированный тостер. Хлеб он, правда, жарит до состояния угольков, а вот бумаги сжигает почти мгновенно. А в случае штурма квартиры можно успеть избавиться от компрометирующих улик. Надеюсь, что до этого не дойдёт.

Очень надеюсь, что подполковник Тамм заедет домой переодеться в партикулярное платье. И если за ним «хвост» до квартиры, как обычно, снимут наблюдение, как только он поднимется к себе на этаж. И свидание с нелегальной гетерой лишь добавочная мера безопасности. По фигу! Пляшем!

За полтора часа до встречи оставил машину в районе Северного вокзала, пешком добрался до дома, где расположена явочная квартира. Не просто так, по прямой, а по спирали, сужая окружность, где в центре был дом.

Снимая квартиру, анализировал, где могут быть засады, размещены группы захвата, пункты наружного наблюдения, точки технического контроля. Не факт, что они будут располагаться рядом с объектом оперативной заинтересованности, но будут. И неподалёку. Для группы захвата пять минут — расчётное время прибытия. А вот командный пункт, кто будет отдавать приказ на штурм, очень рядом. Может, и в самом доме. Но наблюдение за движением в подъезде показало, что все жильцы на месте. Ведут себя обыденно. Значит, квартиры все заняты постоянным составом. Никто не съехал. Но заниматься самоуспокоением не стоит. Опасно. Если ты не видишь наблюдателей, не факт, что их нет, значит, они хорошо замаскировались, а ты их не можешь выявить. Точно так же, когда генерал Калугин предал Олдрича Эймса — агента из ЦРУ, который много лет успешно трудился на советскую, а затем на российскую внешнюю разведку. ФБР постепенно скупил несколько домов вокруг дома Эймсов, установило плотный технический контроль. Новейшая, в 1994 году, аппаратура напиговала дом от подвала до конька на крыше, просматривала каждый сантиметр домовладения. Чувствительная звукозаписывающая аппаратура фиксировала переговоры мышей в подвале.

Минуло больше двадцати лет. Аппаратура и методы ведения контрразведывательных оперативно-технических мероприятий усовершенствовались и продолжают совершенствоваться.

Двигаясь по спирали, я заходил в кофейни. Неспешно выпивал чашечку кофе, закусывая свежей сдобой или любимым шоколадом. Просматривал планшет, внимательно осматривал места предполагаемых засад. Тихо. Нет микроавтобусов, грузовиков, стоящих под знаком «стоянка-остановка запрещена». Или перед булочной стоит фургон, перевозящий мебель, и при этом рядом нет никакой суеты по загрузке-выгрузке мебели. Много чего ещё. Например, дворники в столице Европы — люди постоянные. Редко меняется состав. А вот когда появляются новые или группа новых уборщиков территории, которые всё делают неспешно, да ещё больше смотрят не под ноги, а на окружающих — значит, проходит полицейская операция. Не факт, что желают достать твой организм, но за кем-то идёт охота.

Как сказал мой знакомый полицейский во Франции:

— Поверьте, милейший, нет ничего азартнее, увлекательнее, захватывающее на свете, чем охота на человека! Обычная охота не идёт ни в какое сравнение!

Любил человек свою работу, делал её добро-совестно, примешивая к ней личное, вкладывал в неё душу. От этого и был на хорошем счету. Но получал немного, а стресс зачастую снимал в сельской местности, надираясь до чёртиков. И моё шато ему очень нравилось для этих целей. Знакомый, по моей просьбе, настойчиво отрекомендовал. Далеко от Парижа. Лишних глаз нет, никто вопросов не задаёт, лишнего не болтают. Хозяин — хороший человек. На этой почве у меня с ним установились доверительные отношения. Хоть порой и обременительно было с ним возиться, но, поверьте на слово, оно того стоило, даже более того...

Преданный службист, сам того не ведая, рассказывал о методах работы полиции. Его как преданного делу, с незапятнанной репутацией часто привлекали к операциям контрразведки. Он прекрасно знал преступный мир, вместе с тем обладал живым аналитическим умом, которому периодически требовалась перезагрузка.

И он любил показывать перед деревенщиной в моём лице, какая важная персона перед ним. Хвастовство — порок для тех, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью.

Вычленяемая из словесного потока информация носила не только общий, но и прикладной характер. Так, например, удалось узнать по косвенным признакам, что проводились активные контрразведывательные мероприятия вокруг нашего посольства с целью дискредитации на международном уровне. Второй советник заинтересовал их. Планировалось сфабриковать против него связь с террористической организацией во Франции. Ситуация была локализована.

Мой приезжий товарищ по алкоголю очень сокрушался, что все оказались под подозрением. И все, кто был причастен, проверялись с использованием полиграфа — детектора лжи на предмет утечки информации. Но когда он рассказывал мне государственную тайну, был почти пьян и ничего не помнил. Проверку он прошёл успешно. Ему ещё принесли извинения за тень подозрения. Он очень обиделся, его нервная система была подорвана, и он снова приехал ко мне топить обиду в красном вине. Правда, и платил, по местным меркам, щедро. Так что получается, по всем меркам, оказался в приварке.

Так что со слов парижского полицейского мне было известно обо всех новейших способах слежки и проведения операций французской контрразведки, которая являлась куратором своих коллег из Бельгии, благо, что языковой барьер отсутствовал.

Активность вокруг минимальна. Вроде не упустил ничего. Периодически заходил на сайт, куда стекалась информация с явочной квартиры. Датчик посещений обнулён, таковым и остался. Камеры также не фиксировали ничего. Запоминал

расположение теней. Солнце попадает в квартиру и расположение теней от предметов изменяется. На случай если технические специалисты перехватили сигнал от камер и установили статическую картинку. Тени двигались с движением солнца. Интенсивность светового освещения также была правдива. Прогулочным шагом, неспешно приблизился к группе туристов, они шумно следовали в Квартал красных фонарей. Экзотика. Одним глазком взглянуть на запретное. Они крутили головами. Им всё интересно. Согласитесь, идти одному и крутить головой, конечно, понятно, турист, но привлечёшь к себе внимание. А группа туристов привлекает внимание лишь торговцев и владельцев питейных заведений. Остальные граждане стараются удалиться от этой шумной компании.

Вот и я крутил головой, делая то удивлённое, то восхищённое лицо, мимика, как у всех в группе. На меня уже перестали обращать внимание. Сошёл за своего. Группой безопаснее, тем более в таком криминальном районе, где проститутки и бандиты.

Только я осматривал окрестности не в целях изучения архитектуры и изучения предложений греховных удовольствий, а лишь с целью выявления слежки. Не выявил.

На повороте отделился технично от ватаги туристов, теперь уже как местный, двинулся в сторону места встречи.

Тихо. У подъезда никого. Входная дверь под электрическим замком, поднялся на третий этаж. Никого. Поднимался, прислушивался. За соседскими дверьми кипела жизнь. Обычные повседневные звуки обывденной жизни.

Вошёл в квартиру. Часы. До встречи двадцать минут. Обошёл квартиру, поставил чайник. Включил планшет, полюбовался на себя, прошёл комнаты, проверяя работоспособность камер. Всё исправно. Стёр запись, отключил камеры. Ни к чему мне записывать встречу с источником.

Не приближаясь к окну, осмотрел двор, нет суеты. Жильцы возвращаются с работы. Усталые. Кто с покупками, кто налегке. Ребятишки вприпрыжку скачут рядом, рассказывая родителям о своих успехах или неудачах в детском саду.

На окне установлен датчик фиксации лазерного излучения на случай, если будет вестись запись с помощью лазерного микрофона, луч направляется из передатчика, отражается от наружного стекла, искажённый вибрацией голоса из комнаты, передаётся на приёмник. Далеко от объекта заинтересованности. Тело расслаблено, считает, что за ним нет наблюдения. Поэтому и нужен такой датчик. Ничего сложного нет. В обыкновенном автомобильном детекторе радаров такой встроен. Из Китая быстро доставят. Прекрасно работает в широком спектре.

Заварил чай. Классический английский. Кофе я уже напился за последние дни. Из бара достал пепельницу, встал на стул, вынул батарейку из датчика дыма на кухне и в зале. Теперь можно и покурить. Ф-ф-ф-ф! С наслаждением струю в потолок после глотка ароматного крепкого чая и кусочка тёмного шоколада с острым перцем. Хорошо! Нервы в комок. Идёт агент. Кто он сейчас? За кого? Со мной, против меня, сам за себя?

Посмотрел на проём входной двери. Не мешало бы установить во всех проёмах датчики отслеживания электронных устройств. Зашёл источник в квартиру—выложи телефон. Иди руки помой. А сам смотришь, как реагируют датчики. Сигнализируют о том, что агент выложил всю электронику из карманов или нет. Есть ли на нём звукозаписывающая аппаратура. Надо будет у Центра запросить разрешение на установку и оборудование. Дорого стоит нелинейный локаатор, да и когда покупает его бармен—подозрительно, а когда несколько комплектов—вдвойне.

Военный есть военный. Не приближаясь к окну, наблюдал за подъездом. Ровно за три минуты до назначенного времени подполковник вошёл во двор, закурил, поглядывал на часы. Затушил окурок, бросил в урну, подошёл к входной двери, нажал на кнопку вызова

Всё это время наблюдал не только за поведением Тамма. Насколько он нервничает, это естественно. Он может считать, что предаёт свою Родину или дело, которому посвятил свою жизнь. Это естественная реакция.

Если слишком спокоен, тоже плохо. Значит, он может быть переметнувшимся. В таком случае ему необходимо прикрытие.

Либо наружное наблюдение, либо прикрытие своего агента. Но за это время во дворе никто из посторонних не появился. Ни мужчин, ни женщин, ни даже ветеранов контрразведки под видом немощной старушки с ходунками.

Не спрашивая, я нажал кнопку на панели домофона, открывающую электрический замок на входной двери. Открыл замок входной двери, сам отошёл в глубину квартиры, встал напротив входа. Если и была группа захвата, то она бы спустилась с верхнего этажа. Но зачем меня сейчас брать в плен? Тамм мне ещё ничего не передал. А встреча у нас для знакомства с девицей лёгкого поведения. Дверь на площадке напротив. Она сейчас прихорашивается, готовится к встрече клиента. Не более того. А какие у нас отношения—никого волновать не должно. У нас же свободная страна!

Всё это уже было отретегировано и уложено в голову и нервной системе по полочкам. Главное—сохранять спокойствие.

Тамм легко, почти беззвучно поднялся по лестнице. Я слушал. Эту лестницу я знал наизусть. Мог подняться в полной темноте. На последнем

лестничном марше, на третьей ступеньке возле лестницы есть выбоина. Те кто не знает, впервые поднимается, хватаясь за перила, спотыкается о неё. Я молча слушал. Нет. Тамм легко проскочил. Значит, поднимался ближе к стене. Привычка людей, кто воевал, быть подальше от простреливаемого пространства, чтобы спина была прикрыта надёжной защитой. Не потерял, значит, подполковник навыки. И настороже. Тоже боится.

Толкнул дверь. Я стоял, фигура расслаблена, руки на виду, улыбаюсь самой искренней, обаятельной улыбкой. Агент должен чувствовать себя в безопасности. Видеть во мне товарища, а не угрозу. Я же не спецназовец. Да и старше Тамма. Так что физическое преимущество на его стороне.

Вошедший закрыл за собой дверь, даже цепочку накинул. Благоразумная предосторожность. Значит, сам опасается проникновения извне.

Сделал шаг навстречу:

—Здравствуйте!—протянул ему руку.

Он также пошёл навстречу, поздоровался. Смотрит ко мне за спину, пытаюсь увидеть, не прячется ли кто в комнате.

Спокойно, чуть замедленно, в полуразвороте показывая рукой, пригласил его:

—Идёмте, я проведу вам небольшую экскурсию по моему скромному убежищу, заодно вы расскажите, как добрались.

Пошёл вперёд, показывая ему спину.

—Вот зал,—остановился на пороге.—Большой шкаф, если вам нужно переодеться в более удобную одежду,—распахнул шкаф, там могли спрятаться два взрослых мужчины.

Но там не было ничего, кроме одежды на вешалках. Больше прятаться там негде. Тумбочка с телевизором, диван, два кресла, журнальный столик, пустая этажерка.

—Как добрались?

—Нормально.—Тамм пожал плечами.—Без суеты. «Хвоста» не было, если вас это интересует,—поспешно добавил он.

—Это хорошо,—тепло улыбнулся я.—А как вы это установили?

—Просто. Я несколько раз, после выхода из дома заходил в разные кафе, причём это делал быстро, неожиданно, если кто смотрел, то должен был зайти следом, я это делал на повороте. Потом проходил в глубину зала, от входной двери не видно, выпивал кружку пива. У входа и окон всё забито туристами и любителями красивых пейзажей.

Поневоле широко улыбнулся, хотя челюсти сводило судорогой от такого трюка:

—Очень разумно. Ваша личная безопасность превыше всего. Всё остальное вторично.

Зашли в спальню. Двухспальная кровать на ножках, было видно, что под ней нет никого, комод для постельного белья, там тоже не спрятаться.

Рядом совмещённый санузел, включил свет, открыл дверь:

— Мойте руки. Вы будете чай или кофе?

Роберт на полсекунды задумался:

— Если есть хороший чёрный чай, то давайте чай. Если нет, то кофе.

— Есть отменный классический английский чай. Думаю, что вам он понравится.

Снова чайник, снова завариваю чай, старую заварку слил в раковину на кухне.

Вошёл Тамм. Он ополоснул лицо и пригладил волосы. Было заметно, что он успокоился.

Он сел, затем достал из внутреннего кармана какие-то бумаги, положил на стол:

— Вот. То, что вы просили.

Через плечо бросил взгляд на стол. Листов десять, исписанных ручкой. Очень продуктивно.

— Очень хорошо. Спасибо. Об этом чуть позже. Расскажите, почему вы меня вызвали на встречу по неотложному каналу связи?

Тамм тяжело сглотнул.

— Есть сигарета?

— Так вы же не курите? — удивился.

— Бросал. Чувствую, что пора начинать, — снова шумно сглотнул.

Поставил на стол чашки с чаем, печенье, шоколад.

— Давайте, вы расскажите, а курить не стоит. Окружающие знают, что вы не курите, а тут такая пагубная привычка появилась у вас. Могут подумать чего дурное о вас. А ни вам, ни нам этого не надо. Ещё кашлять начнёте, лечи вас! — пошутил на последней фразе.

Тамм сделал глоток из чашки, чуть поморщился, чай горячий:

— Понимаете, у меня утром состоялся разговор с немцем.

— С каким? — лицо попроще.

— С Томасом Брауном. Я вам говорил. Специалист по управлению хаосом, шахматист.

— Понял, понял, — кивнул головой, пригубил чай.

— Меня вызвали в отдел анализа и планирования специальных операций. Вход в этот отдел по специальным пропускам. Я там не был ни разу. Не моё — не надо проявлять инициативу. Ещё в российской армии меня научили, что инициатива всегда доставляет массу хлопот инициатору. А тут звонок по служебному телефону, приглашают. Прибыл. На входе дополнительный контроль. Не просто дополнительный пропуск, но личный досмотр через металлодетектор и изъятие в камеру хранения всех радиоизлучающих и записывающих устройств. Карты памяти, телефоны, диктофоны, всё! Даже перочинный нож отобрали. Даже ремень из брюк пришлось доставать. Правда, потом вернули. А то бы ходил по коридорам, придерживая штаны.

Мне очень хотелось курить, но решил пока воздержаться, чтобы лишний раз не провоцировать

Роберта на безумные поступки. Не хватало ещё, чтобы обратили внимание на то, что он после беседы занервничал и закурил.

— Отвели в комнату. Там был этот... немец, — в голосе его сквозило лёгкое презрение. — Браун. Я понял, что это его кабинет.

— Постарайтесь подробно описать кабинет, — попросил его.

— Кабинет как кабинет. Видно, что он там один. В нашем крыле в таком трое работают. Рабочий стол с компьютером, на столе много бумаг. Вроде. Но он в нём прекрасно разбирается. Знает, где что лежит. Много книг.

— Каких? Можете вспомнить?

— Много по географии. Смешно то, что я видел том произведений Ленина.

— А номер тома?

— 26. Я тогда ещё посмеялся. Сказал, что учился в военном училище, там было полное собрание сочинений Ленина. Никто не читал, и Советского Союза уже не было, а тома стояли. Команды выбросить не было. — Тамм улыбнулся. — Но Браун был серьёзен:

— Социалистическая система сумела сделать всё, чтобы изучали труды Ленина из-под палки. Если бы они прививали любовь к вдумчивому познанию наследия Ленина, уверяю вас, мир был бы уже социалистический. Но на наше счастье, влияние Запада, система потребления просочилась через «железный занавес» и разъела элиты. Они совершили переворот в 1991 году. Китай очень бережно относится к ленинским трудам. До сих пор штудируют, в том числе чтобы не довести внутри своей страны до революционной ситуации. А ведь пару раз чуть не случилось. Мы старательно поддерживали оппортунистов, что вы на меня так смотрите? Я использую термин Ленина, а не новомодные рассуждения о либерализме, оппозиции, демократах. В этих стенах, — обвёл ручкой кабинет, — нет никакой необходимости играть словами. Чем быстрее мы придём к общему пониманию, тем быстрее достигнем цели. И поэтому называть вещи своими именами — основа основ, тем более доверия. Ленин в 1915 году, когда вовсю шла Первая мировая война, рассуждал, и замечьте, очень грамотно, о Соединённых Штатах Европы. Работа у него так и называется «О лозунге Соединённых Штатов Европы». Говорит в то время, что ещё рано говорить о таком образовании. И описывает те предпосылки, которые могут способствовать объединению всех стран Европы. Гитлер попытался сделать это искусственно и потерпел неудачу. Недооценил Англию. Хотя она постаралась выпестовать его. Члены королевской семьи очень лихо вскидывали руку в нацистском приветствии. Всем нравилась перспектива перекройки мира. Но Гитлер оказался глуп. Возомнил себя Богом. Забыл он, кто его поставил и что должен был сделать. Межеумок!

Он стал враждовать с Британией, вместо того чтобы пригласить к пирогу. А сейчас почти все предпосылки, расписанные Лениным более ста назад, складываются точно на свои места. Только глупые, недалёкие люди могут отрицать величие ума Ленина, — сделал паузу Браун, задумался, а затем предложил. — Сыграем партию в шахматы? Я проанализировал партию, что проиграл вам. И понял! Вы отвлекли моё внимание своей рокировкой! На самом деле гениально! Показать мнимую слабость короля, я сконцентрировался на этом, пытаюсь вас добить, а вы кинжальным проходом ладьи устроили мне «вилку», а затем конь завершил комбинацию. Я долго ломал голову, пока не понял, как это получилось. Работа над ошибками, пожалуй, главное, что не делают люди. Они не извлекают уроки из собственных ошибок и промахов.

— И что? Вы стали играть? Какая партия получилась? Вы говорите, я посмотрю, — взял бумаги со стола и стал просматривать.

Ну вот, мои отпечатки пальцев уже имеются на шпионских бумагах. Криво усмехнулся своим мыслям.

— Какая партия была? Знаете, я не силен в теории шахмат. Правда, Томас обронил, что пытался со мной разыграть партию Рети — Алёхин, говорит, что очень красивая партия, но я пошёл в лобовую атаку, бросая в прорыв все свои силы. Я проиграл. — Тамм пожал плечами.

— Обидно было?

— Нет. Я понял, что ему нужно выиграть у меня. Это же шахматы, а не преферанс в блиндаже на сигареты. Вон там игра. Азарт! Там думать надо, не знаешь, что и как у противника, — он махнул рукой. — И что было дальше? — очень надеюсь, что он пришёл ко мне не для того, чтобы рассказывать про проигранную шахматную партию!

«Терпение — добродетель!» — успокаивал я себя. — А потом заказал кофе нам и начал меня осыпать комплиментами. Но я — военный! «Бойся данайцев, дары приносящих!» И когда меня гладят по шерсти, значит, успокаивают бдительность, жди удара ножом сбоку под рёбра! И он начал рассказывать мне о теории хаоса. Масса мелких, никак не связанных между собой событий, но приводящих к событию, мегасобытию. И вроде оно появилось внезапно, ниоткуда, вроде как бы само собой. В качестве примера он привёл, как специалисты из Израиля, чтобы остановить иранскую ядерную программу, планомерно физически уничтожили четырёх учёных иранцев. Одного русского. В России. Каждый был убит ювелирно. Только однажды двое посторонних пострадало. Следов нет. Но все поняли предупреждение. Ещё десять иностранных специалистов, презрев высокие оклады, покинули спешно Иран. А чего стоит только их кибератака, что затормозила тысячи

центрифуг по обогащению урана. Всего-то лишь компьютерный вирус. Когда выявили причину, то в исходном коде на иврите были записаны строки из «Песни Суламифь» из Библии. Никто не признался, но предупреждение было получено. Точно так же, как в Западной Европе были скомпрометированы десятки политиков. Что в Англии, в Германии и тут, в Бельгии, тоже. Удалённо закачали на их компьютеры детскую порнографию. Затем с этих же компьютеров распространили эти же файлы. Сообщили в полицию, журналистам. И всё! Никто никогда не будет общаться с распространителем детской порнографии. Карьере, семье наступает конец. До конца жизни находиться под пристальным полицейским контролем. Вот так, элегантно, издаലെка устранили союзников Ирана, с которыми велись переговоры о возврате замороженных денег, о снятии эмбарго. Заодно и остальным показали, что опасно идти против сынов израилевых. А чего стоит комбинация против директора-распорядителя мвф Доминика Стросс-Кана?! Элегантно, но выведен из игры навсегда. Горничная обвинила, что он пытался её изнасиловать. Всё равно, что потом его оправдали. На самом деле он уже ни у дел. Навечно. Он выступал посредником между переговорщиками по размораживанию средств Ирана. Кстати, по просьбе Генерального Секретаря Пан Ги Муна. Кстати, на него также был вылит ушат помоев журналистами, по сведениям «некого юриста». Бездоказательно. Но было. И это его заставило отказаться баллотироваться на пост президента Южной Кореи. Месть Израиля за то, что с его подачи признали Палестину государством. Вот это и есть хаос, вернее, управление им. Ряд событий, внешне никак не связанных друг с другом, но очень эффективных. И самое интересное, что никто не винит напрямую Израиль. Никого не захватили в плен, никто не дал показания против самого государства или его разведывательного сообщества. Я перехожу к предложению. Вижу, что вас мало интересует проблема Ирана и лиц, причастных к этому. С целью вывода России из игры одномоментной операцией, подобно той, что они провели в Крыму, предлагаю вам принять участие. — А вы?

— Я долго смотрел на него в упор и молчал. Потом спросил, мол, а как же исполнение моих обязанностей? Тот ответил, что никто не снимет их с меня. Нагрузка возрастёт многократно, придётся помотаться по Европе, а то и по Ближнему Востоку, если понадобится, благо, что опыт у меня имеется и связи также остались там. И обо мне отзываются хорошо. А также, оказывается, за мной было организовано наблюдение, меня проверяли всячески. Проверяли люди, которые уже в группе. Не привлекали посторонних, чтобы не бросить тень подозрения. Всё очень достойно. Дом — работа. Иногда крепко выпиваете.

Но не часто. На следующий день ни тени похмелья на лице. Никаких посторонних связей. И даже в интернете только новостные сайты, спорт, сайты на эстонском языке. По телефону общение только на служебные темы. Кропотливая работа с документами. Вы понравились членам группы. Принято решение привлечь вас к разработке.

— В чём суть разработки? Он пояснил?

— Кратко—создание деструктивной обстановки на ближайших границах России с целью её компрометации, возможной военной агрессии. Или спровоцировать Россию проявить агрессию к ближайшим соседям для последующей контратаки силами дислоцированных войск НАТО в странах Балтии и Польши. Возвращение Крыма Украине, размещение там базы ВМС США. Цель-максимум—уничтожение России в кратчайшие сроки, используя все факторы, в том числе и дестабилизирующие внутри страны.

Я почувствовал, как у меня глаза вылезают из орбит.

— Вот поэтому я попросил о немедленной встрече.

— И что вы ответили этому герру Брауну?

— Я согласился. Выразил горячее согласие. На что Браун спросил про моего сына. Сказал, что сын с удовольствием продолжит жизнь в нормальных условиях.

— Хорошо,—я включил чайник.—А теперь очень подробно, в цветах и красках.

Роберт начал снова. Теперь уже неспешно. Порой он возбуждался, вставал, раскраснелся, размахивал руками, изображал в лицах диалог. Было видно, что ему сложно совладать с собой. Но, по его словам, он справился. А вот теперь эмоции, пережитые вновь, его «накрыли». Было видно, что ему нужно выговориться. Несколько раз он употребил русские крепкие выражение в армейской интерпретации. В ход шли эстонские словосочетания. Я не прерывал его. Слушал, наблюдал за его реакцией. Невольно закралась мысль, а может, он играет. Как актёр самодеятельного театра. Но не похоже. Был бы Станиславский, и тот бы воскликнул: «Верю!»

Картина понятна. «Королевские шахматы». Пока противник достаёт и выставляет новые фигуры. В данном случае передо мной был Тамм. Ему уготована роль пешки. Но и пешка может многое. И пешка может по отдельным штрихам восстанавливать, дать понять всю картину происходящего.

Наблюдал за ранее малоэмоциональным подполковником. Никак не подозревал, что он может вот так выражать эмоции. Бурно. И постепенно понимал его мотивацию к сотрудничеству. Раньше для меня это было загадкой. Понятно, что сын в России. Но он вырос, сам выбрал карьеру офицера. Он его предупреждал.

Но я увидел, как Тамм одинаково переживает за Россию и Эстонию, а случай с его родителями,

когда американцы взяли их в плен за собиранием ягод в лесу, переполнил чашу его терпения, сорвал последний предохранительный клапан.

Словно прочитав мои мысли, Роберт обратился ко мне:

— Знаете, если бы вы не вышли на меня вот так, то я бы после сегодняшнего разговора нашёл бы способ связаться с представителями русского посольства или миссией России при НАТО. Инициативно. И точно так же рассказал им, что и вам. — Тогда бы они предложили вам сделать то, что я сейчас.

Он удивлённо посмотрел в глаза:

— Что же это?

— Вот,—я пододвинул ему листок бумаги и ручку.—Пишите.

Он усмехнулся.

— Всё как в кино. Расписка о сотрудничестве. А если откажусь?

Пожал плечами:

— Ваше право. Только это не нам надо, а вам.

Он сильно удивился:

— Пардон! А мне-то зачем?—добавил по-русски.—На хрена попу гармонь?!

Усмехнулся и ответил ему:

— Так легче самому. Определитесь, в чьих вы окопах. Сейчас у вас на душе кошки скребут. До сегодняшнего разговора вас терзали сомнения, зачем вам всё это? Сегодня вы проспите, и эти мысли к вам вернуться. И не расписка, а подписка о сотрудничестве.

Тамм потёр лицо:

— Дайте сигарету!—потребовал он.

— Не дам. Вы сорвётесь, а это подозрительно. Вы теперь сами того не ожидая, стали очень ценным источником. Кто знает, может, вам удастся предотвратить третью мировую войну,—потрафил ему.

Тамм всё ещё был на ногах, задумался.

— Знаете, а может, вы и правы!

«Я всегда прав, мой юный подполковник!»—пронеслось самодовольно в голове.

Пока агент думал, стал заваривать чай.

Тамм резко пододвинул стул, сел, расположил бумагу для письма.

— Что писать? И на каком языке?

— Язык не имеет значения, на каком вам удобно,—снова очаровательная улыбка.

— На каком удобно?—тоже улыбка, секунда на раздумье.—А на какую разведку я буду работать?—глядя прямо в глаза жёстко спросил он.

— Для вас это имеет значение? Если на полиграфе вам будут задавать вопросы, вы не сумеете скрыть правду. А если вы не знаете правду, то вам и не придётся врать. Подумайте. Я же вам говорил, что мы—организация, которая борется за мир во всём мире.

— Знаю я эту шутку,—снова усмешка.—За борьбу за мир вы камня на камне не оставите на планете.

И всё-таки? Я рискую жизнью и имею право знать, на чью разведку работаю?

Вздыхнул. Конечно, ты имеешь право знать.

— На русскую.

Тамм широко, даже радостно улыбнулся в тридцать два зуба, откинулся на стул, заложил руки за голову:

— Я знал! Я чувствовал! Постоянно знал, что за мной наблюдают русские! Что я им интересен!

— Насчёт наблюдения за вами, я бы не сказал, что это были русские. Последнее время за вами наблюдали ваши коллеги из НАТО. Американцы. А вот русские наблюдали за американцами. Ну это, видимо, та самая проверка, которая включала наблюдение. Вечером вас провожали до дома. К этому мы ещё вернёмся. Позже. А сейчас — подписка, — кивнул ему на листок перед ним.

— Конечно! Ну коль на русскую разведку, то буду писать по-русски! — решительно взял ручку. — Диктуйте!

— Сверху посередине: «Подписка о сотрудничестве».

Тамм начал писать. Я продолжил по-французски:

— С красной строки: «Я, Тамм Роберт Артурович, дата рождения».

Тамм писал, не отрываясь от письма, произнёс: — Как-то напоминает присягу, — прочитал присягу по памяти, отложив ручку в сторону:

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным Воином, стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа».

Пока на русском языке произносил текст присяги, выпрямился, смотрел куда-то вдаль, словно перенёсся сквозь годы. Лицо серьёзное, торжественное. Ни разу не запнулся, не споткнулся, не сбился.

Потом долго сидел молча. Я не торопил.

Когда-то, очень давно, не на плацу с оружием, а в кабинете, в присутствии своего деда, отца, мамы, моих кураторов, начальников точно так же, в волнительном запале, торжественно читал текст присяги.

На самого как-то нахлынули воспоминания.

Принимать присягу, стать разведчиком в третьем поколении... Это накладывает большие обязательства. Я не могу подвести своих предков, свой род.

Налил чай в две высоких кружки. Сахар, сдоба, чайные ложки. Офицер насыпал две ложки, стал помешивать, и всё это машинально. Сделал первый глоток. Поморщился. Горячий. А ложечку не стал вынимать из кружки. Чисто русская привычка, хотя рядом стоит блюдце. Это отметил машинально. По привычке.

Тамм вернулся из своих воспоминаний. Наверное, чай горячий отвлек его.

— Это же надо столько лет прошло, а до сих пор помню. Все тогда волновались перед присягой. Самое страшное было — упасть в обморок. Позор! Вот и сейчас волнуюсь. Как тогда. Давайте дальше.

Он отёр взмокшие ладони о брюки.

Я усмехнулся. Чисто русский жест. Хорошо, что не надо выдавать себя за иностранца. Один жест — подозрение. Второй подобный — провал. — Беру на себя обязательства о предоставлении правдивой информации секретного характера, выполнении отдельных конфиденциальных поручений. С красной строки. Обязуюсь хранить в тайне сведения, полученные в ходе сотрудничества. Также обязуюсь не разглашать сам факт сотрудничества.

— Секунду. Не торопитесь. Мне нужно прописать организацию, на которую я всё-таки буду работать.

Я молча смотрел на него. Он продолжил:

— Какую спецслужбу вписывать?

Молчу. Смотрю.

— Службу внешней разведки или ГРУ?

— А вам самому на какую спецслужбу в системе разведывательного сообщества России хотелось работать?

Без раздумий:

— На Главное Разведывательное Управление Генерального Штаба, конечно!

Ах, как мне хотелось провести вербовку «под чужим флагом»!!! Но глядя на Тамма, который рискует жизнью, не смог ему соврать. Не знаю почему, но решил, что нужно быть честным с ним.

— Пишите. Также обязуюсь не разглашать сам факт сотрудничества с ФСБ России.

Тамм опешил:

— Так разве ФСБ может работать за границей по линии нелегальной разведки?

Теперь я уже усмехнулся:

— Поверьте на слово, ФСБ может всё! В том числе и работать нелегально за границей. Увы,—я развёл руками.— Не могу предъявить вам служебного удостоверения. Оставил на панели автомобиля, чтобы бельгийские «флики» не оштрафовали за парковку в неполюженном месте.

«Флик» — так называли полицейского во Франции и Бельгии.

Тамм продолжил писать. Теперь уже серьёзен. Проникся, наверно.

— Пишите дальше. С красной строки. Для связи и подписи избираю оперативный псевдоним...

Роберт писал.

— У вас есть предпочтение, желание избрать себе псевдоним?

— Можно... — запнулся. — Разрешите. Анатолий?

— Конечно.

Кивнул ему. Он писал. Не надо было подсказывать, чтобы подписал. Он сам всё это сделал, расшифровка фамилии. Дата. Я внимательно наблюдал, что он писал, за его реакцией. Есть ли сомнения? Есть ли страх? Он закончил. Бегло пробежался глазами по тексту, протянул:

— Кровью подписывать не надо? — пошутил он.

— Спасибо. Но вы слишком высоко меня оцениваете, — шутливо поклонился ему.

Он пристально посмотрел на подушечку своего указательного пальца.

— А я уже приготовился. Подумайте. Может, вам моя ДНК потребуется?

— Я думаю, что когда вы отправлялись в командировку в Чечню, то у вас брали.

— Хм. — Тамм задумчиво почесал лоб. — А знаете, вы правы. Срезали волосы, ногти. Для облегчения опознания неопознанных трупов. Была в Ростове-на-Дону лаборатория, которая после штурма Грозного занималась опознанием останков, — помолчал, вспоминая. — Я уже и забыл, — внимательно посмотрел на меня. — Уважаю Контору. Столько лет прошло, а всё записано. Навечно. Какая штука — память! Вспомнил стишок:

Товарищ верь, пройдёт она,
так называемая гласность,
и вот тогда госбезопасность
припомнит ваши имена.

— Давайте поговорим о тех бумагах, которые вы мне принесли, — подписку я сложил и убрал в карман. — Где вы писали их? На службе?

— Да вы, что? — Тамм возмутился. — Я что, похож на идиота? Дома. И снизу ничего не подкладывал, если вас это интересует. Разрешите вопрос?

— Спрашивайте, — я кивнул.

Он спросил на русском:

— Я много говорил по-русски. Но так и не понял по вашей реакции, вы понимаете русский язык?

Молча смотрел на него. Мне тут же захотелось его послать в известные каждому русскому места. Не всякий иностранец сообразит, как туда добраться, а русский знает дорогу с пелёнок.

— Я всё прекрасно понимаю, — ответил я на русском.

— Ух ты! — по-мальчишески воскликнул седой подполковник.

— Знаете, у нас с вами мало времени. Если у вас нет вопросов по существу дела, давайте продолжим. Вы не против?

Как послушный ученик, он поёрзал на стуле, выпрямил спину, руки только не сложил как в первом классе, одна на другую.

Чёрт побери! Как хочется курить. Уши уже пылали. И тут у агента проснулась никотиновая зависимость, будь она неладна! И мне не курить! Ничего. Не первый год в разведке. Когда сам ведёшь наружное наблюдение или, скрючившись на чердаке, прослушиваешь квартиру, а курить нельзя. Тоска. А всего ломает как наркомана со стажем. Но есть выход. Разведчик всегда должен находить выход. Хочешь курить, а нельзя, значит, жуй никотиновую жвачку. Конечно, суррогат, но ничего не попишешь. Лучше так, чем никак.

Квадратик в рот.

— Хорошо. Вы писали. Куда вы прятали написанное?

— У меня дома газовая плита. Я прятал в духовке. Стоило запалить духовку, как все бумаги сгорели бы.

Я улыбнулся.

— Мудро. Сами придумали или кто надоумил?

— Сам. Сидел в каждом помещении квартиры, включая санузел. Думал, куда. В кино в туалете все прячут оружие и наркотики. Это все видели, знают, там будут в первую очередь искать. Думал, в холодильник, завернуть во что-нибудь и в морозилку. Но там тоже часто прячут деньги и оружие. И нужно же быстро уничтожить. Вот и придумал. Я что-то неправильно сделал? — с видом испуганного школяра спросил он.

— Нет-нет, — успокоил я. — Вы сделали всё очень правильно. Тем более что сами придумали. Это очень хорошо. Вот и давайте начнём наш первый урок, как правильно записывать информацию, шифровать её, так, чтобы у всех на виду, но непонятно, и как расшифровывать свои записи, хранить её. Так пойдёт?

— Да! — он кивнул, улыбнулся. — Жаль, что конспектировать нельзя.

— Нельзя, — в тон ответил я ему. — Итак. Начинаем. У нас с вами... — посмотрел на часы. — Не более часа, потом вы сделаете то, что я вам скажу.

И я стал обучать агента, как собирать информацию на службе, помечать «на манжетах». У Тамма есть ассоциативное мышление и память. Это хорошо. На это и сделал упор. Также у него хорошая

зрительная память. Также я обучал его методам тайнописи. И как обезопасить своё жилище и рабочий стол подручными средствами.

— Сейчас, хоть и объявили, что приняли вас в команду, но тем не менее будут обкатывать на мелких заданиях. Например, то же самое наружное наблюдение за другими кандидатами. Вам же не озвучивали список группы?

— Нет. Не озвучивали.

Я рассказал ему, что за ним было установлена слежка: кто, когда наблюдал, маршрут его следования и как поступали наблюдатели.

— А вы знаете, я ведь как-то чувствовал. Ощущал кожей, что ли. На войне ты не видишь противника, но понимаешь, что он наблюдает за тобой. И неизвестно, будет он стрелять, смотреть на тебя или попытается захватить. Я и сейчас не могу объяснить толком. Лишь было желание внезапно отпрыгнуть в сторону, перекатиться, развернуться за укрытием, вытащить пистолет и посмотреть, что за спиной. Или кто там прячется, крадётся. А дома я сидел, потому что писал. Вспоминал. На работе пытался запомнить всё и бежал домой, чтобы записать, пока что-то в голове осталось.

Рассказал ему о его ошибках, которые могли привести к его, и не только, провалу. Обучал простейшим мерам конспирации и выявлению службы наружного наблюдения. Но, опять же, чтобы сильно не расслаблялся. Когда против тебя работает человек двадцать в наблюдении, то могут разыграть целый спектакль, а ты ничего не заметишь.

Показал, как элементарно, когда будет приходиться на квартиру для встречи, незаметно глядеть на окно. Если одна из штор будет задёрнута — немедленно уходить, безостановочно. Если в течение трёх часов я не дам знать о себе — уничтожить без жалости всю информацию, оборудование. Ждать. Пароль при встрече: «Мы могли встречаться в Австралии?» Отзыв: «Наверное, вы перепутали с Эстонией». Продолжение: «Точно! Я видел вас в Швейцарии!»

В Швейцарии, Австралии Тамм не бывал.

Жаль, что мало времени, было видно, что агент в звании подполковника жадно, словно сухая губка, впитывал неведомые ему знания. В него сегодня можно было вложить, и он усвоит, «переварит», разложит всё по полочкам в сознании. Он будет работать. У него пока ещё азарт поиграть в шпиона.

Но сознание человека подобно маятнику. Теперь, главное, не упустить тот момент, когда у него наступит апатия, желание послать всех подальше, лишь бы от него отстали. Психологический надлом. Некоторые идут сдаваться в контрразведку, кто-то кончает жизнь самоубийством... Но если вовремя понять, уловить этот «провал» в сознании, то легко поправить мотивацию источника и продолжить многолетнее плодотворное сотрудничество.

Главное, чтобы конфиденциальный источник «выдавал на гора руду» — информацию. И желательно не мелкую, но много, а крупную. А Тамм, пока, обладал широкими оперативными возможностями. Значит, он автоматически становится кандидатом из категории «просто агент» в категорию «ценный агент».

Я отслеживал время. Потом рассказал, что в его поведении насторожит окружающих.

— Ваш монашеский образ жизни. Либо больной или избегаете женщин...

Он прервал меня. Надо поработать над его манерой поведения. Надо слушать, уметь слушать, слушать так заинтересованно, что собеседнику хотелось бы говорить с вами. Много, подробно, честно. А когда спрашивают, надо жевать жвачку, а не говорить. Но Тамм продолжил мою недосказанную мысль, продемонстрировав отменную ассоциативную память:

— Это почти полная цитата из моей любимой книги «Мастер и Маргарита»: «Что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжелобольные, или втайне ненавидят окружающих».

— Прекрасно сказано. Вот поэтому этот вечер вы проведёте в компании юной девы с Украины. Вам предстоят расходы, — потянулся к бумажнику.

Тамм замахал руками:

— Гусары денег не берут!

— С этой минуты вы делаете то, что я говорю. Вам сейчас нужно появиться в сопровождении девушки в нескольких людных местах, там, где могут быть ваши сослуживцы или кто вас знает, — перехватил его взгляд. — Нет-нет. Ко мне ходить не обязательно.

— Я, может, хочу показать свою фотографию в вашем кафе. Произвести на даму впечатление, какой я бравый вояка.

Я задумался.

— Хм. Логично. Но не вздумайте со мной искать встречу. Даже взглядом. Просто поприветствуете меня, если увидите в зале. Не более того. Понятно? А до этого зайдите в пару мест. И не напейтесь! Пьяницам секреты не доверяют и ответственную работу тоже. Помните об этом! — достал из бумажника тысячу евро. — Вот. Сдачу отдавать не надо.

У Тамма глаза чуть не выпали из орбит.

— И ещё небольшая формальность. Не очень приятная, но требуется... Поймите правильно, — я засмущался, замялся.

— Надо написать расписку? — пришёл на помощь он мне.

— Да. Так положено.

— Понимаю. Что писать?

— Сверху «Расписка». Мною, агентом Анатодем, получена одна тысяча евро, как числом, так и подписью в скобках, за предоставленную оперативную

информации. Внизу подпись и «Анатолий» — расшифровка вашей подписи, дата.

Тамм написал расписку по-русски. Подпись поставил свою.

Теперь у тебя перед ФСБ не только моральные обязательства, в виде подписки, но и материальные, не считая агентурного донесения, собственноручно исполненного.

— Сейчас вы выйдете на улицу, и выйдет девушка. Будьте естественны. Не стройте из себя важную птицу, что вы разведчик. Помните об этом.

— Понял. — Он кивнул.

Я подошёл к двери, посмотрел в глазок, до этого незаметно для агента, прохаживаясь по квартире, осмотрел двор и вход в подъезд. Чисто. Пожали руки, попрощались.

Посмотрел, как он вышел во двор. Ведёт себя спокойно. Не пялится в мои окна. Это хорошо. А то бы ещё помахал рукой. Я позвонил девушке, сказал, что кавалер ждёт её на улице.

Подождал, как они встретятся. Тамм как истинный кавалер поцеловал даме ручку, левую руку колесом.

Молодец. Не вёл себя как клиент с проституткой. Дал девушке почувствовать себя вновь женщиной. Как бы не влюбился. Влюблённые витают в облаках и совершают ошибки, ведущие к провалу всей операции. А иногда агенту требуются большие суммы денег для содержания женщин, и тогда он начинает двойную игру, становясь двойным агентом. Как правило, всё это плохо заканчивается для источника и разведчика, у которого он состоит на связи.

Посмотрел, как пара удалилась из двора. За ними никто не пошёл. По крайней мере, не было видно, чтобы кто-то последовал за ними. Двор был пуст.

Теперь надо упаковать то, что получил от агента Анатолия. Каждый листок сам по себе представлял смертельную угрозу для нас обоих. И надо переправлять в Центр. Как можно скорее. Тяжело вздохнул. Опять не спать! В голове всплыл старый анекдот: «По горам бредут два монаха-буддиста. Тот что сзади ворчит:

— Я спать хочу! Я устал!

Впереди идущий:

— Ничего! В следующей жизни отоспимся!

Отстающий:

— Ты мне это в прошлой жизни обещал!»

Вот также и мне кажется, что я не спал ни в этой жизни, ни в прошлой. Нет, надо так всё устроить, чтобы полноценно выспаться. Взять выходной и просто спать. Встал, поел — и снова в постель. А то так можно совершить ошибку. А они, увы, бывают последними. Не крайними, а всё, обрыв, провал. И Центр останется без информации. Хуже этого невозможно что-то придумать.

Что мне остаётся? Никотин, кофе, крепкий алкоголь. Короче, нездоровый образ жизни. Не ведёт он к длинной жизни!

Включить газовую духовку. Не приведи, Господь, конечно, но на случай, вдруг придётся уничтожать бесценные сведения. Лучше уничтожить, чем потерять всё.

Пока думал о сне, руки автоматически складывали бумаги. До минимального размера. Попробуйте на досуге свернуть стандартный лист писчей бумаги до минимального размера. Есть теория, что лист можно сложить только в семь раз. Дилетанты! Сначала складываете по длине «гармошкой» с минимальным шагом. Получается длинная узкая полоска. А потом эту полоску снова «гармошкой». Получается «квадрат». Вот его под каблук, и уминаете своим весом. Чтобы не распрямился — под ножку шкафа или комода. Со стороны, чтобы не качалась мебель. А так, уминается хорошо, чтобы не разворачивалась бумага. И таким образом каждый лист. А их получилось восемнадцать. Немало. В одну пачку из-под сигарет не войдёт. Часто так делаю, когда нужно перенести «по открытой территории». За фольгу внутри пачки. Если много, то на дно. Обрезаю часть сигарет. В случае чего — пачку мну и выбрасываю. А тут много получается. Вот и ломаю голову, как чего и где спрятать, чтобы можно было избавиться сразу.

Сворачиваю и читаю. Запоминаю, без анализа. Просто мозг «фотографирует» картинку построчно. Вот и получается, что информации много, а проверить её мне не под силу в одиночку. Да, и Центр каждую закорючку в тексте будет на просвет просматривать.

Первое агентурное сообщение. Кто же знает этого «новобранца». Может, «казачок засланный», бывало, что новоиспечённый агент занимался откровенным сочинительством. Тоже случается. Желание произвести хорошее впечатление на окружающих — это в крови у человека. Мы с детства носим маски. Стараемся заслужить похвалу от родителей, учителей, окружающих людей. Зачастую врём. Только вот в разведке не надо быть хорошим или плохим. Конторе это безразлично. Интересуют лишь оперативные возможности. А как ты добудешь — не имеет значения. Разведка — дело жёсткое, без сантиментов...

Если информация, что дал Анатолий, соответствует правде, своевременна, то получается, что он самая что ни на есть золотая жила.

Я уже не сопляк, у которого руки дрожат от радости, а в голове рисуется картинка, как тебе вручают в Кремле Золотую Звезду Героя.

За каждую информацию несёшь персональную ответственность. Если, есть возможность — проверяешь информацию на месте. Точно так же, та, что отправляю в Москву, будет проверена

несколькими специалистами. Они заточены на сравнение с другими источниками. Смешно думать, что только я работаю по штаб-квартире НАТО. Есть рядом масса организаций, которым штаб Североатлантического альянса даёт заказы. В том числе и по разработке неких операций. Много есть способов, в том числе и по косвенным признакам. Ладно, потом расскажу, если придётся к слову. Я уже молчу про техническую разведку. Те же перехваты телефонных переговоров, в том числе и по засекреченной аппаратуре, дают те самые «штрихи», что укладываются в общую картину мозаики размашистыми мазками.

Вот и узнаю, что думают о том, что предоставил Тамм. Дезинформация, частичная, правда, информация, подлинность которой не представляется возможным подтвердить или опровергнуть, полностью подтверждается.

Тамм — тарарам. Если даже, что он описал, то у парня широкие оперативные возможности. Эту бы информацию в гру гш, они бы наверняка сообразили, что к чему.

Полагаю, наши так и сделают, пусть в завуалированной форме, без подробностей проконсультируются.

Конечно, между спецслужбами ФСБ и гру имеется нелюбовь. Конкуренция за источники, информацию, но все делают общее дело, все работают на Родину. Поэтому моим шефам придётся крутиться, чтобы в том числе проверить информацию, рассмотреть её на перспективность, относимость, своевременность, достоверность.

За мыслями я свернул все листы. Взгляд на часы. Надо и честь знать, появиться в баре.

И начал упаковывать, прятать листы с сообщениями. Непросто. Даже съесть не получится. Слишком много. Не переварю.

Ладно, двинули!

За мной тихо. Но не расслабляйся! Если не видишь слежку — это не значит, что её нет! С соблюдением всех правил дорожного движения, не хватало ещё, чтобы меня полицейские остановили за нарушение, добрался до своего бара.

В баре больше половины столиков занято. С постоянными клиентами, что оставляли у меня часто деньги, здороваясь за руку. Я рад вам, ребята, что вы принесли мне свои деньги! Щёлкаю пальцами Эллис — пару пива за счёт заведения за этот столик. Они потом оставят щедрые чаевые. Проверено.

Кому-то машу рукой. Эти тоже не в первый раз тут. Нарбатывается постоянная клиентура. Это хорошо.

А вот эту компанию за привычным угловым столиком я не ждал сегодня. Товарищи из Америки. Те самые, что шлялись прогулочным шагом за моим агентом. Судя по столу, они сегодня действительно отдыхают.

Пьют, а не изображают. Тоже неплохо. Если Тамм всё-таки дотопает со своей дамой до моего бара, они увидят, что подполковник эстонской армии тоже не чужд утехам с женским полом.

Думал, как передать сообщение в Центр. По обычному каналу — через тайника. Или вызвать курьера-связника. Везде имеются и плюсы и минусы.

Решил через тайника. Привычнее. Да и пока не было сомнений, что он провален. Объём, правда, передаваемой документации великоват. Ну да ладно, есть и «камушек» побольше.

Вот сегодня будет чем заняться. В кабинете проверил, не было ли непрошенных гостей. Счётчик обнулён. Пыль, сор на месте, где и оставил. Положение кресла не сдвинулось ни на миллиметр, иначе бы волосок слетел с ножки кресла. Ну и хорошо.

Отправляю в Ирландию электронное письмо, где прошу предоставить мне сведения о прямых поставках в моё кафе пива разновидности «ирландский статут». Кстати, рекомендую, вкусное пиво. А если взять его на десерт, после хорошего обеда, будете премного довольны.

Конечно, это кощунство, из Бельгии, утончённой страны, с вековыми традициями пивоварения, запрашивать грубое, неотёсанное ирландское! Но! Зато это сигнал, что у меня будет срочная, внеплановая закладка тайника. После закладки будет выставлен условный знак у «объекта №8». Я же запросил шесть сортов пива. А шесть плюс два (контрольное число), получается восемь. Вот такая хитрая арифметика.

А когда идёт внеплановое мероприятие по тайниковой операции, значит, что-то важное. Нужно экстренно перегруппировать силы и средства, обеспечить легендирование и прикрытие. А это всегда чревато с риском, тем паче что зачастую привлекают разведчиков под дипломатическим прикрытием. А когда дипломат выходит за привычные рамки, значит, творит недоброе против страны пребывания. И контрразведка «делает стойку», спускает «легалых» по следу. Так что обычная, плановая закладка — мероприятие чрезвычайно острое, опасное. А уж про внеплановую закладку я молчу. И если ошибся в оценке информации, то всё... Центр не любит суету. По голове получишь так, что уши отлетят в разные стороны. В результате плохо спланированной, из-за спешки, операции можно скомпрометировать разведчика под дипломатическим прикрытием, подписка Тамма попадёт в руки контрразведки, меня тоже накроют «медным тазом». И всё полетит кувырок. Я уже молчу про тот политический резонанс или диссонанс, как вам удобно, что пройдёт по всему миру.

Одно дело, когда перехватят зашифрованное послание. Пусть сидят, ломают голову в ворохе цифр,

ищут отпечатки пальцев, которых там нет, ищут следы днк, запаха. Ничего этого там нет. Можно трюсы перед камерами бумагой с колонками цифр, но всё это будет мало кому интересно. А тут... Всё как на блюбочке с голубой каёмочкой.

С курьером тоже не всё так просто. Встретились два человека, возраст, пол не имеет значения, Но это тоже не так всё просто и однозначно. Вот сиди и думай. Ёрзай на кресле. Сначала жди сигнал, что тайник снят. Потом, что информация в целости и сохранности доставлена на Лубянку. Тут можешь облегчённо вздохнуть. Ну а потом оценят информацию, и стоило ли колготню разводить вокруг неё. Тут не то, что закуришь, впору в запой уходить. Никаких нервов не хватает.

Бросил взгляд на камеры. Оба-на! Подполковник Тамм собственной персоной с дамой. Критически посмотрел на неё. Не похожа на падшую женщину. Просто дама. Красивая, ухоженная, стройная, с гривой волос. Толстый, густой волос чёрного цвета с голубыми глазами. Такие, как ведьмы, русалки, мужика очаруют и на дно пруда утащат, в самый глубокий омут. Был бы холост — сам бы влюбился. Надеюсь, что Тамм не сотворит такой глупости.

Переключил монитор, чтобы видеть поближе реакцию американцев. Я не слышал, но было видно, как их нижние челюсти брякнули о стол и слюна побежала. Наблюдал я, мальчики, с какими вы некрасивыми дамами общались возле моего бара. Дешёвые проститутки. Учитесь!

Было видно, что они замахали Тамму, приглашая за столик к себе. Он усадил даму за свободный, сам подошёл, поздоровался, вежливо отказался. Ну теперь герру Брауну будет доложено, что у подполковника всё в порядке и с ориентацией и с потенцией.

Я ушёл из бара пораньше, ещё не было двадцати двух часов. Зал был полон. Эллис быстро перемещалась между столиками, собирая грязную посуду. Ну хорошо. Ещё один трудовой день окончен.

Возле стойки Тамм со спутницей рассматривали фото, где Тамм был в Афганистане. Он что-то полупьяно, бурно рассказывал ей. Я знаю, сколько он может выпить. Недавно наблюдал. Не мог он так быстро опьянеть. Правда, мне неизвестно, сколько он употребил в других барах. Он замахал мне: — О! Этот тот человек, что вытащил меня из забвенья!

Ещё не хватало, чтобы он орал на весь бар, что я его познакомил. Она также узнала меня, улыбнулась. Простая, открытая улыбка, полная благодарности. Эх, офицер, хватит ли тебе той тысячи, что я тебе дал? Вспомнилось: «Женщина подобна пуле со смещённым центром тяжести: попадает в глаз, проходит через сердце, бьёт по карману и выходит боком!» Очень надеюсь, что Тамм поступит верно. Не мальчик уже с взором

горящим и сильным желанием в штанах. Как курсант военного училища. Помахал им ещё раз.

На улице у выхода курили и что-то бурно обсуждали гости. Две компании. Один, раньше не видел его, подошёл, изрядно выпивший:

— Мсье! Позвольте выразить вам своё восхищение вашим заведением! Разрешите пожать вам руку! Я и мои друзья в полном восторге!

А взгляд-то не сильно пьяный, как поведение.

Протянул руку. Я пожал, тут же ощутил маленький квадратик бумаги. Так совершилась «моменталка». «Моментальная передача». Неожиданно. Обычно всё это подготавливают и люди, известные друг другу.

Или провокация?! Холодный пот по спине. Улыбаюсь.

Или приказ о немедленной эвакуации? Сейчас, когда Тамм только завербован? Чёрт! Чёрт! Чёрт! Помахал гостям рукой — и на выход. Ходу! Ходу! Это связано с моим запросом, что два часа ушёл в Москву? Быть того не может, чтобы они так быстро всё организовали!

Не могли они вот так, мгновенно организовать сотрудника, да ещё не на словах передать, а на материальном носителе! Риск громадный для всех. Чёрт! Что происходит?!

Что же? В машине — аккуратный взгляд на развёрнутую папиросную бумагу. Колонки цифр. М-да. На мне информация от Тамма, внезапная как снег на голову, без предупреждения шифровка из Центра. И день был напряжённый, чую, что и ночка та ещё выдастся.

Как бы хотелось вжать педаль газа в полик машины, сдержался. Спокойно, как положено, как всегда, я же обычный обыватель этого европейского рая, рулил по улицам. Руки были влажными от пота, от волнения. Проверялся по ходу движения. Не вижу никого. Но факт ли это или мои предположения?

Тихо. Не вижу. Но шерсть на спине дыбом от маленького бумажного квадратика. Да и бумаги на мне жгли тело уже раскалёнными утюгами.

Паркуюсь, осматриваюсь. Всё как обычно. Ни одной новой машины. Фургонов, микроавтобусов, грузовиков не видно. Прохожих, компаний незнакомых тоже не видно.

Сдерживая дыхание, стараюсь не показывать виду, пытаюсь меньше волноваться, чтобы пот не бежал по лицу, поднимаюсь в свою квартиру. Как бы ни спешил, но проверить, были ли у меня гости, необходимо. Жизненно.

Счётчик показывает ноль, пыль, сор, волосинки, шерстинки на месте, никто их не трогал, не сдувал, проходя мимо.

Ну что же. Бумаги Тамма в тайник. Включаю ноутбук, вбиваю цифры, жду. Откинулся на спинку кресла. И что теперь делать? Стреляться, бежать, ждать ареста?!

А раньше не могли сообщить? Данные со скотобойни во Франции оказались «дезой», «липой». Предыдущее сообщение, которое было три месяца назад. Спрашивается, а «крайнее» настоящее тоже «деза»? Агента перевербовали? Или помудрили с аппаратурой и закачали туда ложную информацию? Или аппаратура сама дала такой сбой, что всё полетело к известной матери? Тьфу!

Зашёл на служебный электронный ящик, посмотрел, есть ли какой ответ из «Ирландии». Нет ничего. Команда «отбой» не поступала, значит, действуем по первому варианту.

Надо всё делать быстро. Сначала отправить сообщение в Центр. Попутно приложить свои мысли. Давно уже агентов-двурушников не устраниют. Эпоха гуманизма на дворе царствует. А, порой возникает мысль, очень даже зря!

В шифровке указано, что отпечатки пальцев принадлежат спецназовцу, которого давно уже убили в Сирии, бывшему инструктором у боевиков. Не может быть полного совпадения у мёртвого и живого. У второго отпечатки пальцев принадлежат пожилому дядьке, который был в России туристом, но никак ни двадцатипятилетнему военнослужащему, упражняющемуся в убийстве скота.

Третий. Вообще абсурд. Известному преступнику Жаку Мерину, он умер в 1979 году. Профессиональный грабитель банков и ювелирных магазинов.

У тех, кто подтасовывал данные, чувство юмора? Или они не надеялись, что есть база для сравнения?

Ёлки-палки, лес густой! Вообще непонятно! Так, а что с агентом? Поехать и припугнуть его? Так он уже, как пить дать, перевербован, сам сдался, инициативно, или же был арестован, и потом уже переметнулся. Что делать?

Бежать домой? Бежать в другую страну. Комплект документов имеется в тайнике. Там же сумма денег приличная. Можно купить дом и два года не высовывать носа из дома, заказывая по интернету еду с доставкой. Наверное, такую услугу придумали или разведчики, либо преступники в бегах.

Ладно. Это потом. Сначала донесение. Успокойся, возьми себя в руки. Улыбайся! Сам себе улыбайся. Не можешь? Возьми большой карандаш в рот, так, чтобы концы губ растягивались в улыбке, в мозг поступал сигнал об улыбке, и он перенастраивал всю психомоторику тела.

В комнатах установлены датчики дыма. В ванной комнате сжёг сообщение из Центра, пепел смыл в слив раковины, губкой протёр раковину. Чтобы следов пепла не было.

Лицо холодной водой умыть, шею тоже. Уф. Вдох-выдох! Фу!

Успокоился? Поднимай камень-контейнер. Самый большой в твоей коллекции камней для инсталляции сельскохозяйственных моделей.

Закладываю. Так как информация архиважная и точно так же и ценная, то нужно и самоликвидатор установить. Попытка несанкционированного открытия приводит к полному уничтожению путём нагревания. Вещество «термит». Контрольная меточка, что контейнер вскрывался или нет. Внимательно осмотрел. Порядок! На часы — полночь! Окинул взглядом квартиру. Что меня может выдать в случае захвата и обыска?

Наверное, преступники тоже думают, что их может скомпрометировать в случае ареста полицией?

Потом. Всё потом. Сначала закладка! В крови закипал адреналин. Выдохнул. Надо успокоиться. Если за тобой придут, то ты ничего не сделаешь с группой спецназа. Только молчать.

Ладно. Посмотрим. Разберёмся. А теперь спать!

Сложно, но смежил глаза — явь стала путаться со сном. Несколько раз казалось, что в дверь лопитесь контрразведка. То привиделось, что окно спальни разбивается и люди в чёрном, с оружием проникают в квартиру. Я швыряю в них всё, что попадётся под руку. Среди этих предметов и камень-контейнер. Бойцы лихо уворачиваются от моих метательных снарядов. Всё мимо, всё в окно. А вот камень попадает кому-то в лицо и раскалывается. И бумаги по комнате. Меня стреножили, прижали к полу, и я беспомощно наблюдаю, как их собирают, читают, обсуждают, тычут пальцем в мою сторону и смеются, скаля свои белые зубы. А у меня от бессилия текут слёзы.

Тут же подбрасывало с подушки. Озирался. Тишина. На часах два часа. К бесам такие сны! Умылся, побрился, кофе, тост, сделал себе плотный завтрак. При таком раскладе неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз.

В четыре утра спустился к машине. Ранние прохожие, машины грузовые развозят продукты. Усмехнулся. Я бы тоже организовал наблюдение за объектом, используя такое вот невинное и обоснованное прикрытие. Наклейки изготавливаются в типографии в течение нескольких часов. Модели грузовиков почти у всех однотипны. Только раскраской и надписями отличаются друг от друга.

По хрену! Пляшем!

Уже не за два квартала, а за три до знакомого парка, запарковал я тени, и ножками. А вот теперь, если есть наблюдение на пустынных улицах, попробуйте, сопроводите незаметно.

Ладно. Хватит нервы загонять в пиковое положение! Спокойно! Работаем! Сам. Один! Вперёд! Неспешно. Я живу здесь. Вот такое поведение. Такая походка. Выпил. Задержался на работе. Возвращаюсь с ночной смены. Да кого вообще волнует чужое горе! Вперёд, мой мальчик! Только вперёд! Не озираться, не оглядываться!

А вот и парк. Остановился, шарю по карманам в поисках сигарет. Слушаю. Смотрю в темноту до боли в глазных яблоках.

Никого. Или кто-то вон там за деревом? Иду, курю.

Прошёл мимо точки закладки. Тишина. Вернулся через пять минут. Ещё раз мимо фланирующей походкой. Никого. Во рту пересохло. Руки предательски потеют. Либо старею, или нервы ни к чёрту. Надо выспаться. Окурки аккуратно тушу—и снова в пачку. А зачем им образец ДНК оставлять на память? Это женщинам хорошо. Намазала губы помадой, в ней жирные кислоты, которые разрушают следы дезоксирибонуклеиновой кислоты, раскладывая окурки где попало. Сложно доказать твою причастность.

Камень обтёрт, моих «пальчиков» там нет. В условном месте, недалеко от скамейки перед озером, в траву. В глаза не бросается. Точно такие же камни лежат неподалёку. В своё время кто-то из дипломатов здесь же его подобрал, отправил в Москву, там из него изготовили контейнер. Камни из Подмоскovie отличаются от камней из центра Брюсселя. В разведке случайностей не должно быть. Бывают, конечно, но редко.

Отправился в обратный путь. Мысль в голову пришла: «А вот интересно, а вскрывать будут в посольстве или в Центре? Весь камень дипломатической почтой отправят?» Вес у полого камня имеется. Вот курьер намучается, таская такую тяжесть. В посольстве упакует в соответствующий контейнер. На нём установлены, помимо стандартных печатей, свои, особые метки, вскрывался ли уже контейнер. С виду пластиковый ящик, проложенный изнутри мягким, бугристым материалом, который бережно охватывает груз, не даёт ему смещаться. Сам контейнер выдерживает падение со стометровой высоты без ущерба для содержимого. И крушение самолёта также выдерживает. А с виду обычный пластик. И размеры у них различные. От пачки сигарет до солидного кофра. Разведчики добывают по всему миру много интересного, и его нужно бережно доставить на Родину. Ну а коль в ФСБ разведчики-нелегалы товар штучный, редкий, то для доставки добытого сил и средств не жалеют.

В разведке как? Есть наши силы и средства. Силы—это разведчики, дипломаты в посольстве, сила и мощь Центра. Средства—агенты, технические возможности, информационное обеспечение и так далее. У противника тоже имеются силы и средства. Силы—контрразведка, контрразведывательное сообщество НАТО, европейское и иные фонды, которые прорабатывают целенаправленно или опосредованно операции против русских разведчиков. Средства... О этого у них в избытке. Агентура как своя—контрразведывательная, полиция их источники. Технические возможности в своей стране, считай, безграничны. А посередине—оперативная обстановка. Это на пальцах, а сухой канцелярский

язык более ёмко, малопонятно обывателю гласит иначе:

«Оперативная обстановка—совокупность условий, которые прямо или косвенно влияют на процесс борьбы органов государственной безопасности с противником, определяют направления этой борьбы и выбор используемых в ходе её сил, средств и методов.

Влияние оперативной обстановки на разведывательную деятельность состоит в том, что она либо благоприятствует, либо препятствует ей, вплоть до того, что не даёт возможности начать запланированную деятельность без предварительного изменения сложившихся условий.

Оперативная обстановка включает три основные группы условий:

- а) деятельность противника (интересы, мотивы и цели деятельности противника, объекты его посягательств и защиты, его силы и средства, используемые им способы и приёмы);
- б) собственные возможности органов государственной безопасности (имеющиеся в их распоряжении силы и средства и готовность к их применению в данных условиях);
- в) общие для обеих сторон условия общественной и природной среды, которые каждая сторона учитывает в своей деятельности (лица, поддерживающие контакт с противником, характер этих контактов, правовой режим, настроения, быт и нравы населений, состояние промышленности, транспорта, сельского хозяйства, свойства местности, время года и т. д.).

Изучение оперативной обстановки—непременное условие правильного планирования и организации разведывательной деятельности. Оно позволяет заранее знать, что прямо или косвенно угрожает интересам государства и каковы те благоприятные обстоятельства, которые могут быть использованы для достижения успеха в борьбе. Особенно большое значение имеет при этом получение наиболее полных и объективных данных о противнике».

Нет, определённо надо отдыхать! Сейчас бы домой, с семьёй на закрытую базу на Енисее или на Байкале!

Да, не можем мы вот так, спокойно, прогуляться по Курортному проспекту Сочи, как солнце к закату будет клониться. Но после открытия страны, можно встретить знакомого или того, кто знает меня по работе за рубежом. Так что нельзя. А вот в глухих местах таёжных стоят особняки. Все думают, что это нувориши построили для себя. На самом деле—ведомственные закрытые санатории, даже по сметам ФСБ они значатся как «Объект № такой-то». Крайне ограниченный круг лиц может знать, где они расположены. А уж про

гостей, посещающих их, ещё меньше. Номера ничуть не уступают самым дорогим номерам в самых престижных гостиницах мира. Знаю, сравнивал.

Наверное, подсознание, считая, что грозит смертельная опасность, вытаскивает из запретного чулана памяти воспоминания о Родине, о тех местах, где мне с семьёй было безопасно и уютно. Рано, рано, подсознание, ты меня гонишь домой. Мы ещё разберёмся.

Прошёл на выход. Никто и ничто не привлекло моё внимание, хотя, казалось, что волосы на ушах слушали ночную темноту.

Но это ничего не значит. Сейчас камень просветят, поймут, что там полость и нечто спрятано, затем устроят засаду, будут ждать гонца. Потом «примут» его, а вот после этого и начнут вскрывать контейнер под видом камня. Неспешно, чтобы сохранить содержимое. Даже если будет уничтожено, вложат своё и предъявят прессе.

А вот теперь надо выставить метку, что контейнер заложен. «Объект №8» в центре города. Есть там историческая площадь Гранд-плас. Старинные здания. Главными достопримечательностями там ратуша и хлебный дом, это его старое название, сейчас — Дом короля. Забавно, что на голландском его называют по старому «хлебный», а по-французски — «Дом короля».

На самой площади установлено большое количество видеокамер. Место паломничества туристов, особенно с 15 по 18 августа каждого года здесь яблоку негде упасть. Из цветов, в основном из бегоний, выкладывают ковёр. Красиво. Рай для карманников, очень удобно в этой суете совершать «моменталки». А вот неподалёку от этой площади расположено круглосуточный Макдональдс. И между камерами наружного наблюдения полиции города и самого американского заведения имеется «слепая зона», она не просматривается ни теми ни другими. Немного. Всего метров десять улицы. А мне и не нужны большие пространства. Хватит. Красный мел в правой руке. Столб освещения. На уровне, от середины бедра до пояса, вертикальная черта. Заход в «Мак», чизбургер с собой. Интересно, как можно питаться этим фаст-фудом в Брюсселе! И цены за эту, извините, еду, очень даже приличные. У меня за этот бутерброд с котлетой и сыром можно заказать приличное блюдо. Надеюсь, что меня никто не видит. Даже как-то неудобно. Стыдно, что ли.

Домой. Завтра, пардон, уже сегодня в обед узнаю, что контейнер изъят или нет.

Это же не просто пришёл человек, поднял камень в парке и тихо покинул общественное место отдыха граждан.

Работают минимум человека три, а то и больше. Отрыв сил, средств от своих дел, тем паче внезапно. А разведка не терпит суеты, равно как и музы. Больше риска, меньше продуманности,

взвешенности. Но если Москва говорит, что «надо», значит, твою безопасность она ставит меньше значимости мероприятия. И поэтому старайся, чтобы не провалиться. Уми, но вывернись, сними контейнер и доставь в посольство.

Как только «посылка» в здании посольства, предварительно осмотрена, что не вскрывалась, кто-то ставит метку об изъятии. Тоже черта, только на углу обусловленного дома.

В запасе у меня таких вот «Объектов» для постановки меточных знаков около пятидесяти. Есть даже в северной части города. Там узкие улицы. Проживают мусульмане. Узкие улицы. Едешь на машине, только и смотри, как бы припаркованные машины не подставили тебе свой бок. Тогда, готовь кошелёк. Пока будешь пытаться объясниться среди разъярённой, орущей толпы, у тебя под шумок обчистят салон машины, твои карманы тоже не преминут опустошить. Постоянно на улице кто-то присутствует круглосуточно. Туристы стараются обходить эту часть города. Только по незнанию могут забрести или заехать. Полиция также старается без нужды не лезть к ним. Камеры наблюдения там либо разбиты или скручены и проданы на чёрном рынке за бесценок.

Это, пожалуй, одно из преимуществ. Если нужно срочно встретиться с курьером, и нет возможности выехать за пределы страны, то лучшего места не найти. В пакистанских забегах очень приличная, недорогая еда, приправленная восточными специями. В меру острая, пряная, сытная. За очень небольшие деньги. И кофе они умеют варить. В турецких кондитерских неплохая выпечка. Не такая, как привычная, бельгийская, своеобразная. Но иногда стоит повысить себе уровень сахара в крови этими приторно сладкими кондитерскими изделиями.

Приехал домой. Проверил. Чисто. Гостей тайных не было. Спать. Хотя немного, но поспать, а то я скоро за каждым углом буду видеть шпика из местных. Спать!

Проснулся в десять. Три часа сна. Именно сна, а не метания по подушке — замечательно!

Проверил служебную почту. Ответ гласил: «Уважаемый! Наша компания заинтересована в расширении рынка поставок нашего замечательного продукта. Мы рассмотрим ваше предложение и свяжемся позже».

Сигнал о закладке принят, всё по плану. А вот последнее предложение мне не понравилось. Буквально означает: «Свернуть всю деятельность. Быть в готовности к эвакуации».

Интересно, а как это Тамму объяснить? Передать его на связь другому сотруднику? Будет приказ из Центра, так и сделаю. Эх. Начинаем очищать квартиру от всего, что может меня скомпрометировать в случае ареста. Ладно, хоть заранее предупредили. Учили же, что должен быть

готовым к этому постоянно. Но как можно быть готовым к задержанию? На словах легко. На деле сложно.

Книги для шифрования и дешифрования. Книжки как книги. Одна — пособие по открытию кафе. Покрутил в руках. Нормальная книга, обоснованная. То, что немного засаленная и потрёпанная — естественно. Она же, как настольное пособие в начале бизнеса. Вторая — национальные блюда Бельгии. Старое издание. Тоже объяснимо. Только отнесём мы их на рабочее место. Пометок внутри нет, наколов иглой тоже. Ручкой по тексту не водил, выискивая нужные слова, соответствующие задачам. В сумку. Симпатических чернил, те, что исчезают после написания текста, не держу. Всё это выявляется в современных криминалистических лабораториях запросто.

Программа на компьютере. Эх! Жалко, но что поделаешь! Буду какое-то время без срочного шифрования и дешифрования. Ручками, по книжкам. Со вздохом удалил её с домашнего компьютера. Её и так было сложно выявить, но для специалистов не составило большого труда. Хотя она и маскировалась под стандартную, которые устанавливают при загрузке. Удалил. Проверил, не осталось ли следов её на жёстком диске. Не было. По большому счёту, сменить жёсткий диск. Но это будет подозрительно.

Так, что ещё? Счётчик посещений квартиры, как бы обидно не было — разбить, по дороге выбросить. Увы.

Покрутил свой телефон. Операционная система на нём перепрошита. Аккаунта в интернете с привязкой нет. Опции, что можно включать дистанционно: геолокация, камера, микрофон и другие — отключены. Только, если я сам делаю. Могут быть вопросы, но я официально отдавал в ремонт телефон. У меня в столе лежит квитанция. Менял аккумулятор. Может, тогда втайне от меня они перепрошивку установили. Для чего? Спросите у них. С этой стороны я подкован, комар носа не подточит.

Но всё это ерунда. Самое главное, что же произошло во Франции? Внутри начинало расти возбуждение. Неприятное. Усилиями воли гасил его.

Надо подать сигнал Тамму, что все контакты обрываются. А я его этому не учил. Вот же я баран! Идиот! Растяпа! Агент Анатолий с упорством неопита сейчас начнёт инициативно лезть в пекло! Вот это меня беспокоило сильнее всего! Попросить Центр, чтобы вышли на Тамма и «замкнули» его на другого?

Дипломаты в российском посольстве, в любой стране Евросоюза после присоединения Крыма и введения санкций под плотным наблюдением, как наружным, там и техническим. Это раньше было полегче. У меня связные были из наших посольств

в Германии, Испании. А теперь все их перемещения чуть ли не спутником отслеживаются.

Просить Центр, значит, прибудет кто-нибудь из Москвы или другого нелегала срывать с места. Он исполнит приказ, но и Тамм может из-за меня находиться под подозрением.

Ладно. На работу. Покружил немного. Зашёл к паре поставщиков, переговорил, оплатил наличными деньгами предыдущие поставки, договорились о дальнейшем сотрудничестве. За мной никого не было. Добрый знак. В этих фирмах я оставил останки регистратора и ещё пары «игрушек», которые у специалиста могли вызвать подозрение. Всё в мусоросборник.

На работу. Умница Эллис, как всегда на месте. Улыбается. Рапортует, что вчера снова был удачный вечер. Много было новых гостей, они делали большие заказы, щедрые чаевые. Обещали, что будут рекомендовать своим друзьям наше заведение.

Эллис сказала «наше заведение». Значит, поверила в перспективу развития. До этого говорила «это» и «ваше». Народ поверил командиру, пошёл за ним. То есть за мной. Значит, не такой я уж и плохой бизнесмен. Глядишь, так из долгов выберемся и будем в прибыли!

Так и подмывало передать часть полномочий Эллис, дать инструкции на тот случай, если я исчезну. Но нельзя! И какое бы прибыльное предприятие не было, я в этой стране не для того, чтобы увеличивать внутренний валовой продукт, улучшать статистику.

Счётчик посещений рабочего кабинета показывал «ноль», пыль, сор, ворсинки там, где я их оставил. Хорошо. Начинаю приводить счётчик в нерабочее состояние, стирать отпечатки пальцев с него. Стук в дверь. Эллис с ежедневным восхитительным кофе и бокалом коньяка. Доза коньяка увеличена.

Смотрю удивлённо. Она прижимает палец к губам, заговорщицки неумело подмигивает и головой мотает на выход. Усмехаюсь. Надеюсь, она не хочет соблазнить меня на рабочем месте. Отхлёбываю коньяк, глоток обжигающего кофе. Идёт первой на кухню, оборачивается, манит пальчиком. На кухне ещё никого. Закрываю дверь, закурил, смотрю вопрошающе. Она оглядывается. — Мсье, со мной вчера общались господина после закрытия заведения, — молчит.

Я тоже молчу. Хотя холодок пробежал по спине. — Они интересовались мсье, как вы себя ведёте, много ли у вас знакомых. Есть ли среди них подозрительные лица?

Молчать уже неприлично.

— И что вы им сказали?

— Я сказала, что вы пашете как ломовая лошадь, гробите своё здоровье, вкладывая всё здоровье и душу в этот бар. Что вокруг много конкурентов, но вы сумели найти свою нишу. Что вы все в долгах

перед банками и поставщиками. И только-только стали работать без долгов. Что мсье очень добрый, никогда не кричит, делится по-честному чаевыми, когда сам за стойкой.

— Эллис, — я прервал её поток красноречия в мой адрес, — кто это были? Конкуренты? Как считаете?

Прикинулся дурачком деревенским.

— А знаете, они не представились. Но, чую, что это полицейские. Я с ними общалась. Первый муж попал в нехорошую компанию, потом загремел на пять лет в тюрьму, так что как общаются полицейские, я знаю. Только, — она за секунду задумалась, — какие-то они были чересчур вежливые, вкрадчивые. Не задавали вопросы в лоб, как в полиции. В полиции всегда торопятся. У них мало времени и много дел. А у этих господ было время, они и выпили. И пахло от них хорошо. И ногти...

Она смешно сморщила носик.

— Знаете, чистые ногти. Нет мешков под глазами от хронического недосыпания, вот как у вас. Вы полностью выкладываетесь на работе, по ночам думаете, мало спите, много курите, много кофе, коньяк не для того, чтобы получить удовольствие или расслабиться, а для того, чтобы взбодриться и многого достичь. Для вас кофе, коньяк, никотин — это как бензин для машины. Питаетесь нерегулярно, хоть и своё кафе у вас. Можете ничего не есть целый день, только на кофе. И полицейские точно так же. У вас нет жены, вы и выглядите как мужчина, одежды которого не касалась женская рука.

У меня непроизвольно дёрнулась щека. Вот так меня раскусили. Ну да, нет времени выглядеть как метросексуал, но всегда полагал, что выгляжу презентабельно.

Эллис увидела мою реакцию.

— Мсье, не обижайтесь. Я вижу, что вы стараетесь выглядеть как хозяин жизни, но ходить по два дня в одной рубашке, согласитесь, что это моветон. И ногти вы подстригаете себе сами. Не посещаете маникюрный салон. Вы их обрезаете под самый корень раз в неделю. Чтобы не мешали. И пальцы жёлтые от сигарет. Всё как у полицейских, с которыми я общалась. У тех либо точно такие же ногти и жёлтые от сигарет пальцы, или вообще обломанные ногти с каёмками грязи под ними. Очень неприятно. Эти же господа, были очень ухоженными, с маникюром от хорошего мастера. Глаза только у них холодные. Как в душу смотрят, и змеиные улыбки.

Улыбнулся. Вижу, что она взволнована.

— Эллис, вы прямо рисуете каких-то маньяков. Может, просто поступила какая-нибудь жалоба в инспекцию, вот они и вынюхивают. Или кто-то хочет прикупить кафе, но, если узнать слабые места владельца, то так проще надавить на него и сбить цену.

Она посмотрела с сожалением матери, как смотрят на несмышлёного или умственно отсталого

малыша, который в очередной раз сморозил глупость.

— Господи! — она всплеснула руками. — Мсье! Вы меня не слышите или никогда не имели дело с полицией или другими карательными органами! Это страшные люди! Они прикинулись обычными посетителями, и когда вы вчера ушли, стали расспрашивать меня. Маскировались под обычных клиентов. Но люди такие вопросы не задают. И счёт забрали с собой. Знаете, кто так поступает?

Пожал плечами.

— Наверное, командированные или те, у кого оплачивают представительские расходы.

— Так поступают в полиции или кто на государственной службе, — она снова смотрела на меня как недоумка. — Вами интересуется полиция из «белых воротничков» или ещё кто-то повыше... — Кто же? — заинтересованно спросил я.

Она понизила голос, оглянувшись за спину, наклонилась к уху:

— Господа из контрразведки. Я чувствую, что они страшные люди!

Сделал испуганное лицо. Молчу.

— Во что же вы вляпались такое, мсье? — она была искренне расстроена.

— Знаете, Эллис, если бы у господ, — показал пальцем в потолок, — были ко мне вопросы, они бы спросили у меня, а не собирали сведения у бармена. Пусть даже и очень очаровательного, — сделал комплимент ей.

Она зарделась пунцом. Всё-таки не балуют в Европе женщин комплиментами. Ах, да! Это можно расценить как сексуальное домогательство. Совсем сдурели. Открою военную тайну, мы все произошли как следствие, как побочный эффект сексуального домогательства.

Взял нежно за руку барменшу:

— Милая Эллис! Не волнуйтесь. Думаю, что это какая-то ошибка. Недоразумение. А господа были пьяны. Или просто куражились, набивая себе цену, чтобы привлечь внимание такой милой, юной особы, как вы, — поцеловал ей руку.

Эллис словно током ударило. Она еле сдерживала слёзы.

— Ах, мсье Артур! Вы так добры! Если с вами что-то случится, я не переживу. Я столько лет мучилась временными заработками. Меня шпыняли. А у вас за много лет я снова почувствовала себя человеком, а рядом с вами — женщиной. И все, кто работает в кафе, даже уборщица, и та отмечает, что все мы стали одной семьёй. Вы не опускаетесь до панибратства, держите дистанцию, но все ощущают вашу доброту и заботу. Как отец в большой семье, вы обезопасили всех нас. У всех у нас тяжёлое прошлое. Но вы не интересовались, вам нужна только работа, а не прежние грехи. И никому вы не пеняете. Требуете только работу. Качественную. И платите

справедливо. От выручки. Храни вас Дева Мария!

Казалось, что ещё секунду, и она заревёт белугой во весь голос. Этого мне ещё не хватало, тратить время чтобы успокаивать женщину.

Первое. У меня плохо получается успокаивать женщин. Наверное, как и у всех мужчин на свете.

Второе. У меня дел по горло. Надо ещё сбегать на явочную квартиру, где принимал Тамма.

— Так, Эллис! Спокойно! Без паники и слёз. Ничего не случилось. Всё будет хорошо! Сейчас идите за стойку. Подготовьте мне отчёт по кассе и расход продуктов и напитков за вчерашний день. Сейчас придут коллеги на кухню, а потом откроем заведение. Так что... Просто работаем. Я съезжу к поставщикам. С утра уже к двум заехал. Надо ещё поговорить. Интернет хорошо, но когда смотришь в глаза человеку, то понимаешь многое, чего нельзя установить по электронной переписке.

— Конечно, конечно, шеф! — Эллис смахивала осторожно слезинки с уголков глаз и шмыгала носом.

Ну всё. Началось!

Конечно, топорно, бездарно, но, может, такие методы у местной контрразведки.

Надо двигаться!

Первое. Снять визуально, что контейнер изъят.

Второе. Явочная квартира.

Город Брюссель наводнён автомобилями. Есть пешеходные зоны. Но после терактов, полиция, армия усилили патрулирование. И камер видеонаблюдения появилось на улицах чуть меньше чем листьев на дереве. Оснастили всю эту систему системой интуитивного поиска и анализа. Борются против террористов, а страдают ни в чём не повинные разведчики из России! Безобразия! Очень облегчает службе наружного наблюдения работу. А мне осложняет. Знаю, что система распознавания лиц у них хромает. Поэтому, паркуемся. И ножками, смешавшись с толпой.

Два квартала до нужного места, осматриваю архитектуру, как все окружающие меня разноязычные туристы. Медленно двигаясь, проходим мимо заветного столба. Есть отметка. Контейнер изъят! Фу! В противном случае мне бы пришлось самому его забирать, прятать, ждать инструкций. Значит, закладку никто не беспокоил. Метка на месте. Засады не было. Ночью за мной никто не следил. Уж они бы не упустили того, кто забрал камень.

Если так, может, ещё успею и остальное сделать.

Наматываю круги по городу. Смотался в северную часть города. Чуть не задев бока припаркованных машин, прополз по узким улочкам. Я стал приятелем владельца пакистанской закуской, у местных я попал в категорию «не трогаем». На улице кипела жизнь. Кто-то курил кальян. Старик пили чай, неспешно, что-то обсуждая. Самый

авторитетный из местных дед Ахмат был на своём месте, пил чай. У меня создалось впечатление, что он никогда не уходит со своего поста. Ходили слухи, что он связан с Талибаном, воевал когда-то с советскими войсками, потом с американцами. Сейчас вышел в отставку, перебрался со своей семьёй в Брюссель под видом беженцев. Казалось, что он поглощён размышлениями, но это было не так. Он как паук сидел в центре своей паутины. К нему периодически подходили мальчишки, что-то почтительно шептали. Он чуть заметно кивал, что-то коротко кидал в ответ, и мальчишки убегали.

Также подходили к нему люди разных возрастов. Быстро говорили — докладывали, получали ответ, и тут же уходили. Было видно, что он держит район под контролем.

Я медленно ехал на машине, опустил стекло с пассажирской двери, встретился глазами, и вежливо наклонил голову в приветствии. Ахмат чуть заметно кивнул в ответ.

Поднял стекло, подъехал к знакомой закуской. Хозяин был на месте. С кем-то играл в нарды. Увидел меня, отложил партию. Поздоровались. Разговор ни о чём. Заказал кофе. Поддерживая беседу, я ждал. В этом районе редко бывают посторонние. Туристы не в счёт — это жертвы. Их положено обдирать как липку. Но когда появляются местные, маскирующиеся под туристов, значит, полиция. Если за мной идёт слежка, то десятки глаз быстро выхватят её, и тут же оповестят своих. Под чутким руководством Ахмата в этом районе можно было купить всё что угодно. Наркотики, оружие, ворованную аппаратуру, нелегальные программы, перевести деньги по системе «Хавала». Если вам нужно перевести деньги из одной страны в другую, не привлекая внимание, приходите в пункт «Хавалы» в своём городе и говорите, что нужно. Отдаёте деньги с процентом за услугу. Один звонок в другую страну. Кому отдать, пароль. И всё. Быстрее банковского перевода. И никаких проблем с налоговой инспекцией. Сумма не имеет значения. От нескольких сотен евро до пары миллионов в любой валюте.

Поэтому система безопасности была налажена. И дед Ахмат отвечал за функционирование системы. Я знал, что в этой закуской готовят бесподобное мясо «Шахи корма», лепёшки «роти» вместо хлеба. Но есть не хотелось. Кофе и вода, вот и всё, что мне надо. Я никогда не просил ничего криминального, мы беседовали. О бизнесе, о кухне. У него было высшее образование, полученное в Карачи. Умные, живые глаза. После второй душевной беседы с ним ни о чём, я «срисовал» за собой «хвост» из пакистанской шпаны, что крутилась вокруг лавки. Привёл в своё кафе. С тех пор беседы стали сердечнее. Было видно, что ему просто не хватает общения. Пару раз он заходил

ко мне. Я угощал кофе, выпечкой. Как ни странно, он порекомендовал мне переставить столы, чтобы можно было поставить ещё два. Незаметно, но ёмкость увеличилась.

Я пил кофе, прикидывая, что если кто и увялся, то должен околачиваться рядом. Тридцать минут просидев, не увидев суеты, попрощался. Хозяин вопросительно смотрел на меня, не задавая вопросов, было понятно, что что-то не вязалось в моём сегодняшнем положении. Я вытащил купюру в пятьдесят евро, положил на стол:

— Извини, проблемы. Надо было подумать за чашечкой кофе и хорошей беседой.

Он встал, засунул купюру мне в карман:

— Чашка кофе и добрая беседа всегда тебя ждёт. Мне приятно, что ты относишься к нам к людям, а не к грязи. Приходи.

— Спасибо,— пожал руку.

На языке у меня крутилась пара-тройка язвительных фраз, но я же не для того сюда пришёл, чтобы нотации читать. Я был благодарен ему. Конечно, я не питал иллюзий, у местных есть договорённость с полицией, что в случае чего, они сами отдадут скрученного по рукам и ногам чужака, своего не отдадут, а вот неверного элементарно.

Если здесь тихо, а наружное наблюдение пошло бы наверняка. Во время учёбы я вёл наружное наблюдение. Как самостоятельно, так и в составе бригады. Чтобы понять тактику, методы и как нужно уходить из-под наблюдения, нужно самому ножками немало потопать за объектом наблюдения, научиться предвосхищать события, а не следовать за ними. Вот и сейчас ставлю себя на место «шпиков».

Не знаю как бельгийская, а русская бы пошла следом, а также перекрыла все выходы из района, чтобы не упустить объект из-под наблюдения. И кинули бы основные силы вперёд. На въезде оставили бы просто дежурного наблюдателя. Я решил вернуться назад. Снова медленно еду, Ахмат чуть заметно улыбнулся мне. Понял старый демон или просто хорошее настроение? Улыбка в ответ. Кручу головой, нет суеты среди местных. Каждый занимается своим делом.

Мелькнула шальная мысль, надиктовать новый текст на автоответчик: «Мест нет!» Автоответчиком пользуюсь только я. Редко кто оставляет сообщения.

Самое сложное в работе разведчика—ожидание. Действие мобилизует. А вот неопределённое ожидание изматывает. И нет никаких инструкций. Ждать. Чего? Кого? Махнуть во Францию? На месте разобраться? С кем? С агентом? С контрразведкой? Бред сивой кобылы.

Что скажет про меня агент? Сколько раз мы с ним встречались? Три? Нет. Семь раз. Вербовку я проводил сам. Чем мотивировал, что мне нужны отпечатки пальцев, фото, рост, вес, индивидуальные приметы, а также квалификация убийц, то есть

спецназовцев? Обоснование, конечно, идиотское, но его устроило. Частный сыщик, ищет алиментщиков. Бравые солдаты наделали детей на стороне, а теперь прикрываясь государственной защитой, уклоняются от содержания бедных детей. А они голодают. Мамы вбиваются из последних сил, чтобы прокормить малюток. И поэтому призываю вас, благородное сердце, мсье, принять посильное участие в поисках бездушных отцов, которые бросили бедных своих детей на произвол семьи.

Конечно, то «пособие», которое он получал за каждую передачу информации, с лихвой перекрывало годовое содержание мнимых «сироток». Но кого интересует этическая сторона дела.

Где же прокол? Могли сами работники обнаружить подмену оборудования? Могли. Что-то вышло из строя. Авария, чп, чс также могли привести к ремонту, ревизии оборудования и программного обеспечения.

С агентом проводились тайниковые операции. Он информировал, что будет тренировка спецназовцев, тестировал оборудование, потом снимал информацию, по электронной почте давал сигнал. Ящик отследить невозможно. Здесь прокола не может быть. Потом в течение суток оставлял посылку в установленном месте, снова сигнал на почту. Я выезжал, забирал карту памяти, укладывал деньги. Агент забирал деньги. Ровно через сорок восемь часов после закладки им тайника. И так продолжалось довольно продолжительное время. Первое время я его контролировал, не давал сорить деньгами. Мог сорваться. Этот... Вспомнил его, все встречи, поведение, алчный блеск, недовольство своим положением, желание подняться по социальной лестнице, изменить свою жизнь, за деньги полученные от русской разведки.

Его даже не волновало, что он может кого-то поставить под удар. Нет. Его интересовали только деньги. Не более того. Ради них он зайти далеко. Трус? Есть такое.

С другой стороны, должен же понимать, что рано или поздно поймут в России, что их водят за нос, и прервут с ним связь, а значит, и поток денег прервётся.

Но он знает меня, правда, под другим именем. Машину не видел. Встречи были вне камер видеонаблюдения. Что ещё может сработать против меня?

Как током ударило. Листок бумаги, на котором я писал адрес электронной почты для подачи сигнала о тренировке и закладке тайника! Отпечатки пальцев вряд ли там остались. С бумаги сложно их снять, несмотря на обыгранную ситуацию в кино. А вот образец почерка, пусть даже минимальный,—серьёзная улика. Проводил оперативный эксперимент, который, судя по всему, французская контрразведка уже сделала. Под контролем отправлено письмо, подброшена

ложная информация, получены деньги. Информацию забирал я. Деньги укладывал я.

Слежка? Не было. Точно не было? После последних событий, я уже сомневаюсь. Если меня сразу не арестовали, может быть несколько вариантов.

Первый. Приняли за курьера, не представляющего большого интереса, поэтому отпустили, продолжив наблюдение.

Второе. Решили продвинуть через меня какую-то большую дезинформацию.

Хотя, какую информацию? Пальцы, рожи? Непонятно. Всё непонятно. Хотелось колотить по рулю кулаками. А что изменится?

Кстати, почему за мной нет слежки? Не сумели идентифицировать меня французы? Известно, что бельгийцы очень ревностно относятся к тому, что на их территории иностранные спецслужбы проводят операции. Вроде того что, да, мы маленькие, но очень гордые, и вообще, у нас тут столица Европы, а вы своими неумелыми действиями, сорвете много операций, которые проводим с другими спецслужбами мира!

В этом есть свой резон. Например, цру проводит что-то при содействии коллег Бельгии. Врывается французская «кавалерия», рушит ближайшую связь объекта проверки или полностью операцию «кузенов». Так в Лондоне называли цру. Французам понравилось это выражение, переняли.

Так что не исключаю, что сейчас идёт согласование проведения совместной проверки моей персоны. Есть маленький, минимальный зазор по времени для того, чтобы обезопасить себя и источников. Значит, на явочную квартиру, о которой знает Тамм.

В донесении в Центр я указал, как с ним установить связь. Значит, если меня возьмут в оборот, Москва восстановит с ним связь.

Ещё покрутился с час по городу, пытаюсь понять, есть ли за мной наблюдение. Заехал к поставщику. Выпил кофе. Поговорили о перспективах сотрудничества, посетовали, что с каждым годом сложнее работать.

Добрался до дома. Остановился во дворе. Отошёл в тень, вроде как случайно заглянул. Стою, курю. Вполоборота смотрю на свой подъезд. Не знаю, что, но на душе стали скрести кошки. Плохо как-то стало. Тоскливо. Интуиция? Нервы?

Позвонил соседке, что с Таммом познакомил. Дома. В отличие от местных бельгийцев, для которых дом—это табу для посторонних, она с радостью позвала к себе.

Поднялся на свой этаж, к своей двери не подхожу. Даже не смотрю. Целенаправленно иду к соседке. Думаю, что род её занятий не секрет для окружающих, поэтому просто очередной озабоченный клиент. Звоню.

Открылась дверь. Ух, ты! Шёлковый халатик чуть ниже... Поясок удерживал этот халат, который

был готов свалиться с неё. Тяжело сглотнул слюну. Мне ещё не хватало вляпаться в историю... Тогда уж точно с Таммом будем «побратимы».

— О, мсье Артур! Проходите! Проходите! У меня небольшой беспорядок, не обращайтесь внимания!—щебетала Анна.

Однокомнатная квартира. Сразу видно, что здесь живёт женщина. Части женского туалета лежали повсюду. Шорты, футболки, какие-то шарфики, много чего ещё. Она кокетливо, чуть смущённо обвела рукой комнату. Мол, извините. Хотя, казалось, что весь этот беспорядок сделан умышленно, чтобы заинтересовать мужчину.

На плите уже варился кофе в большой турке. Она периодически встряхивала её, чтобы образовалась пенка. Несколько раз стыдливо запахивала разъезжающийся халатик то на груди, то в районе бёдер. От этого он ещё больше распахивался. Кхм. В горле запершило. Захотелось курить или ещё чего-то сделать.

Кофе готов. Она умело сняла его с огня в тот момент, когда над туркой стала подниматься шапка пены. Очень хорошо. Такой кофе очень вкусный. Она несколько раз ударила легонько по столешнице донышком турки. Знаю. Чтобы осадок быстрее осел на дно и в чашку не попала гуща. Хорошие познания.

Налила мне чашечку. Наклонилась над столом. Грудь чуть не попала в кофе. Нельзя такую красоту обварить кипятком! Я учтиво отвёл взгляд. Господи! Вернее, не так! Центр! Дай мне силы!

Села напротив, нога на ногу. М-да. Терпеть!

Сделал глоток обжигающего кофе. Очень даже недурён! Анна встала к окну, потянулась, открывая окно для проветривания. Пока тянулась вверх на цыпочках, край подола задрался. Ох! Ещё глоток кипятка из чашки. Кровь приливает в верхнюю часть туловища.

Девушка с улыбкой вернулась на своё место, достала сигареты, показала пачку:

— Вы не против?

Достал свои сигареты, показал пачку:

— А вы?

Она прикурила, окуталась облаком дыма, выпустила струйку дыма:

— Я всегда «не против»,—она сделала ударение на последнем словосочетании.—Это мсье Артур всегда «против».

Анна игриво покачала носком ноги.

Закурил. Вдохнул. Выпустил дым. Глоточек кофе.

— Расскажите, как вам новый знакомый, которого я отправил к вам?

Она закатила глаза:

— Роберт—настоящий мужчина! Извините, но вам не понять этого! Он галантен! Офицер. Мы с ним могли говорить по-русски! Боже! Как давно я не говорила на родном языке! Я думаю на

французском и чуть-чуть на голландском! Думала, что забыла уже. Когда слышу русских туристов в городе, хочется обнять и закричать: «Свои! Роденькие!» Но молчу. Меня уже за русскую, ну, или не так, из бывшего Советского Союза, мы же для вас все русские, не воспринимают. Я же сама с Украины. Украинский знаю немного, хоть и украинка сама по рождению. А с Робертом мы почти весь вечер говорили на русском. Вы не представляете, это такое наслаждение, такое удовольствие! Не сразу мы поняли, что оба родом из СССР! А когда поняли, оба обрадовались! И поэтому я вам так благодарна!

«Благодарна» она произнесла таким точным голосом, что даже волосы на голове встали дыбом. И наклонилась вперед. Разве что грудь не положила на стол.

Я улыбнулся. Конечно, ситуация несколько двусмысленна. И я же—француз! Но! Зачем ей давать власть над собой? Не надо нам этого. Иных проблем хватает. О родине думать надо. О задании.

Затянулся:

— Я рад, что ему понравилось. Значит, я не ошибся. Для нас с вами, главное, что клиент остался доволен.

— И он очень щедрый оказался. Он ещё и воевал! Показал в вашем кафе фотографию, где он в Афганистане. У него там друг погиб. Это так печально,—печальная мордашка.—Для нас, русских, и не только для тех, кто из СССР, Афганистан тоже не просто так прошёл. У многих там погибли родственники. А Роберт, хоть и из Эстонии, а воевал за Америку в Афганистане. Так получилось,—прелестно пожала плечиками.

Далеко не дура, высшее образование, бывшая учительница, но дурочку строить умеет. Иногда проскакивает её истинная натура. Например, про Афганистан. Казалось бы, какое дело обычной проститутке до какого-то Афганистана. Падшая женщина понятия не имеет, где он находится и что там происходит. У неё в жизни иные интересы и проблемы. А этому пытливному уму в очаровательной черепной коробке есть до всего дела.

Чтобы отвлечься от соблазнительного красивого тела, подумал, а чем мы отличаемся внешне друг от друга? Отчего одни лица красивые, а вторые нет? В принципе, у каждого одинаковые черепа. Только специалист-антрополог сумеет отличить один череп от другого. Набор костей. Собаке кинь—грызть не будет. Мышцы сверху на костях. Тут более разительные отличия. А чтобы мышцы защищать от неблагоприятных факторов внешней среды, сверху натянута кожа. Она всего лишь оболочка. И вот тут-то, получается, что все мы—это костяно-мышечный набор, по большому счёту, суповой набор, мы и считаем красотой.

Мысль проскочила мгновенно, но стало легче. Легче дышать, светлость мышления вернулась. Вот уж точно, мужчинам крови в организме не хватает. — Я рад, что вы тоже получили удовольствие от общения с бравым офицером.

Она откинула голову, мечтательно закрыла глаза:

— О! Да! Настоящий мужчина! Джентльмен! Сним я была просто женщиной. На этот вечер я забыла, что он клиент,—бросила на меня быстрый взгляд.—Ну, вы понимаете.

— Понимаю,—кивнул я.—Мы профессионалы, иногда позволяем себе быть простыми людьми.

— С вами так легко!—снова игривый тон.—Он рассказывал много анекдотов, истории. Ему было со мной тоже интересно. В вашем кафе его знают. Сначала думала, что это завсегдатаи, но потом поняла, что сослуживцы. Короткие стрижки, широкие плечи, грубые ладони, быстрые взгляды, накаченные шеи. Военные. Я таких знаю. Взгляд у всех тяжёлый. Такое ощущение, что они тебя рассматривают через прицел, выбирая, куда бы выстрелить. Много среди них психов. Я и девочки опасаемся. Они как напьются, так или битить начинают, или начинают рассказывать такие ужасы... Грубы, нетерпеливы, считают, что им весь мир обязан и принадлежит по праву победителей. Особенно американцы, немцы, англичане. Остальные... помягче, что ли. А Роберт... Я всегда думал, что эстонцы заторможенные, замороженные. Скупы на эмоции. Но он просто порхал. И не скажешь, что он старше меня. Я бы очень хотела, чтобы такой мужчина был в моей жизни. Сильный, крепкий, надёжный, знает, что хочет в жизни, и очень нежный, внимательный. Щедрый! Так мало сейчас в Бельгии настоящих мужчин! Ах!

«Наверное, всю тысячу спустил! Я бы тоже обрадовался, если бы кто-то оставил чаевыми тысячу евро у меня в баре»,—подумал я, слушая её щебетание.

— Хорошо, что вам понравилось общаться.

— О! Да! Он сказал, что будет со мной общаться. Я снова как шестнадцатилетняя девчонка. Влюбилась по уши!

Перехватив мой взгляд.

— Да-да! Конечно. Понимаю,—она сникла.—Кто он! Боевой офицер в НАТО. И кто я...—опрокинула свой кофе в рот, тыльной стороной ладони вытерла рот, глубоко затянулась сигаретой. Вы правы. — Я ничего не говорил,—как можно мягче начал.— Вы—молодая, красивая женщина. И надо верить в своё счастье, свою удачу. Наверное, многие находят своё счастье. Я прав?

Горькая усмешка на её лице.

— Все ищут его. Счастье. Только не находят. Все приезжают сюда в надежде, что встретят свою любовь. Богатого, щедрого, не садиста, мужчину. Но я не знаю ни одной такой, кому бы повезло.

Наверное, фильм «Красотка» виноват. Все мы насмотрелись и ждём своего принца на белом «Мерседесе». Только в Бельгии экономят все и на всём. И даже богатые ездят на такой рухляди! На Украине на таких древних рыдванах только деревенские гоняют. Эх!

— Не отчаиваетесь, Анна! Должно повезти. Вы же хороший, добрый человек, с очень большим, открытым сердцем. Главное, в стране удержаться. Сейчас, после терактов, полиция проверяет дома, высылает всех.

Тяжело вздохнула.

— Знаю. Двух подружек уже заграбастали и депортировали. Въезд в Европу запретили. Как они теперь будут семьи кормить?! Сама боюсь. Лишний раз к двери стараюсь не подходить, веду себя тихо. Чтобы соседи не заложили. Они же здесь такие, что в глаза улыбаются, а чуть что, так в полицию названивают: «Примите меры!» Каждый шаг на лестнице слушаю. И в глазок дверной смотрю.

«Так. Мою дверь она не видит. Не просматривается. Это хорошо»,—подумалось.

— И как? Не было посторонних? А то они порой, наверное, я так думаю, сначала тихо обходят места будущих облав, опрашивают соседей, а потом уже налетают как коршуны на бедную птичку.

Она подумала. Затушила одну сигарету, тут же прикурила вторую. Махнула рукой:

— Нет, всё тихо. Я очень хорошо слышу. Иностраный язык преподавала, от этого малейший оттенок улавливаю. Малейший звук. А сейчас настолько натренировалась, кажется, что одно ухо за дверью живёт. Во двор частенько смотрю из-за шторы. Там тоже посторонних не видела. И в подъезде у нас тихо. Точно уже как месяц никого не было,—подумала, посмотрела в упор на меня.—Чужих. Незнакомых не было.

Тамма, девочка всё-таки «срисовала» или услышала у моей квартирки. Плохо, но ничего криминального.

Пора прощаться. Я услышал, что хотел. Конечно, не факт, что она не на службе у правоохранительной системы Бельгии и могла выйти из дома, проспать элементарно или была занята работой, когда могли появиться непрошенные гости у меня на явочной квартире.

— Спасибо за отличный кофе,—положил ей руку на кисть.—У вас всё будет хорошо. Вы красивая, умная и осторожная женщина. Так и продолжайте. Верьте в свою удачу, и всё получится.

Тепло, мягко улыбнулся, пошёл на выход. Она следом. Обернулся, халатик запахнула, теперь уже сама скромница.

— Спасибо вам, мсье Артур! Вы очень любезны. И...—немного засмушалась.—Разрешите вас поцеловать. Мне с вами очень спокойно стало.

Не дожидаясь ответа, чмокнула меня в щёку, встав на цыпочки.

Я не стал отвечать, просто ещё раз улыбнулся и пошёл к своей двери. Делая вид, что шарю по карманам в поисках ключей, смотрел под дверь. Там оставил высохшую хлебную крошку. Она была тёмной, как раз подходила в тон двери. Когда закрывал дверь, уронил ключи, пока подбирал, положил крошечку.

Её не видно. Тем паче если работаешь быстро, подбирая ключи или орудуя отмычками, стараясь скорее проникнуть в помещение незаметно, непременно собьёшь крошку.

На месте крошка. На месте. Значит, у меня ещё есть форя. Дай-то Бог!

Осторожно вхожу в квартиру. Прикрыл дверь. Свет не включаю. Нюхаю воздух. Долго. Вдыхаю, закрыв глаза. Нас учили, что, проводя оперативный осмотр, не пользоваться парфюмом, быть в чистой одежде, не иметь запахов. Но такого не бывает. Человек и его одежда всегда пахнут. Машиной, другим табаком, едой, другими людьми. Пройди мимо вереницы проституток—и будешь пахнуть как в дешёвой парфюмерной лавке, где духи разливают по бутылкам из-под воды.

Нет посторонних запахов. Моё временное пристанище пахло, как я его оставил.

Счётчик посещений показывает, что не было никого. Прости, мой друг, разбираю его, рву провода. Иду по квартире, собирая всё, что как-то может меня скомпрометировать. Задёргиваю все шторы на окнах. Хорошо, что мы в Бельгии, в Голландии до сих пор многие местные не занавешивают окна.

Когда-то в Голландии правил посланник Испании Альба. Он приказал убрать шторы, потому что за закрытыми шторами устраивали цеха по производству оружия и тайные встречи революционеры. Потом случилась революция, испанцы утратили влияние на Голландию. Но традиция не занавешивать шторы осталась. Голландцы гордятся, что им скрывать нечего, что соответствует христианским нормам морали. По-моему, просто экономят на шторах. Они ещё могут поспорить с австрийцами, а те уж чемпионы Европы по умению экономить на всём. Хотя некоторые отдают пальму первенства шотландцам.

Надеюсь, что Тамм парень сообразительный, поймёт что к чему.

Не стал долго оставаться в квартире. Расставил «сторожков» по квартире в несколько раз больше разумного, но решил подстраховаться наверняка.

Избавился от компрометирующих материалов.

Поехал домой. Тихо. Очень тихо. Или они научились так вести наблюдение, что объект слежки ничего не замечает?

Что я сделал дома? Крепко выпил! Центр не узнает.

Сидел и думал, в какое положение я попал. Есть в шахматах такое понятие «пат». Когда такое положение твоих фигур, что любое передвижение

всякой фигуры будет угрожать безопасности короля. Второе название Цугцванг (Zugzwang). Обычно употребляют выражение: «Ходить нельзя и не ходить нельзя!». Сидел, крутил стакан, курил, кофе. Можно и разыграть «мнимый цугцванг». Будем развивать кафе! Иначе с ума сойти можно! Время — тот ресурс, который невосполним. И тратить его просто так, без связи с Центром, с брошенным, новоиспечённым агентом мучительно. Как в пыточной. Есть такая пытка. Мягкая обивка на стенах чёрного цвета, без света, без единого звука. Даже когда орёшь, звук не отражается от стен, кажется, что сам себя не слышишь. И не знаешь, сколько времени ты провёл там. Еду кладут в лоток, который тоже из мягкого пластика. Темнота. Не видно даже еды. И она специально обработана, чтобы не было запаха. Еда без специй, даже без соли. Пресная. Чуть тёплая. И темнота вокруг.

Человек мечтает о беседе. О собеседнике. Об общении с близким человеком, другом. И непонятно, когда вырвешься из этой чёрной комнаты.

Вот так и со мной сейчас. Без связи, отрезанный от своей любимой работы, от Центра. Как в чёрной комнате, пусть вокруг меня и люди. Много людей. Но они для меня сейчас как мягкая обивка в этой поганой камере. Я не слышу их, я не слышу себя, меня не слышит Родина.

Это тяжело. В кино показывают порой работу разведчика как бесконечные светские рауты, коктейли, беседы, сделки, песчаные пляжи под жарким солнечным светом, белоснежные яхты, красавицы в бикини, постоянные погони, перестрелки, подмешивание яда в бокал, пытки. Но это кино. Красивое, увлекательное, зрелищное, романтическое. Я и сам люблю посмотреть такой фильм. Благо, что в кинозале темнота и все с увлечением наблюдают за невероятным поворотом сюжета или акробатическими номерами главного супершпиона. Когда весь зал с замиранием следит за очередной сценой, мне хочется смеяться в голос. Это как кинокомедию рассматриваю. Но сдерживаюсь. Иногда с большим трудом, и загоняя смех внутрь, прикладываюсь к трубочке с напитком, что купил в фойе кинотеатра.

Снимать фильм про работу реального разведчика — скучно, и никому не будет интересно. Можете спросить у любой стоящей контрразведки. Десятки, сотни часов записей. Смотреть, как он ходит на работу, как идёт домой. Как любит кормить птиц. Кстати, «хозяйке на заметку», если человек любит кормить птиц, стоит к нему присмотреться, не шпион ли. Шучу, конечно. Но когда твой мозг простаивает и ты без связи с «материком», то ум проводит по многолетней привычке всякие параллели, ищет между мелочами причинно-следственную связь как по горизонтали, так и по вертикали, по времени, месту, пространству, маршрутам. С годами работы понимаешь, что весь

мир серый, а чёрное и белое всего лишь оттенки серого. Крайности серого цвета. И ты должен быть серым, как весь мир, чтобы не привлекать к себе внимание.

Интернет сам того не ведая, выявил нездоровую тенденцию у населения планеты. Коль все люди серые и занимаются своими делами, некоторым удаётся абстрагироваться, выскочить под софиты, многие обычные люди стараются им подражать. И всё равно, стали они белыми или чёрными — знаменитыми преступниками. Отчего тюрьмы, в которых содержатся опасные преступники, осаждают толпы поклонников и поклонниц? А потом появляются подражатели. Психиатры многих стран бьются над разгадкой этого феномена, но не могут понять. Оттого всем нравятся яркие фильмы с массой специальных эффектов. Чуть разнообразить свою серую жизнь. И не понимают они, что именно в этой кажущейся им серости бытия и есть самый смысл всей жизни. Каждый занимается своим делом, вместе строят дом для человечества. Серые люди собирают великолепные самолёты, ракеты, пекут хлеб, воспитывают детей. Жизнь, пожалуй, и есть самое главное в жизни, в её разнообразии. Некоторые серые пытаются уничтожить эту жизнь, это хрупкое равновесие в мире. Чего-то планируют, что-то замышляют. И не более десятка кварталов от меня. И серый Тамм добывает незаметно эту информацию, чтобы остановить этих серых людей, один из которых любит играть в шахматы, перепутав шахматную игру с судьбами мира, ставя на кон миллионы жизней. Просто одним серым захотелось доминировать над другими. А моя роль незаметной серой мышки сейчас ограничена положением враждебных фигур противника. Я заперт в своём углу. И вместо того чтобы после вербовки перейти на учащённый график встреч, вынужден сейчас продвигать своё кафе в рейтинг успешных общественных точек питания.

Эх! Ладно! Чтобы не сойти с ума от бездействия, находясь в изоляции, надо двигаться. Как один мой коллега по отделу, в прошлом офицер военной контрразведки, любил говорить: «Под лежачего офицера вода не течёт!» Немного вульгарно, но, что вы хотели от строевого офицера, впоследствии военного контрразведчика, а ныне — одного из командиров «Иностранного Легиона» Франции! Суровый вояка, якобы выходец из Сербии. А на самом деле — разведчик-нелегал.

Ну что, сварил себе утром кофе, плотный завтрак. Вроде и выпил немного, а мешки под глазами. Ничего. Пройдёт, ничуть не хуже, чем раньше, выгляжу. Вперёд! За бизнес успехом!

Подхожу к своему кафе. Стал смотреть на него не как обычно, а как придирчивый турист. Как капризный турист. Что не так? Что сделать, чтобы увеличить посещаемость?

Надо отмыть окна. В пыли. Хотя и убираются в городе, но пыль присутствует в воздухе. Посмотрел на соседние заведения. Не хотел поначалу я, заодно и сэкономил на оформлении входа, но сейчас понял, что надо повесить над входом, перпендикулярно ходу тротуара вывеску. Что будет раскачиваться на ветру.

Эллис на посту. Здравуюсь, интересуюсь делами как можно детально. Неплохой вечер был вчера. — Эллис! Вот вы опытный, талантливый бармен, скажите, чтобы вы хотели улучшить в заведении, на кухне, в зале, чтобы выручки стало больше, заодно и увеличить наши зарплаты? Не спешите. Подумайте. Критически посмотрите на всё. На кухне спросите. У каждого человека есть идеи. Как появится уборщица, пусть займётся витринными стёклами. Пыльно. Некрасиво. Непрезентабельно.

Взял пивную кружку с собой в кабинет. Счётика нет. Мусор на месте. Включил вчерашнюю запись с камер в зале. Курю, кручу пустую кружку в руках, думаю, взял фломастер, стал рисовать на кружке. Мысли выражались в рисунке. Не очень красиво, но понятен замысел.

Вошла Эллис с утренняя кофе и порцией коньяка в бокале. Посмотрел на бокал. Нет, на него этот рисунок не стоит наносить.

— Эллис, как вы смотрите на такое?

Показал ей кружку с рисунком. Взяла, покрутила, приблизила, отодвинула. Я улыбнулся.

— Эллис! Вы хоть поняли, что хотел изобразить в своих неловких попытках?

Она улыбнулась. Когда улыбается, то становится гораздо моложе и милее. На щеках появляются маленькие ямочки. Шарм, обаяние, то, чего не хватает многим западным женщинам. А если её накрасить и уложить волосы — баба хоть куда! — Конечно, мсье, поняла. Это бегемот, что нарисован у нас на двери, в левой руке у него винтовка вертикально, на левой руке, то есть лапе, повязка как бельгийский флаг, а в правой руке, тьфу, лапе, — кружка пива с шапкой из пены. Правильно? — А на голове?

— На голове?

Она всматривается. Не дождавшись ответа, подсказываю:

— Каска времён Первой мировой войны.

— Ну, — она замялась. — Мсье не художник. Ему виднее.

Я нетерпеливо махнул рукой.

— Присядьте. Послушайте. Задумка такая. Над входом вешаем фигуру вот такого бегемота. На часть кружек наносим логотип этого военизированного гиппопотама. На подставки под кружки тоже. На другие кружки наносим рисунки воинов, солдат, офицеров, сестёр милосердия стран, кто участвовал в Первой мировой войне. Ну а вас одеваем в костюм сестры милосердия того времени? Как вам такая идея? Ну уж коль мы

пытаемся найти свой стиль и затея с военными фотографиями удалась. Что скажете?

Эллис смотрела на меня слегка расширенными глазами, зрачки у неё увеличивались. Это один из признаков возбуждения, в том числе и сексуального.

— Мсье, вы позволите?

— Конечно, — пожал плечами.

Она встала и звонко поцеловала меня в щёку. Потом резко села на своё место. Ошалело посмотрел на неё.

— Извините, мсье меня, — она была смущена. — Но сложно было удержаться. Я всегда верила, что вы сумеете добиться многого! Это просто гениально! Я бы посоветовала ещё на кухне сделать специальное меню, например, что-то из блюд того времени. — Замечательная идея, Эллис! Прекрасно! Может, по углам расставить манекены в форме той эпохи?

Было видно, что она загорелась этой мыслью. И как девочка, ёрзая на стуле, захлопала в ладошки.

— Мсье, позволите, я налью себе?

— Естественно! — великодушно махнул рукой.

Она быстро вернулась с бутылкой джина «Арлингтон Лондон Драй». Не знал, что ей нравятся этот местный джин. Или схватила первую попавшуюся бутылку? Плеснула себе чуть-чуть в стакан. — За вашу гениальность, шеф! — она высоко подняла стакан.

— За успех нашего предприятия! — поддержал я.

Не чокаясь, выпили, запил кофеём. Мой бармен смущённо улыбалась. Ей было неловко за свой поцелуй.

— Спасибо, дорогая Эллис, мне приятно, что поддерживали мою затею. Идите. Подумайте, может, ещё что-нибудь придумаете.

Она выскочила из кабинета.

Сфотографировал изображение на кружке, начал изображений военных и медсестёр с Первой мировой войны, подписал, к какой стране относится, написал письмо в компанию, которая занималась оформлением входа, описал, что нужно. Заодно поинтересовался, могут ли они изготовить наклейки на кружки с определённым изображением.

Поискал в интернете клубы реконструкторов батальи Первой мировой войны. Написал им свою идею. Мне не нужны оригинальные вещи той эпохи. Хватит копий, одетых на манекены. Точно так же, как массогабаритные модели оружия того времени. Конечно, чтобы всё было искусственно состарено. Оригиналы можно достать, но они будут стоить дороже, чем моё кафе. Пока с Центром нет связи, решил немного «пошалить» и без спросу вложить деньги в развитие бизнеса. Потом отчитаюсь.

Вышел в зал. Эллис что-то чертила, рисовала на листке бумаги. Кивнула мне на отчёты о вчерашнем дне. Кивнул, забрал, уселся за столик в зале,

начал изучать. Можно позволить себе немного декораций в заведении.

Почему Первая мировая война? В той далёкой эпохе есть некий флёр, который очаровательно смотрится в наше время. И после неё люди изменились. Перекроилась карта мира. Наступила новая эра человечества. Не было бы тогда этой страшной войны, всё было бы иначе. И в России, и здесь, в Бельгии, тоже. Поворотный пункт в истории всего человечества.

Последующие дни я мотался по фирмам, проверял эскизы, придирался ко всему к чему можно. Торговался о скидке до хрипоты, стараясь сбить цены. Опять решил обновить галерею фотографий, вернуться к Первой мировой войне. Но уже с упором только на Бельгию. Пивная-то бельгийская!

Всё это заняло у меня три недели времени и немало денежных средств. Благо, что удалось обойтись без очередного кредита. Тогда бы я точно разорился.

Провёл собрание со всем рабочим коллективом. Пояснил, что сейчас вкладываю деньги в оборудование зала, поэтому премий не будет. Попросил потерпеть.

Шеф-повар, рабочие на кухне давно были в курсе происходящего, сами разыскивали блюда, популярные в годы Первой мировой войны в Бельгии. Некоторые я сам отмёл. Слишком дорого они получались. Остановились на простых, сытных.

Эллис нашла в интернете фото, где солдаты на фронте пьют что-то из помятых алюминиевых кружек. Предложила подавать джин и коктейли в таких кружках. Для поддержания антуража нашей кафе. Идея всем понравилась.

За время «застоя», стал больше общаться с персоналом. Многое обсуждать. Поначалу все молчали, потом стали высказывать свои идеи. Многие были дельными. Шеф-повар решил со мной вести себя по-панибратски. Пришлось ставить на место. Эллис лишь посмеялась над этим. Она давно поняла, что шеф с виду тихий, но может быстро расставить точки над «i».

Предлагали заклеить окна белым малярным скотчем крест на крест, как заклеивали во время войны, чтобы от взрывов не лопались стёкла. Отказался. Так во время Второй мировой войны делали. Не будет соблюдена историческая правда.

Во время всех своих не поездок, а скорее скитаний по городу я проверялся. Не было ничего необычного. И даже в северной части города бывал неоднократно. В пакистанской харчевне попросил раздобыть, за не очень большие деньги, реквизит того времени. Может, в лавках старьёвщиков на Ближнем Востоке можно что-то добыть. Пригласил хозяина харчевни и через него Ахмата — старшего «на районе» — в день, когда у меня будет новая экспозиция. Угощение за счёт заведения.

Через десять дней после «затворничества» на автоответчике отметилась Тамм, заказывая столик. С трудом сдержался, чтобы не рвануть на встречу на явочной квартире. Только сглотнул тяжело слюну, стёр сообщение. Тяжело вздохнул, выкурил пару сигарет подряд.

Через четыре часа последовало новое сообщение. Тамм извинился и отменил заказ столика. Голос у него был напряжённый. Понял, что заходить нельзя, а причина ему неизвестна, поэтому и напрягся. Эх! Он же пришёл с информацией! А я тут... занимаюсь реконструкцией! Тьфу! Обидно до слёз! И Центр молчит! И не бежать.

В ночь перед открытием никто не пошёл домой. Работы хватило всем. Кто-то отмывал помещения, помогая уборщице. Развешивали новые фотографии. Постарались, они были сочными. Показывали военных как на поле боя, так и в быту на фронте. Медицинских сестёр, врачей в госпиталях. И все — бельгийцы! А отличие от предыдущей фотовыставки, где они были большими. Сейчас решили изменить подход. Гораздо больше и разного формата. От огромных до открыточного формата. Некоторые были точно такие же, как иллюстрации на пивных кружках.

На фотографиях изображены все этапы формы бельгийских военных. Кто-то точно подметил, что на начало Первой мировой войны Бельгийская армия больше была похожа на опереточную. Настолько эпатажная у них была форма. Но решил, что у меня будет представлена форма на последнем этапе страшной войны, первой масштабной мясорубки в истории человечества.

Наряжали манекены в форму. Тут же на столе в зале подглаживали форму. На голову манекену — каску Адриана — стальной шлем со львом спереди.

Попросил, чтобы муляжи винтовок закрепили основательно к манекену и основанию. Подвыпившая публика могла запросто оторвать из любопытства. Оружие выглядело как настоящее, масса, пропорции — всё было соблюдено. Как положено, оно было смазано. Казалось, что оружие из боя. Потёртый, местами со сколами приклад. Воронённость металла была с потёртостями. Брезентовый ремень местами был в пятнах от грязи, пошаркан, в некоторых местах висела бахрама из порванных ниток.

Казалось, что оружие пережило вековой юбилей и обрело покой в моём кабачке.

Прибывшая бригада ещё днём закрепила бегмота над входом. Теперь он степенно покачивался над тротуаром, привлекая внимание прохожих. Некоторые туристы фотографировались на его фоне, и заглядывали к нам. Уже дневная выручка увеличилась втрое по сравнению с обычными буднями.

Эллис раскраснелась от беготни и радости, что задумка удалась. Она показала мне, когда я вышел в зал, чтобы ей помочь, большой палец. Всё хорошо!

Стараясь отвлечься от грустных мыслей, что нет связи и приходится простаивать, я стал радоваться таким вот маленьким успехам. На кухне тоже днём царило приподнятое настроение. Там рабочие носились, чудом не сталкиваясь друг с другом.

Домой все разошлись около трёх часов ночи. Но никто не ворчал, не бухтел. Люди были объединены общей целью, причастностью к делу.

Утром все пришли, даже кухня, уборщица. Некоторые привели детей. Спросили разрешение. Махнул, валяйте.

При свете дня устранили мелкие огрехи, которые не было видно при электрическом свете. Снова прошлись, вытирая пыль по углам. А когда Эллис вышла в костюме фронтальной медицинской сестры, раздалось не аплодисменты, а овации.

Дети заворожённо смотрели на манекены, трогали форму. Мальчишкам особенно интересно было старинное оружие. Попробовали оторвать его, но тут же следовал строгий родительский окрик. Мальчишки отступали, чтобы спустя мгновение снова попытаться овладеть им. Тут же фотографировались рядом с манекенами, выкладывали в социальные сети, через пять минут читали отклики. Все товарищи им завидовали. Вот так делается реклама «из рук в руки».

Через полчаса после открытия позвонила какая-то блогерша, попросила сделать репортаж из кафе. Я секунду подумал, потом согласился. Пусть даже негативный отзыв — тоже отзыв. В мире коммерции главное — привлекать внимание. Пусть даже скандалом. Хоть для меня привлечение внимания нежелательное дело.

Посетители стали заходить. Буквально столбенея от неожиданности. А Эллис вызывала у них просто детский восторг. Все хотели с ней сфотографироваться. Но она была тёртым калачом. Вежливо оповещала с обворожительной улыбкой:

— Вы сделайте заказ, я принесу, тогда и сделаю фото. Извините, просто нет времени. Хорошо? Я слушаю.

И народ делал заказ. А уж когда им приносили пиво с различными приложениями, в виде военных, военизированного бегемота, их восторгу не было предела. Наблюдал в монитор, как попытки телефонов, фотоаппаратов озаряли то один, то другой угол.

И не мог предположить, что джин, принесённый в мятых, состаренных алюминиевых кружках, может вызвать такой восторг.

Отцы лихо опрокидывали порцию джина. Потом понимали, что это мало, чуть закрывало дно большой кружки ёмкостью в четыреста граммов. Заказывали двойную, а некоторые и тройную порцию. В меню появились новые блюда, по рецептам тех времён. С подачи Эллис их также активно

заказывали. Правда, цена на них была процентов на пятнадцать выше, чем обычные. Но их брали и нахваливали.

Весь рецепт этих блюд был описан ещё у знаменитого английского писателя Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» как «ирландское рагу». Рецепт прост, берёте всё, что у вас есть из продуктов, и тушите.

Так и поступали во времена Первой мировой войны в Бельгии, только в различных вариациях. Лишь бы было сытно.

Но главное — не блюдо, которое в меню, а тот «информационный соус», под которым подаётся это блюдо!

И вот Эллис щедро поливала меню «информационным соусом». В России бы сказали, что «вешала лапшу на уши».

Посетители заказывали, пробовали, нахваливали. Фотографировали, тут же выкладывали в социальные сети.

Роутер, который обеспечивал выход в интернет, показывал нагрузку выше средней. Если так дело пойдёт, то вечером он просто «зависнет». Но не покупать же новое оборудование! С провайдером потом мороки на три месяца! Они такие здесь нерасторопные!

На экране монитора появились две знакомые фигуры. Это были мои знакомые из северной части города.

Я вышел, встретил их. Эллис была удивлена, но виду не подала. Поздоровались за руку. Усадил их в угол. Хорошее место для обзора. Сам предложил выпить. Отказались. Я сделал им заказ из нового меню, чай, сладости.

Ахмат вынул из сумки-торбы бинокль, передал мне. Старинный. Видно, что не копия-реплика, а настоящий. На боку был выбит год изготовления — 1914. Немецкий. Хоть оптика была поцарапана, но ещё работала исправно. Я был удивлён и рад подарку. Сразу было видно, что вещь редкая, настоящая. Следом извлёк револьвер, перехватив удивлённый взгляд, успокоил:

— Не переживайте, неприятностей не будет. Он в нерабочем состоянии, — хитро посмотрел. — Но при желании, можно за полчаса вернуть ему боевой дух.

— Спасибо! Огромное спасибо!

Я искренне был рад и удивлён их щедрости. Понимал, конечно, что дружба с ними может привлечь ненужное внимание правоохранительных органов и специальных служб, но есть алиби — приобретение антиквариата. А откуда они его добыли и каким путём — одному Аллаху известно.

Мы долго разговаривали о новом облике, имидже кафе.

Ахмат, глядя на Эллис, заметил:

— А не слишком ли кошунственно, что бармен в костюме медицинской сестры? Та, кто призвана

по определению спасать жизни, отравляет их алкоголем?

Улыбнулся в ответ:

— Сейчас всё перевернулось с ног на голову. Белое стало чёрным, и наоборот. Полагаю, что вы всё это прекрасно видите. Главное— всё продать. В данном случае алкоголь, еду. А для этого все средства хороши. Будут жалобы— примем меры. А до этого времени просто работаем. Это маскарад. Весь мир носит маски. У Эллис маскарадный костюм медицинской сестры времён Первой мировой.

Ахмат покачал головой:

— В этом и сила и слабость западного мира. Всё продать. Всё на продажу, и с этим они шагают по миру, нет, чтобы остаться только у себя дома и заниматься торговлей. Много не понимаю. Как дети. Сила—это большая ответственность. Америка пишет на своих деньгах «Мы верим в Бога», но там, где деньги, там Бог заканчивается. И силой денег управляет миром. Они считают, что сильны, потому что богаты. Вместо того чтобы помогать людям, они захватывают новые земли, насаждают свои порядки. И только с одной целью— продать. Продать свои изделия. Взамен забрать полезные ископаемые. Как на стеклянные бусы выменивали земли. Ничего не изменилось с тех времён. Поставить свои военные базы. Диктовать свои условия аборигенам. Только всё на продажу. Если узаконить работорговлю вновь, западные люди, ради наживы будут продавать своих родителей.

Ахмат пил чай, укоризненно качая головой. Его спутник, как положено, не открывал рот, пока старший не разрешит. Но охотно уплетал за обе щеки блюдо по рецепту вековой давности.

Отошёл к барной стойке, за спиной бармена сдвинул стаканы, поставил на зеркальной полке бинокль и револьвер.

Посмотрел, как смотрится. Посетители тоже заметили изменения, потянулись к стойке. Эллис, не теряясь, стала бойко предлагать сделать что-то. Она оценила подарки, одарила моих визави своей самой лучшей улыбкой, когда ямочки на щеках появляются.

Ахмат со спутником чуть наклонили головы. Было видно, что она им интересна как женщина, но вида не показывали.

Отправил Эллис смс, чтобы она подготовила с собой в контейнерах блюдо, которое они кушали. Она прочитала, кивнула, что поняла, сделала заказ на кухню.

Они пробыли ещё минут сорок. Из вежливости предложили деньги, я отказался, показал на подарки, вручил контейнеры с едой и сладостями. Было видно, что выпечка пришлась по душе. Проводил до выхода.

Эллис, улучив момент, шепнула мне:

— Шеф! Я, конечно, знала, что вы непростой мужчина, но чтобы водить дружбу с тем, кто держит

под собой всю северную часть города! Его полиция опасается. А он к вам вот так, запросто, да ещё с подарками! Это...—она даже задыхнулась, не могла найти подходящий эпитет.

— Всё в порядке. Я даже не знал, что это такой влиятельный господин! Просто как-то перекусил в той части города в одной забегаловке, когда думал, какое меню составить. Очень вкусно, вот так и познакомились.

— Шеф!—она перебила.—Теперь нас будут обходить погромы мигрантов и террористические акты!

— Неужели вы думаете, что эти господа причастны к терактам?

— Нет. Не думаю. Они здесь давно. Это видно по тому, как они себя ведут. Но их знают все в округе, и те места, в которые они заходят, все бандиты обходят стороной. Это как метка. «Не трогать»!

Пожал плечами.

— Они сделали хорошие подарки. Пусть будет метка. Чем больше посетителей, больше заказов—лучше.

Тем временем социальные сети сделали своё дело. И посетителей, несмотря на дневное время, заметно добавилось. Всех интересовал интерьер. Вот и пришла девушка-блогер. Я её отправил к Эллис. Она общалась с ней, записывая на телефон разговор, постоянно щёлкая дорогим фотоаппаратом.

Я же удалился к себе в кабинет. Там стоял бокал с порцией любимого коньяка. И когда это Эллис успела? Смотрел в монитор, наблюдая за залом, потягивая коньяк, пыхтя сигаретой в потолок.

Главное—движение. Поставил перед собой цель, вот и иди, стремись к ней. А вот если нет цели, то всё. Апатия. Вот сейчас и у меня так. Нет работы по основной линии. Отвлёкся. Достиг цели, а дальше? Эх, достал меня этот бар!

Тем временем конец клонился к закату. Народ всё прибывал. Появилось ощущение, что места может всем не хватить. В подсобке есть три запасных стола и стулья на случай, если буйные посетители разобьют. Отслеживал, может, придётся выносить, но только получится тесновато.

Посматривал на часы. Скоро закончится рабочий день в штаб-квартире НАТО. Реакция этих посетителей мне ценна. Через час она последовала. Восторг. Обсуждение формы, оружия, деталей. Рассматривали фотографии. Было очень интересно наблюдать, как взрослые, немолодые офицеры с удивлением осматривали пивные кружки с картинками, как свои, так и у соседей. Постарался же, чтобы они были малыми сериями. Желательно, учил Эллис, чтобы за одним столом не было одинаковых фигурок, так будет интереснее.

Офицеры тыкали пальцем в картинки, рассматривая детали. И вот пришёл тот, кого я не ждал. Просил же, чтобы он не появлялся без надобности.

А тут целая компания. Знакомые американцы, Тамм, два офицера в форме литовских и латвийских вооружённых сил. И штатский с ними. Судя по тому, как почтительно они с ним общаются, понял, что этот самый Браун.

Эх, Роберт! Что же ты, гадина, рвёшь сердце мне?

Ладно. Народу много, надо помочь Эллис. Вышел в зал. Кивнул ей. Стал собирать грязную посуду, относить на кухню. Всё внимание было приковано к Эллис, к фотографиям. Многие из присутствующих знали меня. Приветствовали. Говорили, что новый ход им нравится. Я смотрел на Тамма. Тот сидел, делал заинтересованное лицо, в тот момент, когда все обратили внимание на Эллис, он сложил указательные и большие пальцы двух рук. Получилось «оо». Знак туалета. Видать, важной информацией располагает, если пошёл на такой риск. Не посылать же его.

Улыбка тронула мои губы.

Отнёс посуду, пошёл в сторону туалета, там уже стоял Роберт. Я поправил полотенца рядом с раковинами, почувствовал, как в задний карман брюк засунул толстую пачку бумаг. М-да. Много информации. Выпрямился, одёрнул пиджак.

Из кабинки вышли, направились к раковинам мыть руки, Тамм направился в кабинку, я же вышел и направился в кабинет. Хоть и чесались руки, чтобы немедленно прочитать бумаги, но с трудом удержался.

Терпение—добродетель! Сам себя уговаривал. Только вот, что делать с информацией?! Если она будет особо ценная, буду выходить, запрашивать связь или связника. Вроде тихо. Сколько я не извращался, но слежку не обнаружил. Нигде.

Стало разбирать зло на себя, на Центр! А как же живут «замороженные кроты»? Годами! Десятилетиями! Они должны «проснуться» только в случае войны или перед самой войной. Это страшно. Постоянно находиться в напряжении. Изо дня в день. Быть в готовности и ничего не делать. Зачастую местная контрразведка страны пребывания больше всего боится таких вот «спящих». Они уже натурализовались, к ним нет претензий и подозрений. Но поступает сигнал, и они вступают в игру. Выявить их очень сложно. Только предательство может их раскрыть. Те перебежчики, как Калугин, Поляков, Гордиевский, предали большое количество такой категории агентов.

Вот и получается, что на случай «Особого периода», когда дипломатов и разведчиков с диппаспортами вышлют из страны, в дело должны вступить ничем не проявившие себя «граждане», а их нет. Предали их. И получается, что командование Генерального штаба ВС РФ, ФСБ, руководство страны не смогут предпринять ничего, ибо будут слепы, глухи, и нет возможности провести диверсионные акты.

Опасаясь, что меня могут перевести в категорию «спящих». Понятно, что место службы не выбирают. Обыватель может мечтать о такой жизни. Легализованный, с небольшим бизнесом вырваться из России. Но вот постоянное, выматывающее бездействие—хуже горькой редьки.

Вспомнился старый анекдот, услышанный в Конторе:

«Вызывает султан евнуха:

—Приведи-ка ты мне мою любимую жену. Привёл евнух любимую жену. Сделал свои мужские дела султан с любимой женой, потом с другой, третьей, четвёртой... Приползает весь в мыле евнух к султану и спрашивает:

—Мой господин как же так, вы свежий как огурчик, а я весь в мыле.

Султан и отвечает:

—Запомни, утомляет не любимое дело, а бесцельное шатание по коридорам!»

Вот и такое нахождение в подвешенном состоянии выматывает душу сильнее, чем хроническое недосыпание, мотание по всей Европе ночью, проведение операций.

Вывел на монитор камеры, где, пусть не очень чётко, но видны составленные столы, за которыми разместились Тамм с компанией.

Некоторые офицеры с удовольствием рассматривали наклейки на кружках, некоторые находили фотографии на стенах, радостно фотографировались с кружкой на фоне идентичных картинок.

Меня больше интересовал Роберт, его психологическое состояние. Или жарко, или нервничает. Пару раз промокнул лоб носовым платком.

Браун выудил из своего портфеля планшет и предложил Роберту партию в шахматы. Жаль, что мне не видно какую партию они разыгрывают.

Понаблюдав за немцем. Он несколько презрительно относился к окружающим. Но то, что радостно потирал руки после удачного, по его убеждению, хода, наводило на мысль, что человек азартный, а Тамм его удивил, потому что умеет мыслить нестандартно, коль выигрывает у него.

Роберт часто смотрел в камеру, словно чувствовал мой взгляд. Извини, Анатолий, извини. У меня связаны не только руки, но и язык тоже. И это ради твоей же безопасности.

Казалось бы—веселись, владыка кафе! Смотри, сколько посетителей! А мне сейчас хоть бутылку коньяка из горла вливай. И на душе кошки скребут. Было желание читать сообщение агента, опросить его подробно, выработать план действий на перспективу. Понять, чего замышляет противник. Передать в Центр. И всё в сжатые сроки. Потому что всё важное, горячее. А ты тут сиди пнём замшелым, прихлёбывай коньяк, запивай кофе. Сиж. Курю. Жду. Наблюдаю. Тоска.

Не знаю, что там за партия в шахматы была, но Тамму удалось выиграть у Брауна. Тот пожал

руку. И сидел, обхватив голову руками, пялился в планшет, пытаясь понять, где он дал маху.

Я поднял бокал с коньяком, за тебя Роберт, за тебя! Молодец! Не давай спуска этому фашисту, что гадость замыслил против нашей Родины.

Время шло, а народу прибывало. Свободных столиков не было. Пришлось выносить дополнительные. Никто не возмущался, что стало тесно. Настроение у публики приподнято-благодушное. Я вышел в зал, стал за стойку, но всем хотелось, чтобы их обслуживала «медсестра». Я взял на себя уборку грязной посуды, передачу заказов на кухню, наливал пиво в кружки, а подавала Эллис. Женщины в зале, когда узнали, что коктейли подают в этих алюминиевых винтажных кружках, пришли в восторг, и посыпались новые заказы. Ну а когда женщины входят в раж, то их сложно остановить. Обычная порция коктейля менее двухсот граммов, но в большой кружке это смотрелось как насмешка. Дамы стали требовать двойные порции коктейлей. Ну а когда увидели, что горячие коктейли, которые поджигают, смотрятся более эффектно, чем в обычных стеклянных стаканах, то заказы посыпались со всех сторон.

Минуло время закрытия заведения, но меньше не становилось посетителей. На место уходящих прибывали новые. Социальные сети сделали своё дело.

Уже под утро ушли последние гости. Эллис пошла, закрывать дверь, я прошёл за стойку, достал фужеры для шампанского по числу всех работников кафе. С хлопком открыл бутылку и разлил.

— Коллеги! Все ко мне! Кухня! Не стесняйтесь! Все! Все подходите!

Работники все подтянулись. Уставшие лица, но довольные. Поднял свой фужер:

— Коллеги! Друзья! Я благодарен всем вам, что помогли мне воплотить эту безумную идею! Я поставил на кон всё, и вы поверили в меня! И у нас получилось! Понятно, что она вечно работать не будет. Надо что-то менять. Но с таким коллективом, думаю, у нас всё получится! За нас! — подставил свой фужер, чтобы чокнуться с подчинёнными.

Эллис подняла свой и произнесла:

— За вас, шеф! За прозорливость мсье Артура!

Остальные загомонили тоже. Чокнулись, выпили. Стали наводить порядок. Дополнительные столы вернули на место в кладовку. Эллис поделила чаевые между всеми. Принесла и мою долю, хотя обычно так не делала. Да и сам неоднократно говорил, что чаевые — коллективу. Посчитал. Хм. Солидно. И тут же подала кассовый журнал. Ого! Пятидневная выручка за день! Очень неплохо! Очень!

Пошёл на выход. Конечно, сообщение от конфиденциального источника взял с собой.

Еду неспешно. Мне ещё не хватало попасть в аварию или чтобы меня остановили, обыскали. Я — сама добропорядочность.

Дома первым делом кофе. Снова кровь бурлит в артериях. Снова я в деле!

Изучил переданное. Раз, другой. М-да. Закурил. А встреча нужна для уточнения подробностей.

Расклад получался такой, что агента проверяли сначала на мелочах, например, проследить, как за Таммом следили, за своими коллегами из Литвы и Латвии. По словам Тамма, его самого отслеживали американцы, как он себя ведёт, не пытается ли предупредить о слежке. Эту проверку он прошёл. Представителей двух прибалтийских стран также включили в группу.

С Брауном у него сложились отношения на почве увлечения шахматами. Немец презирал тех, кто не играет в шахматы. У него был пунктик в голове, он считал, что именно эта игра помогает разрабатывать стратегическое мышление и действовать на опережение, мыслить перспективами, а не заниматься повторами или следовать в кильватере событий.

Определён срок начала операции. 22 июля. Это очень важная дата. В этот день Эстония вошла в состав Советского Союза в 1940 году.

Испытывая к Тамму дружеские симпатии, Браун в составе группы назначил Тамма старшим за координацию в трёх прибалтийских странах.

На шахматной доске появляется новая весомая фигура. Старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, который работал экономическим советником российского правительства в 1991–1994 годах. И располагал широким кругом связей среди членов правительства, правоохранительных органов, в банковской сфере. По словам источника, особый упор делался почему-то, именно на правоохранительную систему.

Аслунд беседовал с каждым представителем прибалтийского государства. Долго, обстоятельно. Его интересовало всё о каждом, его родословная, кто родители, были ли в семье репрессированные, отношение к своей стране, к Европе, США, Израилю, Игил, конечно-де, отношение к России. Много ли там знакомых, родственников, поддерживаете ли отношения. Особый упор он делал, как и Браун раньше, как поведёт себя русское население в прибалтийских странах и вообще всё население, в случае угрозы реальной войны со стороны России. Как поведёт себя население в случае появления в стране открытой оппозиции, призывающей воссоединиться с Россией? Как поведёт себя, если появятся так называемые «зелёные человечки», люди с оружием, в военной униформе, без опознавательных знаков?

Многие ответы его расстроили. Как рассказал представитель Латвии в частной беседе, он заявил о том, что в Латвии накануне выборов

запретили общаться на русском языке. Выгнали с государственной службы много чиновников, которые общались с заявителями на русском. Одного депутата лишили мандата, потому что он при встрече со своим электоратом, говорил по-русски, отвечая на вопрос, заданный на русском. Многие смешанные браки под угрозой распада. Русские чувствуют себя людьми уже не второго, а тридцать пятого сорта. Нарастает озлобленность. И в случае предлагаемого поворота событий многие добровольно примкнули к повстанцам. Как по сценарию Донбасса, некоторые области могут выйти из состава Латвии.

Появился ещё один специалист, но он не контактировал с прибалтами, а только с американцами.

Представитель Литвы, имеющий много родственников в США, неоднократно бывал в Америке, водил дружбу с их представителями в НАТО. За кружкой пива они по секрету сказали, что новый персонаж — это Эхуд Инон. Большой специалист по Ближнему Востоку и игилу. Он обсуждал с американцами переброску большой группы боевиков — выходцев из бывшего Советского Союза в Европу. Но по коридору, организованному американцами, и под их охраной. Чтобы не было никакого срыва и утечки.

И самое главное, представители в НАТО стран Балтии должны были отправиться в свои страны для ведения переговоров в Штабах и с руководством контрразведки страны об организации подконтрольных выступлений антиправительственного толка во второй половине июля.

Тут поневоле закуришь. Не могу я встретиться с агентом, пусть наши организуют встречу с ним в Таллине.

Тщательно спрятал сообщение от Тамма. Точно, он выходит на первый план в плане оперативной работы. И категория его от простого рядового агента становится «особо ценным». Из пешки в дамки.

Только вот я всё ещё нахожусь в патовой ситуации. Зажат со всех сторон и не могу никуда сделать ход. Могу лишь запросить срочную связь. Через тайник или связного. Пусть Центр почешется. Нелегал никогда просто так не будет запрашивать срочную связь, даже находясь в «отстойнике». Или точно срочное дело, либо перевербован контрразведкой страны пребывания. Но чтобы это выяснить, надо сделать шаг навстречу агенту, запросившему встречу. Самое безопасное — тайниковая операция. Посмотрел на часы. Пора спать. День был нервным из-за запуска нового интерьера.

Лёг, но сон не шёл. Это в книгах хорошо описано, что разведчик ложится и мгновенно засыпает, потому что поутру его ждут подвиги на благо Родины. Мне бы так научиться.

Прогонял день перед глазами. Кого видел, кто видел меня, косые взгляды. Фигуры. Спины. Знакомых не было. Повторов тоже не встречал. В десятый раз прокрутил в голове сцену в туалетной комнате возле умывальников. Никто не видел? Не видел. Девушка, что вышла из кабинки, могла через щель, теоретически, рассмотреть? Нет, не могла. Тамм удачно своей фигурой перекрыл такую возможность теоретическому наблюдателю из кабинки. Остальные были пусты. Точно?! Прогнал в голове ещё раз, что видел в зеркало. Да! Они были пусты!

Уснул. Нет. Просто забылся тяжёлым тревожным сном. Врачи в Центре рекомендовали принимать снотворное. Химический сон, всё же сон. Лучше чем отсутствие такового вообще. Но я опасался химии. И не потому что ретроград, а боялся, что снизится реакция, острота восприятия и мышления. Хотя хронический недосып также не влиял положительно на производительность мозга и нервную систему в целом.

Первым делом, прибыв на работу, я отправил электронное письмо, в котором в зашифрованном виде потребовал срочную связь.

А в ответ — тишина. Ни намёка. Конечно, я понимал, что это — вызвать курьера срочной доставки. Но хоть бы чего-нибудь!

Стал ловить себя на мысли, что я, как прыщавый подросток в пубертатном периоде, жду письмо от объекта своего вожделения.

Но ответа не было. Ни по электронной почте, как назло, даже рекламные предложения перестали приходить, ни по интернету, ни в почтовом ящике дома и на работе.

Всегда тщательно штудировал их. Не в целях получить какую-нибудь выгодную скидку или улучшить свою внешность. Зачастую Центр так обеспечивал одностороннюю связь. Шла рассылка по многим адресам, и только разведчики понимали истинный смысл никчёмного предложения.

Так прошло пять дней тоскливого ожидания. Тамм приходил ещё раз с американцами и представителями Латвии и Литвы. Брауна с ними не было. В контакт я не вступал.

Каждый вечер посетителей меньше не становилось. Подумывал, чтобы дополнительные столы установить на постоянной основе, пожертвовав комфортом посетителей. Но пока каждый вечер уносил, а затем вытаскивали. Это становилось своеобразным ритуалом. Как ни странно, посетителям это тоже нравилось. Они снимали на телефоны и выкладывали в сеть.

Лет через сто ученики школ будут изучать нашу эпоху не только по учебникам истории, но и порывшись в архивах социальных сетей. Не зря же говорят, что интернет помнит всё.

И что далёкие потомки увидят? Чем интересовались их прапрабабушки и такие же дедушки?

Упругие зады, накаченные силиконом груди, еда, коттики. И что они подумают о нашем поколении? Поколение потребителей.

Ладно, какое мне дело, лишь бы больше заказывали, да чаевые пощедрее.

А днём опять потянулись на экскурсии ученики. Они приходили в восторг от манекенов и наряда Эллис. Учителя истории что-то рассказывали, но их мало кто слушал. Эллис присматривала за биноклем и револьвером. Ребяшня неоднократно пыталась слямзить раритетные предметы.

Стали заходить какие-то старички и бабульки. Они с умилением рассматривали фотографии. Говорили, что помнят такую вот форму, такие вот предметы.

Эллис предложила включить в меню десерты тех времён и предлагать дневным посетителям, коль алкоголь плохо продаётся днём, разве что туристам.

Попробовали. Самим понравилось, включили в меню. Договорились с учителями, что они и дети будут заказывать эти десерты. Пять процентов от такого заказа получали учителя. Мало кто отказывался. Популярность заведения росла. Только мне от этого легче не становилось. Особо ценная информация, раскрывающая часть замысла противника в отношении безопасности Российской Федерации лежала у меня мёртвым грузом. Да, спрятана надёжно, квартиру надо разобрать полностью, чтобы добраться. Но во время обыска логова грязного шпиона кто будет сильно церемониться? Вот поэтому и нужно переправить её в Центр.

На шестой день поздно ночью поехал домой. В тёмное позднее время хорошо отслеживать ведётся ли за тобой слежка.

В этот раз дважды мелькнули фары. Первая «Пежо». Вторая «Хонда». Вроде и ничего, но уж больно грамотно они выставились, как будто передавали меня. Ничего страшного, ты ждал этого. Ожидал, что за тобой будет «хвост». Не зря тебя вывели из игры. Сиди. Кури. Жди.

Поставил машину. По привычке бросил взгляд на окна своей квартиры. Там был свет.

Нет. Ноги не подкосились. Закурил. Стою, думаю. Обыск? Отчего я до сих пор не арестован? Или решили сначала всё вывернуть, а уже потом, по итогам обыска, решать, арестовывать меня или нет?

Стараюсь не озиаться, вряд ли мне дадут далеко уйти. И так? Что в сухом остатке? Немного. Вдох-выдох. Затяжка — выдох. Конечно, можно позвонить в полицию, заявить, что в моей квартире неизвестные, а потом посмотреть, как полиция разбирается с контрразведкой, а потом наоборот. Под шум-гам попытаться незаметно покинуть авансцену, перенести действие на несколько этажей вверх. А затем? Что ты получишь помимо

морального удовлетворения в виде маленькой мести? Злость на себя. А дальше? Уходить? Уйду. Трое суток отлежаться, тогда накал поисков спадёт. Вынуть из тайника запасной комплект документов и уйти в Германию, оттуда морским маршрутом покинуть Европу. Почему морем? Проще. По привычке, по инерции мышления, перекрывают аэропорты, железную дорогу, конечно, автодороги. На морское судно совершенно не обязательно попадать через трап, проходя таможенное оформление. Достаточно залезть в контейнер перед погрузкой. Немного неудобно, нет комфорта первого класса, но потерпеть сутки можно. Потом покинуть. Деньги творят чудеса. Сто тысяч евро хранится в другом тайнике на непредвиденный случай. Будь то эвакуация, покупка чрезвычайно важной информации или на «особый период». Попробовать удрать? Достал телефон, кручу в руках, думаю, взвешиваю. Мой побег — лучшее доказательство, что я шпион. Тогда начнут отрабатывать все мои контакты, в том числе и фокус с фотографиями. Я очень гордился тем, как всё придумал и провернул. Вдохнул. Гордыня — грех.

Много людей видело, как я тогда общался с Таммом. Известна им явочная квартира? Не исключено. Но проверить поездки Тамма не составит труда. Вспомнят опять же Анну — девицу с пониженной социальной ответственностью. Кто познакомил? Я. На месте контрразведки я бы подполковника взял бы в оборот. Тем паче что включили его в секретную группу. Загонят его на полиграф, и всё будет ясно. Тамм — агент русской разведки. И это всё из-за моего побега. А если я останусь? Арест. Передадут французам, т. е. сами меня увезут от Тамма. Скотобойня?

Ну скотобойня, так скотобойня. Там нет прямой связи с русской разведкой. Нет, конечно, какой палец ни уколи, а всё равно больно. Но в этом случае получаем минимальные потери. Центр тоже не будет стоять в стороне, молча наблюдая за происходящим. Будут предприниматься попытки для вызволения.

Когда проводил мероприятие по мясокомбинату, то, конечно, была выстроена легенда. Не очень толковая, но есть. Нужно ещё послушать, что они мне предьявят.

Отчего-то представилось, как металлические браслеты защёлкиваются на запястьях. Холодные, ледяные, как будто из морозилки. Невольно покрутил кистями рук. Медленно пошёл в сторону подъезда.

Психологи рекомендовали в Центре, что нужно настраивать себя на ситуацию, на драку. Для этого прокручивать в голове какую-то соответствующую песню. Но голова была забита мыслями, и не мог вспомнить ничего подходящего. И только сама всплыла пошлая песенка «У самовара я и моя

Маша». Может, и слышал её только раз в жизни, и то мимоходом:

У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно.
Как в самоваре, так кипит страсть наша!
Смеётся месяц весело в окно...

Всё как по тексту песенки. И на дворе уже темно. Ночь глубокая. И в мозгу мысли кипят как в самоваре вода. Смеётся месяц весело в небе. Вон как сияет в небе. А Маша? Ну, сейчас познакомимся. Глядишь, будет там и какая-то Маша, да не наша. Эх.

Странно устроено наше сознание. В голове выскакивают приказы, инструкции, как вести себя во время задержания, ареста. Беседы с бывалыми, провалившимися разведчиками, как они себя вели, какие методы применяли к ним. Всё из глубин памяти, как поплавки, выскакивали мгновенно. Сознание перерабатывало в соответствии с обстановкой и предполагаемым развитием сценария, выдавало рекомендации. Чувства обострены.

И тут же откуда-то лезет чушь, отвлекая от важности, судьбоносности момента.

Если бы это шпионский фильм, то я должен быть рвануть ворот рубашки и разгрызть ампулу с ядом, защитой в угол воротника. Или же разломать пломбу в зубе, под ней тоже ампула с ядом. И принять яд, чтобы не достаться врагам.

Но яда нет. Или финансирование обрезали по этой статье, или фондов для меня не хватило. Яда нет. Буду бороться без него.

Из темноты позади раздалась быстрые шаги. Плечи вперёд, сгруппировался, готовый к удару в спину. А ну вас, ребята, на хрен! Пляшем!

Развернул плечи. Они же не представляются, сначала стреножат, а потом документы показывают. А до этого можно и душу пару раз отвести. Я же драчливый француз, чёрт побери!

Молодой мужчина обогнал меня, немного повозился с замком на входе, открыл дверь, обернулся ко мне и на хорошем французском, с небольшими особенностями, обратился ко мне:

— Проходите, мсье. Я жду, — нетерпеливые нотки слышатся.

Раз приглашают вежливо, значит, тоже неплохо.

Небольшой акцент, пожалуй, это из-за местности, где он проживал длительное время. Если не ошибаюсь, то это Лангедок. Времени у нас много, присмотрюсь, поговорим. Прохожу мимо. Молодой, тридцати пяти ещё нет. Видно, что регулярно посещает спортзал. На лице видно, что нос картошкой — сминали не раз. Уши поломаны. Запястья у кистей рук, что моя лодыжка. Наверное, мёртвой хваткой обладает. Ничего, гортань не имеет мышечного корсета. Короткая куртка. Если пистолет есть, то в наплечной кобуре, сзади

не спрячешь. Мелькает шальная мысль затеять драку. Но тут же гоню её.

Сзади топот ног бегущего. Оборачиваюсь уже в подъезде. Догоняет тоже молодой, примерно таких лет, что и первый. В костюме. Ночью встретить человека в костюме в Брюсселе? Бизнесмены спят уже. Значит, государственный чиновник. Хотя у них мало кто соблюдает дресс-код. Тоже любитель физкультуры, но более гибкий. Широкие плечи, костяшки кулаков сбиты. Крепкие многолетние мозоли.

Если тот, что меня встречал, похож на боксёра или борца, то вбежавший — на мастера рукопашного боя. Оба видно, что закалённые бойцы. Ну что же... Русские не сдаются, мать вашу! Выдох. Готов!

Первый:

— Чего так долго?

Второй. Явно местный:

— Так. Надо было кое-что сделать. Потом расскажу. Пошли.

И они потопали за мной. Понятно. Один француз, второй местный. Чук и Гек. Два друга — Метель да Бьюга. Я первый стоял у лифта, вызвал.

Один подошёл ближе к двери, второй за спиной. Конвой или грабители? На районную гопоту явно не похожи. Скорее уж конвой.

Пришёл лифт, распахнулись двери. Я жестом показал «французу» пройти вперёд, не отталкивать же его. Потом вошёл сам. «Голландец» за мной.

«Француз» мне:

— Мсье, чего вы ждёте? Нажимайте на свой этаж.

Послушно нажал. Ладони предательски вспотели.

Вот и мой этаж. «Голландец» подвинулся, пропуская меня на выход. Вышел. Двери лифта захлопнулись, и лифт уехал. Стою, слушаю. Последний этаж. Фу!

Нервы ни к чёрту! Это же надо было так, глупо получилось. Вдох-выдох. Ну а что там дома у меня? Странно. Тихо за дверью. Не слышно звуков передвижаемой мебели, отдираемых дверных косяков. Вообще ничего. Но свет-то горит! Я же не идиот, который оставляет свет в квартире! И уходил я, когда основательно рассвело!

Решительно вставляю ключ в дверную скважину. Открываю дверь. Квартира целая. На кухне горит свет. Ничего не пойму. И тут мне в нос ударяет запах. Нет не так! Запах. Запах жареного мяса! И не просто мяса. А так готовили дома. Его готовил отец. Редко, по праздникам, и это был настоящий праздник! Не может быть!!! Папа? Нет. Папа дома.

Из кухни выходит... Отец!!! Он! Он в моём фартуке, в руках полотенце, вытирает руки.

Остановился в шаге от меня:

— Ну здравствуй, сын!

Я кинулся к нему! Обнял. Не знаю, но меня начала колотить мелкая нервная дрожь. Я прижимался

к нему. Папа! Папа! Как же мне хреново, если бы ты знал.

Вслух не произнёс ни слова. Я не знал, «чи-стая» ли квартира. Просто к сыну из Франции приехал отец.

Мелькнула мысль, а откуда у него ключ от квартиры. Потом отогнал её. Я со своим напряжением совсем забыл. Разведчик отправляет в Центр копии всех ключей, коды от сигнализаций. Даже если квартира чужая, а дубликат нет возможности сделать, фотографируешь, отсылаешь снимки. Потом на 3Д-принтере изготавливают пластиковую заготовку, а уж по ней — ключи.

Папа, папа! Я оторвался от него и поцеловал в щёки. Он сам отстранился.

— Раздевайся, мой руки! Мясо уже готово. Ты чего почти полчаса на улице делал?

Я показал пальцем в потолок, покрутил:

— Извини, отец, я не знал, что ты приедешь. Не убрался в квартире.

Папа самодовольно усмехнулся:

— Если ты по поводу прослушки, не волнуйся. Всё чисто. Не было ничего. Но на всякий случай установили тебе вибраторы на окна, батарее и пару глушилок. Энергии будут потреблять много, но, думаю, коль у тебя в кафе дела пошли в гору, для тебя не составит труда погасить долг по электроэнергии.

Я был готов разинуть рот от удивления. Папа сам всё провернул? Вряд ли. Тем паче на батарее вибрирующие «глушители».

Можно сидеть в подвале дома и, используя аппаратуру на основе сейсмологии, отстраивать звук по этажам. Батареи у всех большие, плоские, прекрасно работают как большие микрофоны, передавая в систему отопления какофонию звуков. Надо просто, используя систему фильтров, вычленишь то, что тебе необходимо.

Отец снова улыбнулся:

— Не переживай. У тебя бригада технарей поработала на славу. Не волнуйся! Ну давай, сначала поедим!

На столе в декантере плескалось красное вино. Неужели?

Отец поставил на стол большое блюдо с запечённым мясом. Я долго втягивал носом запах. Казалось, что этот чарующий запах из детства заполнил мне голову.

— Это то самое мясо по-бургундски?

Отец кивнул. Достал тарелки, стал раскладывать:

— А это, — вилок показал на декантер, — бургундское. Лучшее, что смог разыскать в этом месте. Не было времени носиться по магазинам.

Отец налил по бокалам вино. Я посмотрел на него. Сдал внешне батя, постарел. Плечи опустились. Кожа немного провисла на лице и шее, на висках стали проступать вены, глаза сильнее выцвели. Но он! Мой отец! Мой любимый, обожаемый папка!

Папа поднял бокал:

— За встречу, сынок!

— За встречу, отец! Спасибо, что приехал!

С трудом сдерживал слёзы, готовые покатиться из глаз. Сам старею. Тестостерона, видать, мало осталось, коль глаза на ровном месте в командировке.

Не мог же папа сесть в самолёт «Москва—Брюссель» и примчаться ко мне. Минимум три страны сменить надо, чтобы запутать следы. А он уже не молод.

Не до конца прожевав мясо, отец, слегка запрокинув голову:

— Ты давно уже приехал. Чего делал на улице?

— Думал, что хвост. Свет в окне горит. Полагал, что задержание со всеми вытекающими.

Папа отложил вилку, взял бокал с вином, через него посмотрел на меня:

— Разумные опасения, и приказ был, что ты в опасности. Но там не хвост был, а контрнаблюдение. «Покрышка». Нет ли за тобой слежки. Слежки нет. — Ангелы-хранители, — я тоже взял бокал.

— Эти ангелы-хранители могут и ангелами смерти стать. Всё зависит от полученного приказа, — отец пригубил вино.

— Слышал, — я тоже отпил из своего бокала. — Чего тебя отправили? Помоложе не нашлось?

Чуть заметно улыбнувшись уголками глаз, папа посмотрел в глаза:

— Нужно было время, чтобы организовать встречу. Пароль-отзыв. Оба бы нервничали. Лёгкая степень недоверия. Свидание бы проходило на нейтральной территории. Опять же охранение и прикрытие выставлять. Ты же под подозрением. И у местных и у наших тоже. Встреча, как я понимаю, очень важная. Зная тебя, все понимают, что паниковать ты не станешь и попусту требовать встречу, когда ты, возможно, «под колпаком», не будешь. Ну и не надо скидывать со счетов, что переметнулся.

Я поперхнулся. Скорее глоток вина. Отец продолжил:

— А родного отца, решили в Центре, ты сдавать не станешь. А сдашь, так и невелика потеря. Пенсионер. Попыток не выдержит. Стариков не пытаются поэтому. Много не расскажет. Так, о делах давно минувших дней. Так что всё верно в Центре просчитали. На самом деле, бес их знает, отчего мне поручили. Может, свободных под рукой не было. Не «светить» же «чистых» дипломатов.

Насмешливо посмотрел мне в глаза.

Я покачал головой. Конечно, знал, что в Центре параноики, иначе и быть не может. Но не до такой же степени! Молча встал, повозился с тайником, принёс сообщение от Тамма, положил перед отцом. Сам сел и продолжил поздний ужин.

Папа достал очки из кармана, принялся читать, изредка прикладываясь к бокалу с вином.

Закончил читать. Убрал очки и только тогда посмотрел на меня, немного помолчал:

— Знаешь, я бы тоже запросил экстренную встречу, и плевать на «колпак». Ты именно это сообщение хотел в Центр передать?

— Да! — кивнул.

Отец достал телефон и отправил кому-то сообщение, просто один знак.

— Знаешь, я смотрел, как осматривают техники твою квартиру, а я хотел найти тайник. Должен же быть у тебя тайник! Но так и не нашёл! Молодец! Тот, про который ты написал в Центр, пуст, только пара тысяч евро. Значит, ты соорудил второй. Подумал, что он должен быть на виду. Осмотрел, но так, чтобы не разрушать квартиру. Не увидел.

Пискнул мобильник отца. Он вытер рот, встал: — Я на секунду отлучусь.

Забрал сообщение от агента и вышел на лестничную площадку, тут же вернулся, уже с пустыми руками. Улыбнулся:

— Всё в порядке.

— Не в порядке, папа. Я не в деле. Как бы ни вывели на «консервацию» или домой не отозвали. — Всё в порядке, — отец откинулся на спинку, закрыл глаза. — Слушай. Это письмо тебе на старый ящик для экстренной связи с человеком со скотобойни:

«Дорогой, мсье Арно!

Пишу вам с другой страны. Понимаю, что во всём виноват я сам. Вы меня неоднократно предупреждали, учили, как надо поступать. И никому не говорить, даже жене. Но так получилось. Несколько лет назад жена нашла у меня деньги от вас. Она была в шоке от суммы. Я был сильно пьян и в кураже. Я ей и рассказал, за что мне доплачивают. Часть денег отдавал ей. Всё шло неплохо. Но она стала снова ворчать, что денег мало. Я психанул и ушёл к своей молодой любовнице. А жена пошла в полицию, где выложила, как я зарабатываю деньги. Потом она позвонила мне и поведала про визит к полицейским.

После этого, мсье Арно, я достал из тайника припрятанные денежки и рванул в тёплые края. Купил домик, устроился на работу по прежнему профилю. Но... Прошу понять меня правильно! Мне нужно здесь встать на ноги. Я вас не предавал и не собираюсь этого делать. Но не могли бы вы мне перечислить на счёт №... сумму. ...

Я благодарен вам за помощь, которую вы мне оказывали. Никогда не забуду ту теплоту, с которой вы относились ко мне. Если что-то понадобится в..., где я сейчас, то с готовностью и радостью помогу вам, на прежних условиях.

Ваш верный друг...»

Папа открыл глаза, налил нам вина, чокнулся, сделал глоток. Положил порцию мяса мне и себе, стал закусывать.

— Я понимаю, что «Арно» — это ты?

— Я. Насчёт денег. И что? Перечислили?

— Ага, — у отца был полный рот пищи. — И напоминание тоже отправили. Отрезанную голову обезьяны на порог его домика.

— Он на бойне работает, смерть каждый день видит.

— Оторванные языки не каждый день у отрезанной головы, — он парировал.

— А страна?

— Африка. Одна из франкоговорящих стран, откуда нет выдачи. Может, и привлекут к сотрудничеству. Посмотрят, понаблюдают. Так что сейчас всё проверят во Франции, в Африке и через недельки три, глядишь, и выведут из «спячки» тебя.

— На месте французов я бы не оставил это тело в покое. Мир не такой большой, как кажется. Как бы он «сольную партию в опере» не исполнил, — заметил я.

Отец неопределённо пожал плечами:

— В Центре прорабатывали этот вопрос. Отправится вслед за мартышкой, что на пороге он нашёл.

Я усмехнулся:

— Кто бы сомневался. Я это так, на всякий случай спросил. Может, в Конторе порядки изменились. Санкции на Россию наложили, а наши притихли. Делать-то нечего, вот и всякая ерунда в голову и лезе, — пояснил я.

Отец смотрел чуть снисходительно, с небольшой иронией в голосе:

— А то, смотрю, тебе свою энергию девать некуда, так своё заведение раскрутил, что кулинарные и туристические сайты только и забиты информацией. «Ах, как прекрасно!», «О! Это так необычно!», «Это так познавательно! И атмосфера того времени и рецепты блюд! Я взяла рецепт у барменши. Не совсем полезно, но очень сытно. Семье понравилось! Кому надо — могу поделиться этой маленькой тайной!» Ну сообщения, считай, как лозунг: «Вау! Супер! Круто!» — сотни, если не тысячи. Так ты подумай, стоит ли тебе возвращаться на Родину и к основной работе. Станешь знаменитым ресторатором. Начнёшь расширяться. Скупишь ближайшие кафешки. Сделаешь их тематическими: «Первая мировая война», «Вторая мировая война», «Холодная война» и так далее. Улица большая. А? — он хитро смотрел на меня.

— Издеваешься? У меня это заведение во где! — я чиркнул себя ногтем большого пальца по горлу. — Надо же было чем-то занять сознание. Вот и занимался продвижением «Бегемота». Очень боялся, что «законсервируют» меня до «особого периода».

— Я изучал в интернете. Знаешь, мне понравилось. Кафе «с изюминкой», с «душой», так про тебя написали. И я согласен.

— Так давай, сходим поутру ко мне. Я всё покажу. — Нет, — он отрицательно покачал головой. — Не могу, утром в путь.

Посмотрел на часы, скоро светает. Так мало времени! А надо поговорить о многом! Как жалко! — Хватит о делах. Расскажи, как дома? Как мама? — Мама твоя, как всегда, востребована, не сидит на месте. Всегда в делах. То люди, то переводы. Ну и дом на ней. Были у твоих недавно, буквально накануне отъезда.

— И как они? — в душе всё замерло.

Он понял всё. Улыбнулся широко:

— Не переживай! Всё хорошо. Жене, конечно, говорить я не стал, что к тебе еду, а то бы напекли корзину пирожков для подарка. А сам знаешь, на таможне сложно это объяснить. Нормально всё! У твоих всё хорошо. Жена тоскует, хлопочет. Старший тоже был дома в увольнении. Так получилось, — папа хитро улыбнулся. — За высокие достижения в учебно-политической подготовке поощрён внеочередным увольнением.

Перехватив мой взгляд, пояснил:

— Конечно, Центр всё устроил. Знали же, что ты будешь спрашивать. Ну и мне тоже интересно. Сидим обедаем. Уплетает за обе щеки, за ушами трещит. Худой, высокий, в нашу породу. Спрашиваю: «Как дела?», отвечает, что нормально. Пытаюсь проникнуть в детали, отвечает: «Извини, дед, не могу! Всё секретно!» И щёки важно надувает. Ну ничего, второй курс «бурсы». Язык неплохо им ставят. Поболтали немного. Дочка тоже язык подтягивает. Бабушка как приезжает, так спуску не даёт, всё только по-французски или на немецком языке. Сам знаешь, с ней не забалуешь!

— Знаю, — кивнул, закурил, выпустил дым. — А жена как? — затаённо спросил.

— Как, как? Ждёт тебя. Трудно ей. Мы с матерью твоей всю службу вместе работали. Бок о бок. В идейном и физическом смысле. А как вы ещё до сих пор не разбежались — ума не приложу! Приезжаешь раз в полтора-два года на месяц. Из них неделю торчишь в Центре. Потом вас забрасывают на Байкал или в тайгу на «объект». Вот и вся жизнь. Как она тебя не бросила ещё? Романтика такая по молодости ещё куда ни шло, а сейчас? Предупреждал же тебя, когда ты влюбился. Потом предлагал под легендой её к тебе вывезти. Сам же отказался, чтобы не подвергать её опасности. Короче! Любит! Ждёт! Был бы я бабой — бросил такого мужа на хрен!

Ну и хорошо! Я тоже её люблю. И нельзя же фотографию носить, на столе поставить. Ни позволишь, ни услышишь, по видеосвязи тоже нельзя. Хотя все говорят и пишут, что всё зашифровано! Вы говорите, пишете, шлите, а мы всё запишем и проанализируем.

— Папа, расскажи мне обо всём! О мелочах. Чтобы я хоть через тебя вдохнуть дым Отчизны мог, как будто дома побывать.

И отец начал рассказ.

Я слушал, варил кофе, курил, пил вино. Представлял, как будто ходил по городу, по дому. Обнимал жену, сына, дочь. Порой комок в горле вставал. Дочь ломала руку зимой, когда на коньках каталась. Я не знал. Рядом не было, чтобы помочь, подхватить, поддержать.

Каждое слово я впитывал, гвоздями забивал в голову, чтобы не забыть. Уотца пискнул телефон. Я уже понял, что пора. Снова почувствовал себя мальчишкой.

— Пора, папа?

— Да! Нам и так дали много времени пообщаться. Понимаю. Передай, что я благодарю. Передам. Чую, сын, что у тебя начнётся тяжёлая работа.

— Поцелуй дома всех. Понимаю, что ничего ты не скажешь, просто поцелуй. Может, поймут. Мне приятно будет.

— Извини, конечно, но мне придётся все эротические игрушки забрать с собой?

— Чего? — у меня глаза округлились, думал, что папа «умом тронулся».

— Не совсем то, что ты подумал, — отец откровенно смеялся надо мной. — С батареей и окон сняты аппаратуру вибрирующую, ну и глушилки тоже. Инвентарь казённый, подлежит возврату. А тебе просили передать три счётчика посещений, три локатора нелинейных. Всё по количеству уничтоженных тобой. Удержат ли с денежного довольствия — не знаю. Приедешь в отпуск — узнаешь.

Папа явно издевался надо мной. Пытался отвлечь от тяжёлых мыслей.

Вместе быстро сняли приборы в виде белых шайб, что были наклеены на окна и батареи. Штатное, стандартное оборудование. «Глушилки» были мощными, хотя по внешнему виду не более пачки сигарет, но энергии потребляли много.

Конечно, хорошо иметь квартиру, защищённую от электронного и аудиоконтроля, но, увы, откуда у ресторатора такая мания преследования? И откуда деньги. Все эти электронные игрушки превышали стоимость моего кафе вместе с запасами и персоналом.

Папа передал мне счётчики посещений и поисковики закладок.

— Не переживай, сынок! О домашних я позабочусь. Там всё будет хорошо. Мы все тебя любим и ждём! Давай, посидим минутку молча, на дорожку.

Присели. Отец молча пошёл в коридор, надел куртку, кепку, порывисто прижал к себе, поцеловал в лоб. Перекрестился на православный обряд. Взял сумку. Она увесистая. Сам укладывал оборудование. Тяжело старику таскать такие веса.

— С Богом! Ждём дома в отпуск. Счастливо!

Вышел. Я подошёл к окну, спрятавшись за шторами, наблюдал, как отец идёт по двору. Он не торопился. Не оборачивался. Знал же старый, что я наблюдаю! Остановился, сумку на землю, снял

кепку правой рукой, левой пригладил волосы, кепку на место, и скрылся за углом.

На кухне вылил остатки вина, выпил одним глотком. Закурил. Переваривал прошедшую ночь. Помыл посуду. Спать мне сегодня не придётся. В душ. Сварил кофе, стоял у окна, смотрел во двор, по которому недавно прошёл отец. Глупо, конечно, но, казалось, я видел его фантом, который раз за разом проходил через двор, поднимал кепку и приглаживал волосы. Помогите, Господи, моим близким! Сделай так, чтобы мы свиделись, и не раз!

Камень с души свалился, почти можно работать. По крайней мере, уже не стоит заниматься самоедством. Команды из Центра приступить к работе не было. Так что находимся в «горячем резерве». Ну хоть не в «консервах». Всё легче от осознания.

Но как в старом анекдоте — нюанс есть «нюанс». А именно те неустановленные лица, которых Эллис опознала по повадкам как полицейских. Вот тогда они укрепили моё подозрение, что меня вот-вот «накроют».

Идти в полицию и наводить порядки — сумасшедшие, вызовут бригаду и наденут рубашку с длинными рукавами.

Пойдём иным путём. Пересчитал наличность. Нормально, хватит.

И поехал я не на работу, а мимо. В северный район города. К пакистанцам. Не знаю, отдыхали когда-нибудь Ахмат, но он был на посту, невозмутимый как сфинкс, всё видел, всё слышал, удерживал в голове сотни комбинаций, криминальных и не очень, которые в этот момент провоцировались по всему Брюсселю.

Я опустил стекло машины, проезжая мимо, шутливо отдал честь, широко улыбнулся. Ахмат улыбнулся в ответ, чуть склонил на бок голову.

Вот и моя любимая харчевня! Хозяин на месте. Народу нет. Тепло поздоровались. Заказал несколько блюд, он удивлённо посмотрел на меня. — Не завтракал я ещё, — пояснил. — А к себе на работу не заезжал, прямо к тебе.

Было видно, что ему любопытно, но сдерживая себя, он лишь улыбался, дал команду приготовить завтрак. Сам вернулся к оставленному чаю. Нельзя в беседе с людьми с восточным менталитетом торопить события. Сначала надо расспросить про семью, дела, как у кого здоровье. Принесли завтрак. М-да. Размер порций был огромен, но и не съесть — обидеть хозяина. Значит, невкусно. Ну ничего. Времени у меня много. Эллис в кафе справится. Не звонит, значит, всё в порядке. Я ел и нахваливал, живо интересовался, как они готовят, какие специи, в каком порядке добавляют. На самом деле было очень вкусно, тут я не лукавил. Дошло дело до кофе с десертом. Не доев и не допив, полез в кошелек, хозяин отрицательно замахал руками, гость же! Обидишь.

— Хорошо, пусть завтрак будет бесплатным. Спасибо! Рахмат, — рука правая на сердце, глубокий поклон. — Но деньги возьми, это по другому поводу.

— Слушаю, — насторожился.

— Мне нужен патефон времён Первой мировой войны. Для антуража в кафе. Не огромный, а среднего размера, в рабочем состоянии, пластинки того времени.

Хозяин закуской недоверчиво покрутил деньги, что-то соображая:

— Ты можешь за треть этой суммы в любом антикварном магазине купить патефон с пластинками, а в лавке старьевщика ещё дешевле. В чём подвох? — лёгкая угроза в голосе.

— Понимаешь, пока меня не было, ко мне в кафе приходили неизвестные с повадками полицейских. Задавали неудобные вопросы персоналу. Ответов не было. Мне нужно узнать, кто такие, чего хотят?

Тот усмехнулся, кивнул головой:

— Понятно. Но может так оказаться, что этих денег будет мало на патефон. Вещь-то антикварная.

Я был готов к такому повороту событий, достал точно такую же сумму:

— Нужно, чтобы патефон и пластинки были настоящими, проверенными.

— Это понятно, — он улыбнулся. — Ложные, пусть даже и очень похожие на правдивые никому не нужны. Сделаю что смогу. Сообщу.

Мы тепло, церемониально распрощались. Ахмат был на месте, кивнули друг другу.

Неделя пролетела быстро. Посетителей по-прежнему было много. И это было удивительно. Обычно наплыв быстро заканчивался. Это проверено было на прежних тематических фотовыставках. А тут даже в дневное время зал был забит битком, столы приходилось дополнительные выставлять. Работы хватало всем. Я тоже принимал участие. Но за моей улыбкой скрывалось раздражение. Я — русский разведчик, а работаю половым, пусть старшим, но халдеем! Тьфу! В шале во Франции и то было лучше.

Тамм не появлялся. Офицеров из штаб-квартиры НАТО прибавилось. Молва о новой экспозиции разнеслась. Им понравилось у меня. Американцы бывали почти каждый день. Плотно ужинали, выпивали умеренно. Пару раз был Браун. С ним были неизвестные штатские. Запись с камер наблюдения я в зале скопировал. Когда закончится «спячка», передам в Москву, пусть идентифицируют личности. Браун с кем попало не будет встречаться за ужином. Он — птица высокого полёта.

Как-то ближе к обеду раздался звонок, это был хозяин пакистанской закуской. Сказал, что привезёт патефон с пластинками.

Зашёл в сопровождении молодого паренька. Эллис, вспомнила его, заулыбалась широко и искренне.

Предложил пообедать. Вежливо отказались. Я трижды предложил, трижды отказались. Сказал, чтобы принесли чай с десертами.

Юноша распаковал патефон. В очень приличном состоянии.

Хозяин горделиво смотрел. Потом пояснил: — Это не просто вещь. А предмет с историей! Вот, смотри. Сбоку видишь длинную, глубокую царапину?

Я посмотрел, кивнул.

— Это след от пули, что прошла боком и чудом не повредила аппарат. Один из первых. Раньше были граммофоны. Большие, громоздкие. И вот в Англии в 1913 году фирма «ДЕССА» стала выпускать патефоны специально для армии. Компактный, в чемоданчике.

Перехватив мой удивлённый взгляд, пояснил: — Пришлось стать специалистом. Изучил вопрос, чтобы подделку не подсунили, — на слове «подделка» упор. — Так вот. Вот тебе фотография.

Протянул фотографию, на которой изображён английский офицер в звании капитана рядом с этим патефоном, царапина была на том же месте, что и красовалась ноне.

Аккуратно подстриженные усы, уставшее лицо, горделивая осанка, фото сделано внутри палатки. Без сомнения, это был тот самый патефон.

Молодой человек из второго кофра с осторожностью извлёк около десятка грампластинок. С каждой он обращался очень бережно.

Поставил одну. Вставил иглу, покрутил ручку, запустил двигатель, бережно опустил головку звукоснимателя и... со скрипом донеслась музыка. Старинная английская песня о море.

Все, кто был в зале, замерли. Все разговоры стихли. Повернули головы в нашу сторону, слушали.

Песня длилась около трёх минут. Потом раздалась аплодисменты.

Юноша остановил патефон, вынул иголку:

— Одна сторона — одна иголка. Запас привезли приличный. Они стираются быстро. Потом начинают убивать пластинку. Вот, — он выложил на стол коробку.

— Спасибо! А как обслуживать? Техника старая.

— Ты мне позвони. Он и придёт. Немного заплашишь. У парня светлая голова и золотые руки! — хозяин харчевни похлопал его по плечу. — Иди, на улице, обожди меня.

— Дай парню хоть чаю выпить! На! За труды! — протянул парню купюру в десять евро.

Тот принял в полупоклоне.

— Бери чай, вон столик освободился, устраивайся, а мы поговорим о погоде.

Хозяин кивнул головой, давая разрешение.

Подождали, когда тот пересядет, я вопросительно посмотрел. Тот цинично, с вызовом улыбнулся: — Полиция работает в этом прекрасном городе великолепно. Ты представь, что буквально через

несколько дней после твоего посещения полицейские нашли и арестовали двух мигрантов из Африки. Оказывается, они выследили пьяного офицера из штаб-квартиры НАТО, избили его и ограбили! Во время обыска нашли часть вещей, в том числе телефон, часы, кольцо. Вот они.

Он достал конверт и вытянул две фотографии. Было видно, что они сняты на камеру телефона. Снимки распечатаны на цветном принтере.

Продолжил:

— Под тяжестью улик и полицейских тумачков полностью признали свою вину. А вот опознание. Офицер опознаёт свои вещи. Сразу. Нападавших — крайне неуверенно, но после подсказки полицейских, — очень уверенно.

Он явно потешался над ситуацией. Выложил снимки, как незнакомый мне офицер в форме канадских ВВС рассматривает выложенные на стол вещи. Фото в фас и профиль. Очень грамотно. Понятно, что делал полицейский в участке.

— Оповестили военную полицию и службу безопасности натовцев. Прибыло пять человек. Одно-го бы хватило. Но, наверное, делать им нечего, вот и катаются на трёх машинах. Фото регистрационных номеров машин. Из них выходят мужчины в штатском. Фото каждого с разных ракурсов. Я не знал, оставит ли мне снимки, поэтому всматривался, запоминая признаки каждого.

Все пятеро опрашивают двоих задержанных. Больше фото не было. Посмотрел на визави.

Тот насмешливо рассматривал меня.

— Эти, — кивок на фото арестантов, — заявили, что преступный умысел у них возник спонтанно, когда увидели пьяного, справляющего малую нужду в кустах. Никого из твоего кафе они не знают, и даже не знали, где оно находится. Понимаешь. Когда офицер заявил об избиении, то опросили его, где сидел, с кем общался, стандартная процедура. То же самое сделали в военной полиции НАТО. Стали крутить вокруг кафе. Выскочило, что твой автомобиль и тебя самого несколько раз видели у нас. Решили, что ты выступаешь наводчиком. Когда сильно пьяный выходит в одиночном порядке, звонишь нам, и мы сообщаем бандитам, что дежурят поблизости. Потом с тобой делятся. Поэтому они и нахрапом пытались запугать твою барменшу. Ну и нам лишнее внимание из-за этих приезжих не нужно. Мы живём своим миром. А эти... — зло, резко ткнул пальцем в фотографии арестованных, — привлекают ненужное внимание к нашему району. Поэтому всё очень хорошо получилось. Они также заявили, что никого не знают. «Отрабатывали» прохожих только вдвоём. В северной части города не были, потому что там, как слышали, нет богатых туристов. Поэтому ты чист, ну и мы в глазах полиции чисты.

Он был доволен произведённым эффектом.

— Сколько я ещё должен? — спросил я.

— Ничего, — великодушный жест. — Мы сами заинтересованы в своей честной репутации, — хитро подмигнул.

Я стал складывать фотографии в конверт. Вид у меня решительный, чтобы даже мысли не было попытаться забрать их. Но похоже, они ему и не нужны, если есть снимки на носителе.

— Будут проблемы или понадобится антиквариат — обращайся. Ахмат оценил твоё доверие к нам и щедрость. Велел передавать, что всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. Ты поэтому тогда к нам приезжал, что почувствовал слезку?

Я молча кивнул. Зачем врать? Не надо.

— Мы сейчас всё поняли. Надо было сразу рассказать, быстрее бы нашли этих хвастунов. Они очень гордились, что избили офицера, и добыча, по их меркам, была большая. Больше времени заняло, чтобы найти украденное и положить им домой. Ну тебе это знать не обязательно! — он снова щедро улыбнулся, встал, протянул руку.

Я пожал ему. Юноша закончил трапезу. Вдвоём они вышли на улицу.

Собрал посуду, отнёс в моечную. Поставил патефон на барную стойку, туда же и пластинки и иголки. Эллис вернулась на рабочее место, объяснил, как пользоваться. Рядом поставил фотографию. Она захлопала в ладоши как маленькая девочка! — Мсье Артур! Ваши друзья прямо волшебники! Предмет с историей, да ещё в рабочем состоянии!!! Это просто хит сезона! Если вот так удастся удерживать внимание посетителей, каждую неделю добавляя какой-нибудь раритет, то...

— То через год не будет места для посетителей, а кафе переделаем в антикварный магазин! — перебил насмешливо я. — Но идея хорошая. Подумаю. Скажите, Эллис, вы помните тех мужчин, которых вы приняли за полицейских?

Она сразу сникла. Кивнула.

— Я сейчас вам покажу снимки, просто посмотрите, кто-нибудь был тогда?

Достал снимки, где были неизвестные в штатском. Она перебирала. Отложила два.

— Вот эти господа. Я их хорошо запомнила. Этот всё норовил грудь у меня рассмотреть, а этот — напирал, угрожал, — прикрыла рот испуганно ладошкой. — Ой! А откуда у вас фотографии? Мсье Артур? Всё в порядке?

Успокоил её, вкратце пересказал историю со счастливым концом, опуская щекотливые подробности. Она успокоилась, промокнула вспотевший лоб.

— У-ф-ф! А то я тогда так испугалась. Вот ведь какие мерзавцы! Она рассматривала фото мигрантов. Столько хлопот из-за них! Но полицейские — молодцы! Нашли!

Я с ней был солидарен. Правда, не был до конца уверен, настоящие грабители или их «назначили» на эту роль по согласованию с Ахматом,

чтобы не мешали в каких-нибудь делах. Но мне было всё равно. Главное, что подозрения рассеялись. И француз живёт в Африке, коллеги за ним присмотрят, и здесь военная полиция не будет видеть во мне наводчика для малолетних преступников.

Тамм встретится в Таллине с людьми из Центра. А потом уже примут решение по форсированию операции. Хорошо! И с отцом повидался. Надо доложить в Москву и ждать команду на действие. Эх! Замечательно! Хотелось петь!

Эллис смотрела на меня с уважением:

— Мсье Артур сумел завести дружбу с полицейскими, — в голосе не вопросительные, а утвердительные нотки. — А вы недавно в стране. Я думала, что вы посмеялись над моими словами про полицейских. Я их за лъё чую. Быстро вы разобрались.

В голосе, интонации, взгляде, позе чувствовалось уважение.

— Милая моя Эллис, прошу вас, пусть то, что вы сказали, а я вам показал и ответил, останется нашей маленькой тайной. Хорошо?

— Конечно, мсье Артур! Есть, шеф! — она показала, как будто застёгивает рот на замок-«молнию».

Собрал фотографии, ушёл в свою каморку. Спрятал фотографии. Я их потом отправлю в Центр с пояснениями. Пусть идентифицируют военных полицейских. Оказывается, есть угроза откуда и не предполагал. Они могли запросить во Франции обо мне информацию. Всё чисто. Обычный гражданин, предприниматель средней руки. Фото «мяснику» они не могут показать. Да и надо понять, что Арно и Артур одно лицо.

Я не расслаблялся следующие две недели. Общественно-показательный хозяин кафе. Несколько раз заходил на сайт поставщика, подключался к камерам видеонаблюдения, чтобы посмотреть, не появился ли Тамм. Не наблюдал его ни утром, ни вечером. И Центр молчит.

Зато бар процветал. Патефон заводили по нескольку раз за вечер по заявкам посетителей. Всем нравилось слушать этот искажённый звук, с повизгиванием, полусшептанием. Звук, которому более ста лет. Рядом с патефоном красовалась фотокарточка первого владельца. И все отмечали пулевое «ранение» раритета.

И вот так, из уст в уста, с использованием социальных сетей, не вкладывая ни евроцента в рекламу, моё заведение стало входить в ТОП-30 питейных заведений Брюсселя.

Но наконец-то я обнаружил у себя в почтовом ящике рекламный буклет, призывающий меня посетить Индию. В Индии не был, да, и не рвусь особо, надо много прививок делать, чтобы не заболеть, да и с английским у меня не совсем хорошо. Для туриста пойдёт, а вот вести подпольную оперативную работу — не солидно, надо подучиться. Ну а хинди я вообще не знаю.

Но в Индию я не собирался. Знак, что тайник для меня заложен. Значит, пойдём кормить водоплавающих птиц в парке. Ох! Я возвращаюсь в строй! И это хорошо! Самое страшное наказание — тягостное ожидание в безвременье.

Хотя, честно говоря, я полагал, что место помешают, коль было подозрение на компрометацию проведения мероприятия. Ну что же, Москве виднее, полагаю, что они проверили всё как следует.

Рано поутру одет в спортивный костюм, кроссовки, приехал на машине, пробежался неспешно, а как ещё может бежать мужчина в моём возрасте, много курящий? Да и не рекорды мне ставить надо, а оглядеть парк. Тихо. Есть, конечно, любители утренней физкультуры, счастья на их лицах не замечаю. И это нормально. А вот если притворно-оптимистические были бы — засомневался в их искренности и мотивации. Пришлось бы ещё круги наматывать.

На берегу озера остановился, машу конечностями, наклоны, оглядываюсь, нет никого, подбираю камень, руки в «замок», перед собой, махи влево, вправо, сверху вниз, как будто дрова рублю. Между ладоней контейнер.

Разогрелся. Хм. А может, начать по утрам вот так бегать? И тогда точно примелькаюсь в этом парке. А если место сменят?

Также трусцой добираюсь до машины. Камень под ляжку. Домой. С сумкой поднялся к себе. Осмотр контейнера. Чисто, «контрольная метка» на месте. Не трогали, не вскрывали. Осторожно извлекаю тоненькую, почти невесомую бумагу. Ого! Судя по размерам, сообщение не будет состоять из нескольких предложений. Придётся покорпеть над расшифровкой. Вот только книга у меня для этих дел на работе.

На душе легко. Готов снова побегать вокруг озера. Сил много. Я в строю! Я снова в строю! В мозгу эта мысль засела глубоко.

Первый на работе. Открываю дверь, снимаю с сигнализации. В зале ещё не совсем проветрилось после вчерашнего вечера.

Вот моя каморка. Дверь за собой закрываю, вывожу на монитор камеру, что смотрит на вход.

Начинаю медленно переводить язык цифр на понятный. Выписываю слова. Приличный объём.

Смысл послания, без подробностей:

«После анализа происшедшего установлено, что вашей вины в провале операции „Фабрика“ нет. Ваш ки взят под оперативное наблюдение. В случае попытки выйти на него из страны прежнего пребывания спецслужб будут приняты меры по нейтрализации источника. Прежнюю связь с ним рассматривать как отвлечение сил и средств на негодный объект.

С Анатолом состоялась контрольная встреча. Информация нашла частичное подтверждение из других источников. Необходимо установить

непрерывный оперативный контакт, перейти на учащённый график встреч. Информацию подтвердить документально. Для этого вам передаётся „Изделие №157“. Для реализации операции вам готовы предоставить необходимые силы и средства. Разрабатывается, при необходимости, план эвакуации Анатоля. Жизнь и здоровье источника носит приоритетный характер. Проведение операции взято на контроль №5».

Всё понятно? Если непонятно, то поясню, заодно и сам уясню ещё раз. «Мясника» по боку. Его попытаются завербовать в Африке. За деньги он делает всё. Если французская контрразведка на него выйдет, попытаются завязать оперативную игру по пропихиванию им дезинформации, заодно вскроют сеть разведчиков и контрразведчиков.

Если агент начнёт двурушничать или станет предателем, то его ликвидируют посредством несчастного случая. Африка — там возможно всё! Начиная от несчастного случая, типа съел крокодил, вплоть до внезапной остановки сердца. Патологоанатом местный за триста долларов укажет вам в исключении любую причину смерти, замаскирует истинные причины кончины французского эмигранта. Я не должен отвлекаться на него. Если вдруг каким-то чудом он выйдет на меня — игнорировать, считать провокатором, немедленно информировать Центр, тогда его бранным телом займётся выездная бригада «душеприказчиков».

Это, что касалось первого мужика. Относительно Тамма. Тут всё сложнее. Что сразу вызвало лёгкое волнение в душе, так это то, что операцию на контроль взял «№5». Это — директор ФСБ. У него дел не впрокорот. Ему докладывают сотни документов со всего мира и России ежедневно, а если он пометает, что ставит на контроль, считай, что хана. Отчёты будут требовать еженедельно. Учащённый график встреч с источником ведёт к тому, что агент или начнёт суетиться и допустит ошибки, которые могут привести к провалу всей очень важной, по мнению Москвы, операции. Я же получив информацию, должен немедленно передать её в Центр. Каждое тайниковое мероприятие связано с большим риском. А учащённые — с тройным. Ну а после визита военных полицейских, понимаю, что попал в их базу как подозрительный контакт офицеров из штаб-квартиры НАТО.

Изделие «№157» — это авторучка с виду. Ни одной металлической детали. Внутри фотоплёнка, нажатие — выскакивает стержень, пиши как обычной шариковой ручкой. Двойной щелчок, затем щелчок — микроточка. Микрофотография. Кто-то скажет, что «фи»! В мире цифровой фотографии, аналоговое фото — это как легендарный танк Т-34 на современном поле боя. Но, как говорится, «есть нюанс».

Зачастую при посещении специально выделенных помещений для работы с совершенно

секретными документами сдаются все металлические предметы, включая брючный ремень. Происходит сканирование на наличие электронных носителей и на всякий случай производится электромагнитный импульс. Для человека здорового безвредный. Конечно, при наличии кардиостимулятора форменные ботинки поменяют на тапки белого цвета, но больные в армии службы не проходят.

Импульс выводит из строя все электронные носители. И вот как протащить в такое защищённое помещение средства фотофиксации? Только аналоговая светочувствительная плёнка. Она не предназначена для портретной съёмки, но для фотографирования документов в самый раз. Держать вертикально над объектом, высота не более полутора метров. Конечно, видеоискателя нет, но ничто не совершенно. В Центре потом оцифруют, устроят огрехи, главное, чтобы читался текст.

Стоит такое «изделие» как хорошая машина. Товар штучный, производится в России.

И подчёркивалось, что жизнь и здоровье агента — первоочередная задача. При необходимости его эвакуируют. Про меня — ни слова. Немного, глубоко в подсознании, маленькая обидка царапнула. Я же штатный сотрудник! Но коль Центр принял такое решение, а он основывается на многих данных, полученных из различных источников, значит, так оно и есть.

Отмечено особо, что информация от агента подтвердилась частично. Значит, не врёт, значит, достоверна, значит, что я на правильном пути.

И самое главное! Я снова в деле! Снова вывели меня шахматное поле! Я в игре! Уф! Сняли с «консервации». У военных техника, когда находится на площадке консервации, имеет два значения: «НЗ» — «неприкосновенный запас» и «ДХ» — «длительного хранения». Мне бы не хотелось попасть ни в одну категорию, равно как и проваленным агентом, и сидеть в Москве, в Академии — «бурсе», рассказывать курсантам-слушателям о своей героической работе на фронте нелегальной работы. Они будут слушать раскрыв рот, но понимая в задней части подсознания, что, дядя, ты провалил задание. И будут извлекать уроки как не надо работать. И быть для них отрицательным примером не хочу. Хочу просто работать!

Теперь осталось дожидаться возвращения Тамма из Эстонии. Три дня тянулись. В голове крутились вопросы. Нарастало беспокойство внутри, не случилось ли чего? Центр молчал. Думаю, что Москва в Эстонии держит его под контролем и охраной.

И вот звонок на автоответчик с заказом столика Доминику. Для меня это звучало как музыка. Как шлягер! Это прекрасно! Это замечательно!

Явочную квартиру я «оживил» сразу после получения сообщения из Центра. Забросил продукты, напитки, сам убрался, шторы распахнул,

проветрил квартиру. Казалось, что мои страхи, переживания вынесло из квартиры свежим ветром. Прошёл по квартире техникой в поисках «жучков». Верить никому и ничему нельзя! Даже пустой квартире. Чтобы не попасться на «режим мнимого благополучия» от противника. Чисто.

Эх! Жду Тамма, сварил кофе, потягиваю, поглядывая в окно. За пять минут до встречи вошёл во двор Анатоль, неспешно, но целенаправленно, как к себе домой после трудового дня. Слегка усталой, вразвалочку походкой. Не военной походкой, я бы сказал. Хорошо с ним наши поработали. Успели, наверное, многому научить.

Звонок по домофону, дверь уже толкает сам, без звонка. Закрыв дверь на замок сам. Жду в дверях кухни, улыбаюсь в тридцать два зуба. Неожиданно он обнял меня. Искренне, порывисто. Потом отстранился, подал руку:

— Ну, здравствуйте! — по-русски, искренне, от души.

— Bonjour monsieur Robert! — приветствовал его я, улыбаясь.

— Понятно.

Он перешёл на французский язык.

Налил ему кофе. Он достал из объёмистой сумки, поставил на стол бутылку ликёра «vapa Tallinn» («Старый Таллинн») крепостью в 50%.

— Сувенир вам с Родины. Думал привезти вам водки, но это было бы подозрительно. Решил ликёр. Его кто-то так пьёт, в основном в коктейлях используется. Вы не против? — он смотрел виновато. — Спасибо. Тронут, безусловно. Но если я принесу его в кафе, то кто-то наблюдательный может провести связь между вашей поездкой в Таллинн и мной. А какие у вас могут быть дела с барменом, кроме как заказ-оплата? С каких пор подполковники возят спиртное через пол-Европы? Для легенды мне придётся заказать пару ящиков этого дивного напитка. В Брюсселе я встречал его только пару раз в приличных магазинах, и его цена была в пятнадцать евро. Коктейли из него — экзотика здесь. Так что я буду в минусе. Ради прикрытия, откуда и зачем у меня появилась эта бутылка.

Смотрю, он помрачнел. Попал впросак как мальчишка. Я не отчитывал его. Мне нужен бодрый агент, а не переживающий обиду. Решил подсластить пилюлю:

— Давайте сделаем так. Я сейчас сниму пробу, потом добавлю в кофе, а затем решим. Хорошо? Кофе, кстати, будете?

Сварил ещё порцию кофе. А не много ли я пью кофе?

Налил в бокал ликёр, покрутил, понюхал, неплохо. Основа ром. Причём выдержанный. Не самый дорогой, но имеет все признаки благородного напитка. Ваниль? Да, имеется. Немного цитрусовых ноток и корицы. Всё сбалансировано,

как в хорошем коньяке или выдержанном виски. Попробовал немного.

— Хм! Роберт! Превосходнейший вкус! С кофе будет прекрасно!

Разлил кофе по чашкам, налил агенту ликёр. Чокнулись. Выпил свой бокал, потом кофе. Богатое послевкусие на корне языка. Закурил. Все три предмета ликёр-кофе-сигарета созданы друг для друга, прямо гармония какая-то.

Тамм выпил, потом кофе. Сидел и улыбался. Отошёл, значит, от выволочки.

— Рассказывайте, Роберт, как съездили.

И он начал повествование. Рассказ длился около полутора часов с моими вопросами. Дословный пересказ займёт большой объём. Поэтому изложу краткую версию, примерно то, о чём я доложил в Центр.

Браун, получив карт-бланш от руководства ведущих стран НАТО, в штаб квартире названной организации собрал группу офицеров. В неё вошли представители от США, Англии, Польши, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии. Привлечены штатские специалисты из США, Израиля, России. Эти, похоже, были сбежавшими разведчиками, военными, контрразведчиками. Весь численный состав был около сорока человек, но он был непостоянный. Кого-то привлекали для консультации, для уточнения деталей, они исчезали, потом появлялись другие. Все были немногословны. Браун много разговаривал с каждым по отдельности, иногда с группой офицеров. Когда он общался с Таммом, то всегда предлагал партию в шахматы. По словам Роберта, эти шахматы ему уже стояли поперёк горла. Пару раз хотелось схватить планшет и его углом зарядить тому в висок. Да и десантник мог голыми руками задавить этого мерзавца, но держался подполковник. Всё как в старом анекдоте времён перестройки про Горбачёва: «Что будет, если ударить кирпичом по родимому пятну?» Ответ: «Конец перестройке!»

За игрой в шахматы Браун любил рассуждать. Зачастую он проводил параллель между днём сегодняшним и временами правления Гитлера. По его словам, просто в то время неправильно поняли его. Ему удалось объединить Европу, сделать её единой. Да, были перегибы. Но цель была одна. Единая Европа. Пусть со столицей в Берлине. Сейчас ЕС со столицей в Брюсселе, и никого это не смущает. Никто не бунтует. Англия вышла из этого сообщества. Но и в те времена она также не входила. Гитлеру надо было больше пропаганды проводить на оккупированных территориях Европы. Как до того, так и после. Убеждать, что общий враг — СССР. И земли Советской России, и полезные ископаемые не по праву принадлежат русским. И не нужно было захватывать, а нужно было изнутри разлагать. Например, как это было с Австрией. Всё произошло бескровно.

И поддерживать местные элиты, покупать их. А местному электорату продвигать идею о единении европейцев против русских.

Сейчас это очень хорошо получается. ЕС — США и Англия медленно, но уверенно спланивается против России. И внушается мысль, что Россия слаба, народы мечтают влиться в дружную семью цивилизованного содружества и предоставить в полное распоряжение свою территорию и недра, а также леса, реки.

— Как вы считаете, Роберт, — однажды поинтересовался Браун. — Если присвоить название операции «Длинный прыжок»?

Тот пожал плечами:

— Название хорошее. Только однажды оно было, и провалилась операция. Операция немцев в Тегеране. Они то ли хотели ликвидировать в 1943 году тройку союзников, то ли захватить в плен. Различные источники говорят об этом по-разному. Только военные всех стран люди суеверные, и если присвоить название неудачной операции, они посчитают это дурным знаком.

— А вы суеверны?

— Нет. Я служил во многих местах и двух армиях, поэтому, если наблюдать все приметы, суеверия в привязке ко времени и территории, то получится, что нужно сидеть в укрытии и просто пить спирт. Не воевать ни в коем случае. Вы — командир, вам и принимать решение. Мне лично без разницы. Я говорю о других.

— Мне нравится ваша рассудительность, хладнокровие, готовность выполнить приказ без всяких сентенций и причитаний, оглядок назад, рассуждений, что же будет потом. Вот, пожалуй, в вас и осталась истинная арийская кровь и дух древних воинов. В Германии, к сожалению, сумели это вытравить, но сейчас вновь появляются ростки национального самосознания и пересмотра истории. Я вас понял! Присваиваем нашей операции название «Длинный прыжок»! Ну а вам, мой дорогой подполковник Тамм, пора расти по карьерной лестнице. А то так и засидитесь в представителях. Отзовут и отправят на пенсию, а она крошечная. Заодно все увидят ваши организаторские способности и переведут на серьёзную работу. А то эти постоянные совещания, много слов, мало дела. Скоро НАТО скопирует ООН, сплошные резолюции, воззвания и никакого дела. Одна коррупция. Назначаю вас координатором группы по трём странам: Эстонии, Латвии, Литвы.

— Так посвятите меня в суть операции. — Тамм внимательно посмотрел на Брауна.

— Это многоходовая операция, имеет несколько идей, но цель одна.

Суть, со слов Тамма. В приграничных районах с Россией начинается активизация «не граждан», т. е. русских. Сначала местные начинают «мутьить воду». Что идёт притеснение прав русских.

Надо создать буферную зону на границе с Россией. А ещё лучше войти в состав России. Территория Прибалтики принадлежит России по праву. Она выкупила её. Ништадтский мир, который заключили в 1721 году, завершил Северную войну между Россией и Швецией.

Согласно ему участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн ефимков (серебряных монет)—это почти 56 тонн серебра.

Все эти территории в то время принадлежали шведам, которые таким способом неплохо пополнили свою казну. Россия стала законным обладателем прибалтийских земель. А теперь пора вернуться в лоно России.

Для этого представители трёх прибалтийских государств обязаны убыть к себе на родину с соответствующими полномочиями. Провести секретные переговоры с военной разведкой, контрразведкой. Только узкий круг. Определить небольшую территорию, на которой будут сосредоточены «сепаратисты». Важно, чтобы они не «расползлись» дальше. Пусть не переживают, финансирование будет выделено. Главное, чтобы это были местные недовольные. Их знают, они известны местным. Пусть не стесняются в выражениях. Контрразведка пусть сама разбирается на месте. Можно использовать кого-то втёмную, смутьяны везде присутствуют, главное, их идейно активизировать. Можно дать денег, сказать, что Россия с вами! Вы начните, а мы поддержим! Это первый этап. Поддержку сми мы организуем. Этих маргиналов и их митинги будут дозированно показывать по крупнейшим каналам Европы во всех странах, без исключения, ну и в США, соответственно. Вот такая задача.

Я должен побывать не только в родной Эстонии, но и Латвии и Литве. Проверить, как усвоена поставленная задача, прибыть в Брюссель и подготовить Брауну доклад.

Как писал ранее, через представителя в НАТО удалось установить, что израильтянин Эхуд Инон является ярким противником России. Обладает широким кругом связей среди руководства игил, часто выступает координатором их действий. По обрывочным предложениям со стороны американцев и литовца, Тамм понял, что речь о переброске через Европу нескольких сотен боевиков, сражавшихся в рядах игил, чтобы все были выходцами из России, предпочтение чеченцам и русским, принявшим ислам. Не будет хватать—брать выходцев из бывших союзных республик. Численность не менее ста пятидесяти на каждую страну Балтии.

Латыш рассказал, что поляки из группы активно обсуждали какую-то фирму под названием «Чех», то ли это кодовое обозначение. Он понял, что речь идёт о каких-то удобрениях. Также вскользь услышал про украинские удобрения.

Он так и не понял до конца, поляки, как предприимчивые ребята, хотят заработать денег на нелегальной переброске удобрений или же это относится к делу.

Потом Тамм рассказал, как съездил домой. Квартира ему была выделена от министерства обороны в старом доме офицерского состава на улице Сэби, дом 30. Напротив заброшенных каменных складов из красного кирпича, построенных ещё при царе.

В советское время рядом был штаб танковой дивизии. Один полк в городке Клога, второй—Кейла, третий—в Таллине. В 1993 году эту дивизию имени Александра Матросова вывели в Россию, в чистое поле. Ну а в 1994 году прикомандировали частично к Майкопской бригаде... В новогоднем штурме много полегло.

Тамм рассказывал, как он встречался с выходцами из этой дивизии во время второй чеченской кампании. Артиллеристов из дивизии вывели в Краснодар, влили в бригаду. И назвали бригаду... «Таллиннской»! Тамм смеётся, мол, с намёком, что точно вернутся.

Ну а коль квартиры советские военные освободили, кроме пенсионеров, так и раздали эстонским военным. Старый дом, с коммунальными платежами больше, чем в Брюсселе, но дом.

Первым делом Тамм поехал к родителям. Здоровье уже не очень хорошее. Врачей толковых в Эстонии почти не осталось, все выехали за границу на заработки. Остались почти ровесники родителей, но тех самих пора лечить от маразма. Померяют давление, снимут кардиограмму, идите, вы чувствуете себя соответственно возрасту. В платных клиниках, наоборот, найдут все болезни, что описаны в медицинском институте, кроме, бубонной чумы, пожалуй. Обследований и лекарств пропишут—бюджет Эстонии меньше будет. Хоть и высылал Тамм деньги родителям, но всё равно мало. А в Россию они ехать опасаются. Внук пишет им, звонит, говорит, что договорится с врачами. Они не хотят обременять его.

Потом Тамм начал визиты в Главный штаб, прямиком к начальнику военной разведки, он же—начальник второго отдела гш ВС Эстонии. Он был уже предупреждён телеграммой из штаб-квартиры НАТО об оказании полного содействия. Поэтому принял сразу. С ним же через два дня отправились к шефу контрразведки страны в Департамент охранной полиции мвд КаПо («Кайтсеполицей» — «Kaitsepolitsei, или КаРо»).

Ну эти давно срослись с американскими ЦРУ, ФБР, РУМО и британскими МИ-5 и МИ-6. Не сразу, через двух заместителей удалось попасть и провести рабочее совещание. Контрразведчики переглядывались, но было видно, что идея им понравилась и суть они сразу ухватили. Один из заместителей обронил:

— Это как свеча будет, мы всех мотыльков так увидим, а потом в это пламя и загоним.

А когда узнали, что можно проводить операции с «использованием втёмную» и что будет выделено финансирование, то чуть в ладоши не захлопали.

Когда Тамм обедал в кафе, за соседним столиком обратился мужчина с паролем, который я ему дал.

Как признался Роберт, он чуть соль в суп не выронил. Так неожиданно это было. Мужчина лет пятидесяти, эстонец. Это видно по разговору, по одежде, оборотам речи, поведению, жестам. Поговорил незнакомец как со старым знакомым, потом пригласил к себе в гости вечером выпить чаю.

В квартире его ждали трое. Того, что встретил в кафе, и двое русских. Все внимательные, улыбки, молчаливые.

По словам Тамма, он сначала напрягся, думал, что захват будет, но нет.

Была долгая беседа. Скорее монолог Тамма, с ответами на интересующие вопросы. Уточнение деталей. Когда случайно зашла речь о родителях, собеседники показали, что им знакомы проблемы со здоровьем у отца и матери Роберта. Была предложена помощь. Самому Роберту, чтобы не вызывать подозрений не рекомендовано было посещать территорию России, а вот вывезти, организовать обследование, назначить лечение, при необходимости госпитализировать стариков в русские больницы—без проблем. Тамм согласился.

На следующий день приехал знакомый «эстонец», посадил в автомобиль родителей и повёз в Россию, там он вышел из машины и водителем оказался сын Роберта.

Вызвали в штаб и направили в срочную командировку в Ивановгород. А там уже военная контрразведка переодела его в штатскую одежду, снабдила телефоном для связи, поставила задачу—возить своего деда с бабушкой по платным клиникам.

То, что для всех троих это было приятным шок, рассказывать не стоит. По прибытии в первую платную клинику оказалось, что она закрыта на санитарный день. Но тут же раздался телефонный звонок, незнакомый голос сказал, что их ждут. И действительно, старики были единственными посетителями этой клиники. Когда Тамм-младший попытался достать деньги, персонал замахал руками, улыбаясь, сказал, что у них сегодня акция, для пенсионеров из Эстонии бесплатное обслуживание.

Так прошло полдня, потом раздался звонок, и приказали ехать в другую клинику. В процессе перемещения остановили гаишники, а у Тамма-младшего, кроме прав, ничего. Ни документов на машину, ни страховки, машина при эстонских номерах. Не успел Евгений придумать, что сказать инспектору, как раздался звонок, сказали, чтобы отдал трубку полицейским, тот нехотя взял, развязно спросил, через секунду побледнел, слушал

минуту, ответил: «Есть! Конечно!» Вернул Евгению телефон с осторожностью, как будто это была граната без чеки. Лицо было бледное и с крупными каплями пота. И замахал руками, чтобы тот как можно скорее уезжал, словно машина была зачумлена или заминирована.

Во второй клинике продолжили обследование. И тоже «санитарный день» и все обследования, консультации врачей бесплатны. В том числе и специалистов по болезням пожилых—геронтологов. В обеих клиниках было выписано множество препаратов, даже с учётом тех денег, которые дал родителям Роберт, не хватило бы.

На выходе снова звонок и инструкция, чтобы ничего не покупали, а двигались к границе. Евгений вышел, попрощался со стариками. Все были растроганы, дед с бабушкой вытирали слёзы, Евгений крепился, очень расстраивался, что с отцом не смог встретиться. Дед снял на телефон обращение к отцу, как сын скучает по нему и любит.

Тот же эстонец перевёз Таммов-старших через границу, привёз домой, неизвестно откуда появился молодой человек, который занёс домой две больших коробки с лекарствами, выписанными русскими врачами. Лекарства были приобретены в Эстонии.

Когда Роберт рассказывал, то голос дрожал. Родителей обследовали, назначили лечение, снабдили на год, а то и больше всеми необходимыми лекарствами, при этом не взяли ни копейки. Старики пообщались с сыном.

Справившись с волнением, Роберт выдавил: — Я понял, как мне дорога земля эстонская, где у меня живут родители, и возникли некие моральные, неоплаченные долги перед русской разведкой. Я не ожидал такой щедрости. Скажу честно, я мало перед кем в жизни чувствовал моральные обязательства. Особенно с возрастом на всё смотришь критически. А сейчас понял, что долги надо оплачивать. Спасибо!—он пожал мне руку.

Усмехнулся. Ну, Роберт, Центр ещё не на такие вещи способен. Значит, ты им действительно интересен. Вот теперь ты сам заинтересован в качестве выполнения задания. Молодцы коллеги. Всё тонко рассчитали, что слабое его место—престарелые родители. Ну и «привет» от сына также не будет лишним. Высший пилотаж.

— Роберт, нам с вами ещё многое предстоит сделать. Мои коллеги постарались, чтобы вы не отвлекались на здоровье родителей. Им помогут. А сосредоточились полностью на выявлении того, что замышляют Браун и его команда.

Он кивнул, продолжил:

— Выезжали в Нарву с представителями КаПо и военной разведки, определились, что старая крепость—идеальное место для митингов «русских сепаратистов». Ну и большинство населения—русские или русскоговорящие. Редко услышишь

эстонскую речь. Зашли в кафе пообедать, так у представителя КаПо был зубовой скрежет, когда официантка не поняла его эстонский язык, когда он делал заказ. Так что с точки зрения организации провокации идеальное место. Русских туристов много. Много бизнеса завязано на России. Хотя сейчас меняй вывески на русские и вывешивай российские флаги, никто и не заметит, пока голову задирать не будет вверх. Мы с разведчиком только посмеивались над этим «политическим полицейским». Было видно, что он просто жаждет крови. И готов сотрудничать со мной и НАТО при проведении операции. Он вызвал местного представителя своей организации. Орал на него, что развёл под носом российский анклав. Потом поинтересовался, есть ли у него мощная агентура. Тот заверил, что весь город пронизан как сетью русской разведки, так и его, эстонской контрразведки. Только мало денег, чтобы мотивировать источников, работать за идею. «Деньги будут!» — буркнул он и хмуро посмотрел на меня. Я лишь важно кивнул, мол, деньги будут.

— А что ваши коллеги из Литвы и Латвии? — поинтересовался я.

— Я же говорил раньше, что во мне есть немного литовской крови, вот с ним у нас более тесные отношения установились. Знаю, что литовцы самые главные хитрецы на Балтике, поляки им в подметки не годятся, хотя недалеко ушли. И он просёк сразу, что в этом месте возможна будет бойня и выбрал небольшую деревушку на границе с Россией по так называемому «Сувалкскому коридору». Между Литвой и Польшей имеется участок границы, примерно в сто километров. Этот «коридор» одним концом упирается в Белоруссию, а вторым — в Калининградскую область. Недаром поляки визжали как свиньи на бойне, когда в 2017 году Россия и Белоруссия проводили совместные учения, поляки боялись, что сейчас одним броском овладеют этим «коридором» и появится ещё одна общая граница. Тогда российский анклав будет соседствовать с дружественной Белоруссией. Вот литовец и выбрал деревушку на границе с Россией, неподалёку от «Сувалкского коридора». Виштитис. В случае максимального урона, если всё население деревни погибнет, ущерб будет незначительным. Малое количество населения. Представитель Литвы как еврей просчитал всё вперёд. В годы войны литовцы совместно с немцами уничтожали в этой деревне евреев. Там ещё памятник есть, посвящённый этому печальному событию. Когда я спросил про возможные потери, он пожал плечами: «Появится ещё один памятник. Туристическая достопримечательность. Но это будет всё равно меньше, чем после боя в городе!» По тому же пути пошёл и латыш. Выбрали они небольшой населённый пункт Алуksне. Там тоже немного народу. Легко блокировать со всех

сторон и выбивать «сепаратистов». Ну и население заодно. Получается, что я самый тупой и выбрал Нарву. По себе же знаю, что страшнее боя в городе ничего нет. А если там тяжёлая артиллерия поработает... Мало никому не покажется. — Тамм выглядел озадаченным.

— Роберт, — я постарался его успокоить. — Только от нас сейчас зависит, будет там мясорубка или нет. То, что вы выбрали нормальный город, говорит, что вы подошли к делу основательно. Также акцентируйте внимание Брауна на этом факте. Вскользь.

Тамм согласно кивнул головой.

Потом мы перешли к тому, как он будет добывать информацию, в том числе я обучал его пользованию «авторучкой». Он был в восторге от простоты и камуфляжа. Подтвердил, что в комнату для работы с совершенно секретными документами вход ужесточили. Вместе с тем видел у Брауна в кабинете документы с таким грифом. Ему позволялось работать с такими документами в своём кабинете. Показалось, что Роберта несколько покорило данный факт, что гражданский имеет больше привилегий, нежели он.

Договорились о способах связи и передачи «авторучки» мне после серии снимков. Много о чём разговаривали. В том числе и как направлять разговор в нужное русло. Также я рекомендовал уделять внимание моей соседке, знакомой ему проститутке Анне. На что Тамм сделал очень серьёзное лицо и с киношной решимостью ответил: — Ну если Родина требует, — притворно вздохнул тяжело. — Сделаю.

Засмеялись оба одновременно.

Он хотел забрать бутылку ликёра, я его оставил. Он смотрел удивлённо.

— Мне тут в голову мысль пришла. Насчёт кафе. Если мне понравился кофе с этим ликёром, значит, найдутся и другие безумцы, любители новых вкусовых ощущений.

Тамм смотрел удивлённо, не понимая.

— Роберт, не забывайте, у меня ещё имеется кафе, которое должно правильно функционировать. Вот и подумал, коль у меня сейчас всё в стиле милитари, то отчего бы не предложить отдельную кофейную карту с заголовком «Кофе стран НАТО».

Тот в задумчивости потёр подбородок:

— Мне было бы интересно. Например, есть же кофе по-ирландски. Только я бы предложил два типа меню.

— Это как?

— Я не большой любитель смешивать напитки. Так не принято в советской и российской армии. С удовольствием бы употребил стопочку виски, а потом кофе.

Подумал.

— Заманчиво и толково. Вам пора подумать об открытии своей ресторации после выхода в отставку.

— Рано мне ещё, — махнул рукой. — Дел много. Тепло попрощались.

С соблюдением мер конспирации проводил агента, потом добрался до кафе.

Рассказал Эллис об идее, налил ей в кофе эстонского ликёра «Старый Таллинн». Она оценила. Покачала головой. А также выдал за свою идею, чтоб было два варианта отдельно алкоголь и алкоголь в кофе. Она тоже оценила. Потому вижу, что задумалась и выдала:

— Предлагаю в меню рисовать флаг страны — участницы НАТО и название.

— Согласен.

— И для контраста предлагаю включить кофе по-русски, — выпалила барменша.

— Ой! Ё! Эллис! Вы предлагаете водку выливать в кофе? Опасаюсь, что русские туристы нас могут не понять, устроят скандал.

— Нет, мсье Артур! К чашке кофе подавать водку отдельно!

— О, как! Ну тогда согласен. А то водка в кофе, — показал как меня передёрнуло.

Она развила мысль:

— И подписать «маленький» — один дринок, то есть двадцать пять граммов водки, «средний» — двойной дринок водки, «большой» — тройной. Ну и объём кофе тоже увеличивается.

Мне понравилась её идея.

— Думаю, что только русские туристы будут заказывать. Местные — вряд ли. До семнадцати часов пить не принято у местных. Так что расчёт только на туристов.

— Пусть будет так. Большие запасы делать не стоит. Вы, шеф, подберёте напитки, а я потом посмотрю, какие можно сделать из них новые коктейли и предложить посетителям, чтобы добру не пропадать.

Я восхищённо смотрел на Эллис. Она явно вошла во вкус процветающего заведения, поверила в свои силы и хотела достичь большего.

У меня появилась возможность под видом изучения кататься по городу. Изучаю кофе «по-». Заодно проверялся, нет ли слежки. После того как Тамм прибыл, операция вошла в острую фазу. Сейчас все начнут нервничать. В НАТО, чтобы не было утечки информации, все будут под подозрением. Центр будет меня закидывать сообщениями с требованиями ускорения процесса получения информации и немедленной её передачи. И самое главное — безопасность агента Анатоля. А попробуй соблюсти баланс конспирации, безопасности, непрерывности и учащённого графика встреч?

Заодно, тьфу, тьфу, тьфу, прорабатывал вопрос об эвакуации Тамма в случае опасности. Это кажется просто. Приезжает бригада на больших чёрных джипах, усаживает агента. Все как на подбор громилы, в случае опасности они огнём из автоматического оружия, иногда раскидывая

гранаты, прокладывают себе путь либо до ближайшей вертолётной площадки, либо моря. А там все уносятся прочь, радостно хохоча, передавая бутылку водки по кругу, все произносят тост «За здоровье!» и прикладываются к горлышку, делая большие глотки.

Но, увы, увы, жизнь отличается от киношных штампов. Нужно несколько адресов для отсидки. Бланки паспортов имеются, но не хочется их заранее заполнять. Они могут пригодиться, а пороть горячку раньше времени — себе дороже, оправдывайся перед Центром, зачем использовал попусту столь драгоценный ресурс. Бланки-то настоящие, не изготовленные на цветном копировальном аппарате. Кто-то из разведчиков головой рисковал, добывая их.

Можно проработать вариант с пакистанскими знакомыми. Не факт, что они не сдадут полиции, чтобы подтвердить свою лояльность и дабы к ним, как прежде, не совались. На крайний вариант.

Но нужны будут деньги. На поднаём жилья, «чистого» транспорта. В каждом «адресе» сделать трёхнедельный запас продуктов и воды. Оплатить счета за коммунальные услуги. Пять жилищ, считай, на месяц. Я в уме прикинул сумму. М-да, немало. Вся выручка из кафе уйдёт на это. Хотя Центр сказал, что ресурсы неограниченны, значит, можно воспользоваться деньгами из тайника. Можно, а вот нужно ли? Неизвестно, когда пополнят запасы, а мне тоже могут понадобиться. Мало ли как сложатся обстоятельства. Но сказано готовить возможную эвакуацию, значит, нужно. Офицер из штаба НАТО на Лубянке — это лакомый кусок. Хотя, по мне, Тамм, пока не утратил оперативные, разведывательные возможности, более полезен в Брюсселе, чем в Москве, но Центру виднее.

Одно дело заявление мид России, что НАТО готовит провокацию в странах Балтии, а совсем другое, когда перебежчик вещает с подробностями. Этому мировая пресса поверит больше, и тогда, получасовое выступление отменит войну. А может, и отсрочит начало третьей мировой войны.

Руководство трёх прибалтийских республик и Польша не отстают, визжат уже несколько лет, что Россия вот-вот на них нападёт. Не нападает. И даже войска ввели США, НАТО перебросило свой контингент. А всё равно не нападает Россия. Это как в древнем анекдоте.

Мужик ходит по кабинету и периодически в ладоши хлопает, как будто ловит кого-то или отпугивает. Коллега у него и спрашивает:

— Ты чего это в ладоши хлопаешь?

— Крокодилов отпугиваю!

— Так их же нет!

— Потому что я их отпугиваю.

Вот поэтому и неизвестно, что первично, а что вторично. Или то, что сумасшедший отпугнул

крокодилов, или то, что он невменяемый и никаких крокодилов нет.

С точки зрения ведения комбинированной войны НАТО поступает верно. Наверное, аналитики в России просчитали такой вариант развития событий и выработали план и меры по его нейтрализации. Всему миру прожужжали уши, что русские нападут на Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Швецию. Градус истерии зашкаливает. Принимаются превентивные меры по укреплению обороны. Нет агрессии, вы её увидите! И вот появляются «зелёные человечки» без опознавательных знаков. Россия может до потери голоса отпираться, события в Крыму показали обратное. Хороший ход, тонкий. Разить противника его же оружием. А если ещё они будут говорить по-русски, через слово прибавляя «Аллах акбар!», то ни у кого не останется сомнений. А тут ещё местные националисты обиженные затеяли одномоментально смуту, вот и складывается вся мозаика в одну очень некрасивую картинку для мировой публики. И тогда, прикрываясь пунктом 5 «Статута НАТО», страны альянса обязаны прийти на помощь пострадавшей от агрессора стране. Вон, даже Англия, хоть и вышла из ЕС, но пяткой стучит в грудь, что придёт на помощь «килькам», если Россия нападёт.

Наполеон учил своих генералов, чтобы оценить возможности страны, посмотрите на их географическое расположение. Страны Балтии лежат на пути Европы в Россию и на пути России в Европу. И пусть мнят они из себя «авангард Европы» на охране восточных рубежей, «пограничники» на войне умирают первыми. Тамм, далеко не дурак, понимает это. Ему жалко свою родину, тем более что и родители там живут. Понимает, что от Эстонии не оставят ничего. Пусть даже русские не введут войска, но это никого не волнует, первая задача — внушить всем у миру мысль об агрессии. А для этого нужны картинки — кровавое месиво от обстрелов русских самоходных установок «Град», «Ураган», «Тайфун». Горы трупов, отдельно — детские на руках безутешных родителей. Солдаты НАТО, оказывающие помощь гражданскому населению. Эта технология уже обкатана и доведена до совершенства на Украине и Ближнем Востоке.

Вот поэтому и ценен Тамм как свидетель, и копии документов, что удастся ему добыть. Приставить бы к нему телохранителей, но это из области утопии. А вот подготовить несколько «лёжек» в случае экстренного побега — реально. А там уже хоть в фуре вывози в ближайший порт или в багажнике машины. Это неважно. Главное — спасти, доставить живым в Москву. Офицеров-нелегалов, как я, мало конечно, а вот такие, как Тамм, — уникальное явление в этой жизни. Тем паче по идейным соображениям.

И начал искать убежища для Тамма. Первое — недалеко от места службы его. Путь возможного

отхода, так, чтобы выйти из зоны наблюдения уличных видеокамер как городских, так и на зданиях магазинов, банков, кафе. Попутно осматриваю, где можно безопасно и надолго спрятать телефон. Его придётся выбросить, а связь нужна, вот и думай, разведчик, куда и как скрыть в тайник телефон. Хорошо, когда можешь пройти по одному и тому же маршруту пару десятков раз. Но в случае непредвиденных событий контрразведка и полиция отмотают записи на три месяца назад и начнут анализировать. И мой задумчивый портрет будет виден по маршруту бегства представителя Сил самообороны Эстонии подполковника Тамма. Гуляет тело в одиночном порядке туда-сюда, по сторонам зыркает, иногда наклоняется и пытается вытащить кирпич из фасада старинного здания. Поэтому понаблюдал издали, запомнил. Забыл — включай интернет, просматривай фото туристов, видео с мест отдыха. Плохо то, что люди тщеславны и в кадре, как правило, их лица, а не исторические здания и маршруты возможного отхода агента Анатоля. Но курочка по зёрнышку клюёт, да и память меня, пока, не подводит. Вот так мысленно восстанавливал путь, вспоминая, где видеокамеры и где «слепые зоны» у них.

В кафе по-прежнему народ шёл, поднимая мне выручку. Эллис как-то вскользь обронила, что, мол, неплохо было бы взять ещё одного бармена. Одной ей уже тяжело. Я пожал плечами:

— Милая Эллис, если вы готовы разделить своё жалование пополам, то я не против. У меня кредитов на развитие бизнеса — внукам хватит. А это временное явление. Делайте «подушку безопасности», накапливайте средства. Кто-нибудь из конкurentов придумает новое, и посетитель убежит туда. И вы это прекрасно знаете. Пережили голод, переживём и изобилие. Был такой царь Соломон, который любил говорить:

— И это пройдёт.

Эллис зарделась, вскинула голову и вышла. У меня дел с Робертом было выше головы, а тут ещё обиды бармена терпеть.

Состоялась плановая встреча с Таммом. Он был возбуждён, хотя и сдерживал себя. Он уже курил. Это мне не нравилось.

Тамм передал «авторучку», я выдал ему такую же. Не смогу проверить, что он там наснимал. Но надо переправить срочно в Центр.

Он начал рассказывать. Браун откровенничал с Таммом, тем более когда тот стал поддаваться в шахматах. Немец стал вести себя порой по-барски, начинал рассуждать с ноткой менторства в голосе: — Мы стоим на грани большого передела мира. Запускается большой механизм движения тайных сил. В Ираке уже отобрано американцами пятьсот боевиков из числа итиль. Они бежали из Сирии. И не просто боевики, а выходцы из бывшего Советского Союза. Многие уже забыли

русский язык или говорят на нём так, что никто понять не может. Таких мы отсеиваем. Их передислоцировали на отдельную территорию. Разбили по командам. Выстроили макеты, условные, конечно, что им предстоит захватить. В Нарве — крепость, ну и так далее, как выбрали вы и ваши товарищи. Для таких вот псов войны это не составит труда. Все разговоры, команды только на русском языке. Радиоперехват в Сирии работал прекрасно, спасибо друзьям из Израиля, команды, обращения, порой даже юмор, всё идёт в ход. Ни у кого не должно быть сомнений, что перед ними русский спецназ.

— А если они попадут в плен? Ни к нам, а, например, к полиции?

— В плен?! — Браун смотрел на Тамма как на перwokлассника смотрит выпускник. — Не будет пленных. О чём вы говорите! Сначала будет неудачный штурм силами полиции, но боевики и ряженные «националисты» с большим перевесом отобьют. Потом будет самое интересное. Зарин. Что вы глаза выпучили? Я у вас об этом спрашивал при первых встречах. Именно зарин. Чтобы потом у мирового сообщества не было сомнений, что в Сирии все химические атаки были проведены Асадом и русскими. После одномоментного проведения химических атак в Эстонии, Латвии, Литве все поймут, что во всём виноваты коварные русские. И выводы подконтрольной нам совместной комиссии ООН — озхо (Организация по запрещению химического оружия) ранее, что все атаки заринном были проведены проправительственными силами Сирии, верны.

— Будут жертвы. — Тамм с трудом сглотнул слюну, пересказывая диалог, закурил новую сигарету.

— Друг мой! Вы же военный человек! Жертвы необходимы на войне, иначе это не война. За военных и силы НАТО не волнуйтесь. За две недели до начала событий все они будут выведены из района возможного поражения. А как только случится неудачный штурм полиции, то начнут неспешно выдвигаться в район химической атаки. И добьют тех, кто воюет против демократического режима в Прибалтике. Ядовитое облако накроет их самих...

— И мирное население, что рядом.

— Увы, оно так. Но, по нашим подсчётам, ущерб не должен превысить более тридцати тысяч человек. Это максимальный ущерб. Если ветер будет попутный, то и в России в Ивангороде тоже будут жертвы. Так сказать, возмездие! Поэтому и берутся максимальные жертвы. Но боюсь, что будет не более пяти тысяч.

— А как доставите такое количество зарина? Да и экспертиза сможет установить, где он произведён, хотя бы приблизительно. Россия же заявила, что уничтожила все запасы химического оружия.

Браун внимательно посмотрел на собеседника:

— Вы умны для военного. Я говорил вам об этом неоднократно. Гитлер принимал всегда половинчатые решения. В Германии под видом разработки борьбы с насекомыми, иначе нельзя было, согласно Версальскому договору, в 1938 году был изобретён этот газ. Поступил на вооружение немецкой армии. Тогда уже стояли на вооружении «Табун», «Фосген». И всё было готово к боевому применению. И артиллерия, миномёты, авиация. У Франции также были значительные склады с химическим оружием, они достались вермахту. Тем самым значительно увеличили запасы химического оружия. Но Гитлер так и не применил его. Травить евреев и русских «Циклоном» в концлагерях мог, а вот на поле боя использовать не смог. Вот такой он был. Обвиняли немецкую армию в использовании боевых отравляющих веществ в каменоломнях под Керчью. Но там было иное. Смесь угольного оксида и этилена. Потом подрыв этой смеси. Объёмный взрыв. С высокой температурой. Жаль, что не поставили на вооружение эту технологию, тогда бы Красной армии был бы нанесён значительный урон и ущерб. Ну да ладно. Надо извлекать уроки даже из неудач. Так вот, зарин будет изготовливаться на месте. Специалисты уже выехали на места проведения операций, оценили. Понравилось. Что выбранная вами крепость в Нарве, что в Литве и Латвии. Там, правда, ущерб будет минимальный. Но они — массовка на сцене. Солирует Эстония. Всё остальное — декорация.

Тамм встал из-за стола, подошёл к холодильнику, достал мой любимый коньяк, плеснул в кружку, молча выпил, снова закурил:

— Я же сам их на Нарву вывел! Сам своими руками! — он потряс в воздухе кистями. — У меня там полно знакомых как среди русских, так и среди эстонцев. В Ивангороде тоже много. Литовец и латыш быстро чухнули, что к чему, и выбрали глухие деревни. Оттуда местные по привычке разбегутся. Пострадают только полицейские. Как же мне хреново-то!!! — он обхватил голову руками.

Сказал как можно жёстче и сухо:

— Возьмите себя в руки! Вы на войне. Невидимой, но от этого не менее кровопролитной. Надеюсь, вы не раскисли при Брауне?

Роберт оторвал руки, посмотрел на меня:

— Нет. Там я выдержал, даже руки убрал, потому что хотел свернуть шею этому мозгляку, который рассуждал о потерях, как в шахматы играл. Подумаешь, потеря нескольких фигур для превосходства на поле. Нет. Я выстоял. Извините, что раскис. — Продолжайте. Что дальше было?

— Он сказал, что производство зарина возможно и в полевых условиях. Ингредиенты поставят из химической компании «Чех» и украинского завода удобрений. Меня и представителей Латвии и Литвы откомандировывают в свои страны. Я — старший группы, он же координатор по трём

странам. С нами едут американцы. Вы их знаете, они часто бывают у вас в кафе. Непонятно, то ли руководить нами, то ли надзирать.

Во взгляде тоска звериная:

— Что мне теперь делать?

— Что делать? Честно исполнять свои обязанности. Добросовестно. Дотошно. До мелочи. Затаскивать на «свои баррикады» всех и вся! Делегировать ответственность всем. Особенно вашим, как их, «КаПо»?

— Да.— Тамм кивнул.

— Вот. Чтобы они пахали как проклятые. Искали националистов, фашистов, провокаторов. Работы у вас много. И совещания. Побольше совещаний! Под протокол. Распределение обязанностей. Жёсткие сроки. Контроль исполнения. Не жалейте себя, ненавидьте остальных, требуйте, чтобы всё делалось точно и в срок, будьте дотошны, скрупулёзны. И чтобы американские сопровождающие видели ваши организаторские способности. Их тоже не щадите. Гоняйте, чтобы они сами, своими ручками проверяли каждую мелочь. Даже перед прибытием группы, оборудования, исходных материалов много работы. Очень много.

— Но как?!— он смотрел недоумённо.— Я же убью всех.

— Не думаю, Роберт. Всё пойдёт иначе, чем задумали товарищи Брауна из НАТО. И вы же будете там не одни. Мои коллеги будут рядом. Слушайте их. Но самое главное—ваше служебное рвение, неутомимая энергия, ум, холодный расчёт должен всем внушить уважение и трепет. Чтобы перед звуком вашей фамилии они уже гадили под себя. Понятно?!

— Так точно!— Роберт воспрял.

— Ну и хорошо. Когда в путь?

— Через три дня.

Я объяснил ему, как сообщить мне, что у него всё по плану и он убывает вовремя. Мы ещё поговорили. Также обговорили, что в Таллинне он будет через день посещать ресторан «Третий Дракон». Там всегда полумрак, лиц толком не видно. Там и произойдёт встреча. В Нарве как запасной вариант—«Viva». С ним свяжутся. Пароль-отзыв прежний.

Мы с ним тепло попрощались. Я ему дал тысячу евро, он написал расписку.

И понеслось! Мне нужно срочно всё передать в Центр. Очень срочно! Времени мало. И снова аврал, и снова мотания по городу, нет ли слежки. Контейнер, закладка. Отметка о закладке тайника, снятие ответа. Хорошо! Уф! Как только будет ясно, что Тамм убыл в Эстонию, можно закрывать тему с подбором квартир и выносить еду из тех, которые уже подготовил.

На третий день Эллис позвонила мне, я сидел в кабинете:

— Шеф, вас спрашивают.

Вышел. Ба! Тамм собственной персоной. Поздоровались. У него ловко получилось провести «моменталку», хотя я не был уведомлен. Он передал мне «ручку» при рукопожатии. Быстро соображает.

— Добрый день! Вы меня помните?

Пожал плечами:

— Если не ошибаюсь, вы были изображены на одном из фото в прежней экспозиции,—я равнодушен.

— Да-да,—он радостно закивал головой.—Понимаете, я уезжаю домой, хотелось бы увезти эту фотографию с собой.

— Увы, увы,—я огорчённо покачал головой.—Вернул её хозяевам, но могу дать телефон, они с радостью вышлют вам, куда скажете.

— Буду признателен!— снова радостен, как будто в лотерею выиграл.

Сходил в подсобку, написал ему номер, название фирмы, «ручку» спрятал. Ничего ему не дам больше. Вы, что, считаете, что весь арсенал разведчика я постоянно таскаю с собой, в том числе и закамуфлированный фотоаппарат?

Тамм заказал себе пиво, выпил, расплатился, вышел, его ожидал автомобиль.

Я не мог проверить, он просто избавился от «авторучки», чтобы не рисковать, или сделал снимки. Всё равно в Центр отправлять.

Отправил по прежнему каналу, стал ждать. Дел много. До дня «Д»—двадцать второго июля оставалось не больше месяца, когда на электронную почту пришло письмо. С виду обычный спам. В адресной строке—больше ста получателей.

Смысл такой, что подпишитесь на наш сайт—дайджест новостей. Ну что предлагают товар, надо ознакомиться. Много всяких новостей, как правило, ссылки на крупные новостные агентства. Но были и местечковые новости. Например, как в Польше два грузовика, перевозившие удобрения, съехали в кювет, все химикаты погибли. Местность заражена. Проводятся работы по очистке. Неизвестные угнали два грузовика на Украине с удобрениями. Не везёт им с удобрениями. В Германии из-за короткого замыкания загорелся грузовик, перевозивший оборудование для химической промышленности, второй грузовик пытался прийти на помощь, но также загорелся. Водители не пострадали. Груз и автомобили уничтожены. А вот и вести из Турции. Грузовое судно, перевозившее нелегальных мигрантов в Европу, было остановлено двумя турецкими пограничными сторожевиками, по ним со стороны мигрантов открыли огонь из автоматического оружия. Судно расстреляно. Много погибших. Кого спасли—допрашивают. Боевики, воевали на стороне запрещённой игил. Все—выходцы из бывшего СССР. В Эстонии прекратились митинги русских, требовавших равноправия в правах с местными.

Я сидел и улыбался. Один в кабинете и улыбался в тридцать два зуба. Позвонил Эллис, попросил принести мне большую порцию моего любимого коньяка, кофе. Потом я чокнулся с экраном монитора, выпил одним глотком, закурил. Хорошо!!! Редко когда Центр информирует об итогах операции, когда ты был лишь звеном. Не положено. А тут... Спасибо, коллеги! Спасибо!

Спустя две недели. Толкнул деревянную тяжёлую дверь, стекло только от середины вверх. Висит табличка «Закрыто». На стекле надпись «Bière Bruxelles mastodonte». Но разве меня может интересовать какая-то табличка на двери моего кафе «Брюссельский пивной бегемот»? Посетители называют просто «Бегемот».

Растягиваю рот в улыбке. Она должна быть искренняя. Хотя так хочется послать всё к чёрту и

завалиться спать. Только в восемь утра я приехал из Франции со встречи. Потом думал, шифровал информацию, перегонял в Центр. Ждал подтверждения получения.

За барной стойкой Эллис.

— Добрый день, мсье Артур!—приветствует она меня.

— Добрый день, мадам Эллис!—радостно отвечаю ей.

Иду в свой кабинет. И тут же раздаётся звонок на автоответчик. Чуть насмешливый голос Тамма, типа «Не ждали?»:

— Добрый день! Хочу заказать столик на восемнадцать ноль ноль на имя Доминик.

— Эллис, будьте любезны кофе и коньяк!

— Конечно, мсье Артур!

Ну значит, всё продолжается. И это хорошо!

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №1-2 | 2006

Кирилл Ковальджи

Из книги «Зёрна»



С возрастом, как с перевала,
я смотрю, и глаза мои сухи:
видел я, из какого прекрасного материала
делаются старухи.



— Оставь меня.
И я её оставил.
И этого она мне не простила.



Что ответишь ты мне,
если я ничего не скажу?



Посумасбродничай,
побудь жестокою,
поймёшь со временем
простой секрет:
прекрасной женщине
прощают многое,
несчастной женщине
пощады нет.



— Чтобы любовь не дошла до беды,
отношения должны быть простыми.
Просто: как выпить стакан воды...

— В пустыне, в пустыне, в пустыне.



Убивался кто-то к ночи:
стала жизнь на день короче!
А другой решил иначе:
стала жизнь на день богаче!



Осторожно, упорно
подбирал ты ключи
для дверей, что не думали вовсе
от тебя запирались.



Быть только собой
поэту не удаётся:
увидит хромого,
и нога подвернётся.

Елена Крюкова

Земля

Памяти русских крестьян двадцатого столетия
фрагменты романа

Ой ты Волга, Волженька река.
 Ты няси мене да в лодочке лехкой.
 Ты няси мене да в лодочке лехкой
 Поняси к землице-землицке цюжой.
 Ах на цюжой землицке мене суждено жить,
 Там-то жить, да тамо голову сложить.
 А головою бедненькою я не дорожу:
 Я сторонунку родиму в памяти держу.
 Ты сторонунка родимая моя.
 Што ни день-днѣк, то вспомяну табе.
 Што ни день-днѣк, то вспомяну табе,
 Всю цюжбину я слезама оболью.
 Всю цюжбину я слезама оболью,
 Да вспомню Волгу, Волженьку мою.
 Уж ты Волга, Волженька моя,
 День да ночьку лью я слѣзки по табе.
 День да ночьку лью горящую слязу.
 По табе молюси, Богу Господу крещусь.
 Богу Господу усердием крещусь,
 Штоб табе да хотя б едным глазком
 Увидати, да скупацца ли в табе,
 В жолтой милой, Волга, Волженька, воде...

(картина маслом в сельском клубе.
 Праздник урожая)

Коней под уздцы держали. Кони бились и ржали. Между двух крепко врытых в сухую жаркую землю жердей натягивали красные транспаранты. На одном было намалёвано яркой белой, снежной краской: *жить стало лучше*. На другом: *жить стало веселее*. Музыка так и лезла в уши: взвизги песен, треньканье балалаек, частая дробь рассыпных, как просо, частушек. Бабы завели печальную—раздался басовитый сердитый голос: печаль—прекратить! Печаль оборвалась, как и не было её. Подъезжали, тормозили у сельсовета грузовики, отпахивались кузова, руки быстро расстилали громадную холстину, на неё из кузова золотом—на солнце—лилось тёплое, крупное зерно. Накрытые, тесно, в ряд составленные столы стояли близ красных полотнищ. Наспех накинутые скатерти морщились. Латунный самовар блеснул фальшивым, детским серебром. У столов на скамьях стояли корзины, доверху полные

нарезанным хлебом и варёными яйцами. Быстрые бабьи руки метали на столы тарелки и миски с жареными сазанами, с варёными судаками, горкой наваленная, оранжево-золотая щучья икра мерцала в салатнице, в неё вертикально была воткнута столовая ложка. За грузовиками, по пыльной высохшей дороге, к сельсовету подгребали возы. Колёса катились криво, тряско, то и дело ныряя в выбоины. С возов мужики сгружали мешки. Там тоже было увязано зерно. К столам грязные грубые руки бережно несли ящик, в ящике румянились, изгибались печёными кольцами городские баранки. Мальчика и девочку, с красными галстуками на тощих шейках, усадили рядом на два колченогих стула. Мальчик старательно, от усердия пыхтя, заплетая воздух тонкими пальцами, играл на гармошке-хромке, девочка на щипковом инструменте, смутно напоминающем ягодное лукошко. Из-за затылков и потных спин донёсся довольный бабий голос: «Гли-ко, как Зѣмка Дашку на думбыре хорошо научила! заслушаесси!» Под натянутыми на жерди красными тряпками медленно шла мать. На её руках сидел безрукий и безногий ребёнок. Мать крепко держала живое брёвнышко и ласково прижимала к обтянутой цветастым ситцем груди. Её раскосые глаза блестели гордо и мрачно. За столом, возле серебряного сгустка самовара, сидел седобородый старик, усы и борода его блестели на солнце серебряными нитями; он сам смахивал на этот старый самовар. Трогал заскорузлым пальцем бок самовара в избыточных клеймах, осторожно поворачивал краник, похожий на сказочный ключик. Сейчас повернёт, и кипяток брызнет, и чудо явится! А какое? Этот кипяток превратится в вино. А зерно в кузове—в россыпи золота. Нам не надо золота, мы и так богатые! Наш паровоз, вперёд лети, в Коммуне остановка! Парень в пилотке облапил девушку в красном платке, туго затянутом узлом на затылке, и повёл в танце. Рядом тоже кружились пары. Места вольно поплясать не было, все бестолково толклись на жарком земном пятачке нарядной мошкаррой. К столам ковылял ещё один старик; он тащил в руках соты, мёд капал в пыль. Соты,

ахая и восхищаясь, приняли у пасечника, как ребёнка, бабы; ловкие бабы руки положили соты на чёрный, в расписных пионах и тюльпанах, жостовский поднос и разрезали свиным тесаком на кусочки. Люди брали куски сот и, жмурясь, жевали воск, глотали вместе с мёдом, чмокая и закрывая от удовольствия глаза. Морячок в белой бескозырке, на побывку в родной дом приехал, перебирал ногами, отплясывая чечётку. Пыль клубилась под его ногами, обутыми в твёрдые, будто железные башмаки. Шнурок развязался, и моряк посреди чечётки чуть не упал. Рядом со стариком с серебряной бородой сидела дородная баба в белой рубаше, в красной понёве. На её плечах лежал белый снег необъятного платка, кисти вились метелью, по белизне бежали и вспыхивали алые, гладью вышитые розы. Она глядела на старика долгим и ласковым взглядом, потом из её глаз быстро выкатились две слезы, и она, стыдясь, обняла старика за шею. Он хотел обернуться и не мог. Их обоих заслонили пляшущие; парочки наклонялись туда, сюда, танцевали бойкую кадрили, мужики вертели девок, девки вздёргивали загорелыми ногами и повизгивали. Когда танцующие кадрили удалились в пыльное жаркое марево, дородной бабы уже не было за столом рядом со стариком. Напротив него, на другой стороне стола, как на другой стороне белого снежного поля, стояла тощая девчонка с остроугольной, почти лисей мордочкой. Сивые волосёнки девчонки, заплетённые в косы корзиночкой, нестерпимо горели на солнце. Старик зажмурился. Поодаль молодая бабёнка в стёганой фуфайке быстро, зло вытаскивала из ящика тёмные бутылки, отряхивала их от присохшей соломы и бухала их об стол. На краю стола уже стояла арматура бутылок, в них, внутри, таилась пьянящая корчма, иначе самогон. Бабёнка вытащила из ящика все бутылки, окинула их злым прищуром и тихо свистнула сквозь дыру от зуба. Через головы празднующих она увидела в толпе знакомое лицо, подняла руку и помахала ею. «Эй, братишка!» Человек не оглянулся. Он смотрел на раскосую мать с безруким и безногим ребёнком на руках. А потом повернул голову, и серебряный луч от залитого солнцем самовара выстрелил ему прямо в небритую, скуластую рожу. На его шее, около уха, светилась синим наколка: слон. Он зажмурился и тихо выругался. Тарахтели моторы, подъезжали ещё машины. На крыльцо сельсовета вышел хромой мужик с деревянной ногой и говорил громко, чуть завывая по-собачьи. Кто слушал его и бил в ладоши; кто продолжал танцевать; кто уже жадно открывал консервным ножом бутылки, отвинчивал и кидал в пыль пробки, вытаскивал затычки. Люди подставляли стаканы и кружки. Ароматная корчма булькала, её серебряные, чуть мутные струи звенели о дно посуды. Уодной из пляшущих

баб вывалилась из волос шпилька, развился пучок, рассыпался по плечам золотым зерном. Она, глубоко и часто дыша, села за стол, закалывала развившиеся волосы, высоко поднимая голые смуглые локти, золотой пучок снова копной возвышался на её затылке, она ласково глядела из-за самовара на седобородого старика и тихо смеялась. На её губе поблёскивал мелкий пот. Рядом с ней девка, даром что жара, куталась в чёрную набивную шаль с громадными красными тюльпанами. Баба вцепилась в девкину шаль и стащила её. «Што, Душка, запарисся, как в банёшке! Взопрешь! Ай замёрзла?» Суглобый, жалкий мужичонка, видом плоше обломанной слеги, суетился возле стола, подставлял жестяную кружку под струю самогона. «Макарке, Макарге-ти плеснитя, Макарку не забудьтя!» Вдали, у крыльца сельсовета, стояла, опираясь на суковатую палку, горбилась старуха. Её страшный, широкий и длинный, будто щель в рассохшемся комодке, рот по-жабьи шамкал беззвучно. Загремело, весёлым грохотом разорвало сгущённый от криков и плясок воздух, и к столам подъехал трактор. Его кабина была обтянута красными лентами. В капот был воткнут красный флаг. На нём, под ветром, жестоко мнувшим горячими пальцами алую ткань, было вышито гладью: *праздник урожая*. Из кабины трактора весело глядел на людей парнишка в заломленной на затылок кепке. Перемазанное сажей его лицо сияло ярче солнца. Он хрипло крикнул в толпу: «Поздравляю всех, колхозники! Мы перевыполнили план! С голоду страна не помрёт!» С крыльца сошёл хромой мужик с резкими, глубокими морщинами во всё сухое, почти деревянное лицо, протянул руку к трактористу, плюнул на землю окурков с колючей губы. «Типун тебе на язык! С голоду! Да у нас какое изобилие! Пусть другие страны нам завидуют!» Из-за столов в ответ ему кричали: «Верно калякашь, председатель!» За крыльцом сельсовета старшие школьники заколачивали последние гвозди в уличную сцену. На доски самодельной сцены уже выбежала бойкая малявка, коски вбок торчат, банты красные, затулила тонюсеньким голосишком: «Сталин наш отец родной! Солнце жизни золотой! С ним цветём, как васильки...» Слова забыла. Испуганно переступала с ноги на ногу. Бледнела. Ноги босые. Платишко белое, насквозь просвеченное солнцем. «Мы без горя и тоски!» — сердито запела, подсказала ей, забывчивой, девочка с думбырой. «Мы без горя и тоски!» — послушно и тоненько протянула малютка. С запада налетали пухлые, необъятные тучи, таких на земле не бывает; шла небывалая гроза, и небо темнело на глазах, наливалось жуткой синовой и кромешной чернотой. Из-за грузовика показались коровы; отбились от стада, а может, пораньше, с полным выменем, шли домой. Хромой председатель сердито замахал на них руками.

Ловкая баба вывернулась из-под его локтя, с пустым ведром; цапнула корову за ногу, погладила, остановила. Вымя и правда набрякло. Молоком, дождём, снегом. Баба подставила под вымя ведро, быстро присела на корточки и стала корову доить. Цепко хватала соски, умело нажимала, отгибая чуть вбок. Молоко зазвенело о стенки ведра. Звон этот слышал только старый хромой председатель да сама доярка. Потное бабье лицо блестело, лоснилось. Молоко лилось в ведро. Хромец облизнул губы. «Подойишь, дашь мне глоток?» Баба подмигнула. «Ай табе корчмы не хватат?» Рыжий высокий мужик в чёрной косоворотке командовал народом, взмахивал руками над накрытым столом, будто дирижировал полковым оркестром. Он водрузил на стол корзину с яблоками. Молодوخа в стёганке разрезала и раскладывала по фаянсовым тарелкам жареную курицу. Ей заботливо поднесли на блюде огромного жареного гуся, и молодуха снова свистнула сквозь зубы. Разделав и разложив гуся, обнесла тарелками всё застолье, вытерла жирные пальцы о фуфайку, полезла в карман, вынула пачку папирос «Беломорканал», долго чиркала спичкой, закурила. Толстая баба в завязанном на лбу платке из красного атласа несла на газете ещё тёплый пирог с капустой. От пирога отвалился кусок, упал в пыль, под ноги людям. Налетели голуби, стали клевать. Небритый мужик с наколкой *слон* возле уха наклонился, выкатил из-под стола великанский арбуз и шмякнул его рядом с самоваром, и самовар аж подпрыгнул. Тесак небритый мужик не стал искать на столе, среди посуды. Он вынул из кармана красиво сработанный финский нож, с чуть загнутым вверх, по всем правилам, остриём. Замахнулся на арбуз, как на человека. И нож в него вонзил, как в человека. И разрезал сладострастно, с хрустом, дико, наслаждаясь, с шумом подбирая слюну. Весь распахал. Из арбуза тёк сок на чистую скатерть. Внутренность арбуза, цвета крови, сияла. «Сахарный!» — закричала тощая, видом как сухая тарашка, девчонка и захлопала в ладоши. «Налетай, товарищи!» — крикнул небритый. Люди стали протягивать руки. Вонзая зубы в красную мякоть. Шумно втягивать сладкий красный сок. Всё глубже окуная щёки, носы, рты в холодное сладкое, красное месиво. Бабьи руки подносили на круглых, как солнце, блюдах солёные помидоры и малосольные огурцы. Расставляли на столах. Тащили трёхлитровые банки с соленьями. Раскладывали по мискам красный пахучий хренодёр: пропущенные через мясорубку помидоры, чеснок и корневища самого злого на свете хрена. Жару взрывали крики: «А картошку! Картошка варёная где?!» Баба в белой рубахе и красной понёве, что, чуть не плача, незаметно отошла от стола, теперь стояла у горы зерна, высыпанного из грузовика на землю. Она низко наклонялась над зерном,

брала его горстями, пересыпала из ладони в ладонь. Её лицо было залито слезами, будто гроза уже началась, пошёл дождь и в лицо ей хлестал. Она поднесла зерно в пригоршне к мокрому солёному лицу и окунула лицо в зерно. Так, с прижатыми к лицу руками, и пошла прочь от зерна, слепо, качаясь как пьяная. Кони, впряжённые в утлые телеги, мотали гнедыми, вороными, чубарыми головами. Ноздри коней раздувались, ловя людское веселье и запахи людской еды. Парнишка, налысо стриженный, хрипло трубил в старый охотничий горн. Пятнистая старая собака спала под столом, она сомлела от жары и угощения. Рядом с её мордой лежала недогрызенная гусиная кость. Возле столов, в пыли, валялись арбузные корки. Баба с золото-русыми волосами, убранными на затылке в пучок, поправила на груди жемчужные бусы, встала и потянула за руку белобородого старика: айда плясать! Старик стукнул её по руке, как отрубил ей руку. Баба аж ойкнула и прижала руку к груди. Нянчила, как ребёнка. Больно было. Старик разлепил губы: «Стар я для танцев-ти». Тощая, как астраханская веленая тарань, девчонка глядела на старика неотрывно. Поедала его зрачками. Губы её пересохли. Ей хотелось пить. Из толпы ей в руки всунули орущего младенца: поддержи! Она послушно держала, чуть присела под тяжестью детского тельца, сама ребёнок. Смотрела младенцу в лицо. Младенец странно был похож на неё. Потом солнце ударило лучами накоса, наклонилось, как круглое жёлтое зеркало, и девчонка со страхом увидела, что у младенца лицо старика. Точь-в-точь лицо старика с серебряной бородою, что всё так и сидел за самоваром, мрачно сведя серебряные брови, смотрел на цветной кипяток застолья, и всё сильнее, всё сердитее брови сводил. Ноздри раздувал, как конь. Ловил дух корчмы, и свежих арбузов, и солёных помидоров, их из синевато блестящей банки вылавливала чья-то узкая, тонущая в рассоле, нежная рука. Баян ударил рядом взрывом радости, звуки разбегались из-под смуглых корявых рук баяниста весёлыми зверьками, почуявшими в жару водопой. Далеко, за камчатными мягкими скатертями, за столами на утрых мощных деревянных ногах, блестела Волга — она переливалась серебряной иерейской парчой, старики уже забыли этот церковный блеск, а молодые и не знали вовсе. Волга шла медленно, с севера на юг, и наравне с ней шли с запада мрачные тучи. Тучи постепенно заволакивали небо и уже наполнили на слишком, до боли, яркое солнце. Баба в белой рубахе и красной понёве, далеко отошедшая от полных яств столов, закинула лицо к небу и закрылась от солнца рукой. Так стояла, застилась. Вдруг на её рубахе стало расплываться красное пятно. Оно всё росло, захватывало её спину, обочивало красным флагом грудь. Колени бабы

согнулись, и она тяжело, мешком с картошкой, упала ничком на выжженную, весело гудящую от топота многих ног землю. Её руки протянулись по земле. Ногти царапали землю. Платок сполз с её головы, и жаркий полдневный ветер шевелил волоски на её затылке. Туча ползла уже рядом с солнцем. Да не могла его ухватить в чёрные зубы. Серебряный старик вскинул голову. Руки его слепо пододвинули к самовару чашку, отвернули кран в виде серебряного ключика. Кипяток полился в чашку, а старик всё смотрел вдаль. Его губы вылепляли: «Начальничек, ключек-чайничек, отпусти на волю!» Кипяток, булькая, перелился через край чашки. Тощая тарашка едва успела выдернуть чашку из-под самовара и закрутить кран. По дороге к сельсовету ехали ещё три грузовика. Над их кузовами трепыхались красные флаги. Горами возвышалось зерно. Из горы зерна торчала палка, на ней бумажный плакат: ДАДИМ СТРАНЕ УРОЖАЯ! Старик вскинул голову. Прямо на него с крыльца сельсовета смотрел ещё один плакат. На школьном картоне учениками было нарисовано лицо, его знала вся страна и весь мир. Усы на лице топорщились. Брови на лице шевелились. Глаза на лице смеялись. Лицо, криво-косо, по-детски намалёванное, оживало на глазах. Старик медленно поднялся за столом. Смотрел в нарисованное лицо. Потом опять бессильно сел. Положил руки на стол. Все вокруг гудели, ели, гомонили. Руки старика лежали на столе ладонями вверх. Он отвернул голову от усатого плаката. Смотрел вниз, чуть вбок. На землю. На землю под ногами. На спящую под столом собаку. На арбузные корки. На босые ноги худой тарашки. Туча наконец наполнила на солнце и скрыла его золотой свет, наступил синий крошечный мрак, в нём гуляли и били в землю молнии, грохотал страшный гром, и тут старик поднял глаза. Тощая тарашка глядела на него. Они оба глядели друг на друга. И раскосая мать, с безруким и безногим ребёнком на руках, поющим весёлую песню, глядела на них. Молния ударила прямо над столами, попала в серебряный самовар, все завизжали, баян выпал из рук баяниста и упал в грязь, скатерть затлела, по столу побежало пламя, все врассыпную прочь от стола бежали, а ливень хлестал людей наотмашь по плечам, головам, спинам. Хлестал по золотому зерну. Усатый вождь на плакате враз вымок. Картон свисал клочьями. Золотоволосая баба грудью легла на пироги, спасая их, закрывая сдобным белым телом. Жемчужная нитка растянулась у неё под затылком, на полной гибкой шее, и скользила по скатерти на землю. Земля жадно раскрывала сухой рот. Она хотела пить. Она пила серебряную кровь дождя и тихо вздыхала. Старик встал из-за стола. Камчатная скатерть потянулась за ним. Посуда падала в грязь, скользила по ней, уплывала. Тощая тарашка ринулась к старику

и прижалась головёнкой, с косами корзиночкой, к его животу, перехваченному верёвочным поясом. Старик крепко прижал её к себе. Грузовики гудели, как при воздушном налёте. Гром громыхал уже без перерыва. Будто булжники с грохотом катились из рваных лохматых туч на жестяные крыши, на трактор, на хлеб в кузовах. Кони ржали и метались. Корзина с баранками упала в грязь. Ливень сбивал людей с ног, они падали в грязь и беспомощно ползли по грязи, разева в крике рты. Старик обнимал тощую девчонку и шептал забытые слова мокрыми губами. Он молился.

(псалом Власа Ковылина первый)

Миленька, земляца, мать чёрна, не остави мене сиротой. Господи, Табе бросаю словеса мои, как из кулака зёрнушки в пашню чёрну, теплу. Господи, грешен я, Влас грешнай есмь, аз немощнай, дай жа Ты мене силушки на работу каждодневну, а ноченьки спокойной. Землица родненька, слышу табе, вижу табе, ежечасно помышляю о табе. Готов табе орати и сеяти в табе зерно и ждати всходов твоих. Обезумети лехко, безумье рядышком, услыши мене, мою просьбишку, штобы в разуме мене оставити до смертного часа мово. Матерь, святая и святочна ты, в грязи и в роскоши едина еси. Чёрно тело твое тепло ласкали и орали отцы-праотцы, и аз грешнай должу путь ихний и соху иху держу крепко. Аз есмь грешнай Влас человек сиречь мужик, мужик глупай, да сноровочка в руках живенька, и я ей живу и тружуси, да будеть так. Птица я малая, и напрыгнеть на мене зверь лютай и съест, косточками хрустя; червь я скользок и по земле ползу, в земле, да не червь. Господа мово зрю, и Господу мою Богородицу вижу сквозь тучи, сквозь кровушку текущу, она жа краснама лезвиями землицу нашу ноне вдоль-поперёк разрезаит. Давно тому извергла мене мати моя изо чрева свово трудовова, пятнадцата робёнка, последыша, и аз бысть Власием наречён. В книге церкви нашей достопамятно то начирикано грамотнам дьячком Колывановым Хвеедором. Кормить матка дитятку свово, кормить и телка корова, кормить и овца баранчика, и шёрстка шёлкова на ей яглицца от радости. Научен лоб крестити от младосте, и на колена валицца умею, да не стыжуси молицца Господу моёму и Небеснай Матере моея. Каждому зверю на землице поклонюси, каждой травинке улыбнуси, и всяка тварь Божия глас мене подаст, а я услышу ея и возрадуюси. Кто ж я? Телеса ли мои бедныя, грешныя кости мое облепили? и я в тщете моей по земле таскаю их зря? Плоть ли я, вода ли я текуча, снилоси давеча, што река я, и поток широк мой, и по мене, грешному, лодьи вольно плывуть; древняны ли сухия кости мои, ломкия, уж полныя боли ночной, сутёмной? Ком ли глины красной, приречной сердце мое, пошто, во имя чево такова сильно бьецца оно? Либо ком

енто воска теплова, нежнова, от недогорелых святых свечей, старухи в церкви собрали в корзину, наново слепили, теплой покаместь, да исделали из воска тово шар, а он в ихих ладонях—тук, тук!—ударяить, и дрожать старухи, то объяснить не умея? Мёртвенькай ли я, али завсегда живенькай, и тово не знаю, а знать-ти должен! Спрашивают ли мене: отвечай, падаль!—пытають ли: игде да што, открой!—а я стою, рот на замок, ибо не ведаю, што и как новым осподам калякати, а оне все в чернай коже, и наганы у их за пазухами и за ремнями. И я тихо сам сабе балакаю: аз есмь крепось, и аз стою на краю, и толкають мене ко краю, и вижу, упаду в пропасть ноне, да страха нету, хотя присох язык мой ко глотке моя, и драная-рваная одёжа моя, и псы рвут онучьки мои, и во грязи тяжёлой, липкой глине лапоточки мои. Я не смотрю в зерькило; загляну глыбко—а там ад есь, блескучи, ровно у жука подкрылия, адовы врата. И трескающа жёстко, и сверкають, и качающа, манять. Зерькило енто опасность, енто как на охоте, когда в зимний лес войдеша, а дерева обступают, и ничево не помниши, хто ты такой и как звать тебе. В зерькило войдеша и не вернесси. Вот и мы, в красну революцию вперлиси, а вытти наружу, обратно, не смогам. По кой, на што нам тогды енто всё? наганы, грузовики енти? Мешки с зерном, зёрнышком приказывают нам волочь в чужа кузова? а што мы с детьми ись зимою станем? Нас хто спросил? Нихто не спросил. Только приказ. Боле ничево. Ноги у мене болят. Суставы, костяшки все, особливо в ступнях, выламываить. Ежли подстрелять, собаки будут глотати кости мои и колена мои. Што на земле, землице драгоценность? Ништо. Одёжа на мене пуста. Шапка плохонька. Невнятно всё енто мене. Не хочу ничево от мира я вещнова; хочу помочи Духа Святаго. Я хрестянин, а мене опять в руки тискають оружие?! да за што?! За што, вопрошаю! А всё округ молчить, притихло, пришипилоси, ровно заец ухи прижал к затылку за осенней кочкой; брюшко к земле прижал. Земля, землица, ты одна нам во спасение дана. И из тебе пророс аз, яко лоза; и в тебе спууси, яко всяка кость и всяко мясо, Духа лишёно, спущацца унурь тебе. Ты церква наша и путь наш, потому што Осподом ты примечена и Ево оком обсмотрена вся. Мы все нищи пред тобой, а ты богата. Пахота нами твоя есь упование нашенско! И век будемо тебе пахати и орати, и по осенней теплоте урожай твой собирать! Так мы, люди, Осподом рождёны, так и помрёмы. Царствие Небеснае есь тож земля, землица небесная. Вкусим от нея, и поклонимси ей в свой черед, и тучну землицу ту обозрим восхищенно, и явицца Осподь наш нам, и падем пред Ним на колена, все мы грешнии, сходящи в землю. Нихто жив не останецца. Но лягем в землю как зёрна. И, может так стать, взойдём; и родицца

род новый от нас умученных. И снову пойдуть по земле, землице, и вновь скажут обманутым людям правду, она же есь Осподом нашим от века сотворёна. Амень.

(Влас пашет на людях, на тощей лошадёнке)

Шерстяные тучи дружно налетели из гнилого небесного угла, ветер, ярьась, рвал их и всё не мог порвать. Влас глядел на небо прищуром хищного зверя, слюнил палец, поднимал его в воздух: определял, откуда ветер дует и не надует ли дождя, первой желанной и жуткой грозы, полоумного ливня. Ветер ничего не говорил про грядущий ужас небесного боя, он только срывал с людей шапки и пытался зацеловать сыростью и свежестью их голодные, почернелые лица. Лица темнели всё больше, становясь цветом похожими на землю, на пласты земли, отваленные лопатой. Влас смекал: такими лица святых являются смертным оченькам, тускло и горько просвечивая через чёрные доски, через слои яичной темперы и неумело, неровно наложенный лак и светящийся плотный покров позолоты. Он вспоминал, как в Караваеве пытал о той позолоте церковного их нового старосту, что после старика Шушунова при храме подвизался, Павла Ефимыча Ерёмину: «Пал Ефимыч, а вот ты скажи, отчево-то на иконах весь задник, ну, за спинами преподобных, столпников и иных угодников, а равно жа и самой-самесенькой Богородицы и Иосифа Обручника—златом заливают? Да и Спас Нерукотворнай—тож ровно на златой ковёр положон! А навроде учить нас Писание, што—бе-ден ты должен быти, што в поте лица, мол, паши и сей и собирай хлебушек свой... а потом ешь ево со слезьми! Со слезьми, слышь! А тута—всё в злате... отчево?» Павел Ефимыч косыми калмыцкими глазами долго глядел на Власа, зрачками хотел душонку-невежу из него вытащить да рассмотреть на свету хорошенько. «Оттого, глупый ты Власушко! Золото на иконах—это не роскошь. Злато то богомазы малуют, им—дух изображая! На кисть зачерпывают златую краску, а дух себя сам поперёк краски рисует!» При слове «дух» Влас поникал головой. «Дух... да, енто ясно... Дух, енто ж я понимаю... Он—рееть, игде хочеть... Каким жа молитвенником-ить богомазу надоть быти, штоб не мир мирской, а—дух рисовати...» — «Вот златом его и рисуют»,—терпеливо повторял церковный староста. И ещё ниже наклонял серебряную башку Влас. Злато—это не богатство никакое. Это дух твой веселится на небесах. Тебя, плотского и грязного, потного и зарёванного, в златую обитель—ждёт.

И вот через черноту страшного, нерукотворно малёванного времени, через стук колёс телячьих поездов и спутанные пряди грязной соломы, на пол пыльных вагонов набросанной, через черн лютых зим, чьё серебро чернили бабы—воплями,

а расстрельщики — чёрными бесстрастными нагами и наглыми маузерами, просвечивали людские лица — молчаливой рекой, потоком текли они, и каждое вопияло о судьбе, и каждые открытые и закрытые, чтобы не видеть ужаса, глаза судьбу свою — знали, и среди лиц вспыхивали сумасшествием — сумасшедшие, горели благословением — блаженные; горели красной злобой — озлётные, у кого мука внутри обратилась в ярость. И блаженных ликом было меньше всех; больше всех было — просто тихих, суровых, страдально и смиренно сжавших до конца безмолвные рты. Безмолвие до смертного венка! Обет молчания! Весь народ его дал. А зачем — дал? Чтобы святость сохранить? Чтобы — не стыдно было в святую, горячую либо мерзлотную, землю ложиться?

Да; и за этим, конечно.

Лица текли рекой, вскрывшей лёд по весне. Лица утекали и вспыхивали напоследок, прежде чем исчезнуть за поворотом. О нет, они опять возникали; а может, это были другие, люди ведь нарождались, вырастали из-под земли, ибо сеяли зерна свои сеятели, и принимало земное лоно любовь без любви, объятие без царского брачного венца. Жизнь сама взяла бразды правления в руки свои; она сама стала иереем и златым венцом, сама себе пела: «Исайя, ликуй!» — и сама соединяла руки, губы и чресла того, что раньше показалось бы несоединимым. А теперь — теперь было можно всё, чтобы среди смерти — святую жизнь сохранить.

Поселенцы столпились на краю поля. Всем любопытно было узнать, как это люди на людях будут пахать. Вперёд выступил Кирюшка.

— Мене, Влас, бери! Я сильный бык!

Грохнули нестройным хохотом. Смешки подрожали на ветру и погасли. Влас махнул Кириллу рукой.

— Вставай за плуг, бык мирской, голова доской!

Враскачку, увязая ступнями в мягкой влажной земле, подошёл к плугу Кирюшка. Встал спиной к оглоблям. Влас запряг его. Кирюшка повёл плечами. Наступила такая тишина — слышно было, как весело подвывает ветер высоко в тучах. Бешено неслись тёплые тучи по небосводу, обнимали тайную синь, облепляли лохмотьями. И всё вокруг было серое, волглое, мягкое, податливое. Бабий нынче выдался день.

Влас обозрел толпу: баб больше, чем мужиков. Нет, поровну. Нет, мужиков поболее! Встал за плуг. Взялся за рукояти. Твёрдо, расставив ноги, стоял на земле, чуя землю, определяя: послушная будет или строптивая. «Да уж... како там строптивая... тута мяхой чернозём, ить слыхати, как под ногой проседаить...» Тишину надо было нарушить — шуткой, криком. И Влас крикнул, крепко вцепившись в рукояти:

— Н-н-н-но, родимай!

Никто не засмеялся. Рта не раскрыли.

Кирюшка слегка нагнулся вперёд. Сгорбился. Потащил за собой плуг. Влас едва успел направить его, чтобы борозда не кривилась. Руки, слабые от недоедания, отвыкли от работы; Влас неслышно изругал себя тёмными словами, спохватился, прощенья попросил: «Осподи! Боле не буду так гневить Табе!» Через минуту вёл плуг уже хорошо, ровно. Кирюшка со злым упорством, уже сильно склонившись вперёд, голова и грудь, если б земля была зеркальная, в земле бы отражались, шатливо, неверно брёл вперёд по едва оттаявшей пашне.

Мужики провели первую борозду до конца поля, развернулись, обратно пошли. Влас уже уверенно направлял плуг, с трудом вытаскивал ноги из грязи, вспотел, глядел, как тяжёлый изогнутый лемех взрезает мягкую земляную плотность. Они оба с Кирюшкой уже обливались потом. А ведь пахота только началась. А до конца дня ещё далёко; белое солнце хитро и весело ныряет в тучах, взбирается всё выше в зенит, катается шаром из жирной сметаны сбитого масла. Где то масло? Где те коровы?

«Всё у нас прибудеть. И коровы будут. И козы будут. И масло будет. И зерно взойдёт-от и заколосицца. Дай нам срок, Осподи. Дай срок».

Пот тёл у мужиков со лбов, с висков по щекам, тёл по ссутуленным спинам. Когда подбредли к людям, стоявшим на краю поля, люди жалостливо заахали:

— Ох-охоньки, отдохнителя, мужики...

— Да ну пошто себя так-то истязать... чай, два, три дни будем пахати, все попеременки...

Кирюшка мазнул рукой по лицу. Дышал тяжело. Устыдился.

— Стыдно мене, бабы. Слабак я!

Из толпы вперёд выступили две бабы. И, о Боженька мой, Вобла!

В руках Вобла держала сито, полное зерна.

«Игде только взяла... у мене под койкою?... да ить не слыхал я... што, крепенько так сплю-почиваю... прокраласи, мышь...»

Бабы решительно подошли к пахарям.

— Вылезай! — крикнула одна Кирюшке. — На бок вались, конь, и посопи дырочками! Меня — пусти!

И для верности ещё и отодвинула его плечом; а плечо у бабы возвышалось могучее, мощно крутилось под серым ватником, что тебе у мужика.

Кирюшка, под василисковым, липким взглядом её дерзких синих глаз, выпростался из-под оглобелей. — Ну... валяй...

Баба впряглась. Другая молча взяла рукояти из вспухших, покрасневших рук Власа. Влас на ладони глянул: волдыри вздулись.

И так же, как давеча Влас на Кирюшку, баба шумнула на товарку:

— Но-о-о-! пошла-а-а-а!

Плуг всей тяжестью металла проник в землю, под нажатием сильных бабих рук врезался глубже, впряжённая баба тяжело и покорно пошла, плуг

стал взрезать верхний земляной пласт, и Влас не удержался, сердито крикнул:

— Глыбче! Глыбче паши!

И тихо добавил:

— Эх, неумеха...

Пот затекал ему в рот, и на вкус солёный был, как юшка; как пересоленная, булькающая в котле рыбацкая уха. Хотел его плюнуть, да сердито проглотил. Заметил, до чего обе бабы худые. Платки надвинуты на самые брови. Сверху платок тёмной шерсти, из-под него высовывается белый, исподний — снеговой полоской на лбу. Чисто стиранный. Стирают бабы в котлах, воду на земляном огне кипятят; полоскать идут на Томь, на санках стога белья тянут, и обратно в барак идут с красными руками, краснее гусиных лап. И санки — волоком — за ними, за их спинами в шубейках да в ватниках, в кургуzych кацавейках: с горами чистоты, с духом мороза, телу от чистого хорошо, привольно, всё маленький праздник их мужикам, беднягам.

Худые ноги бредут вперёд по чернозёму. Худые руки направляют плуг. Выносливые бабы! Ещё ни разу не пикнули, что — устали!

А сзади, за бабами, с ситом своим мелким, мелкими шажками, мышиными, шла Вобла, запускала руку в сито, размахивалась, как мальчишка, камнем грациное гнездо жестоко подбивающий, и швыряла в воздух зерно — одну горсть, вторую, третью, а дальше никто не считал, только ждали, когда же сито опустеет. Но зерно в сите не кончалось. Оно не убывало, а, чудилось, прибывало. Ещё горсть! Ещё!

— Дык ить закончицца давненько уж должно... чудеса...

Влас утёр рот ладонью. Бабы шли и таяли в налетевшем тумане. От вспаханной земли пахло влажными корнями, раздавленными невидимыми, малыми жизнями — жуками-червяками, и немного пряным, чаровным: мятой, корицей. Вобла взмахивала рукой и выпускала из кулака на волю живые жёлтые искры. Они поджигали глухую черноту. Ноги Власа, в измазанных болотниках, всё глубже уходили в землю. Он уронил взгляд под лемех, под мерный тяжёлый ход плуга, и чуть не ослеп от ужаса: увидел, как из-под земли просвечивает, светится труп лошади. Рёбра торчат. Мёртвые копыта неслышно касаются живых ног баб, золотых зёрен, упдающих в земные отвалы, разрытые дыры и тайные щели.

Подземная лошадь, перевёрнутая кверху копытами и голодным, ребрастым животом, странно и быстро перевернула то, что стояло и шевелилось на земле. Обе бабы и Вобла теперь шли под землёй, а тощая ребрастая мёртвая лошадь, медленно, страшно перебирая ногами, шла поверх их земных трудов, странно повторяя живым скорбным скелетом и мочальной, в репьях и колючках, гривой их медленные движения.

Надземные ли лошадь и живые бабы отражали подземную лошадь и подземных, туго платками повязанных баб? Или те, что шли под землёй, тех, кто поверху шёл и жил, отражали?

Ноги соприкасались ступнями. Копыта прилипали к копытам. Плуг звенел о плуг.

Тьма отражала свет.

Свет вспахивал тьму.

Влас растарашил глаза. По нему тёк теперь уж не горячий, а ледяной пот. Губы хотели шептать молитву, да не могли. «Мысленно крестиси, Власко... мыслию... ить так монахи учили...»

Напряг думу и представил, как накладывает на себя крест; спасительную щепоть, а не как староверушка его родненькая, замученная Арина Филиппевна, — древнее двуперстие. «А како жая?.. навроде б я в стару веру крестилси... Ай в другой жизни то было?.. А детки-ти у нас како жая?.. староверы оне или никонианцы?.. В мать ай в отца?.. Да ить одному Христу мы их учили... одному-единому... Осподи, Ты един знашь про то...»

Мёртвая лошадь медленно шла пашней, добрела до края, встала. Влас глядел умалишённо. Вокруг себя он уже не чувал толпу. Люди исчезли. Он один стоял на краю поля, и перед ним стояла мёртвая лошадь, что мёртвыми копытами шла по чернозёму, а под землёю стопами, обутыми в разношенные боты, в лапти и опорки, касались её подбитых кузнецким железом копыт две бабы и одна девчонка, и золотое зерно из-под земли сыпалось лошади под копыта, ударяло ей золотою шрапнелью в тощее, одичалое брюхо.

Выгибалась земля странным выгибом. Влас не знал и никогда не узнал, что вот так, круглым гигантским земным боком, выгнулся перед ним весь чёрный окоём; Царь-Космос, из живой черноты иконы своей, из обеих восковых, весёлых ладоней выпускал, бросал во мрак мира свои родные зёрна — планеты, луны, солнца. Золотыми ростками пробивались сквозь чернозём бесконечности, слепили пылающим праздником кометы, колосились, гасли в закатных лучах умирающей близкой звезды. Мужик сначала пахарь, потом сеятель, потом косарь, и жатва ещё тяжелее пахоты и сева, и когда, Бог, Ты явишься к нам собирать Свою сытную жатву?

Мёртвые бабы и мёртвая лошадь шли по земле.

Живые бабы и живая лошадь, их отражая, шли под землёю.

Влас не мог глаз отвести от медленно идущей пашней мёртвой лошадки.

— Дык ты ж уже истлела вся плотью, матушка... ишь как рёбрышки торчат...

И вдруг подумал в ужасе про себя: «А можа, енто я перевернулси кверху ногами и ентак стою? и вижу всё наперекосяк, с исподу? Вижу то, чево не узрел бы на земле никогда? Кости зрю под плотью? И шас ищо чево-нибудь таковско узрю,

што тайной мира затвержу, упомню... Вить енто тайнозренье открылось мене... тайнозритель я... ишь...»

Не смог додумать о себе горделивую мысль. Гордыню его тут же наказали. Мир закрутился вокруг него, как кудель вокруг жужжащего, весёлого веретена. Мёртвая Арина Филиппевна сидела на краю лавки, крутила в ловких пальцах веретено, лукаво поглядывала на мужа. Бабы снова шли по земле, поверх неё, взрытой, ждущей, и Вобла всё так же бросала не убывающее из сита зерно меж чёрных пахучих комьев. Влас упал на колени. Колени тут же глубоко в землю ушли. «Жаль, весь я унурь землищи не ушёл... што енто со мною... што я видел... што...»

Ветер свистел над головами, опахивал сырым теплом голые лица и руки.

Бабы пахали, Вобла сеяла.

Люди стояли и молчали.

...Через два дня такой истязательной пахоты из Зырянова к баракам приволокся нежданный парень в грязной кепке. От кепки маслено, бензинно пахло мазутом. В руке парень держал уздечку; за уздечкой шла лошадь; Влас обсматривал её стати, он уже чуял — пахать кобылу привели, расщедрились.

Он закрылся рукой от солнца. Далеко, у кромки, где земля сходилась с небом, синей грозой набухали грудастые тучи.

— А ищо балакали, што сибиряки жадны, — искоса глянул Влас и бестрепетно, без смущенья принял узду из рук парня в пробензиненной кепке.

— А нам говорили, однако, что волжане прижимисты, — отбил удар парень. Похлопал кобылу по тощему боку. — Видал, какую кобылицу от сердца оторвали? Давай, действуй! Запрягай!

Небо клубилось весёлым страхом. Люди ждали дождя. Вобла побежала в барак — вытаскивать зерно из мешка, из-под Власовой койки.

Парень швырнул наземь мешок овса: кобыле пища.

— Да уж запрягу.

— А то, может, на тракторе к вам прибыть?

— Исделай Божеску милость! да ить не исделашь.

— Не сделаю, нет. Я сам запряжён в работёнку по самые бабки!

Парень смеялся, жадно курил «бычок», катал в крупных, белее метели, весёлых зубах.

— Лошадь вам в сельцо возвернути? — деловито и мрачно спросил Влас, положил руку на выгнутую колесом, каурюю шею. — А она у вас не дика? не понесёт, не залягаить?

Парень докурил и досадливо плюнул окурок на землю. И наступил на него, размял подошвой. — Если дразнить будешь, дед, залягает!

Кобылу сперва вдоволь накормили овсом. Нацепили ей на морду торбу. Дети притащили с Томи ведро с водою, поили её из ведра. Кобыла опускала

смирную долгую морду в ведро и пила фырка, шумно. Вынимала морду и шлёпала кривыми губами, и от губ её и длинных зубов разлетались брызги. Дети отбегали и смеялись. Вобла стояла рядом с ситом, полным зерна, в руках.

— Всё, поела-попила, — холодно бросила она то ли лошади, то ли Власу. — Идём пахать! — Глянула на жёлтый воск зерна. — И сеять.

Власу её тонкий, чуть резкий голос прозвучал строгим и взрослым. Он запоздало вздрогнул, будто его по спине незримой плетью хлестнули, да с потягом.

Они втроём — кобыла, Влас и Вобла — пошли по тропе от барака к тёплому, ждущему полю, и люди смотрели им в спины.

Под солнцем шёлково, маслено переливалась лошадиная шкура. Кобыла светлой масти. Каурая. Грива и хвост белёсые, будто седые.

— В мене мастью пошла, — усмехнулся Влас.

Вобла шла рядом, ничего не отвечала. Будто бы и не было тут никакого Власа. А она сама, одна, будет и пахать, и сеять.

До вечера Влас вспахивал поле близ Томи на тощей лошащёнке. Меняли очертанья облака на небе, и заполошно чвиркала громкая птица, звоном трелей оглушая мужика и девчонку, а потом туманно, рассыпчато свиристел над их затылками невидимый в чистой синеве жаворонок. Гроза прошла мимо, сюда лишь доносились её дальние, рыдальные раскаты. Вобла редко взмахивала рукой, а зёрна зачерпывала ладошкой скупое: берегла, чтобы на всю борозду хватило.

Когда зерно кончилось, Вобла встала, и Влас заиграл губами лошащёнке: «Тпру-у-у-у!»

Далеко, высоко, дух захватывало, пел жаворонок, он пытался долететь к солнцу, трепыхал в головокружительной выси мелкими, как листья донника, крылышками.

— Што стоиши?

— Всё высеяла.

Вобла подняла и показала Власу пустое сито. Она держала его как цыганский бубен.

Влас покусал губы. Он исподволь рассматривал Воблу, будто увидел девчонку впервые. За то время, покамест они тут, на Томи, мучились, пока копали землянки и возводили бараки, Вобла чуть подросла, будто встала на цыпочки, будто хотела скорее стать большой, да у неё никак не получалось. Солнце, клонившееся на закат, гладило красными пальцами её сивые, почти белые, как у каурой кобылки разлохмаченная ветром грива, паутинные волосёнки, и блестили под лучами зубы, обнажаясь в слабой улыбке. «До чево замухрыста, — думал Влас смутно, — ни кожи ни рожи в девке, хто иё таку полюбить? и когды? да никогда...» Надо было вспахать молчанье плугом речи, вот Влас и подал голос. Спросил:

— А тама, дома, ну, в барак-ти, в мешке ищо зернишко осталоси?

Вобла покачала головою: нет, не осталось.

Вздыхнул Влас.

— Ну... ладноть... уж како получилось... всё за-сеяли... теперя дождичка молити надоть...

— Моли,— пожала плечами Вобла.

Она не двигалась с места, это он почему-то придвинулся к ней. Бочком, робко. Будто взрослая она была, а он малый мальчонка. И нашкодил; и провинился. И хочет прощенья просить, а— не может. Язык отсох.

— Ты енто... знашь... устала ты?..

Её маленькие острые, косо стоящие подо лбом глаза внезапно как-то странно, широко раскрылись и сделались вроде большими, и отражались в них, как в озёрах, чёрные прогалы земли, нежная пушистая зелень, что лёгкою волной покрыла все кусты и дерева, охватывающие кольцом чёрно-дегтярное вспаханное поле, сине-серое, нутром перловичной раковины светящееся высокое небо, и вот отразилась бегло, мгновенно вспыхнувшая, все небеса прорезавшая косо далёкая дикая молния, весенняя зарница. Всё это, весь сущий мир вобрали и отразили её тихие, некрасивые глазёнки, и почему шаг, и ещё шаг ноги сами делали к ней, а глаза почему искали эти детские зрачки? Может, он просто тосковал по детям своим, и ему хотелось её, ещё ребёнка, приласкать? Хотя знал: вырвется, как пуганный, битый котёнок, убежит. Не спугнуть! Подойти! Ближе. Ещё ближе. Нелепые, невнятные, горящие забытым царским, а может, церковным золотом древние слова густо, засахаренным гречишным мёдом лились в нём, заливали ему горло и душу, и глотка не могла говорить, а душа—дышать.

Не убежала. Ждала.

— Нет. Не устала. Что ты так смотришь?

— Ничево... я не смотрю.

Отвернулся. А грудь вздымалась. Там, далеко, за Томью, над тайгой, над полями и увалами, торжественно, по-царски, шла беззвучная гроза и беззвучные зарницы уже обнимали всё небо, радостно, празднично плясали над их головами, за их плечами, освещая их так, как раньше, при царе, барский фейерверк освещал разом и усадьбу, и нищие избы. Вобла вся, с лохматой головёнки до тощих щиколоток, была озарена зарницами, они бешено вспыхивали и мгновенно гасли, и звук грома не успевал сюда докатиться, а молния вдали ударяла опять, и вновь слепящая зарница выхватывала из наваливающейся тьмы тощее Воблино тельце, а оно таинственно и неуклонно преображалось, и Влас с изумлением, с великой дрожью бедного одинокого сердца наблюдал чудо преображения: вот минуту назад это была девчонка, бросовая щепка, голодная лисичка—и вот оборачивается она, а перед ним женщина, глаза светлые, рыбы, косые манят, они без дна,

в них падает небо и падает он сам, да впору ему посмеяться над собою, но тут уж не до смеха, надо сделать ещё шаг, ещё шагочек и поглядеть ближе, и заглянуть глубже, и за руку взять, а может, и за руку брать не надо: от её тела идёт жар, и он хорошо знает—так ярко, жарко горит внутри неё, под тощими её, лошадиными голодными рёбрами, её душа. Он душа и она душа, Бог создал людей из земли, из глины, и вдохнул в них душу,—так зачем же смеяться над желанием людей отдать, подарить свои души друг другу? Души, не тела?

Дальние зарницы замигали, задрожали меж туч, облепили прерывистыми вспышками недвижно стоящую Воблу. Влас сделал ещё один шаг и осторожно, слепо подался к ней. Всего себя—близко—придвинул. И он весь горел и жаром дышал; а может, это от их тёмных тел зарницы и били в близкую ночную тьму.

И тут вдруг произошло неизъяснимое. Вобла хохотнула, сощурилась, откинула голову и—какая благая муха её тяпнула, да за какое такое место?!—заголосила на всё поле, на все синие грозные сумерки:

— Когда Ленин умирал,
Сталину наказывал:
Хлеба вдоволь не давай,
Мяса не показывай!

Орала и рожи корчила, как обезьянка, и даже ногами дрыгала: заплясала.

Это она над ним потешалась!

«А можа... енто она нарошно... ну, штоб я на иё... не набросилс...»

Влас будто кто ударил по лицу. Он стоял, тоже весь облитый светом бледно-алых, зелёно-золотых зарниц. Гроза играла на краю света. А они стояли во тьме. Их руки были так близко друг от друга. Руки Власа дрожали. Руки Воблы сжались в озорные кулаки. Кто надоумил её грубо, страшно, весело запеть, заблажить эту поганую частушку? Ему хотелось заорать ей в лицо, в кривую её рожицу: «Пошто?!»

Вобла искристо и насмешливо глянула на него своими наглыми белыми глазами, и он подумал: «Раскоса, чертовка, как... та, моя. Земфира».

— Блажная ты, што ли?

Голос хрипел, руки тряслись. Обтёр кулаком влажные губы под усами. Усы, как у пса на добычу, застывшего в стойке, дрожали.

— Ха, ха! Отпрягай кобылу от плута. Всё! Кончилось наше счастье!

«Како, хрен те моржовай, щастье...»

Влас завозился неслучными, дрожащими руками в лошадиной сбруе. Не глядел на девчонку.

И не увидел, как она подкралась к нему сзади. Неслышно, по мягкой земле подошла. На цыпочки, как ангел, поднялась. Прежде чем руки взбросить и его сзади обнять—замерла.

И обняла. И замер он.

Так стояли, обнятые тьмою. Звёзды загорались над ними медленно, нежно. Алмазной крошкой светили сквозь грозовой туман. Вобла тихо, улыбаясь, сказала:

— Ты всё равно от меня не убежишь. Дёргайся не дёргайся. Я к тебе приклеюсь. И не отклеюсь.

Расцепила руки. Оторвалась от него, подхватила сито и быстро, прямо по пашне, по целине, пошла, побежала, размахивая пустым ситом, а потом, на бегу, высоко подняла сито над головой, держала и правда как бубен. И бежала, бежала. Сама вся звонкая, из звонких костяных углов да позвонков,—бубен живой.

Влас глубоко, прерывисто, шумно вздохнул — и побежал за ней.

«Што я творю?! што...»

Догнал. Дышали оба громко, хрипло. Девчонка, кажется, смеялась; он не слышал, видел только в смехе изогнутые, открытые губы. Искал их губами. Его руки сами уронили её на землю. Всем собой прижал её, тощенькую, к земле, в землю вжал, вмял. Она отворачивала лисью мордочку, сначала громко хохотала, как от щекотки, потом заплакала, вырывалась. Кричала тоненько, жалко: «Влас Игнатьич! Влас Игнатьич!» Он пытался сдёрнуть с неё одёжки, жалкие барачные тряпки; не мог, стало жалко и стыдно. Целовал её бьющееся под ним рыбе, костлявое тельце, торопливо, коряво молился. Себя проклинал. Над собою смеялся. Вокруг них остро пахло сырою землёй, звёзды кололи им спины. Возились, катались по пашне, все изгряднились. Локти, колени, щёки и шеи. Вместе с землёю; стали землёю. Ещё немного, и зёрнами прорастут. Наконец, в возне, в борьбе, среди земляных комьев и отвалов глины, под тёплыми звёздами, в волглом тумане, под бешеным плеском зарниц, нашли лицом лицо, а губами — губы; и поцелуй ударил вдоль одного тела, потом вдоль другого, и эта сдвоенная молния сначала слепо приварила их друг к другу, потом подожгла, и запыхали оба, потом разрубила жестокой саблей, и головни друг от друга откатились, и горели уж розно, стыдно.

Гасли. Чернели. Мерцали сквозь смоляную обгорелость красными и синими, самоцветными огнями. Вобла вскочила на ноги. Грязная вся, от пяток до макушки; опять подхватила сито, полетела, побежала. До Власа донёсся её хриплый, обидный смех.

— Ничего ж не было... ничего... ничего ж...

Переводил дух. Хохот отдалялся. Девчонка, озорница, должно, уже подбегала к баракам.

Сел на земле. Обнял колени, чтоб не тряслись. Крутил головой. Усмехался.

«А што, плакать, што ли?»

А зарницы всё играли, играли. Обнимали ночь. Смеялись слепо, беззвучно.

(трапеза поселенцев. Уже хозяйство наладили)

Лежали на столе большие булки, только вынутые из печи, и маленькие калачи. Нынче день был не постный, и на столе в блюдах высились варёное и резаное скотское мясо. Стоял громадный чёрный, в алых медных бликах чугунок, в такой можно было целый тулуп, свернув, уместить; в нём плескались, горячо дышали щи. Глубокие большие миски со студнем отсвечивали тусклым агатом, жёлто-золотым жиром. В двух чугунах, размером поменьше, на краю стола лежали варёные пахучие налимы и торчали головы муксунов с белыми вываренными, страшными глазами.

Сам стол плыл в полумраке барака лодкой. Столу, когда барак рубили, выделили отдельную площадь. Мужики так и порешили: сделать общую трапезную,—баб не спросили, да бабы и сами догадались.

В глиняных мисках весело мерцала квашеная капуста, смиренно лежали стебли тёмно-зелёной, болотной черемши, поблёскивали круглые головы крепких таёжных грибов.

Во главе стола сидел Влас Ковылин. Богу перед самодельными берестяными иконами все уже помолились. Помоглились кто как мог. За одним столом сидели и никонианцы, и староверы, и кержаки, и хлысты, и фёдоровцы. Кто новую красную веру разделял, те не молились, смиренно стояли, головы опустив; но таких было немного среди поселенцев.

Две огромных глиняных, глубоких миски разевали пустые круглые рты; стулья аккуратно расставлены вокруг стола, и на них плотно, молча сидели крестьяне. Перед каждым лежала деревянная ложка. Ложку брали, иные тоже её крестили, как себя.

Над широким, как лодья, столом висела керосиновая лампа. В ней мальчонка Федюрка Усольцев, переселенец из Рязани, разжёл фитиль, перед трапезой скинув башмаки и взобравшись обезьянкой на стол.

Баба в красном фартуке, со звенящими ключами от всех барачных подсобок и сараев, привязанными к поясу, щедро зачерпнула половником щей и вылила в одну глиняную общую миску; потом в другую. Вкусно пахло варёной капустой и мясом.

Люди сидели молча. Все смотрели на Власа. Ждали, пока он ложку возьмёт и первым в щи запустит. Дети глотали слюну. Другие, кто за столом не уместился, ждали обеда, смиренно сидя на длинных, вдоль стены, грубо срубленных лавках.

Влас ухватил деревянную ложку, окунул во щи. Поднёс ко рту. Подул, дыханьем остужая. Хлебнул, стараясь не обжечься. Все взяли ложки, как по команде, и стали запускать в миски. Ладонь под ложку подставляли, чтобы щи на стол не вылились. Ухлебывали, жмурясь. Молчали,

только ложки о дно мисок стучали, да хлюпанья губ и языков слышны были. Ели с наслаждением. За окнами барака ломил сучья, выжигал землю особенный, железный мороз. Так лютовал, будто не холодом, а кипятком обдавал. День меркнул, и подслеповатые оконца затягивались унылой сумеречной синевой, керосиновая лампа бросала весёлые отблески на оконные узоры инея: на ледяные ромашки, снежные гвоздики. Люди ели, и это было свято. Превыше всего: превыше мороза, ссылки, близко гуляющей смерти. Мясные щи, это была сама жизнь. Люди впрок запаслись плодами летней земли, и зимняя земля, из-за брёвен и досок, непрочного людского заслона, хищно и мёртво смотрела сейчас в слепые, затянутые плевой мороза окна, как люди, сварив те плоды, бережно, осторожно и жадно едят их.

Влас первым положил ложку на стол вверх выгибом. Дети участили запусканье ложек в миску, уже встали с лавок, копошились вокруг общей миски, как поросята вокруг остатков баланды в хлевной колоде. Студень был уже съеден. Черешу разобрали по солёным стеблям. Капусту из миски брали руками, закидывали головы, в рот отправляя. Влас встал за столом. Выпрямился. Перекрестился на икону.

Вырезанные на берёсте громадные глаза Спасы Вседержителя строго глядели в сердце Власа.

— Слава Табе, Боже Осподи наш, наплатил нас еси ноне!

Встали, шаркая ногами, с шумом двигая лавки, и перекрестили лоб все верные.

— Слава, слава... слава Тебе... Боже...

Влас обвёл людей тёплыми, влажными глазами. Серебряные лучи его погустевшей, отросшей бороды весело бежали ото рта, разбегались, посверкивали.

— Трапезу нашу восхвалим... и хозяйку нашу, што сёдни сготовила нам обед наш!

Люди опять перекрестились.

Кто в большевиков свято верил, угрюмо стоял.

Девчонка с остроугольным лицом, тощая Вобла, глядела белыми рыбьими глазами. Она не знала никакой молитвы и креститься стеснялась.

Руки Власа висели, уроненные вдоль тела.

— Дай-то, Осподи, нам и всегда так-то обедати! Сибирюшке поклоны мои! Ить она нас всех кормить и поить, красавица наша! Ничево, и здесь жити станемы!

Люди перекрестились в третий раз. Дети под шумок выскребли все миски. Федюрка миску схватил и, пока Влас речь застольную держал, перевернул её над лицом и припал к ней губами, как к сиське матери. Остатки щей через край высосал. Баба, что ближе стояла, дала ему несильную подзатрещину.

И тут со Власом что-то случилось. Сел на лавку, как упал. Будто ему под коленями косой полоснули.

Руки на стол уронил, вывернул ладонями наружу. Руки его напоминали два куска ржаного хлеба, грубо отломанные быстрым кем-то, жадным от огромного каравая. Он сам смотрел на свои руки и лицо его темнело. Никто не уходил из-за стола. Все ждали. Глядели: кто покорно, кто сыто, кто испуганно. Влас разомкнул губы, будто они у него были на замок заперты.

— Вот а и оне... оне обедали тожа.

Все сразу поняли, о ком речь.

— Сидели... Исус хлеб разломил... енто, балакаить, Моё тело...

— А выпить винца-то у нас и нечево! — донёсся пронзительный голос Кирюшки Смелякова с другого конца стола. Влас дрогнул спиной.

— Кровушка, калякаить, Моя... все пейтя иё, не жалейтя...

Федюрка живо слезал под стол и вытащил оттуда, как фокусник, пустую жестяную, солдатскую кружку.

— Налил ба, парнишечка, да нетути вина...

Перевернутые ложки плыли по краю стола, выгибались толстыми жёлтыми рыбами.

Соль остро, алмазно сверкала в расписной солонке.

— А коли Иудушка тут игде упряталси, не взыщи, брат...

Лицо Власа шло волнами морщин.

Люди молчали.

Оглядывались туда, сюда в поисках тёмного Иуды.

За окнами вьюга вилась белой лисой, ветер поднимался, дул в печную трубу, и она звучала страшно, тоскливо, — выла, кричала бабьим истошным плачем о том, чего не вернуть.

(Новый 1941 год. Влас сперва у Воблы, потом у Земфиры)

У ёлки сидели двое. Борода старика серебрилась, девочка смотрела в окно. Старик смотрел на девчонкины косы корзиночкой. Морозные тюльпаны и хризантемы летели по оконному стеклу, забирались на самый верх окна и оттуда, сияя, глядели на людей. Ёлка молчала и посверкивала самодельными игрушками. Старик наverts из бумаги лебедей, вырезал узорные снежинки, навесил на чёрные колкие ветки сосновые и еловые шишки. Самая крупная шишка подмигнула старику золотым глазом: он обклеил её фольгой, найденной между рам, в такой фольге до революции коробейники продавали маковые конфеты. Ёлка очень хорошо, сильно пахла. Девочка, не оборачиваясь, продолжая глядеть в окно, глубоко вдыхала терпкий, смолистый запах хвои. Темнело, и голова девочки светилась тихим ангельским золотом на фоне медленно синееющего, затянутого ледяным орнаментом окошка. Этот лёгкий золотой свет вокруг девчонкиной головы вызывал на глазах

у старика лёгкие детские слёзы. Будто обидели, но утешили, и ясно, тепло стало. Мерцала большая икона Казанской Божией Матери в красном углу. Потрескивали сырые дрова в печке. Рыжий кот спал на кровати, впиная когти в изодранную подушку. Тихо стучали ходики. Старик тихо окликнул девочку: «А я тебе подарочек сготовил. Глянь-кось». Девочка медленно повернулась. Её острый подбородок как тесаком стесал синий, искристый воздух. В приоткрытой дверце печи виднелись головки, они переливались и вспыхивали кровью и бирюзой и тихо гасли. Девочка спросила: «Какой подарочек?» Старик поманил пальцем: «Иди-ко, полюбуйси». Он ссутулился, с трудом наклонился с табурета, вытащил из-под ёлки деревянный ящичек. Девочка смотрела широкими глазами. Старик потянул на себя крышку. Пружина подбросила маленькую чёрненькую змейку. Змейка мгновенно завилась в кольца. Девочка ахнула и прижала ладони к щекам. Старик довольно усмехнулся: «Не бойсь! Она игрушечна. Я сам иё исделал! Табе повеселити!» Девочка осторожно взяла в руки ящичек. Открывала крышку, змейка выскакивала; закрывала, змейка исчезала внутри ящика. Девочка тихо засмеялась. «Хороший подарок. Спасибо. Я тебе тоже подарок приготовила». Она потянулась к подоконнику и взяла с него тарелку, накрытую полотенцем. Сдёрнула полотенце. На тарелке лежал круглый румяный пирог. От корочки теста пахло яблоком. «Яблочный пирог. Я испекла тебе. Для тебя». Старик сунул руку в тарелку, отломил пальцами большой кусок и отправил в рот. Жевал. На лице его изобразилось счастье. Потом он будто что важное вспомнил. Лицо его сердитыми морщинами пошло. Он судорожно, торопливо зашарил в кармане портов и вытащил яркий золотой мандарин. Сунул в руки девочке. Она понюхала золотой плод, закрыла глаза и улыбнулась. Он взял обеими руками девочку за щёки, привлёк к себе и поцеловал троекратно. Будто сейчас не ёлка, а Пасха. «Ты меня целуешь, будто Пасха»,— сказала девочка и хотела рассмеяться, а рот её сложился в гримасу плача. «Так у нас жа всегда Паска, потому как всегда с нами Христос»,— растерянно и блаженно ответил старик. У него на душе был праздник, и праздник светился в глазах. «Ты вот што, душенька, ложиси-ко ты спати, а я...» — «А ты куда?» — быстро спросила девочка и зевнула. Ей и правда хотелось спать. Ночь приближалась. И вот уже наступала, и вот уже царила. «А я прогуляюси, гляну на звёздочки, ить оне тожа Новогодье празднують»,— ответил девочке старик, и непонятно было, шутит он или говорит правду.

Старик надел овчинный тулуп и ушёл из дома. Девочка оглядела избу, расстелила свою постель, разделась перед печкой, чтобы теплее было, и быстро залезла под овечьё одеяло. Она ещё немного посмотрела в потолок, понюхала запах

ёлки, повздыхала и уснула. Старик шёл по селу, крепко и хрустко давя снег огромными тяжёлыми валенками. Он измерил всё село крупными шагами и наконец встал перед знакомой калиткой. Отвернул задвижку, потянул калитку на себя. Снег запорошил тропу. Старик наступал валенками в сугробы, проваливался. Смеялся сам над собой. Впотьмах, при свете звёзд, нашёл дверь, постучал в избу. За дверью зашуршало, тонкий голос спросил: «Кто пришёл?» Старик прислонил губы к двери и тихо сказал: «Ёнто я, Зёмушка, жизня моя. Отпирай!» Щёколда стукнула. Женщина, что открыла старику дверь, попятилась во тьму. Её смуглое лицо совсем слилось с тьмой и пропало. Было слышно только дыхание. Старик переступил порог и крепко обнял её. Он искал губами её губы и нашёл. Они были тёплые, горячие, и пахли еловой смолой. Обнявшись, оба прошли в избу. В маленькой кровати спал ребёнок. Он был по шейку укрыт одеялом, и было не видеть, что у ребёнка нет ни рук, ни ног. Большая ель твёрдо, неизбежно стояла в крестовине, будто так прямо тут и выросла, посреди избы. «Хорошу ель я табе приволок?» — спросил старик, и на румянном с мороза лице его опять засияло счастье. Женщина ласково глядела ему в лицо. «Лучше не бывает, Власушко». Старик покопался в кармане тулупа и вытянул наружу свой кулак. В кулаке пряталась вещь. А может, пустота. «Подарочек табе»,— едва слышно, как кот на печи, промурлыкал старик. Смуглая женщина протянула руку и пальцем коснулась кулака старика. «Он здесь?» Старик усмехнулся. «Здесь, здесь, игде ж яму быти». Женщина стала обеими руками, беззвучно смеясь, отгибать ему, один за другим, скрюченные пальцы. Наконец все разогнула. На заскорузлой крепкой ладони лежали странные серёжки. Они блестели ночной чернотой. Женщина осторожно наклонилась над ладонью старика и испуганно всмотрелась. Вместо цветных камней в серьги были вставлены осколки зеркала. Женщина взяла серьги с дарящей ладони опасно, так берут в руки змею, и вдела в уши. Стояла, серьги качались. «Где ты добыл такие?» Старик опять усмехался. «Тама, игде добыл, уж нетути мене. Зерькило разбилиси, я разбитки подобрал да смастерил. Ндравяцца?» Она смотрела недоверчиво. Борода и глаз старика отражались в серёжке, серьга медленно, как маятник, качалась в розовой мочке. Старик поднёс своё бородатое лицо к лицу женщины и поцеловал её в раскосые глаза. Чёрные её глаза горели углями в печи. Щёки полыхали. Меж приоткрытых губ зеркально блестели зубы. «Влас, родной»,— тихо шепнула женщина и прижалась губами к свежим, как у молодого, ласковым губам старика. Серебряные волосы старика вывернулись из-за его уха, упали на щёку раскосой женщины и обожгли её щёку. Она вздрогнула, целоваться они не перестали.

Когда отпрянули друг от друга, оба дружно посмотрели на ёлку. Ёлка смотрела на них. На ней не моталось ни одной игрушки. Она в избе словно в лесу росла, только снега на ней не сверкало. В углу тихо горела керосиновая лампа. «Игрушечка моя, мышечка», — тихо, нежно сказал старик. Борода его серебрино засветилась под лучами неверного жёлто-алого света, потом погасла. Человек вспыхнул и погас, как лампа. И горел ровно столько же. Нет, засиял опять! «Я тебе не игрушка. И не мышка», — серьёзно ответила раскосая женщина и дунула старику в лицо, как на пламя. «Нетути, нет, конечно. Ты человек. Ты... душа ты...» Женщина взяла обеими руками голову старика. Приблизила к себе. Глаза её ходили, сновали по лицу старика, будто зашивали его, штопали на нём невидимые дыры, сшивали со своим, накрепко. «Любишь?» Керосиновая лампа мигала. «Как не люби́ти тебе, такую...» Губы губ искали. Пламя смелело. Ёлка топырила жёсткие сизые иглы.

(Уродка бормочет)

Вижу железный шар, круглит он бок, катится и блестит.

Губы мои ловят ветер, ловят жуков и бабочек, ловят рыбок, их мамка в подоле приносит.

Я вижу, мамка красками рисует на досках. Хочу так же рисовать, но у меня нет ручек.

Ножки мои бегут от меня отдельно. Я их вижу во сне, как бегут.

Во сне меня пчёлки кусают, в меня сок золотой пускают, и вся я наполняюсь мёдом. Я соты, только никто об этом не знает. Если меня разрезать, из меня мёд потечёт.

Беру губами воздух и жую его, он жёсткий, стальной. Если я губами и щеками прикасаюсь к стальному, оно становится живым. И над ним можно плакать, прожигать его слезами. В живой коже прожигаются дорожки, по ним текут большие реки, по рекам плывут корабли, на кораблях сидят крошечные люди, они мельче комаров и мошек.

Я вижу, что у других людей есть руки и ноги. Я не такая, как все. Я другая. Иногда мне от этого так больно, что я превращаюсь в нож и режу сама себя. Я видела, как мамка тесаком кромсает рыбу. Больно резать боль, это только я могу. А иногда я вижу себя сверху: как я лежу в кровати, голая, и на меня дышит Боженька с мамкиной раскрашенной дощечки, я лежу в его дыхании, как в одеяле, и слышу Его шёпот: ты это Я, а Я это ты, пусть теперь какой-нибудь дурак попробует нас разрезать.

Бог меня такой родил, чтобы другие люди, да же те, кому страшно больно, поглядели на меня и обрадовались: ей хуже, чем нам! А она не воет, не орёт и головой об стены не бьётся! Они не знают, что я и вою, и воплю, и лбом и затылком об стенку бьюсь. Но только когда мамки дома нет, чтобы она не видела.

А ещё я сильно радуюсь, и тоже когда мамка меня не видит. Не надо, чтобы люди видели твою радость. Твоя радость непохожа на радость других людей, у которых есть руки и ноги. Это такая радость, она весь мир захлестнёт! И весь мир в ней потонет! Я знаю, что такое тонуть. Однажды жарким летом мамка меня купала в бочке во дворе, и я выскользнула у неё из рук и стала тонуть в бочке. Я захлебнулась. Всё вокруг стало тёмным и липким, а потом мне в глаза пополз свет, как червяк. Или это я вползала в свет, а он меня в себя не пускал? Мамка хлопала меня ладонями по голой мокрой груди и верещала: Радужка! Радужка, очнись! Радужка, очнись! Я люблю тебя, очнись! Я люблю...

С тех пор для меня, когда любят, это вытаскивают из бочки, полной воды, и хлопают по груди. Любовь, это когда ты тонешь, а тебя спасают. Нет такой любви, чтобы ты плыл, а тебя кто-то безжалостно утопил. Это не любовь, а злоба. Злобу я тоже видела, и много раз. Надо мной злые люди смеются и показывают на меня пальцами. Я научилась не слышать, что они кричат. Для них главное, что я не такая, как они. Это и злит их. Они скалятся от злобы, а им кажется, они смеются. Злобный смех рассыпается кислой кашей. Он плохо пахнет. Хороший смех пахнет мамкиными лилиями. Улилий тоже нет ни рук, ни ног, как у меня. Мы с лилиями родня. Мамка подносит меня к лилии, и я её целую. И в это время закрываю глаза. А потом мамка целует меня, как лилию. И у неё всё лицо мокрое, как в росе.

Меня когда мамка по имени зовёт, я вздрагиваю. Доски в избе дрожат. Земля под избой расходится надвое. Из земной щели бьёт огонь. Изба наша сгорит. Её сожгут, когда уже нас на земле не будет.

Мамка моя близко увидит чужие руки. Они лягут ей на горло. Горло её будет хрипеть. Хрипом оно будет петь хвалу нам всем. Нас всех мамка каждый день рисует яркими красками на плохих, гнилых, маленьких чёрных дощечках.

Однажды она рассердилась и дощечку одну перед крыльцом сожгла. Двери открыты, я вдыхаю гарь и вижу огонь. Я могу огонь остановить. Запросто. Могу заговорить кровь. Ко мне принесли младенца, у него из пупка текла кровь. Мать редела ревмя. Я долго глядела на кровь, и она перестала бежать.

Беги прочь, ночь разыгрывает перламутром, масло горячее льётся, от него на коже и на душе ожоги, невзрачные перловицы трещат и раскрываются, а там вместо жемчуга пустота, огни за рекой взрываются и стреляют снарядами в небо, небо блестит надкрыльями бронзовки, рыба рты разевает. Бежать нельзя, ноги мои дали чужому ребёнку взаймы и уже не вернут больше, мамкин хиджаб стал облаком и в небо улетел, на её груди горит красной медью маленький крест, крест для

того, чтобы мучить, нас всех распяли, а нам об этом не сказали, пора есть, пора пить, пора молиться, все забыли слова, с обрыва катят ржавую бочку, в ней колотится живая собака, а может, птица, а может, ребёночек, голова разбита, кровь никто не остановит. Зачем жить, если жизнь не такая, как хочется тебе? Ты даже убить себя не можешь. Ни удавиться, ни разбиться. Чайный гриб колышется и мерцает в банке, кислятиной сводит рот, я хочу молока, а коровушки нет, я хочу спать, а ко мне люди идут. Всё идут и идут. Всё идут и идут. Я должна говорить им слова, рот пересох, высохшие ноги висят на рыболовной леске, костяные руки машут из-под земли. Я не хочу открывать людям их смерть, а они просят: открой! Мне жалко их. Бронзовый жук жужжит надо лбом, мамка плачет в углу, от кистей пахнет краской, звенит струна на думбыре. Струну ещё не порвали. Пусть бы лучше меня убили, чем возиться со мной, уродкой. Я устала всё время хотеть и просить. Я хочу пить. Я хочу спать. Люди идут. Они ночуют у нас в избе. Я хочу плыть. Я хочу жить. Люди идут, входят в избу, встают на колени перед кроватью, где я лежу. Я всегда лежу. Мамка берёт меня на руки, тогда я иду. Я иду вместе с ней. У моей кровати ставят корзины с куриными яйцами, с творогом, увязанным в марлю, с алой наливкой в синей бутылки, с крепкими красными яблоками. Мамка каждому, кто приходит и уходит, дарит самодельную икону. Краска ещё не высохла. Люди слизывают краску языками, как мёд. Я бормочу людям их жизнь, их смерть языком не трогаю. Не надо. Она к ним придёт сама. Я хочу стать. Я хочу быть.

(народ течёт к ложу Уродки. Она предсказывает войну)

По всему Караваеву, а потом и по окрестным сёлам и деревням быстро, быстрее кругов по воде, разнёсся слух: лежит в Караваеве в постели, а летом — в огромной корзине во дворе, Святая Уродка и предсказывает всё что хочешь, может тебе одному судьбу твою сказать, может про всех пророчество изречь. Воистину святая, народ! Да ведь ни святых, ни царей, ни вер уже нет! Нет и нет! Святых нет, царя нет, а вера наша, не ври себе и другим, есть. Есть! Крестик-то носишь? Нет! На! Гляди! Голая грудь! Я в космос верю и в красное знамя! А не в бога этого выдуманного! На земле выдумке места теперь нет, есть лишь правда одна! Нам — правду подавай! Правду, это правда, а крестик-то твой где? Ах, под кроватью к сетке привязан? То-то и оно. Бережёшь, значит!

Берегу... оно ведь на Страшном Суде...

Где, где? На Суде? Значит, веришь?

Иди к Святой Уродке. Вопрос ей задай! И она ответит. Ответит на всё! На то, что тебе завтра надлежит делать! А что делать не надо, иначе смерть тебе! Про всех про нас спроси. Оно вернее.

Пусть речь идёт о народе. О стране! О стране? А что страна? Тебе не нравится наша страна? Так я же на тебя донесу! И доноси! Ну, беги, штаны задрал! Беги да не оглядывайся!

А к той Святой Уродке как добратся?

До Караваева дойди, а там люди подскажут!

Люди шли украдкой. Старались в вечерней, в ночной тьме. Но и днём шли, вроде безбоязненно, а по сторонам поглядывая. Хромой председатель хотел было проследить, кто идёт да зачем. Ему это не удалось. Люди говорили с виду правду: за дышлом пришёл! за жердиной к соседу, за дубовой, забор колотить! вот вареньица золовке принесла, грушевого, хотите отпробовать? да я к родне из самого Карповского тащуси, послушать жалаю, как мой племян на ентот мандалине играет, на ентот, как иё, леший задери, звать, на думбыре!

Махнул председатель рукой. Он знал, куда люди идут.

Знал, и сделать ничего не мог.

А втайне и ему самому хотелось узнать свою судьбу.

Ну не посадишь же в тюрьму эту Зарипову, из-за того, что у ней дочка такая уродка; а прозорливой оказалась. Тайна здесь есть, и разгадать её — не про нашу честь.

Люди подходили к избе Земфиры, робко толкали рукою калитку, робко в дверь стучались. Земфира устала открывать тому, другому, третьему. Так и стала держать дверь открытой.

И люди шли. Всё шли и шли. Тянулись живой цепью. Иногда рассасывались, растворялись в сумерках, в наступающей ночи. А утром опять шли. Бывало, и ночью входили; и Земфира, быстро привыкшая к людскому потоку, уже ничего не боялась. Не боялась, что её кто-то злой по голове камнем ударит или нож в бок воткнёт; если Спирька не зарезал, так и никто уж не зарежет, так думала она весело, бесстыдно. Уродка тихо лежала в постельке. Большая круглая голова на подушке. Глаза-щёлки вдруг широко открывались, и на человека, подошедшего к её ложу, лился ясный свет полдневного, высокого неба. В глазах плескалось небо, а под ней будто лежала земля; будто она на голой земле лежала, и её со всех сторон обдували ветра. Тот, кто за судьбой своей явился, наклонялся над кроватью и приближал к Уродке лицо. Открой, провидица, у мене сынок из заключения возвратнётся? Святая Уродка тихо и долго вздыхала. Закрывала небесные глаза. Убьют сынка твоего! Корву подведут и убьют, из ружья! Да ты не плачь, у тебя жена умрёт, на молодой вдругорядь женишься, и она тебе двух сынов народит!

Речь Уродки текла связно, она говорила как взрослая, только чуть шепелявила, а голосок из неё вылетал тоненький-тоненький, порхал смешной птичкой над головой. Огромный лоб напалзал на щёлки глаз. По чёрным брёвнам старого сруба

висели, ярко светились самопальные Земфирины иконы. Земфира строго, молча стояла около кровати Уродки, наблюдая за приходящими и уходящими. Люди, когда уходили, кланялись в землю и молча оставляли на стуле, на столе или прямо на полу, клали на половицы посреди избы или тихо в уголок ставили сумки, свёртки, корзины, туеса: в них было всё, что крестьянин мог отломить, отделить от плодов хозяйства своего,—то, что трудом и потом взял он у вечнородящей земли.

Так тѣк и тѣк народ к ложу Святой Уродки, и каждому предсказывала она то, что видела душой, маленькой своей душевнкой-птичкой с тонким, как паутина, голосом, и всем предрекала то, о чём вовсе и не подозревали. Так предсказала она страшный оползень в Жигулях, когда через сельцо Узденёвка однажды ночью пролегла чёрная земная трещина, и расселась земля, и ухнула вся Узденёвка в громадной глубины овраг, и сколько народу перемерло и сгнуло, никто не считал.

И настал день, когда Святая Уродка, бревном безруким и безногим лежащая в кровати в сельце Караваеве, предсказала войну.

Да, войну, и больше ничего.

Это так было. Ветреный весенний, сумасшедший день. Холод и слякоть. Тучи бешено бегут по небу, а небо синее, глаза слепит. И солнце полоумно пляшет среди неба, взмахивает рукавами золотой рубахи и густо-синей юбкой; и стучат голыми ветками берёзы и осины, гнутся под ветром, жалуясь, тишину и покой призывая.

Рьяный ветер сломал берёзу под Земфириным окном. Берёза умирала с диким треском, валилась, задевая ветвями провода. Люди, что пришли услышать пророчество от Святой Уродки, вызвались помочь беде; Земфира вручила им пилу и топор, и погибшую берёзу мужики распиливали на поленья и на санках, по волглому снегу, утаскивали в сарай, чтобы позже расколоть на дрова. Между крышами изб взблѣскивала синей яркой жёстью Волга, по ней уже шѣл лёд. Везде ещё лежали снега, а река с ума сошла: билась подо льдом, вспучивалась, играла, вздымалась—и наконец взломала его. Ребятишки бегали на обрыв—глядеть, как по Волге с шумом, с треском и шорохом льдины идут, налезает друга на друга. Земфира глядела на бегущих по улице мальчишек и девчонок и думала: вот у них есть руки, ноги, и они бегут, и дальше побегут. Она уже думала об этом без слѣз.

Мужики, распилив берёзу и откатив поленья в Земфирин сарай, обмыли руки под рукомойником, умылись, утѣрлись поданным Земфирой чистым полотенцем и столпились у кровати Уродки. Смотрели на неё долго, цыкали языками. Один мужик встал зачем-то на колени и перекрестился на Уродку, как на икону. Другой коряво, спотыкаясь,

спел тропарь. Третий грубо бросил: што голошишь-ти, чай, не Паска! Молчали. Земфира ждала. Уродка из-под своих, отроду прижмурѣнных век видела всё. И всех. И тоже молчала, посапывала, будто спит.

— Она енто, чай, спить?—тихо спросил мужик, что стоял на коленях на полу.

Земфира покачала головой: нет.

— Мы енто, только спросити чуточек. Ну, об том, об сѣм,—потоптался, как медведь, другой мужик, сдѣрнул ушанку и прижал её к груди, как кот. —Только вот главно, об чѣм. Ну, об ентом, значитца... каково лето-ить у нас будеть? Ну, урожайно ай нет? С голодухи—не помрѣм?

Уродка дрогнула веками. И быстро, пугающе раскрылись, обрушились в глубину черепа синими колодцами её пасхальные, радостные глаза.

Земфира сказала тихо мужику:

— Ты ближе подойди. Она не слышит.

— Слышу!—тоненько воскликнула Уродка.—Война будет!

Мужик растерялся. Мял и вертел в руках шапку.

— Што, што?... енто я не расслышал...

Земфира побелела лицом. А шея её налилась кровью, будто красным шарфом перевязанная.

Она шагнула к мужику и толкнула его в спину. Мужик нелепо, разлаписто, кривою ногой ступил к ложу Уродки и чуть не упал.

— Што?... повтори, будь ласкова, святая...

Небесными яркими глазами всё так же недвижно, радостно и ясно глядя в потолок, Уродка тонко, почти весело повторила, будто с кошкой голосом играла:

— Война будет! Страшная война! Всё в огне! Все умрут!

— Все?..

На мужика было жалко глядеть. Досиня сжались пальцы, терзавшие ушанку. Тот мужик, что стоял на коленях, замер с раскрытым в изумленье ртом. Третий мрачно сгорбился близ дверей. Стоял поодаль и молчал. Он понял всё быстрее всех.

— Не все! Кто-то выживет!—Уродка лежала лицом вверх, и слова, излетавшие из неё, разбивались о белѣный потолок, о старую, источенную жучком матицу.—Много криков! Все страдают! Боль, кровь! Войска идут, солдаты! Ложатся на поля, все поля в мѣртвых! Много мѣртвых! Боюсь! Боюсь!

Уродка уже кричала в голос. Из тонкого и нежного он у неё внезапно сделался низким, грубым и страшным. Мужик, что стоял на коленях, ладонями закрыл уши. Он плакал. Слѣзы катились у него по мохнатым щекам и путались в бороде.

— Осподи, Осподи... Што ж енто тако, а... Правду вить бает, правду, чую...

— Да ищо бы не правду...

Мужик с шапкой озирался потерянно. Наткнулся глазами на Земфиру.

Земфира стояла неподвижно. Её можно было отворять, как ворота; отбрасывать, как щеколду. Деревянная спина, деревянные ступни.

Мужик так и вскинулся. Как с цепи сорвался. — Мать, што молчишь?! Што дочь твоя нам тута брешеть?! Што у ней на уме?! Враньё енто всё, про войну! Никакой войны не будеть, и никто не умрёт! Байки енто всё полоумны... каляканье пустое! — Махнул рукой и нахлобучил ушанку на затылок. — Пошлите отсюдова, мужики!

Синее пламя открытых в иное время глаз настигло мужика. Остановило. Пригвоздило его ноги к половице.

— Я правду вам всем сказала! Правду!

Голос Уродки обратился в грозный рык.

Стоящий на коленях мелко закрестился:

— Правду! Правду говорить! Святая рази ж неправду скажить! Господи! Твоя святая воля! Война! Убереги, Господи, нас и деток наших от смертушки! Господи! Ос...

Упал лбом об пол. Так застыл. Мужик, что стоял у двери, вдруг заорал:

— Эгей! Хватит табе, как в церкви! Чай, советский народ давно у нас! Бога нету! И девка ента безумна хрен што знат балакат, ересь несёт! Айда отселя! — к Земфире подался. — Мать, ты енто, нас уж прости! И прощай!

А Уродка, лёжа лицом вверх, всё вопила на всю избу страшным басом:

— Правда! Правда! Война! Вижу войну! Вижу! Вижу!

По лицу Земфиры наконец, прорвав плотину холода, изобильно потекли горячие слёзы.

Мужик, что стоял на коленях, вскочил с пола, как от огня отскочил. Щёки мохнатые поверх бороды пылали. Из маленьких, подслеповатых глазок тоже слёзы катились, быстро бежали. Он схватил Земфиру за руки.

— Матушка... исделай хотя што-нибудь... вопить жа как она... душу вынаеть...

И тут Уродка замолкла.

Земфира подошла к постельке, вынула девочку из скомканной влажной простыни, подсунув ладонь ей под зад; прижала к груди. Уродка, вот странно, закрыла глаза и мирно сопела, будто сладко спала. Слёзы Земфиры капали дочери на лоб и щёки. Свободной рукой она погладила её громадный, как у ребёнка Христа рисуют на иконах, и уже сморщенный, как у стариков, лоб. Этот лоб вмещал всю землю и всё небо; и весь ад, и весь рай, и все лучи солнца, что нас осветит после смертного перехода. Земфира поцеловала дочь в лоб. Обожгла себе губы.

— Всё. Услыхали, что хотели? Ступайте.

Мужики мялись около двери. Один засунул руку в карман, вытащил скомканные рубли.

— Вот... мать... не погребуй... возьми... чесно заработаны...

Земфира стояла с дочерью на руках и строго смотрела на мужиков.

— Нет. Не надо нам.

Мужик склонился и тихо положил деньги на порог.

Все трое переступили порог и ушли.

Земфира положила дочь в кровать.

— Рада, Радочка... неужели...

Уродка тихо сопела. Всё спокойно было вокруг.

Только ветер, этот влажный грозный ветер за стеной, в небесах. Трясёт, толкает избу. С места стронуть хочет. И чтобы изба уплыла, как корабль.

А может, и вправду сняться с места, куда-нибудь уплыть? Туда, где сладко и хорошо жить, где богатая земля и ласковые люди, а звери ещё ласковее. Ты, Зёмка, да ведь это же райский сад! Ты про рай, что ли, мечтаешь?!

— Ну мечтай, мечтай... Рай за колючей проволокой... а то за гнилыми берёзами, на кладбище... А то вот... пули засвистят... вот тебе и рай военный... рай твой, за сараями... и кошки твои поют... архангельским хором...

Она укрыла дочь простынёй. Расправила её, все складочки. Потом укрыла одеялом. Потом от холода нацепила на голую большелобую голову чепчик. Потом отступила на шаг и задёрнула полог. — Вот и полог я тебе над кроваткой сшила... как у царицы... Спи, моя царица... гулять нынче не пойдём, сыро, холодно... ветер...

Ветер гудел и мял синий ситец неба. Грязью пачкали весёлый ситец тучи. Замазывали ситец углем чёрные бешеные, голые ветви. Мир обратился в ветер, и, кроме ветра, не было ничего на всём свете.

(Сусанна Ковылина в селе.

Убийство Святой Уродки)

Как Сусанна, сестра Спирьки, в Караваеве появилась, никто и не заметил: явилась она ночью, как многие жители преступного мира в свои родные обиталища приходят. Сначала поскреблась в дверь родного дома. Изнутри крикнули чужими головами: «Кто да кто?!» Она сразу всё поняла. Ушла.

А звёздное небо над Караваевом сразу поняло всё о ней — отмотала срок, выпустили птицу, со сломанной лапкой, с перебитым крылом. Чуть хромала и правой рукою плохо управлялась: ногу сломала — с крыши барака сбросили, руку сломала — в зиму, в гололёд поддержала слабо бредущего, скользящего по льду старика, старик устоял, а она упала и рукой воткнулась в жёсткий наст. Душа забывчива, а тело заплывчиво! «Заживёт как на собаке!» — смеялась Сусанна, обнажая в улыбке рот с выбитыми зубами. Зажило. Хромота не слепота, живой мир зенками видать, и на том спасибо. Кому спасибо? Фарту спасибо, кому же ещё. Товарищ Фарт, разложим веер карт! И я у тебя, товарищ, всё равно выиграю.

Сусанна была одета в мужские штаны и в серую фуфайку. Издали казалось: хромой мужичок бредёт, чуть шатается, подвыпивший. В ночи шла она по селу. Редкие окна горели. Она шла медленно, прихрамывала, под фуфайкой, на груди, у неё грелась бутылка кефира, сташенная в сельмаге другого, мимохожего села. Щурясь, глядела. Вот он, ненавистный дом.

Прислонилась спиной к стене, сползла по стене спиной, сидела на корточках, вынула кефир из-за пазухи, выдавила большим пальцем на горлышке зелёную фольгу; жадно глотала из бутылки. Плюнула.

— Фу, тёплый, гад.

Выпила до дна, как водку, закинув голову.

Кинула пустую бутылку далеко, ловко, как парень кидает камень. Зазвенело: бутылка ударилась о булыжник и разбилась. Сусанна тихо засмеялась, и зубы под луной блестели, и чёрные дыры зияли во рту.

— Звени, звени, стекляшка!

Прикрыла глаза, и перед её усталыми глазами разом встал весь низший мир, в котором выварилась она, как кость, добела — переключки и наряды, колючка и обливания водою на морозе, баба на бабе в тёмном холодном бараке, визги и стоны, и дикие бабьи побеги за проволоку к мужикам, на соседнюю зону; штабеля мертвецов — хоронили их в огромных, как сама жизнь, ямах, звались те ямы — аммоналки, взрывали их аммоналом и всею в те поры известной взрывчаткой, чтобы сразу сбросить в ямину горы трупов и схоронить. Сусанна на таких похоронах сама лопатой работала; после, придя в барак, стонала и каталась по полу, и вызывали из каменного дома начальников лепилу, и лепило разжимал ей зубы ножом и вливал в рот из мензурки спирт, а вокруг толпились эчки и дёргали лепилу за белые рукава халата: «А она не загнётся? А это не эта, как её, эпилепсия? А нам спирту можно? Ну, в качестве угощенья! За ударный труд на трупной ниве!» Мензурку из рук лепилы нагло вырывали и жадно нюхали. Потом срывали с него врачебную шапочку и визжали: «Переспи с нами! Со мной валяй! Нет, со мной, я голодная! Что, трусишь?!» Лепило спасался бегством, а Сусанна лежала на полу барака, что был просто голой мёрзлой землёю, и, приоткрыв рот, тихо стонала, но уже клубком не каталась. И приходила старуха Рузя-чертовка, из пятого барака, она умела заговаривать кровь и руками снимать любую боль, и накладывала она сухие, в узлах жил, руки на Сусанну, шептала всякую колдовскую, ненужную чушь и плакала над нею.

А теперь этот низовой, серый мир отодвинулся, забился в нору памяти вместе со всеми своими страхами и жестокостями; и Сусанна, в вагонах, на кораблях и попутках чудом, живая, вернулась в родное село, а оно-то было, как ни странно,

уже не родное, а будто незнакомое: вот и сейчас сидела она спиной к ненавистной избе, и знала, кто там, внутри, — а вроде бы и не знала, и вроде бы изба, пока она близ неё на корточках сидит и размышляет: закурить, не закурить, — возьмёт и, как в сказке, рассыплется в прах.

— По кой бес я сюда приканала? Тикать отсюда надо.

Всё ж таки вынула из кармана фуфайки пачку папирос. В лунном свете мелькнула надпись на мятой коробке: «Норд».

— Север, север. На севере диком... лежит одиноко... бабёнка в бараке чужом...

Спичками чиркала долго. Сырая ветреная ночь. Лёд прошёл. Волга где-то за избами, под земляным перекатом, под горбом откоса, ворочается чёрным зверем.

— В бога-душу...

Пламя вспыхнуло, она зажала его между ладо-ней, склонила голову, прикурила. Дымила.

Бросила окурки в грязь.

— Ну всё. Баста! Айда!

Открыла калитку.

Постояла на крыльце, слушая ветер.

Приложились фуфайкой, всем животом при-никла к двери, будто хотела всею собой дверь выдавить. Заколотила кулаком сперва, громко и бешено — бросила.

— Нет, дура ты. Так тебе не откроют! Пробовано!

Обошла вокруг избы, перед низкими окнами сторожко приседая — а вдруг из темноты на неё глаза глядят, увидят. А хоть бы и кошачьи.

Последние пятна снега хоронились за бочками, под стрехами. Сусанна остановилась перед дверью в пристрой. Замок держался на честном слове. Она отогнула железный крюк.

— Хм, может, из пристройчика-то дверца в избу имеется...

Потом вдруг резко повернулась и подбежала к крыльцу. И взошла на крыльцо, и ощупала дверь, и кулаком дверь толкнула. И она — раскрылась.

Хозяйка не запиралась теперь даже на ночь. А что бояться? Люди и ночью входили, на колени вставали у постели спящего ребёнка и молились. Разве молитвы бояться? И разве смерть, даже насильственная, какая угодно, не лучше, не легче и слаще жизни такой?

— Зёмка, чернозёмка... раскосая ведьмачка...

Сусанна медленно поднималась по маленькой лесенке, и ступени скрипели.

Вот вошла в избу. Печь ещё тёплая, с вечера не успела остыть. В углу, на полу, на расстеленных цветных половиках, спали мертвецким, беспробудным сном две бабы; руки раскинули, рты разинули, храпели зычно, с соловьиными переливами, как мужики.

Земфира в кровати лежала, в койке на колёсиках. Ей из больницы фельдшер Пупынин распорядился

привезти, такой подарок подарил. Ей много всего теперь дарили: прихожане—еду, соленья, варенья, подушки, нелепые вышивки, кухонную утварь; сельские начальники—то списанный при инвентаризации шкаф, то новые вёдра, по воду ходить, то портрет Ленина на холсте масляными красками, в позолоченной раме. Это тебе вместо икон твоих кустарных, товарищ Зарипова! Для правильного вдохновения! Любуйся на красного нашего вождя и рисуй его! Его, а не свои бабушкины сказки! Ты ж мусульманка, зачем не в свою веру суёшься!

Ленин с портрета внимательно, ласково смотрел на Сусанну. Она растегнула фуфайку. Земфира не спала. Глаза её были открыты. Как и дочь её, когда бодрствовала или пророчила, она глядела в потолок.

— Проходите,—устало и ровно сказала она, и голос её донёсся до Сусанны и холодом обдал,—раздевайтесь. Жарко у нас. Отдохните, девочка пока спит. Проснётся к шести утра.

Вверх, на погасшую лампочку Ильича, смотрела. — Головёнку-то удосужься повернуть! Жарко у них!

Медленно обернула лицо к вошедшей Земфире. В раскосых смоляных глазах не выразилось ничего—ни радости, ни испуга.

— Здравствуй, Саня.

— Здорово, Зёма!

Сусанна сбросила фуфайку прямо на пол, перед собою, и перешагнула через неё, как через убитого зверя.

— Ну и как ты тут живёшь-можешь?

— Живу и могу.

Земфира опять смотрела в потолок.

— А встать тебе запаadlo, что ли? Дочку родную хახеля своего достойно повстречать? Да и сеструху родную хახеля другого! Ха!

Земфира спустила ноги на пол. Простыня высилась белыми сугробами, обнимала и застилала голые колени. Поверх ночной рубахи у Земфиры была надета вязаная душегрея. Она, откинув одеяло, встала, запахнула на груди душегрею, дрожала, и Сусанна зло глядела сквозь неё, как глядят сквозь марево снежного, серебряного призрака, через слёзы и плохое воспоминание.

— Ишь, кутается, зяблик, а натоплено так, что дух вон. Эти,—Сусанна кивнула на храпящих баб,—пьяные, нет? Храпят как! Будто ножом по сковородке чешут!

— Нет. Трезвые. Устали. Издалека шли.

— Гости дорогие?

— Нет. Не знаю я их. Я никого не знаю, кто ко мне приходит.

— А что же это они к тебе-то в такую даль волокутся?

— А будто не знаешь? Не сказал на селе никто?

— Не успели.—Сусанна ощерилась.—Я только сейчас пришкандыбала.

Земфира глядела на ватник, лежащий на полу под её ногами, раскинув рукава; как на человека, глядела.

— Не ко мне приходят. К ней.

Земфира вытянула руку, вытянула палец, и из её пальца будто ударил луч; Сусанна проследила за полётом этого золотого, в полумраке, луча и увидела в избе ещё кровать, поменьше, за печкой. Белые снега навалены в кровати и вылезают сквозь деревянную решётку. Реки снов мимо текли, втекали в кровать и вытекали. Живое лежало в деревянной ночной лодке и по рекам тем медленно, важно плыло. Уплывало из-под глаз, из-под рук людей, жаждавших знания: что с нами завтра приключится? Живы будем, не помрём? А ну как помрём? Все вместе? Вместе—не страшно. А когда, девчонка, скажи, воистину будет Страшный Суд?

Чепчик, обшитый кружевом, туго обнимал безволосую голову. Волосы росли плохо. Земфира плакала, по утрам гребнем расчёсывая редкие, мокрым мочалом липнущие к черепу дочкины пряди. — Вон что!—Сусанна уткой, вперевалку, подкадилась к кровати Уродки.—Малая! Ай да сучка, нагуляла-таки!

Протянула вперед руки—и, Земфира ничего не смогла сделать, ни крикнуть, ни броситься и оттолкнуть,—схватила спящую девочку на руки и встряхнула грубо. Щёлки заспанных глаз не разлеплялись. Руки Сусанны обнимали живое бревно. Она со страху заорала и выронила девочку. Ирада плашмя упала на кровать, проснулась и громко заплакала.

— Мамычка! Мамычка! Убивают меня!

Земфира гладила дочь по лбу, по плечам.

— Нет, Радушка... нет... тебе сон страшный привился... я с тобой... с тобой...

— Уро-о-о-одка!—протянула Сусанна и громко свистнула сквозь дыру меж зубов.—Вот так уродина! Краше не могла выродить! Паскуда!

— Вон отсюда,—тихо сказала Земфира, беря дочь на руки и крепко к себе прижимая, горящими глазами Сусанну расстреливая в упор.—Была девка как девка, а стала...

— Договаривай!

— Фуфайка тюремная!

— Оп-па, оп-па, Америка, Европ-па! Фуфайка, значит?!

Шагнула к Земфире. Мать и дочь в объятии слились в одно, не расцепить. Сусанна толкнула Земфиру в плечо. Думала её ударом свалить. Земфира на ногах устояла. В углу зашевелились. Дверь скрипнула. Скрестились тени. Лампа Ильича качалась над головами, как маятник. Ветер поднялся в избе. Дул и толкал людей. Зеркало кренилось. Далеко на Волге гудели пароходы и баржи, не в силах разминуться. Последний снег таял во дворе, и хрипло лаяли собаки, вызывая друг дружку на поединок. Живое бревно вывалилось из рук

Земфиры и упало на пол. Тени схлестнулись. Со срубовой чёрной стены упала ослепительная икона и ударилась об пол, и разлетелась на тысячу горящих кусков. Дерево загоралось от бешенства красок. Зеркало отражало не тела, а души. Души были гораздо страшнее тел. Чернее; уродливей. Уродка лежала на полу и извивалась червём. На неё наступали ногами. Крик вспарывал чёрный атлас и белый штапель, цветастый ситец и лоскутную пёструю ткань, что состояла из кусков широкой земли, наспех пришитых временем друг к другу— вот кус влажной чёрной пашни, дымящейся, в комьях, вот кус свежей зелени первой, вот густое мокрое, в дождях, золото и рытый багрец последних листьев, вот полотно грязной льдины на радостной мощной реке, и вода изнутри рвёт сизую, синюю толщу обшитою синим небесным шёлком льда; вот юбка безумная, бархатно-алая юбка гулянки взлетает, и голые бабы ноги на миг видать,—а это не пьянка-гулянка уже, эту юбку украли на знамя, яркое знамя из неё, бедной и милой бабьей улады, пошили, и во флагшток сельсовета крепко воткнуто оно, не вырвать, не отодрать!—и ещё видно там, вдали, на краю рукодельного одеяла, лоскут: это чистая белизна, сугроб или могила, не понять, а может, на темечке невесты фата, и невеста плачет, а выюга кисею прозрачную взвивает, и снова ветер ломает шеи и кости, ветер-костолом опять налетает, пощады не знает, и зачем люди борют друг друга, зачем душат друг друга и колют ножами, зачем разрывают, с криком и хрустом, надвое, натрое, на лохматую рвань и презренную пьянь, цельную сильную ткань бытия, широкий и щедрый отрез? Зачем друг у друга жизнь вырвать хотят—и смерть взамен подарить? Кто их просил о подарке таком?

Новый крик разрезал ночное тепло избы и захлебнулся. Умер.

Земфира стояла посреди избы. Опустила руки. Дышала часто. Развитые волосы ложились ей на лоб и текли по лицу, по шее и плечам нефтяными ручьями.

Святая Уродка лежала на полу. Не двигалась.

Вот сейчас она стала бревном, таким, как и все на свете брёвна: неподвижным, тяжёлым, только кто-то непонятный, безумный мастер, вытесал на одном его конце громадную, чудовищную голову, детскую, а вроде взрослую, а вроде и бычью, только без рогов.

Висок был разбит, будто бревно хватали и кидали, били им о мебель и кованые края сундука, били-били и наконец раскололи.

Уродка лежала, а мать стояла и смотрела на неё.

Мать всё сразу поняла.

Под головой Уродки, на половице, натекла малая лужица крови.

Кровь сияла ярко и празднично, будто из тюбика, что покупал ей в районе жалостливый к ней

председатель, а может, он так ухаживал за ней, надавили на пол слепящей киновари, а может, краплака, а может, кадмия красного, и вот масляная краска лежала под девочкиной головой и липла ей к щеке, и вползала ей в рот, и налезала на её лоб и затылок, и мазала красным, прекрасным её всю, бездвижным бревном лежащую на последнем полу.

Земфира не могла наклониться, чтобы поднять дочку с пола. Она окаменела.

Каменными глазами она глядела, как из избы, пятясь, воровато оглядываясь, уходит Сусанна.

Каменные её уши слышали, как Сусанна кричит, уже в дверях стоя:

— Хотела—тебя, а вышло—её!

И уже, скрывшись из виду, из сеней кричит: — Попробуй донеси, утром к начальнику побег! Выйду—тебя всё равно найду!

И уже, на крыльце стоя, кричала, и еле различала Земфира слова:

— Волчица! Батюшку нашего как уломала! Да ты же, ты, шлюха, на него и донесла! Ты—его—и сгноила! Предала! И Спирьку—ты посадила! Ты! Не жить тебе всё одно! Так и знай!

А потом крик истаял, пропал. Улетучился.

Пришлые бабы забились в угол, сторбились, закрыли затылки руками, будто ждали взрыва или спасались от пули.

Они и правда пришли издалека: аж из самой Уфы к Святой Уродке приобрели.

Узнать, будет она, война, или всё же стороной обойдёт.

Зеркало отражало их всех, четверых. Висела в золотом тёмном воздухе Земфира, слегка подогнув ноги. Струистые складки её ночной рубахи чуть взлетали вокруг щиколоток, завиваясь кучевыми облаками. Одна горбатая баба и другая в углу, обе татарки, а может, башкирки, раскосые, с мрачными тарелками лиц, жевали губами и двигали беззубыми челюстями, силясь что-то сказать, и не могли. Станный бархатный полог упал, потом опять взметнулся. С изнанки он был покрыт сизым густым, щёткой, инеем. С лица—переливался то тёмной кожурой сливы, то внутренностью перловицы. Раздался треск. Ткань, сама по себе, раздиралась надвое. В проём хлынули лунные лучи. Они бежали молочной рекой сквозь стекло окна, из мохнатых туч, из-за Волги, из-за Урала, из тёмных прогалов самоцветной Сибири, из-за её колючих проволок и частокола искристых от инея пихт и елей. Большая голова Святой Уродки лежала в красном нимбе. Вместо её тела, живого обрубка, на полу лежал и тихо светился сноп лучей. Будто из подпола, из погреба бил свет, и там хорошо и плавало круглой золотой рыбой в пруду тьмы великое солнце. Потом сноп лучей кто-то незримый связал золотой верёвкой, и он поднялся

вертикально. А голова осталась лежать на полу, будто отрубленная, и кровавый нимб вокруг лба и затылка в кружевном чепце медленно пульсировал светом, то гуще, то прозрачней,—мерцал. Но и голова поднялась и воспарила над золотым снопом; она открыла глаза-щёлки, и чистое небо хлынуло из них и затопило всю комнату, весь золотой, тёмный фон святой ночи, и шкафы поднялись в воздух на ножках, и стол поднялся и повис во мраке, чуть качаясь, и самопальные масляные иконки на брёвнах сруба неистово вспыхивали, резали зрочки, и надо было крепко зажмуриться, чтоб не ослепнуть. Бабы закрыли косые глаза. Они повалились лицами в пол, закрыли ладонями затылки и шеи. Так стояли на коленях перед плещущим в избе небом. Небо поднималось всё выше, залило синей свадебной водкой щиколотки, икры и колени баб, поднялось до ступней висящей над полом Земфиры, и метельные завитки её рубахи дрогнули и омочились в синей святой воде. Выше, выше поднималось море неба, и вот уже дошло до рёбер Земфиры, и подлилось ей под грудь, и поползло выше, к шее, к подбородку. И она медленно погружалась в синеву, и синева начинала играть и отсвечивать яичным весёлым золотом. Земфира смотрела на себя, плывущую в небесной сини и золотых лучах, в зеркало, и зеркало отражало и её, и синеву, и плыло в ночи бездонной подкой, а Земфира, улыбаясь, тонула, и нельзя было понять, горем или счастьем это было для неё.

Синева была лаской матери. Объятиями Власа. Быстрыми руками и жадными губами Спиридона. Слезами дочки, бедной уродины, что единственной родиной и единственной радостью земной была для неё. Синева была такой нежной, что странным казалось обвинять её в жестокости, в холоде, в казнях и пытках, хотя в синеве морозной стояли и виселицы, и солдаты с расстрельными ружьями, и синие снега заваливали землю на тысячи долгих взглядов, на все четыре стороны, на все железные нити рельсов и извилистую синюю пряжу рек. Небо обернулось самим временем, и во времени можно и нужно было тонуть, ведь оно всё обнимало и всё прощало, а человек не мог ни обнять человека, ни миловать, ни закрыть ему мёртвые глаза—в тайге, в бараке, в избе, в тёмном бандитском переулке. А красный флаг развевался во мраке, и опять наступал новый день, и било людям в лица беспечное синее небо, и люди погружали в него слепые, ищущие зрочки—они всё искали счастья, а в лютой синеве находили лишь насмешку и пустоту. И сырой сильный ветер, что бил в грудь, сбивал с ног.

Ветер подлез под подол Земфиры и внезапно раздул вокруг её ног белую рубаху. Белизна вздулась шаром вокруг её бёдер и живота. Обе руки Земфиры были подняты ладонями вперёд, локти согнуты, строгое лицо глядело одними глазами

поверх подступившей под самые глаза синевы. Вот сейчас небо поглотит её всю, и лоб, и макушку! Она пошевеливала ногами в толще синевы, она старалась плыть, но перебирала ногами на месте и никуда не плыла. Бабы так и утонули, колена-преклонённые. Светящийся столб, перевязанный златым вервием сноп лучей, и большелобая голова над ним светились всё ярче, всё нестерпимей. Одни глаза Земфиры остались над синевой водой; она повела ими вбок, наткнулась зрачками на портрет товарища Ленина, великого красного вождя мирового пролетариата, и Ленин из золочёной рамы светло и тепло усмехнулся ей, искрясь глазами, и подмигнул ей. Улыбка Земфиры засветилась уже под водой. Синь поднялась выше, и в ней скрылись всевидящие её глаза, потом смуглый лоб, потом темя и чёрные её, мягкие и густые, степные волосы. Только свет от неё остался под синевой водой; только свет в синеве, и золотая фигура, чуть шевелящая руками и ногами, как призрачными щупальцами, и шаром стоящая вокруг тела ночная смирительная рубаха, и голые ноги, и бедные голые руки, и Святой Уродки отрубленная святая голова, медленно, как бакен по Волге, плывущая в мареве, в толще солёного, солонее слёз и крови, тайного, вечного света.

(Вобла видит смерть Земфиры. Зеркальные серьги)

Я тогда делала вид, что мне всё равно, а на самом деле зорко следила. И вот клянусь, не ходил Влас Игнатич к этой заразе, нет, не ходил. На рыбную ловлю с артелью—ходил. Разве от работы куда денешься? И дежурить ночью в школу—ходил. Он туда пойдёт, я за ним увьюсь. Потихоньку, чтобы меня не видел, как за ним дворами, задами крадусь. Всё честь по чести, замок отпирал, потом за собой дверь запираю. И свет загорался в окне. Однажды я так всю ночь простояла, продрогла в тощем пальтишке. Подозревала: а ну как дрянь эта придёт. К нему придёт, постучится в окно. В дверь кошкой поскребётся. Сколько угодно такое могло быть! Нет. Никто не пришёл. Когда рассветать стало, я пошла домой, в Макаркину избу. Печь растопила. Долго растапливала. Хворост, мусор сую, щепочки на розжиг, а пламя всё не занимается. Оглянулась я. Газету старую увидела. Цапнула! На первой полосе—во всю полосу—портрет Сталина. Фотография его, не в рост, а одно лицо во всю газету! Глаза хитрые, усы густые. Улыбается. И над ним—жирная надпись: «Безжалостно казним врагов народа!» А чуть пониже: «Коварная фашистская лиса, прожжённый провокатор и убийца Бухарин, матёрый изменник и враг народа Рыков, наёмная сволочь на службе фашистской разведки—троцкисты, бухаринцы, эсеры, меньшевики, национал-фашисты, агенты царской охранки—это отребье человеческое уничтожало лучших сынов и дочерей нашего Отечества. СМЕРТЬ ИМ!»

Я читала это вслух, только очень тихо и медленно. Вслушивалась в свои слова, как я читаю. Газета у меня в руках хрустела. Никак нельзя её смять и в печь засунуть на растопку. А вдруг кто увидит? Я оглянулась по сторонам. Никого в избе. Пусто. Влас на дежурстве. Ветер воет за окном. Кто мешает мне смять старую газету и в печку затолкать? И на неё—горящую спичку бросить? А вот кто-то мешал. Кто? Я не знала. Но только рука к бумаге протягивалась—смять, как пальцы застывали. И, как сосульки, в воздухе торчали. Мне было странно и страшно. Я рассматривала свои пальцы, как жуков в коллекции. Вспомнила Томь: и как мы со стрех барака обламывали сосульки. Вот бы кто мне сейчас пальцы обломал! И в фортку, на улицу, выкинул. Птицы бы их склевали! А что, я не смеюсь. У нас однажды один полоумный поселенец бежать решил, ну и бежал, да едой плохо запаса, лёг в тайге и стал умирать, его чужая собака, охотничья лайка, учуяла и лаем залилась, охотник подошёл, верёвкой его обвязал и в посёлок притянул, и сразу в больничку. Бабы наши узнали, к нему пошли, пищу в узелочках несли, угостить. Приходят в барак обратно, глаза круглые от ужаса. Мы спрашивать: что да что? А бабы: и-и, милые, дык вить он без пальцев на руках-ногах на койке валяцца. А почему, спрашиваем, собака отгрызла? Нет, говорят бабы, херурх обломал! Ну, штобы антонова огня не случилось! Отморожены!

Сижу на корточках перед печкой. Сижу и боюсь. Газета валяется на полу. И Сталин на меня с неё, снизу вверх, весёлыми глазами глядит. Глаза эти меня вроде бы спрашивают: ну что, девчонка, жить стало лучше, жить стало веселее? Вон как мы зажиточно жить стали! Спасибо мне говорит народ за нашу зажиточную жизнь! А эти подлецы, фашисты и троцкисты, гады ползучие, так и норовят наш народ сбросить с пьедестала хорошей жизни! Сбросить меня с Мавзолея! А я как стою на нём, так и стою. На гранитной трибуне! И что хочу с вами, то и делаю. Потому что я вас насквозь вижу, а вы сами себя не видите! Не знаете! Я знаю, кто враг народа, а кто нет. А если ты не враг народа, так накажу тебя всё равно! Для острастки! На будущее!

Гляжу на газету. А Сталин глядит на меня. И вдруг я как газету схвачу! Как сомну её в кулак! И ну тискать, мять и рвать! Как бешеная кошка. Рву и даже чуть зубы в неё не запускаю, как в мясо. Вот тебе, усатый кот! Вот! Вот! Видишь?! Расправилась с тобой! Смяла тебя! Нет тебя и не было! Вот! Разорвала! На мелкие кусочки!

Порвала газету—и ну её в печку толкать. Толкала, толкала, всю затолкала. Сижу, дрожу. Скамеечку к себе подвинула, села. Ноги на корточках сидеть затекли. Трясутся ноги. Сталин, порванный в клочки, в зеве печки лежит. Ну, вроде похоронила я его. И сейчас могилу ту подожгу. Огонь на ней

разожгу. И спалю его к едрене-фене. Горстка пепла, и всё. Забудут, как его звали и кто это такой на земле был. Кто это сапожищами землю топтал. Зажиточно мы стали жить! Корку ржаную глодаем! Коробок спичек с половицы взяла, а руки ходуном ходят. Огонь зажечь не могу. Ну всё равно зажгла. Спичка горит, огонь мне руку обжигает. Когда до кожи огонь дошёл, я его в печку бросила. Газета рваная вспыхнула. И хворост поджётся весь, сразу. Я ну подкладывать дров, пока огонь. И дрова запылали.

Сижу гляжу на огонь. Дрова стали трещать. Треснет полено—я от страха на скамейке как подскочу! Как выстрел. Будто в окно кто пальнул, и прямо в печку! И треснула она, позмеилась по белому боку трещина. И дым в неё повалил. А если ещё раз выстрелят—в спину мне попадут! В хребет, между лопаток! А ведь больно это, когда пуля в тебя входит. Жуткая боль! И уже время назад не отмотать. Застрелили, и баста!

Треск! Я обернулась. Окно разбито! Дырка, и круги от неё водяные. И трещит стекло, разлезается на глазах. Я зажмурилась, снова глаза открыла. Огонь уже гудит, тяга хорошая. Я боюсь на окно взглянуть. Думаю, а вдруг это Макарка пришёл, покойник, к себе в избу? Дом свой с того света проведать? Себя руками обняла, как чужого человека. И уговариваю себя: Вобла, ты не трясись, Вобла, ты кончай трусить, это малодушие, ну, спалила Сталина, ну, вон, гляди, в пепел он превратился давно, весь сгорел, чёрные хлопья завиваются, пепел меж углей синими, красными огнями вспыхивает, гаснет, ну что ты в печь пялишься, будто огня век не видала?! Так себе бормочу и ещё крепче себя руками обхватываю. Вся потом покрывлась. А тут в дверь как забарабанили! Я так и подскочила. Скамейку пяткой пнула, она в угол отлетела. К двери кинулась. Блею, как коза: кто-о-о-о-о?! А за дверью мне в ответ: я-а-а-а-а! Я как крикну: Влас! Задвижку отбросила. И дверь так обеими руками распахнула, что ею себя в лоб ударила! Смеялась и плакала—всё вместе. И Влас Игнатич меня обнял крепко, туго ручищами своими перетянул, пригрёб к себе, и стояла, чувствовала под собой его рёбра и живот. И губами к его ребру крепко прижалась, и чуть не прокусила ему рубашку.

Он мне: ну што ты, што, Воблёрка? табе хто, обидел, што ли, хто?! в ночи—напужал?! а ну молви, хто, я тово найду и шею яму, как гусю, сверну! Я рыдаю и со слезами сразу и смеюсь. Как истеричка! Влас меня тормозит, гладит по голове заскорузлой рукой, и его ладонные мозоли мне волосы цепляют, больно. А я и хохочу, и реву. И тут он меня—раз!—на руки взял. И со мной на руках сел на скамеечку эту, перед печкой. А скамеечку ту он для меня нарочно выделал. Чтобы мне удобно было дрова в печь подкладывать. И дрова у нас всегда лежали около печки, это чтобы мне

за ними в сарай не ходить. Следил за дровами. Мне чтобы облегчить работу. Ну што ревёшь-ти, шепчет, што слезьми исходишь? давай начистоту! выкладывай! Я про Сталина ему и рассказала. Он как зальётся смехом. Взрослый мужик, уж седой, а звенит как колоколец. А-а-а-а, хохочет, вождя сожгла! Газетёнку с им — спалила! Ай да девка, ну хват-евка! Ну, значитца, туды яму и дорога, вождю-от! Нетути у нево таперя другова путю! И я обняла Власа Игнатъича крепко руками за шею, прижалась щекой к его щеке и засмеялась тоже.

А потом мы враз перестали смеяться. Влас молчал. И я молчала. Мы подумали оба одинаково. Ну, что мы тут над вождём смеемся, а это преступление. И если кто наши речи и смех наш подслушал, тот мгновенно в сельсовет побежит, донесёт. Мы молча слушали звуки в избе. Где треснет, где шваркнет. Ну кто тут мог нас услышать? Только мыши. Да кот рыжий Матрос. Этот кот ещё Макаркин был. Мы его старались получше кормить. От себя кусок отрывали, а ему в миску клали. За это, в благодарность, он ловил нам мышей и в подарок приносил. Задушит мышь и в зубах принесёт, и к ногам положит. И глядит снизу вверх: мол, как я? Герой я? Наградите меня! И мы давали ему еду в награду. Еда, она лучше ордена.

Матрос жив, а кошка Марфинька сохла. Влас сам закопал её в саду. Пришёл в избу и давай молиться за мёртвую киску, потом спохватился и рот себе ладонью закрыл: «Грех-то, молицца за кошатину!» А потом посидел молча, нахмуренный, и прошептал: «Нетути, не грех. Всяка тварь жива Божья, и к Богу ушла, и за всё живо-живенько Боженьке молицца надоть».

А тут день такой выдался. Всем дням день. Вернее, ночь. В небесах, видно, звёзды спятили. Или земля против неба пошла, не знаю. Воздух сгустился, будто звенел. Меня будто кто глодал изнутри, кишки выедал. Я Власа спросила: ты зачем среди ночи работу покинул? А он мне: да взволновался уж очень по тебе! сердце не на месте, так ходуном во мене и ходить, вот и прибёт. Я крепко поцеловала его и сказала ему спасибо. Влас Игнатъич ушёл на своё дежурство. А я спать не могла. Так меня и подмывало выбежать на улицу! Куда? Зачем бежать? Ты, одёргивала я себя, сиди, зад к скамье прижми и думай о чём приятном, например, о том, как ты Власу Игнатъичу задумала кулебяку с рыбой испечь. Задумала-то задумала, а кулебяку печь не умею. Никогда не пекла. Надо бы соседок расспросить. А просить не хотела. Они все и так на меня косились. В селе все друг на друга косятся, не то что в городе. В городе каждому на каждого плевать. Живут все в каменных тюрьмах, каждая квартирка на замке. И неизвестно, что там за жизнь, за замком. А в селе всё на виду. Что на крыльце, что в саду возишься, в огороде — всё видать. И по улице идёшь, а о тебе уже судачат,

и в спину тебе бросают: что, твой-то золотой, серебряный опять к прежней зазнобе своей побёт?! не уследила! И шипят: да где тебе, такой-то малявке, уследить! он, чай, мужик, а ты — тощая Воблёшка, глянуть не на что!

Я в Караваеве в этом сколько таких шепотков за собой слышала. Честно, от этого устала. А никуда не сбежишь. Живём на земле, и жить будем. Уж очень Влас к земле прикипел, не отдерёшь. Оторвёшь только, если придут, в машину погрузят и опять куда свезут. В тюрьму, в новый барак, за тыщу километров. И живи там опять, и жди, пока отпустят. А может, и не выпустят. А может, нам всем собраться, навалиться, власть отнять да и сжечь Сталина?

Это же новая революция, шептала я себе. А тревога рвала меня изнутри. Не могла спать. Оделась. Что, опять к школе бежать, Власа караулить? Соседки зря не скажут. Одна сегодня, Дашка Окладникова, так и бросила мне: следи за своим! А я ей: заткнись, старая метёлка! Хорошо поговорили. Я оделась, одетая у печки сижу. Головёшки в ней догорают. Тошно мне. Ядовито как-то, горечь во рту. Вот-вот жёлчью вырвет. И, дура, встала и пошла туда. Куда, куда! Туда всё, к этой змее! К Зёмке, к кому же ещё! Уродку схоронили, так ты теперь, одинокая баба, мужиком утешиться захочешь! Думаю: а вдруг Власка школу на замок замкнёт, украдкой по селу пройдёт и к ней в избу тихо втечёт? Недаром тревога. Злая я стала такая. Просто — злая! А что, человек не может обозлиться? Ему что, запрещено?

Пошла. Тоже тихо так потекла! Ноги осторожно ступают. Холодная весна: то снег весь тает, и земля под солнцем плывёт и ползёт, то опять густо нападёт. То растает опять, а ночью лужи хрусталём схватываются. Куда я иду? Село ночью не узнаю. Три улицы у нас на селе, а вот поди ж ты, так выходит, заблудилась!

И вдруг вдали какую-то странную возню сначала вижу, потом слышу. Вроде два мужика схватились. Тени на земле. Избы будто качаются, мячами подскакивают. Это играет луна. Полная луна, как рыбаки шутят, такая игривая, рыбой серебряной в сапог затечёт! Я сперва хотела убежать. Страшно же, когда мужики дерутся. Или ещё хуже, режутся. Я видела, как мужики режут друг друга. Там, на поселении. Оба выпили, поцапались, и один другого порезал финкой. Мы с девчонками бежали на реку. Летом это было. Лето холодное, дожди, а мы всё равно купались. А тут сейчас два мужика, ну точно пьяные, так схватились, аж сцепились, не разнять. Я бежать рванулась. А потом остановилась: услышала стоны. Баба это стонала! Я повернулась и ближе подступила. Кралась у стен изб, чтобы прятаться в тени. Чтобы они меня не увидели. Ближе подкралась и всё сразу поняла. Мужик заловил бабёнку и пытался снасильничать.

Дело обычное. И такое я тоже видала. Не в Сибири, а в Горьком ещё когда жила, с родителями. Мы с подружкой бежали из кино, из «Паласа», с сеанса, где крутили «Детей капитана Гранта». Поглядели мы этих детей. Мировой фильм. В тёмном зале когда сидели, съели по дешёвому мороженому, это я купила, у меня серебряная мелочь была, я у матери из кармана стащила. Экран горел синим светом, слепил нас. Потом поплыли громадные буквы: КОНЕЦ. Ну конец так конец. Осень была, холодно, а мы в одних кофтишках. Бежим и ёжимся. И вдруг подружка меня за руку хватает и шипит мне в ухо: глянь, глянь, в подворотне-то что делается, парень девушку разложил и тешит! Рядом овраг, и мост через овраг. Между домов узкий прогал. Луч фонаря туда падает. И на мосту фонари. А мы стоим в тени. И видим, как парень девчонке руки скручивает, она на земле барахтается, а сам уже штаны расстегнул. Мы не сунулись в эту историю. Несмотря на то, что нас было двое. А вдруг у него нож?

Ну и тут, видать, то же самое. Мужик напал, баба отбивается. Всё равно он её поборет. Мужик всяко сильнее бабы. Правда, бываю, хоть и редко, такие бабы, что мужика гнут в бараний рог. Кого, думаю, на земле распять-то хотят? Интересно стало. А страшно всё-таки. К домам жмусь. Из тени стараюсь не вылезать. Света во всём селе никакого, ночь глухая. Нет, у кого-то в избе, далеко, в окне огонёк горел. Тусклый. Свеча, наверное. Не все жгли электрические лампы, свет экономили. Тихо так крадусь, даже стараюсь не дышать. И чтобы ни шороха от меня, ни стука ни грюка. Ближе, всё ближе. Вот уже лицо мужика этого вижу. Так перекошено, будто его по роже двинули кувалдой. Оскалится, и бабу эту чуть об колено не ломает. А она вырывается, стонет. Волосы её вдоль лица висят! Мечутся они, луна светит, тени бешеные ходят, а косы бабёнке лицо как платком закрывают. Время от времени она вскрикивала. Без слов. Только: а, а! А мужик её кулаком: раз! раз! Она на земле лежит, а он её ногами по голове. Потом как кинется на неё! И упал на неё. А она упала спиной на землю. Он лежит на ней, ну, думаю, сейчас начнётся. А что я могу? Засвистеть? Я умею. И в два пальца, и в четыре, и в бублик, и в трубочку, так свистну, оглушу, уши позатыкаете. Да стою как замороженная. Я много чего поняла. Бритый этот мужик, по всему видно, сидел. Из-за решётки он. А кто же он, чей? Не угадать. Караваевские мужики почти все сидели. Да и баб полно позабирали. Кого вернули, кого нет. Я тут чужая, не знаю никого. Ну, избил мужик бабёнку. Ну, оттреплет сейчас. Плюнет, пнёт и уйдёт. Под луной у мужика блестящая голая задница. Портки сползали, он дёргал ногами. Смешно! Мне не до смеха было.

Баба эта стонала и выгибалась под ним. Он зажал ей рот. Я пригнулась, согнулась, как горбатая,

и подлезла ближе. Ближе. Ещё ближе. Вот теперь мне отлично было видно всё. Как в кино. На светящемся синем экране.

И все мы были под луной синие, как мертвецы. Он рвал на бабе юбку, а она странно так была одета—я наконец разобрала, во что: в ночную рубашку! А я-то думаю, что за платье длинное такое. Как на праздник, на Новый год вроде. Да нынче весна. Она головой по земле мотает, его башка над её лицом висит, и тут хрипы раздались, он, значит, ей руки на горло наложил и душит. Ага, всё понятно! Душит, сволочь. Вытрепать и задушить, и всё шито-крыто! А может, камнем ему в затылок запустить? Оглядываюсь. Рядом с собой вижу: булыжник лежит. Хороший такой, крупный, гладкий, такие в бане в камелёнку кладут, чтобы поддавать, и пар густой клубится. Я наклонилась, булыжник с дороги подняла. Сейчас вот к мужику подбегу—и бац его по темечку! Бабу из-под него выволоку и под зад ей ногой поддам: беги, дура, пока он не очухался! Я уж готова была так сделать, вот ещё немного, и загвоздила бы ему камнем по черепушке. И тут вдруг ноги и руки бабёнки перестали шевелиться, гляжу, валяется она под ним бессильно. Не двигается.

И он, видно, устрасился. Упёрся руками и ногами в землю, встал, как собака, над ней на четвереньки. Потом крикнул, оттолкнулся от земли и встал в рост. Стоял, качался. Смотрел то на свои руки, то на бабёнку. Она вся—голое тело, рваная рубашка, лохмотья, щёки, ноги, локти, волосы—лежала в грязи и в крови. Я сразу поняла: мёртвая. Он побоев померла. Он же бил её нещадно. А может, душил-душил, и задушил. Он подтянул и застегнул порты. Выругался. Тихо, но я услышала. Огляделся. Меня не увидел, хоть я стояла близко, и камень у меня в руке. Чудом он меня не увидел! Свет луны на меня не попадал. В тени я стояла. В черноте. Он ещё раз оглянулся. Потом наклонился над убитой и долго на неё смотрел. Потом закрыл глаза ладонью, отвернулся от неё и пошёл прочь. Пошёл по дороге вперёд, и я видела его спину. Такая широкая. И затылок. Чем-то родным-знакомым вдруг пахнул этот затылок, он качался в ночи и отдалялся. Сзади, с затылка, да в ночи, да незнакомо, как можно человека узнать? А ведь можно. Я узнала. Мне показалось, что узнала. Они ходят одинаково. И затылки у них одинаковые. И одинаково ноги выбрасывают: чуть в стороны, будто тесна им дорога, и собой они её хотят расширить. Так Влас Игнатьич ходил. Но это был не Влас Игнатьич.

Мне Влас сказал тогда шёпотом: Спирька в селе, а ко мне не является. Ещё явится, усмехнулась я. И явился, не запылится. Явился батёке угрожать, а мне ножом руки порезал, насилие зажили. И вот бабу ночью убил. Чью бабу-то? Я глядела мужику вслед и шептала: ну что ты медленно как идёшь,

уходи быстрее, уходи! Но, может, я обозналась, и это был никакой не Спирька, а просто беглый бритый мужик, из ближнего лагеря, в округе, на Волге тоже много лагерей и тюрем, вся земля утыкана ими. Ночью все кошки серы. Мы друг друга не узнаем ни на этом свете, ни на том.

Он уже дошёл до конца улицы, уже его тело, широкая спина и крепкие приземистые ноги, чуть согнутые ухватом, как у кавалериста, превратились в шахматную деревянную фигурку, у нас в клубе караваевском были гигантские шахматы, одну фигуру обеими руками тяжело поднять, и если его кого по лбу стукнуть, зашибёшь. Вот-вот сейчас завернёт за угол. И я успокоилась, что он меня не увидит уже, всё, ушёл! — и подошла к бабе, она лежала на земле мёртвая. Я слишком близко подошла. Мне хотелось разглядеть её. Кто это.

Страшно трогать мертвеца. Да! Страшно! Но, знаете, все мы будем мертвецами. Все до одинокого. Каждый. Я это очень рано поняла. Там, ещё в Горьком, когда совсем малая была. Отца забрали, потом пришли и меня с матерью забрали. Я в тюрьме сидела в камере, вместе со взрослыми. Нам там было как сельдей в бочке. Вспомнить не могу. Когда вспоминать начинаю, задыхаюсь. Мы даже спать не могли лечь, а так и стояли, потому что мы все были тела. Живые. И нас так много набили в камеру, что не ляжешь на пол, только стой. А потом в духоте вдруг кто-то умирал. И тогда те, кто ближе к мёртвой стоял: орали: надзиратель! надзиратель! у нас труп! вытащите из нас труп! Из нас, так и кричали. Будто мы были голая кожа, и из нас надо было вынуть занозу. И гремел ключ в замке, и врывались военные, расталкивали нас, и мы кричали. И вытаскивали из камеры труп, и мы смотрели, как его голова бьётся, когда переваливается через порог: мёртвую волокли за ноги. Туша! Как забитая корова. Ты труп, это уже не человек! Кто ты? Лежишь на дороге. Лежишь, ну и лежи! Я-то тут при чём? А позырить подошла! Я любопытная!

Я наклонилась над убитой. И, хоть мне противно было, но отвела со лба её волосы. Открыла ей от волос лицо. Всё избитое, вспухшее. Вспухло оно ещё оттого, что её задушили. Удушенники все такие: губы синие, щёки вздутые. Я и задушенных видела. Чего, кого я только не навидалась! А жизнь ещё такая маленькая. Кроха жизнь, а я уже старуха. Хоть мне годов-то мало. Если я скажу вам, сколько мне лет, вы ухочаетесь. А я ложусь спать, закрываю глаза, слышу, как Влас ворочается на своей кровати, и думаю: едрёна лапоть, мне уже три тысячи лет.

Луна ударила в лицо задушенной бабе, и я чуть не заорала на всё село! Это была Земфира. Она! Ну неужели я бы её не узнала! Она лежала, ноги её были разбросаны по грязи, из оврагов вокруг села поднимался туман, тёк на улицы и заволакивал

и её, и меня. Её раскосые глаза глядели в небо. Снизу вверх. Я губу закусил. Косорылая собака, метла чернявая. Вот и пришёл тебе срок. Я так стояла над ней, будто я всё это с ней сама сделала. Будто это я её задушила. А что. И с удовольствием.

Что, плохая я, да? Да, плохая. Так нельзя, как я. А как — можно? Как товарищу Сталину со всеми с нами — так — можно? А ведь можно же. Он прикажет, и делают. Убивают! Медленно ли, быстро, это всё равно. Конец один. Я стояла на ночной дороге, посреди спящего села, и тут ветер поднялся, и я начала мёрзнуть и дрожать. Опять дрожать. Живёт человек на свете, дрожит, умирает — дрожит. Дрожит всегда, везде. Ну чего ты боишься, человек? Смерти? Так вот она. Рядом. Жизни ты боишься, товарищ. Жизни. И я боюсь. Жизнь очень опасная. Туда наступишь — ногу обрежешь, сюда — руку порежешь. Тебя порежут. И не охнут.

В мочках мёртвых ушей блестили странные серёжки. Я, не помня, что делаю, вытащила сперва одну, затем другую. Держу на ладони и дивлюсь: это же осколки стекла. Зеркала! А блестят не хуже алмазных. Или даже сильнее. Я серьги эти себе в уши тут же, перед трупом, вдела. Зачем? Будто мной кто-то командовал.

Я хотела закрыть Земфире глаза, и не могла. Рука не поднималась. Руке стало страшно, не мне. Рука дрожала, я крепко прижала её к животу. И тихо отошла от мёртвой, и пошла по улице, пошла, побрела. Ссутулилась, как старуха. Пусть думают: вот старуха идёт. Жабья Глотка из могилы встаёт и бродит по селу ночами. Ещё пуще испугаются, никто не окликнет, не остановит. А если кто видел, как я над Зёмкой наклонялась и трогала её? Убийство мне припишет. Ну и что. Тюрьмы я не видала, что ли? А жалко опять садиться в тюрьму. На свободе-то оно всяко лучше.

Я шла по улице в Макаркину избу, дорогу заволакивал туман, туман укутывал меня в белую шубу, клубился и разлетался дымом, будто я шла и трубкой дымила, как товарищ Сталин. Ноги мои давили тонкий ледок на лужах, и он громко хрустел, словно бы я шла по битому стеклу. Хруст этот разрывал мне уши. Туман становился всё гуще. Волга за горой, неслышимо гудя, дыша недавним льдом и будущими холодами, превращалась в Томь, Тобол, Обь, Енисей, Лену, Колыму, все реки, про них мы читали в учебнике географии и водили, их отыскивая, пальцем по глобусу. Эта всеобщая река выдыхала туман, и он обнимал всех смертью. И меня тоже. И мне делалось плохо, жутко. Земфирины серьги холодили мне мочки. Я шла к Макаркиной избе, потом побежала, только пятки засверкали. И так бежала, что споткнулась. И на земле растянулась. И земля сама мне под лицо, под губы и пальцы сунулась. Всё я в грязи испачкала, и рот, и щёки, и ладони, а они же только зажили, в красные

рубцы грязь набилась. Всё, думаю, от заражения крови помру.

Она там лежит. И я на земле лежу. Только она мёртвая, а я живая. И вся разница.

Я поднялась, отряхнулась, да толку что, вся изгвазданная. Так, грязная, иду домой. Пришла, серьги Зёмкины зеркальные из ушей выдернула, одежду с себя стащила, в тазу замочила, мылом намылила чёрным. Пусть отмокает. На голое тело напялила Власовы портки и Власову рубаху. Так сижу, в мужском, посреди избы на табурете, а слёз нет. Выплакала я давно все слёзки свои.

(Влас женится на Вобле)

Всё-таки он женился на мне. Это произошло всё-таки. На мне, на своей сибирской уродине, так меня называли за глаза все бабы на селе, а я прекрасно знала об этом.

На Сибирской, Уродине, да! Всё кричало внутри меня эти оскорбительные слова с большой буквы, будто это были такие очень крупные, очень яркие самоцветные камни. Рубин и Сапфир. Изумруд! Агат! Сибирская! Уродина! Никто из них не знал, что я не сибирячка. Что из города Горького я. Горьковчанка, кривая тачанка.

Даже не могу сказать, как женился. Как вообще всё это наконец произошло. Когда об этом обо всём думаю, всё предстаёт в тумане. Как облаком заволочнутое. Как-то слишком всё обыденно случилось. На ровном месте. Я, честно сказать, уж привыкла к своему положению при Власе Игнатьиче. Ни дочь, ни жена, ни зазноба, ни соломенная вдова, вроде как прислуга, а в то же время он меня ласкает, жалеет. Вот так сидим однажды вечером, и вдруг ни с того ни с сего поссорились. Поцапались просто! Как кошка с собакой! И из-за чего? Из-за репродуктора этого круглого, чёрного, в бога-душу его мать. Из него сначала музыку играли весёлую, а потом голос заговорил важный. С восточным акцентом. Мы оба сразу догадались, что Сталин говорит. Влас замолк. Я тоже. Пришпилились, сидим, глазами в пол уткнулись. Я ладони коленями сжала. А вождь так торжественно говорит, даже слегка подвывает, и я ничего не понимаю, но усердно слушаю. «Ва всех войнах главным ро-дам войск, а-беспэчивавшим па-беду, была пэ-хота. Артил-лэрия, ави-ация, бранетанка-вые силы защищали пэ-хоту, а-беспэчивали выпал-нение задач, па-ставленных пэред пэ-хотой. Крэ-пасти, гара-да и наси-лённые пункты врага щи-тали занятыми только та-гда, ка-гда туда вступала на-га пэ-хоты. Так была всэгда, так будет в будущей вай-не. Пэрвый тост я прэд-лагаю за пэ-хоту. За царицу па-лей—пэ-хоту!» Я выдавила из себя: царица полей, пехота! Убивают людей на этих полях войны, несчастных мужиков, и тебя загребут, Влас Игнатьич, и тебя убьют! А потом я как с цепи сорвалась просто. Ору: этот Сталин

гад! Всех замучил! Всех перебил! Ну в чём моя мать виновата была?! В чём?! А мой отец в чём?! А тыщи, миллионы других детей в чём виноваты, почему у них родителей взяли, сначала издевались как хотели, а потом шлёпнули?! Самого бы его взять да шлёпнуть! И всё в таком роде ору. Так ору, что стены Макаркиной избёнки трещат! А Влас как размахнётся! И как залепит мне пощёчину! Замолкни, цыц, шепчет, ты што хошь, штобы нас с тобою обратно заграбастали да на поселенье?! А то ищо хлеще, в лагерёк?! Оттуда уже не выпустят! поминай как звали табе! Никто и не вспомнать имени твоего! Молиси не молиси! Бестолково дело, девка! А ты вопишь на всё сельцо! Ить вить чрез окошки-ти всё слыхати, всё, не укроеси! И вскочил со стула, и подскочил к репродуктору этому проклятому, и на полную катушку ручку громкости повернул. Голос Сталина заполнил избу и страшным гулом отдавался подо лбом. Я уши пальцами заткнула. Худо мне стало! Рвать потянуло. Я громких звуков не переношу. С тех пор, как в тюрьме женщина одна за стеной орала, там её били, пытали, а мы все слушали этот ор и молчали. Стояли плотной стеной, не лечь, не сесть. Ноги отнимались, к ним прилиwała из тела вся кровь. Потом баба та заорала совсем уж истошно, жутко, и замолкла. Видать, пристукнули её. А я начала трястись, будто ко мне прислонили провод под током. Так тряслась, что те, кто стоял вокруг меня и обнимал меня телами, заворчали: эй, эй! попросите надзирателя пригласить доктора! у нас тут заключённая захворала! должно, простуда! А кто-то крикнул высоко и тоненько: а может, у ней тиф! Может, она заразная! Уберите её! Уберите! А другая баба заверещала: если тиф, бабоньки, давайте её прижмём крепче, плотнее! И задушим! Другие голоса надо мной заорали: ты что, товарищ, сдурела, что ли, товарищ! такое говорить! Но я почувствовала, что тела людские вокруг меня сжимаются. Сжимают меня! Всё плотнее, больнее! И я задохнулась, сама заорала как резаная и перестала видеть и слышать. А потом, когда очнулась, поняла: я лежу на чём-то живом, но жёстком, и когда поняла, на чём, чуть с ума не спятила от ужаса: я лежала на плечах и поднятых руках женщин. Они меня подняли над собой и так держали. И я заревела в голос от благодарности. Ну, что в живых меня оставили. Спасли. С тех пор я не переношу громких звуков. Сразу теряю разум.

И вот Влас в репродукторе громкость увеличил до предела, а у меня голова закружилась. И я встала, а он сидит; я хотела ему сначала тоже оплеуху заехать, а потом протянула руки вперёд и крепко ему в волосы вцепилась. И трясу его голову, как будто это горшок какой, и я разбить его хочу. И кричу: ах ты, защитник ты этого паука! Ведь он же паук кровавый, и все об этом знают!

Он мою семью убил, а из меня всю кровь выпил, вот я и такая уродина сделалась! Такая я уродка несчастная, что даже ты, старый гриб, на мне не женишься! Потому что уродка я! Бросовый я кусок! И ты не хочешь меня! И никогда не захочешь! Будь проклят, кричу, этот твой паук, жук усатый, защищай его дальше, сволочь такую, а от меня отстань, я всё равно из этой чужой избы уйду, и от тебя уйду, сдался ты мне, мужик старый, одинокий, паршивый, что толку, что у тебя дети есть, бандиты они оба, дети твои! Брошу я тебя, старый ты ухват, надоед ты мне как горькая редька! Не хочу глядеть тебе больше в лицо! Осёл ты бесчувственный, мо- сёл бараний! Живи один! Подумаешь, царь! Сам себе и будь царём! А я как-нибудь одна проживу! Не помру! Пусть побираться буду, а к тебе не вернусь! Уеду в город, работать устроюсь! В Горький вернусь! На Красное Сормово работать пойду! Буду корабли делать, подводные лодки! Человеком стану! А не тряпкой твоей половой! Сам себе мой полы! А хочешь, и бабёнку какую себе в подмогу возьми, старушню древнюю! Пусть она тебе обед варит, сало прогорклое жарит с гнилой картошкой! Милуйтесь тут с ней! А я уж сама! Одна!

Орала так, орала, и сникла. Видать, на пол свалилась. Сколько так пролежала, не знаю. Глаза раскрыла—надо мной лицо. Чёлка Власова, волосы его, серебрятся, и кожа его, под глазами в мешки собирается, морщится, и борода и усы его, цвета грязного сугроба, а вот глаза—не его. Даже не могу сказать точно, чьи глаза. Я на иконах только такие видела. Круглые, большие, слезами налитые, всклень. Смотрят на меня, и слёзы наконец из глаз тех вытекают и вниз по щекам ползут. И в бороде пропадают. И опять глаза эти круглые, тёмные, огромные, как озёра, слезами наполняются. И опять слёзы выкатываются и медленно по лицу вниз струятся. И мне на руки капают. А у меня руки на груди сложены. Как у покойника в гробу. Лежу. Не дышу. Гляжу, как слёзы прозрачными вошками ползут вниз по Власову лицу. Хочу что-то сказать. Не могу. Во рту как кляп торчит. А что говорить? Всё сказано уже. Ничего не добавить. И всё-таки я губы-то разжала. И сама свой голос как со стороны услышала: ты не переживай, я отлежусь, встану, соберу манатки и уйду, не буду тут при тебе небо коптить. Устал ты от меня, ну я тебя от себя и освобожу!

Вот сказала я так и замолчала. И он молчит. И репродуктор молчит. Может, уже давно молчит. В избе ночь. И на улице ночь. И гляжу, Влас встал, медленно, как во сне, раздевается и медленно, аккуратно на стул одежду кладёт. Сначала снял пиджак. Потом рубаху, старую косоворотку, я её уж устала штопать и стирать, обветшала уж она донельзя. Как сквозь паутину, сквозь неё смотреть можно было. Потом расстегнул ремень. Вытянул из штанов. Ремень упал, прыжка брякнула об пол.

Потом спустил штаны и вышел из них. Поднял, расправил и на спинку стула повесил. Потом стащил с себя исподнюю рубаху и остался в одних подштанниках. А потом стащил и их.

Пока он раздевался, я смотрела на него. Мне было стыдно, хотелось закрыть глаза, но я смотрела. Он разделся до того, в чём мать родила, осторожно отвернул одеяло и тихо лёг рядом со мной.

Ну что тут сказать? Не буду. Про это люди не говорят. Ну, бывает, что и говорят, словами плохими, грязными, но это всё равно про другое. А про это словами нельзя. Нет таких слов. И я их тоже не знаю.

Так мы стали мужем и женой, только без росписи. Влас меня сам повёл в сельсовет, расписываться. Я стеснялась. Вот всё это время об этом промечтала, да так и думала, не случится этого никогда, а тут взяло и случилось. Да ещё сам мужик расписаться предлагает. Долго я кобениться не стала. Надела глаженую юбку, танкетки белые начистила мелом, из шкафа вытащила жакетку старую, ещё мамину, синюю в горошек, я в ней на Томи летом бегала. Чудом она сохранилась, я на всех пересылках её в чемоданчике берегла; а мамину шерстяную вязаную кофту у меня отняли, уж очень она была красивая, при обыске тётки польстились. Стою у зеркала, амальгама сзади от сырости серыми разводами, пятнами пошла, и отражение смутное, как из тумана лицо выплывает. Ничего не вижу. Юбку одёргиваю. А Влас сзади подходит. Меня за плечи обнимает. Наклоняется и шепчет мне на ухо: Воблёшка, а ты красотулька, чесно-распре-чесно слово, красивше всех баб и девок. И целует мне ухо. Ухо из-под гладко причёсанных волос деревяшкой торчит. Я отпрянула и как крикну: врёшь ты всё, Влас Игнатъич! Хотелось в шутку, а получилось зло. Он лапищами своими сжал мне плечи. Не вру, говорит, ежели б врал, тогда б и тебе за сабе не брал. Я повернулась к нему, обняла его и уткнулась носом ему в живот.

Вот тебе и Сибирская Уродина! Пошли в сельсовет через всё село. Я нарядная, Влас в чистом пиджаке и в латаных штанах, ещё поселенских. Я иду, стыжусь и думаю: надо бы его тихонько приодеть, совсем пообтрепался мужик. Ну, теперь женой стану, приодену! Теперь будет моя кровная забота! И в толк не возьму, что всё оно сейчас и свершится. Пришли. Всё опять как в тумане. Как в том Макаркином отсырелом зеркалишке. Плывёт и мерцает. Стол качается перед глазами, на нём чернильница. Голос гундосый что-то вещает, ручка около чернильницы лежит, перо вечное блестит. Потом Влас Игнатъич эту ручку берёт и долго, коряво пишет ею на бумаге: расписывается. Потом ручку мне в пальцы всунули. Я подписала бумагу. Что подписала, какой документ, не видела. Слёзы глаза заволокли. Кляксу ляпнула на лист, голос над ухом раздался: ничего, ничего, не волнуйтесь,

товарищ, сейчас промакнём. И чья-то рука прижимает к бумаге, катает по ней ванькой-встанькой пресс-папье. Я выпрямилась и снизу вверх на Власа гляжу. Вижу его седую бороду. Опять голос чужой слышу: поздравляю вас, товарищи, теперь вы законные муж и жена! И чья-то рука крепко жмёт мою руку. Я пожала эту руку в ответ, и тут мне горло как захлестнуло. Стою и слова сказать не могу. Влас меня за руку взял и вывел на улицу, на воздух. Приказал: дыши! И я дышала.

Пришли домой. Рыжий кот вышел из-за печки. Я его накормила. Влас глядел, как кот ест. Потом сказал тихо: мужа накорми. Я сначала ничего не поняла. А потом давай из печи чугуны таскать. У меня щи были сварены, пустые, но вкусные. И картошки целая гора. Влас поел, я вымыла тарелки, и мы опять легли в постель, среди дня. Дверь закрыли. Он всё мне шептал: я изголодался. А мне чего было ответить? Я молчала.

И так мы стали жить. Стояла весна. Разные в ту весну выдавались дни: то жаркие невозможно, то ветер с севера подует, и в мае снег выпадет. В мае вышел временный запрет на ловлю рыбы сетями, до июня. Только удочкой можно. Рыболовецкую артель на месяц распустили. Власова работа осталась только в школе. Вечером он уходил на дежурство, целовал меня и вздыхал: от сердца тебе отдираю, Воблёшка, прямо с кровушкой! даже вот на столечко часиков трудно с тобою разлучиться! Улыбался, кепку на лоб надвигал и переступал порог. И уходил. Спина его качалась в сумраке, я долго видела её. Стояла на крыльце. Я ещё не сознавала, что я жена. Понятия во мне ещё такого не было.

Я наивно думала, что я забеременею сразу, с первых ночей. Не тут-то было. Месяц прошёл, крови мои пришли. Я расстроилась и даже плакала. Влас Игнатьич спрашивает, что со мной, не обидел ли он меня чем. А я ему: не брюхатею! Он в смех. Аж клокочет весь от смеха. Ты, говорит, дура, Воблёшка, у мене совсем! Бабёнки ить долгонько с мужичком-ти прожити должны, прежде чем Бог соизволит послати им робёночка! Бог-ти нас только-только соединил, а ты чево хочешь, вынь да выложь да положь! Не бываить так-от! Потом задумался. Долго сидел, морщил лоб. И сказал: нетути, енто я вру тебе, всяко бываить. Вон Мария, Матерь Оспода нашава Христа, понесла от Святова Духа. И што? И ничево. Понесла да родила! А вить девчонка была Божия Матерь-ти, сущая девчонка! То ль пятнадцать ей сравнялося, то ль шешнадцать. Маленька ищю! А уж зачала да родила. Енто тебе не фунт изюму! Молоденьким-ти, оно сподручней, носить да рожати. Легше! Тело молодое, справно в девчонке всё; и крепка она, и вместе гибка, како лоза на бережке, ивка молода, краснотал. Из девчонки в енто времячко корзину можно сплести! Вот из тебе, к примеру!

И посмотрел на меня. Так жадно и весело, будто и впрямь сейчас схватит, прутьев из меня наломает и из меня корзину для грибов большую сплетёт.

Я даже отпрыгнула от него. И рассмеялась. И он засмеялся. Потом оборвал смех, башку свою серебряную опустил и говорит тихо: да нетути, Воблёшка, што тут балакати, права ты. Я старик. Не зароню я в тебе семя. Не зачнёшь ты, видати по всяму. Старик я! И всё ниже голову опускает, к самым коленям.

И тут я закричала: нет, не старик! Нет, не старик! И так отчаянно замотала головой, что у меня сзади в шее что-то хрустнуло. Боль пробила, как гвоздём. Я аж присела. Влас Игнатьич меня под мышки подхватил и на кровать усадил. И в лицо мне дул. И спрашивал обеспокоенно: а тебе не похужело? а тебе щас как? а можа, ты уж енто само... тово... а ты волнуесси! Не волнуйси, всё сделацца у нас как надоть, всё случицца! В свой черёд!

И я повторяла за ним, как попугай: в свой черёд, в свой черёд.

И так и ходила с этими словами, с припевкой этой: в свой черёд, в свой черёд.

Курицу ощипываю и бормочу себе под нос: в свой черёд, в свой черёд.

Мы кур завели. Влас о корове поговаривал. Да все коровы сейчас стояли в колхозном стойле. Я боялась, что корову нам председатель запретит. Влас объяснял, что одну корову можно. И двух овечек, например, или двух козочек. Птицу — пожалуйста, кур не отнимут. Я сыпала курам корм в старое корыто и думала: вот заведём корову, обучусь её доить, и кто я буду такая, городская девочка? Давно уж я не городская. Томь меня всему научила. И косить, и жать, и стряпать, и бельё отжимать. И с коровой справлюсь, если заведём.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Земьфиру убили и дочку её убили и дочку её безногую и безрукую зделали со всем святой. После смерти так ибывает обычно. Ты живёши иникому ненужный. А патом ты умрёши и во круг тебя наченают хароводы водить. Я немогу даже думать об этой её дочке. Если я ночью оней думаю я её боюс. Имне так плохо становится я доутра уснуть немогу. А народ на могилку этой Ирады Зариповой ходит и все молятса ей какбудьто богародице. Могилка её накраю поля. Я одна однажды прихадила туда. Поле голое и ветер свистит. Крест ответра покосилса. Я постояла не много и пошла. Что мне тут делать. Яже неверила нивкакие чюдеса этой уротки. А ночью зато я так плакала что Влас Игнатинович проснулса и меня утешал и всё ни как немог меня утешить.

(идут по военной Москве. Старица Матронушка)

Они шли по Москве, и Вобла шарахалась от противотанковых ежей; видела, как площади расписывают краской, большими цветными квадратами,

и робко спросила Власа: а что это они раскрашивают асфальт? — на что он ответил: не знаю, ей-богу, не знаю, — а по бульварам медленно двигались танки, и Вобла зажимала уши от их страшного грохота; улицы великой столицы были какие чистые, а какие и в грязи по уши — гремели грозы, летели серебряные отвесы шумных ливней, машины на шинах и люди на сапогах месили мокрую от дождей землю. Повсюду висели таблички, и крупные буквы наотмашь били в глаза: «*Не курить!*», «*Не сорить!*». На площади, Вобла имени её не знала, в ряд стояли новобранцы, и вышагивал перед ними военный человек в смешных, топырящихся галифе, и ноги его гляделись ухватами. Вобла прыснула. Влас не поддержал её глупого смеха. Сказал строго: што ржешь-ти как кобыла, енто строевая подготовка, ополченцы енто, а можа, новобранцы, хто их знат. Часто попадались навстречу люди с винтовками за плечами. Они шли по-разному: и строем, и поодиночке, и парами, и весёлой кучкой. Веселье на лицах, и бритых и бородатых, вспыхивало наигранное. Люди играли в бодрость, чтобы не так страшно было. И Вобла, и все вокруг понимали: они уходили на смерть.

Иногда мимо противотанковых стальных ежей шли, маршируя, целые отряды; впереди шёл человек, он нёс знамя, когда красное, а когда странно белое, с красной звездой, красной полосой и с красными серпом и молотом. Отряд нестройно пел: «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой!» Вобла тихонько повторяла за ними, не песней, а просто вслух: и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Эти слова не только не воодушевляли, а наоборот, приговаривали: к тьме, к небытию. Но никакая небытия не просвечивало на лицах ополченцев. Они пели, широко разевавая рты, вздымали руки, сжатые в кулаки, и высоко, гордо поднимали головы. Это была гордость отчаяния, но и радость победы. Пусть не все до неё доживут!

Влас вёл её за руку, как ребёнка. Ростом она была ему по грудь. Они вышли на площадь, по серому мокрому, щедро политому дождями асфальту змеились рельсы, здесь трамвай делал круг. «Игде мы, матушка, подскажи-от!» — крикнул Влас петухом прохожей старухе. Старуха, длинная и тощая жердь, в обвислой вязаной старорежимной кофте и с огромным, на защёлке, портмоне, крепко зажатым в морщинистой руке, надменно клюнула воздух попугайским носом: «На Калужской площади вы. Калужская это застава». Влас ткнул Воблу кулаком в бок: испроси, душенька, как доберёмся до Сокольского, ай до Сокольника, кажись, туды нам. Я помню адрес, кивнула Вобла. Она заучила адрес наизусть, пока плыли на парохоме, всё читала его на клочке бумажечки. Старуха услышала шёпот Власа. Поднесла портмоне к груди. Поправила за ухом седую кудряшку. «Вы из деревни?

Сразу видно. Спускайтесь, товарищи, опять в метро, вы не туда заехали. От Октябрьской доезжайте до Комсомольской, там сделаете переход, и садитесь в состав до Сокольников. Вам в парке погулять? Или по адресу?» Вобла насупилась. По адресу, буркнула она и дёрнула Власа за руку: идём!

И они снова спустились в метро.

Влас вздыхал: опятьеньки по сорок копек платить, на двоих енто осемьсят! Ищю двугривенной добавь, и цельный рупь! Вобла глядела, как он шарит в карманах портов, извлекает мелочь и долго, пальцем монеты шевеля, как живых червей, считает на испачканной вагонной сажеей, заскорузлой громадной ладони. Поезд впустил пассажиров, Влас заскочил в вагон испуганно, боялся, что двери прихлопнут его. «Прижмёт, како мушищу благую, и раздавить!» Состав дёрнулся всем железным туловом и пошёл, набирая ход. Влас еле успел уцепиться за серебряный поручень: упал бы на пол плашмя. Вобла подвела его к свободному месту, усадила. Влас удобнее устроился, откинулся, сиденье под ним поскрипывало кожей. «Эка хорошихонько-ти как! Только слишком резво едет, потиший ба». Вобла во все уши слушала, как объявляют станции. «А енто откудова голосок-ти? Здеся што, реподохтор игде упрятан?» Вобла прижала палец к губам: тише.

Тряслись. Мотало вагон. Мелькали за широкими окнами цветные огни. «В подземье едем, а ну как щас прямо к диаволу в зубасту пась въедем!» Вобла не хотела улыбаться, а улыбнулась. Стоящий напротив них молодой парень в серой кепке захотал. «Ты, дед, в чёрта, что ли, так сильно веришь? Ну, верь, верь! Верю, верю всякому зверю!» Влас вздёрнул бороду. «Я — в Бога верую!» Парень в растерянности снял, потом опять надел кепку. «Вон оно что! Ну, извини, товарищ. Только Бога твоего нет! Нет и не было! И точка!» Люди рядом стояли, качались, прислушивались. Вобла встряла. «Мой муж верующий, ну и что? У каждого своя вера». Люди рядом зашевелились, кто отодвинулся от них, кто отвернулся, а кто и вышел на остановке. Вобле казалось: они, все до одного, при слове «Бог» страшно испугались чего-то.

На станции «Сокольники» они вышли из вагона, Вобла с трудом прочтала указатели, пошли по стрелкам, осторожно встали на бесконечно бегущий эскалатор. Вобла положила Власову руку на резиновые перила: держись! Он послушно держался. Вышли из подземья на воздух: будто бочку обухом разбили, и солёная мёртвая рыба из бочки вывалилась и ожила. Между туч зыграло белое, как сметана, солнце. Они увидели непонятные матерчатые, надутые шары. Не знали, что они называются аэростаты. Около домов высились горы, сложенные из мешков с песком. И опять они не знали: это — баррикады. Окна крест-накрест заклеены жёлтой газетной бумагой. Вобла тут же

подумала: и не бояться лицо вождя ножницами разрезать и клеем замазать, а я боялась в печке сжечь. Около подъезда стояли раскрытые ящики, возле них бегал малорослый, как младший школьник, человечек с молотком в руках. Он забавно всплёскивал руками и забивал ящик досками. Сверху из ящиков торчало всякое богатство: золочёные рамы, края картин, писанных маслом на холсте, руки и ноги белых как молоко и смугло-бронзовых скульптур. Вобла поняла: это переезжал музей. Переезжал в глубь страны, подальше от войны.

Ей передавали горло ужом: музей приказали эвакуировать, значит, не верят, что Москву не отдадим. А как же Кремль? А Сталин?

Дальше, на их пути, люди копошились в длинных узких ямах: рыли траншеи. Около траншей росли горы земли. Люди вгрызались в землю стальными зубами лопат, лопаты ели землю, жевали и выплёвывали, и вырастали земляные, рыжие глинистые горы у земных щелей, что призваны будут защитить родную столицу от вражеских танков и полчищ. «Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей!» — шла и беззвучно пела Вобла. За деревьями парка они увидели два орудия. Вобла впервые увидела пушку, остановилась и долго, молча, смотрела на неё. И Влас молчал; потом двинулись дальше.

Вобла спросила: «Власушко, ты не слышишь? Там, далеко? Кажется, стреляют». Влас закрыл глаза и сильнее сжал её руку. Очень далеко, как во сне, звучала артиллерийская канонада. Потом угасла. На тротуаре валялись книги, много книг. Кто-то выбросил их из окна. Книги уже были не нужны; нужна была только жизнь. И, в этом был весь главный ужас, Москва тоже была не нужна; своя жизнь была дороже Москвы.

В кузовах грузовиков, в автобусах и автомобилях тряслись люди. Все куда-то ехали; и трудно было понять, кто уезжал, кто оставался. Вобла подумала жёстко: бегут, шкуру спасают. Прямо перед ними внезапно закружились чёрные хлопья сожжённой бумаги. Влас крепче сжал ручонку Воблы и вдруг крикнул задуманно, тонко: «Вота! Жгут! Жгут всю правду! Жись нашу всю записанную жгут! И никто и никогда не прочтает больше, кто мы были, как мы жили!» Вобла махала рукой, чтобы разогнать, отогнать от их лиц чёрную, сверху летящую сухую чешую. На стене дома золотились буквы на табличке: да, тут находилось учреждение, и, видать, важное, если перед приходом врага без следа сжигали все документы.

Шли дальше, и видели — ещё перед одним опустелым домом лежат на тротуаре пачки книг, перевязанные бечевой; Вобла подошла, наклонилась и прочитала вслух: «Вэ И Ленин, собрание сочинений». Испуганно прижала ладонь ко рту. «Влас Игнатич, а нас не схватят? В тюрьму не посадят?

Подумают, что это мы выкинули!» Влас смотрел печально. «Нетуги, душка, не посадют. Мы ми-мохожи. По нас издаля видати, што мы не столич-ны!» Потом дёргал Воблу за руку, как обиженный ребёнок: «Ну што, душечка! Попрошай, попрошай народ-от, игде наш адресочек! А то заплутаемси!»

Вобла, смущённо подходя к прохожим, только и повторяла: Матронушка, Матронушка...

Вобле указали: вот улица, там дом и ищите.

Они долго ходили меж домов и деревьев взад-вперёд, спрашивали, стучались в двери и даже в окна, и им везде отвечали: нет, тут у нас таких не проживает, — пока Вобла наконец не догадалась заглянуть в крошечный фанерный домик, упрятанный за большим каменным домом, среди деревьев и кустов. Холодало. Набегали тучи. Затягивали ясную линзу неба грубой рогожей. Хлынул дождь, ледяной, будто осенний. Они, скользя по грязи, подошли к дощатому крыльцу; Вобла рассматривала, будто картины в музее, грязные фанерные стены. «Но это же летний домик, — прошептала она сама себе, — как же тут живут зимой?» Ни звонка, ни колокольчика. Дверь шаткая, внизу в двери дыра: стучали ногами и дырку протучали. «В окно стучиси, — присоветовал Влас, — в стекляшку слышней будет, на увесь дом звон разнесетси». Вобла ударила в окно кулаком раз, другой. За окном зашуршало. Пошуршало и стихло. И снова молчанье. Вобла догадалась толкнуть дырявую дверь. Она подалась под её рукой.

Они вошли — сперва Вобла, Влас за ней, — и так и отшатнулись: холод крепко обнял их, прямо в лица им ударил густой пар, промозглый и сырой, будто внутри домика безостановочно шли и шли унылые дожди, просачивались сквозь крышу и безжалостно поливали стены и полы. Пар шёл от железной буржуйки: она топилась будто сама по себе, людей в доме не было. Пустая тёмная фанерная коробка, сырая пустота. Ни звука, ни скрипа. Вобла огляделась. На подоконнике в обшарпанном горшке росла герань. Стоял медный чайник с горделиво изогнутым носиком; он зарос вековой грязью. Там, где сквозь грязный сумрак просвечивала медь, она сияла радостным, ёлочным золотом. Вобла прислушалась. Из угла чуть слышно доносилось мерное дыхание. Она пошла на эти вдохи-выдохи. Увидала кровать. Блестели на выгнутой спинке никелированные шарики. На кровати свалено в кучу старое тряпье. Вобла хотела было от кровати отойти, как тряпье шевельнулось. Она бросилась вперёд, погрузила руки в тряпки, расшвыривала их, так кот когтями царапает преграду, чтобы пробраться к добыче. Старые платья, пальто, одеяла валились на пол. В сумраке серебряные шарики на спинке кровати поблёскивали рыбьими блёсками. Из-под ветхого тряпья, из-под штопаных мужских кальсон и вязанных крючком женских шалей показалось тело.

живое; одетое в шерстяное платье, оно когда-то было зелёным; тело шевелилось и вздрагивало, и женщина обернула к Вобле страшную нечёсаную голову на подушке. Её жиденькие седенькие волосики вымокли от пота. И подушка вся была в мокрых тёмных пятнах. Вобла подняла глаза. Прямо над головой женщины протекал потолок. Крупные капли время от времени капали вниз, на лоб ей, на висок, на подушку. Пахло мокрым гусиным пером, кислым кефиром, и чуть—совсем немного, еле слышно—ладаном. Вобла, будто век это делала, ловко перевернула блаженную старицу с правого бока на спину. Подложила ей под голову, под лопатки подушку, повернув сухой стороной. Подняла с пола одеяло и укрыла её. Прочую одежду сгребла в кучу, оттащила в изножье кровати.

Влас стоял и смотрел. Ничего не говорил.

Вобла кашлянула раз, другой. Слепая лежала, молчала, блаженно улыбалась, сложив корявые коричневые руки на мерно дышащей груди. Надо было всё равно говорить. Говоренье застряло в глотке, пыталось вылететь наружу, а крылья обомали.

Сама слепая заговорила.

«Вы ведь ко мне издалека прибыли? Устали, небось. В реке вашей рыбы много, много! Да рыбу ту всю взорвут скоро, и всплывёт вся она брюхом кверху, и река вся станет красная от крови...»

Вобла беспомощно оглянулась на Власа. «Какая рыба, о чём она?» Влас поднял двуперстие вверх, как для древнего благословенья; покачал головой. Шепнул: «Ты не встревай зазря, пушай она сама-самесенька всё нам балакаить».

Блаженная старица повела головой на подушке. Ладаном пахло всё сильнее.

«А почему вы ко мне без веток пришли?»

«Без каких веток?»

Вобла растерялась.

«Ветки какие-то просит...»

Шёпот таял, почти неслышный, но старица всё равно услышала.

Широкая улыбка растянула ей губы аж до самых ушей. Многих зубов во рту не было; бледные дёсны чуть розовели в туманном холодном свете, за окном шумел ливень и порывами, покинутой собакой воя в высоких кронах парковых деревьев, налетал ветер.

«Без ивовых веток!»

«А зачем вам ивовые ветки?»

Старица улыбнулась ещё шире. Всё её лицо обратилось в улыбающийся рот.

«Как зачем? Ломать. И очищать. Пока чищу, человека вижу. И всех его родных вижу. Кто где воюет. Кто где... ховаётся... Очищу—пахнет зеленью! Жизнью! Я вдыхаю её запах. Люблю, когда жизнью—пахнет!»

Помолчала. Влас и Вобла терпеливо ждали. Старица перебирала пальцами поверх одеяла.

От тряпок доносился волглый дух мокрой шерсти. Вобла подумала: так пахнут овцы, которых ведут убивать.

«И за них за всех молюсь. Ветку голую, гладкую, уж без коры, держу и молюсь. Детонька, дай мне коробочку! Она вон где стоит».

Слепая повернула голову. Вобла со страхом рассматривала её бесконечно, постоянно улыбающееся лицо, её заросшие кожей глаза—на месте глаз у старицы мерцали две тёмные ямки, в глубь черепа уходили неведомые, нежные тени. Светлые, сивые, вытертые годами брови изредка вздрагивали. Вобла быстро обернулась, схватила с тумбочки, укрытой вышитой крестом салфеткой, картонную коробку; в коробке лежали наломанные ивовые ветви. Игрушки-палочки, и уже без коры. Беззащитные. Старица с радостным вздохом погрузила в коробку руки. Вынула одну палочку, гладила, рот всё так же улыбался. Улыбка жила на её лице, плавала, как рыба в толще холодной слепой воды.

«Милая, ах вот ты где, милая.—Перевела дух, будто бежала быстро и вдруг стала, устала.—Дай я на тебя полюбуюсь. Ах, да ты ещё молоденькая совсем! А уже такая грешница! Сильно ты нагрешила, грех на тебе большой, милая, да по неразумию совершённый. И не каялась ты в нём никогда. Мала у тебя ещё душоночка, меньше котёночка. Жизни не знаешь, а тут война. Да рядом с тобой муж твой стоит! Хороший у тебя муж. Только старый шибко он, его в армию не возьмут. Радуйся, на войне не сгинет! Радуйся! Радуйся! Ты молитву Богородичную знаешь? Нет! Не знаешь! Молиться тебя не учили. Ну да это ничего. Повторяй за мной!»

Вобла, неотрывно глядя на растянутый в вечной улыбке рот слепой старицы, повторяла за нею шёпотом: «Богородице, Дево, радуйся... Благодатная Марие, Господь с Тобою...»

Влас тоже повторял, но беззвучно.

Так молились в сырой холодной комнате, все втроем, и за окном поливал бешеный дождь, и в домике на курьих ножках горела, гудела ржавая буржуйка.

Блаженная старица прочитала сначала Богородичную молитву, потом «Отче наш», потом вдохнула и выдохнула: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешную!» И ещё раз повторила эту коротенькую молитву, и ещё, и ещё, и ещё. Вобла переступила с ноги на ногу. Не переставая улыбаться, слепая сказала:

«Устали ноженьки? Сядьте! Я ещё молиться буду. За всех, кто воюет. Много смертей вижу, много! А осенью, зимою будет ещё больше! Но Москва останется цела. Не возьмут Москву! Не надо отсюда никуда уезжать. А Волга красная от крови станет, вижу, вижу. А Тулу не возьмут, защитят, а Тарусу возьмут, да отобьют, и Москва

жива-здорова останется, только чуть погорит. Пожары будут! Бомбы падают, как тут без огня? Да где только огонь не горел! Деревни, города всегда горели. Потом всё люди отстроят, наново. Ещё лучше всё станет, краше».

Вобла глядела на голые зелёные палочки в маленьких морщинистых руках. Старица перебирала палочками, как спицами, будто вязала, и из-под её корявеньких, как корешки, рук текла невидимая, тёплая ткань.

«Я на фронте. Я сейчас там... у орудий. Около пушек. Наши солдаты стреляют! Бедные, милые солдатики... Почти все ведь из сёл, из деревень... Опустеет мужиками Россия... Осиротеет земля... земля...»

Влас дрогнул серебряной, загустелой за время дороги бородой.

И тут впервые подал голос. И голос его чуть дрожал.

«Как же ты баишь, матушка,—срывался, рвался его голос,—Москву-ти не отдадим, а солдатиков-от, значитца, всех перебьют? Ох...»

Замолк. Вобла видела: по его щеке течёт слеза и тает в чёрнёном серебре бороды.

Старица, не переставая улыбаться, заговорила мелко, дробно, будто пшено голубям из сита крошила, растрясала:

«За грехи, за грехи нам всем послана война! Война не просто так явилась! Грешны мы были очень. Много за нами всеми нечестия и язвы водится. Не счесть! А зло, оно тут как тут. Только и ждёт! Не исповедаемся... не причащаемся... Бога забываем, не поминаем... Вот вы, вы оба, да! Вы ведь в церкви не венчались. Худо это! Нельзя так! Сталин Бога забыл, но ещё как вспомнит! Придёт времечко, и вспомнит! Сам ко мне придёт... придёт!.. за Богом... за Ним... Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его! Яко исчезает дым, да исчезнут...»

Читала молитву сквозь вечную улыбку, слова вылетали из её беззубого, шепелявого рта и летели вверх и выше улыбки, бились о сырые стены каморы, о дырявый потолок, метались запертыми в клетку воробьями, ударялись о стёкла, врывались в приоткрытую дверцу гудящей, пылающей буржуйки и сгорали в огне. Буржуйка топила уже долго, а дрова все не прогорали. Это было чудо. Кто невидимый подкидывал их в печку? Кто печь растопил, ведь старица лежала тут одна? Растопили и ушли... может, вот-вот придут... с продуктами, ведь есть ей что-то надо... с бутылками молока, с буханками хлеба... она тут одна лежит, безо всякой помощи... и волосы у ней мокрые, и встать на двор сходить никто не поможет.

Вобла дождалась, пока закончится молитва, и быстро наклонилась к старице, обдала её своим дыханием, и старица раздула ноздри, впивая свежий и светлый молодой запах.

«Товарищ Матронушка...—Вобла смешалась, не знала, как к старице обратиться.—Вы не хотите?... ну, есть, пить... Пообедать... Я сготовлю... Может... вы хотите...»

«Договаривай, детка: по нужде?»

«Да».

Вобла стояла, вся залитая краской, и Влас погладил её по плечу.

«Если захочу, сама тебе скажу! И поможешь! Вынесешь меня! Скажу, куда. Всё это тоже святое дело, всё у Бога святое! Нет стыда, нет позора в человеке! Всё живое устроено так! И нечего стыдиться! Но ангелы на небесах... ангелы... они безгрешны, и нет у них наших людских стыдов. Сказано в Писании: птицы небесные не сеют, не жнут, но сыты бывают!»

Вобла кивала, как на уроке в школе.

«А поесть-то—хотите?»

«Ах вон что! Я ей про птиц, а она мне опять про еду людскую!—Улыбалась непрерывно.—А вот я хочу, чтобы ты, детонька, меня на руки взяла!»

Вобла смутилась ещё сильнее. Но тут Влас пришёл на подмогу. Он шагнул вперёд и протянул свои руки, большие, ухватистые, крепкие, крепче толстокорых дубовых ветвей.

Подхватил старицу из постели легко, и лежала она у него на руках как ребёнок. Ручки и ножки у неё и вправду были крошечные как у ребёнка. И вся она напоминала брёвнышко. Влас сморщил лицо, Вобла думала, он сейчас заплачет.

«Осподи! Осподи! Твоя святая воля! Дык вить енто... жа... как наша Радушка... как Радушка наша убитая... ох...»

И бормотал, держа старицу на руках: «Воскресла... воскресла... ах ты Осподи, ну дык правда што воскресла...»

«Посади меня на диванчик»,—попросила блаженная.

Влас оглянулся. Ближе к раскалённой буржуйке стоял жалкий диванчик; он был настолько мал, что казался пуфиком. Влас поднёс старицу к дивану и усадил; по дивану были разбросаны подушки-думки, величиной с городецкий пряник. Старица довольно вздохнула. Вобла не могла отвести глаз от её безглазого личика, оно улыбалось непрерывно; от маленьких, как рыбки плавники, ручек.

«А вы ведь ко мне не попросту пришли. В такую даль! В Москву военную—с Волги! С гор Жигулей! Да догадываюсь, зачем притекли. Хотите вы оба ребёночка. Чтобы дитё у вас народилось. Да не рождается. Война кругом! А вы дитё задували.—Она смолкла, ясная её улыбка освещала склонённый покорно лоб Воблы и её сивые волосы, заплетённые в косы корзиночкой ещё на пароходе, печальные глаза и бессильные руки Власа, смиренно повисшие вдоль его крупного, ещё могучего тела.—А ты, ты подожди!»

Старица подняла слепое весёлое лицо к Вла-су. Он подошёл—и, сам от себя того не ожидая, упал перед старицей на колени. Она подняла руку, ощупала воздух, нащупала Власовы волосы и лоб и положила руку ему на темя.

«Ах ты, ах ты... У тебя уж детки есть. Взрослые детки. Страдают за грехи твои! Одна в тюрьме... и другой тоже. Сынка отправят на фронт! В штрафной батальон! Да ты не сетуй, жив останется! Только покалечится сильно! Но это не беда! Работать сможет! По дочке поплачь... в темнице она... А у тебя была ещё одна дочка... ещё...—Старица прижала маленькие ладошки к лицу, и под её руками спряталось, укрылось целиком её маленькое ребячье, незрячее личико.—Ещё одна была! Да—сгинула! Безвременно! Безвинно... Невинно убиенная... И она, она... была...»

Слепая будто всей кожей, непрерывно шевелящимися пальцами всматривалась во тьму времени, разывая её внутренним светом. Сырой воздух вокруг слепой нагрелся. От неё исходил жар. Можно было греть руки, не хуже, чем возле буржуйки. Вобла огляделась украдкой. Глаза привыкли к полумраку. Дождь всё шелестел, но уже не такой сильный. Вобла узрела: лампадка красной ягодой мерцает, на стене стариннейший киот, иконы все чёрные, чернее земли, только нимбы святых страшным, Судным золотом светятся.

«Она как и я же! Видела всё, знала. Ходить не могла—ножек у девчоночки не было! Ручек тоже не было! А глазки были. И не глазками она видала. А как и я, сердцем! Ох, хорошая эта дочка у тебя была, светлая! Светлое облако! И облаком небесным стала, сейчас она рядом с архистратигом Михаилом, в соборе сил бесплотных... вижу, вон летит...—Старица закинула слепое счастливое лицо.—Летит, серафимчиком стала, и крылышки у ней! Не плачьте, не тоскуйте по ней! Кого Господь рано забирает—значит, того особо полюбил, к Себе приблизил! А мы, люди неразумные... нам бы лишь бы—с нами... поближе к нам, чтобы под боком, под бочком... жалею для Господа души живые...»

Влас стоял на коленях, слабая ручонка, куриная лапка слепой покойно лежала у него на серебре волос, он дрожал и шёпотом молился. Вобла стояла навтыжку, как на пионерской линейке юные пионеры стоят. Голос старицы лился тепло и ласково, она тихонько поглаживала Власа по голове. Слезы сами полились у него из-под набрякших век. Вобла глядела и дивилась, как же мала крохотная ручонка старицы.

«А ты что стоишь и думку гоняешь, молодая жена? Ты тоже помолись, ведь вот муж твой молится. Будете молиться, ребёночек родится. И никогда плохо не думайте о людях. Ни о каких! Даже о врагах. Их пожалеть надо. Христос сказал: молитесь за врагов ваших. С молитвой в бой идите!

Делайте, что нужно делать, но никогда никого не осуждайте! Господь сказал: не судите, да не судимы будете! Как же это верно, хорошо! Мы все, люди, малые овечки. Бегаем... блеем... с нас шёрстку стригут... И бывает, не стригаль к нам приходит, а мясник, на мясо нас зарезать... И вот мы плачем-заливаемся: как же это, нас сейчас убьют! Казнят! И подвесят за хвостик, за ножку! Не сердитесь. Не сокрушайтесь! Сердце сокрушённо и смиренно Бог не уничтожит! Так в псалме поётся, у царя Давида! Помните: всякая овечка будет подвешена за свой хвостик! Не думайте о другой овце. Думайте—о себе! О своих грехах, как их изжить! Не видьте соломины в чужом глазу! Лучше в своём—бревно обнаружьте! Ах, Боже мой Господи...»

Перекрестилась.

«Чаще лобик свой крестите! Крестного знамения не чурайтесь! Не стыдитесь! Все нынче кричат: Бога нет! Бога нет, нет! Но кончатся, умрут эти крики. Века нынешнего не пройдёт—умрут! Церкви рушат, а потом наново строить начнут. И вы молитесь. Слышите! Молитесь! Дай мне, Влас, бутылочку махонькую, вон стоит, на подоконнике!»

Он вздрогнул: старица назвала его по имени. Поднялся с колен, качаясь. Подал слепой бутылочку, о которой просила. Слепая ловко выдернула пробку, и не успели Влас и Вобла опомниться, как старица плеснула из бутылки воды в ладошку и щедро брызнула на них. Им в лица, в глаза и рты, на руки, на грудь.

«В рот попалоси!»—крикнул Влас и судорожно проглотил воду.

Вобла стояла по стойке «смирно», по её волосам, лбу, щекам и груди ползли капли, впитывались в ситец платья. Она медленно вытерла ладонями лицо. Ей казалось, вода пахнет ладаном. Или чем-то ещё, нежным, печальным, душистым. Мёдом ли, цветком. Слепая глубоко, прерывисто вздохнула. Вечная улыбка освещала её детское личико и всё вокруг: полутёмную комнату, сундук, крест-накрест полосками жести обитый, подоконник с банками и бутылками, гудящую, сыплющую искрами и мелким треском буржуйку, кровать со скомканным бельём, грудку тряпок на полу, и только сейчас заметила Вобла—иконы по фанерным стенам, множество икон; они слабо вспыхивали и опять гасли, растворяясь во мгле, будто появлялись по мановенью святой руки и снова исчезали в мир горний, откуда явились, а потом радостно загорались во тьме опять, и внимательными огромными глазами, всей киноварью и тёмным старым золотом, всей намоленной, искусно расписанной поверхностью, за которой пряталось высокое и широкое небо, глядели на трёх людей.

«Ну что?! Ах, милые, милые... люди... Всяк по-своему страдает. И радуется по-своему. Честно надо жить! Честно! А у нас многие как живут? Кусок урвал, у ближнего украл—и рад... Вот война.

Останетесь живы! Не подстрелят вас, не запытают! Всяк по-своему мучеником становится на земле. А бывает, и святым. Враг подступает всё ближе. Дыхание врага слышу! И что я вам скажу, миленькие мои? Молитесь! Без молитвы — никуда. Внезапно умереть можно, если без молитвы жить. Знаете что? На левом плече у нас враг сидит, а на правом — ангел! И у каждого в руках книга. Враг записывает в свою книгу все наши злые дела, ангел же в свою пишет — все дела добрые. А мы их не чуем, не видим — не слышим, и врага, и ангела! А надо бы! Но лишь через молитву увидите добро. Через крест! Креститесь чаще! Не бойтесь! — Слепая говорила и уже задыхалась; ловила ртом воздух. — Ваша пионерия, комсомолия... партия, красное знамя... приказы вождя... Всё это, запомните, земное. Всё прейдёт! И ни капли, ни соринки не останется! Земля всё поглотит. Все приказы, бумаги... все смертные приговоры... А вы — креститесь! Крест — он вас на замок заперёт, никто на вас не посягнёт, вас не изничтожит. Солдаты многие сейчас, особенно перед боем, вдруг уверуют в Бога и с этой верой в сердце — на смерть идут! И еду крестите. Чтобы на пользу, на здоровье вам шла. И про ребёночка если думаете, спать друг с другом ложитесь — и перед вашей ночью, перед любовью креститесь! Силою Честного и Животворящего Креста спасайтесь и защищайтесь!»

Уже так задыхалась, будто тонула, и надо её было вытащить из мощного неумолимого потока. Но всё так же ясно, нежно и весело, во весь рот, улыбалась.

Вобла поняла, и пот её окатил мгновенно: это так слепая улыбалась Богу. Она видела Его всё время.

«А ты, а ты... — Слепая медленно обернула светлое солнечное личико к Вобле. — В грехе-то... покайся...»

Влас стоял, разведя руки.

«Осподи! Твоя святая воля! В каком таком ищо грехе? Она ж, моя Воблёрка, чиста како стёклушко! Чище алмаза царскова! Овца она невинна! — На Воблу уставился. — Какой такой грешок за тобой, Воблёрка! Признавайся!»

Тут Вобла заговорила. Дрожала зверем. Красная стояла, будто всю её нарочно, на смех, завернули в красное знамя. Она сама не помнила, не осознавала, какие слова вытаскивал рот, но говорить именно их и надо было. Бедная. Немошная. Старая. Слепая. Себя не может обиходить. Сутками напролёт лежит тут, в промокшем насквозь фанерном домике в старом парке. Её — спасти! Вот оно всё покаяние!

«Матушка Матронушка... давайте мы вас к нам заберём! В Жигули. На воздух! На волю! Село наше Караваево. Красота у нас там! Волга рядом, за крутояром. Сады, много слив и яблок поспевают! Всегда при фруктах будете! Муж мой работает ещё,

зарабатывает... он совсем не старый, нет... — Она не глядела на Власа: ей казалось, погляди она на него, и слепая никуда ехать не согласится. — А вы... тут погибнете, одна-то! Кто к вам ходит, помогать? Лежите тут... мёрзнете... простыни сырые, одеяла холодные... пальто вместо одеял... А у нас изба тёплая! Печку натоплю... я блины умею печь! — Вобла не знала, что ещё сказать, как упросить. — Поехали с нами! К нам! Мы вас... на пароходе доведём! И билет купим! Правда, Влас Игнатьич, купим? У нас денежки лишние есть?»

Вот тут оглянулась. Слова кончились. И надо было ждать: или согласия, или лёгкого чистого, слепого смеха, усмешки, молчаливой улыбки.

Влас кивнул, тяжёлая его, серебряная голова качнулась вниз и так замерла. Он боялся поднять глаза.

Блаженная положила свои маленькие ручки себе на колени. Колени поднимались под выцветшим зелёным платьем двумя холмиками. Эти ножки не могли ходить. А душа эта вольно, свободно летала по свету, по небу, видела оттуда все души всех людей, и живых и мёртвых, и знала их пути, и предостерегала от напастей, и тихо плакала по непоправимому. Душа эта была такая живая, что странно было — неужели старица когда-нибудь умрёт, уйдёт в мир иной, как уходят все люди? У Воблы возникло твёрдое, твёрже металла и алмаза, чувство её неоспоримой вечности. Да, мы все уйдём, а старица будет жить вечно, сказала Вобла себе, и лёгкий, быстрым жаром, восторженный страх объял её, все волоски на теле дыбом поднялись: а где? На земле? На небе? Нет, нет, она не умрёт, беззвучно шептала Вобла, ты не умрёшь, никогда, никогда...

Слепая тяжело и долго, длинно вздохнула. И не выдыхала, будто последний в жизни воздух вдохнула жадно, а он разлился по её убогой плоти живою, серебряной водой, поздним благословеньем, и полутьма зазвенела, запылала еле видным сиянием вокруг её детского тельца в горою наваленных подушонках, вышитых крестиком, гладью, золотой тонкой ниткой.

«Бог не велит мне ехать с вами. Милые вы, роденькие. Хорошие вы. Но нет, не велит. Чтобы вы потом об том не пожалели».

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Я накануне забеременела. Это очень особенное состояние. Я ни когда таково неизпытывала. Это какбудто за плечами у тебя крылья а живот у тебя такой тяжёлый как целая земля. И хочется не подвижно сидеть и всё. И наживот свой глядеть. А тебе надо вставать и дела делать. И ты огромная земля тяжёлая такая встаёшь и катишься какбудто и правда во крук солнца. Влас Игнатьевич говорит что земля стоит на трёх китах. Но всё это скаски. Хромой председатель читал нам

лекцию вклубе по астрологии. Земля наша катится в космосе просто вбездне. И безне этой нет конца краю. Я ни сколько небоую рожать. Если даже я вродях помру ребёночек останетса ево выкормят. Сечас добрые люди. Вот Душка выкормит.

(ночная дума Власа Ковылина)

Он думал.

Сидел ночью со свечой.

Свеча медленно оплывала в пустой, давно выеденной до гладкости консервной банке.

Он прочитал на боку банки надпись: «*Жерех в томатном соусе. Главкаспрыбпром. Астрахань*».

Печка остывала. Осенний ветер тихо, побитой собакой, выл за окном.

Он думал: ветер, собака, оплакивает кого-то, кто умер. В соседней ли избе, за Волгой ли, на том краю света белого.

Тихонько дрожал, но тёплый тулуп зимний на плечи не накидывал. Как прирос к стулу. Шелохнуться не мог. Думал.

Это была особая ночь. Он это чувствовал каждым куском чёрствого тела.

Может быть, даже ночь единственная. И таких ночей больше не будет.

Мысли горой высились перед ним, они приходили сразу все, и надо было в них разобраться, выживать их тонкими серебряными нитями по одной, отчаянно бьющейся, скользкой и блескучей, из горько мыслящего сердца, но руки не могли расплести эту рыбацью паутину, и башка не могла. Он думал не головою, а тем, что билось и выло внутри.

Всем собой — думал.

С ним такое было впервые.

Он думал, как говорил с Богом; да, так с самим Богом и говорят.

Редко это у человека бывает. Люди жизнь проживают, а такого не сподобятся.

Мощным и тяжёлым, стальным колесом катились мысли, лёгким деревянным колесом катилось сердце, сначала он хотел поймать это колесо сердца крепкой рукой за обод, схватить и остановить, — а потом понял: надо, чтобы катилось.

Думал: надо всё запомнить.

А мысли клубились облаками, текли мощным стрежнем тёмной ночной реки, он заглядывал в реку с обрыва и видел: в ней вместо воды течёт кровь, — отшатывался, ловил руками воздух, ловил воздух губами, и стены избы размыкались, яснее становился вой холодного ветра, мёрзло лицо, ветер в него ударял, и сам отшатывался от его страшного лица, а Влас старался ветру улыбнуться, хоть ему и не до смеха было.

Изда исчезла, тихо, бездвижно спящая брюхатая Вобла исчезла, клубящимся ночным огнём сошедшего с ума неба обжигало ему лоб и руки, он поднял над головой обе руки и сжал кулаки.

Он думал: с кем тута борощца? выходи! Ещё не вся была выпита временем сила его.

Но пустынна и страшна, без единого зверя и человека, без петушьего крика, расстилалась перед ним военная осень, и он думал: Господи, чем брюхата земля? скажи мне! открой!

Молчало и клубилось огненное небо. Свеча горела у груди, а кто ему её у сердца держал?

Он думал, и волосы дыбом вставали от восторга: спасибо, Аньгел мой Хранитель, енто жа ты мене свечку держиши.

Он думал: напали, ироды, влась поктали. Человек слаб, он то и дело крадётся. Одно дело, когды сосед у соседа лемех утащить. А когды — царя твоёва с трона стащут? Игде неведомо, там, в чужех больших городах, на замок запрут, а потом придуть и застрелять? Царя стрелили, взялиси за хрестьян. У нас Расея вся хрестьянска. Городишек помене гораздо, нежли просторов земли. Мы страна земельна, хрестьянин без земли помираить. А што? Вот сперва ироды взяли влась в городах, посла в городишках, посла в уездах, а посла и на сёлы накинудили.

Он думал: Аринушку мою прикончили, а видали вить, што баба с детьми, и детей не пощадили. Саньку убивали, да не убили. Иё убивать зачали медленно, там, в ихих загонах, за решётками репейнами. И што? Вот явиласи она в село, то ли сбёгла, то ли пощадили. Всё едино кончена. Уж лучше умерети. Да разве ж этак можно о дочери думати родной!

Он думал: прискакивали к нам на конях люди. Да разве енто люди? Иноземными именами всех кликали. И им нас шлёпнути было — всё равно што курицу. Пса близ конуры. Летучи отряды прилетали! Бабы в чёрных кожаных куртках, чортовы бабы, советы тут жа мастерили! А в советах тех хто сидел? Пьяницы все наши, нищи все. Нихто из хрестьян честных в те советы иттить не хотел. Сходку близ сельсовета устроить. Мужики все явяцца. Мрачней тучи. Кричать: нас стрельните лучше, в ваши советы не пойдёмы! И што? Господи! Ты все зриши! Стоить ента чортова баба, руку с наганом вскидаить и стрелять. Метко стрелять, стервь! Попадаить. Мужики наземь валяцца. Ково не до смерти застрелить — к тому подходить, в глаза яму глядить и сапогом на лико яму наступать, и ногой давить, штобы лико расплющити. Мужик орёт, она яму на зубы — сапогом! Кости хрустять! Господи! Я всё енто зрел. И с ума не спятил, Господи Божечка мой!

Он думал: а наши мужики-ти не промах, собралиси тогды, в осьмнадцатом, и повытаскивали, што у ково в сундуках ховалоси, всё своё оружие, и сбилиси в кучу, и на сельсовет войною попёрли. Стеклы камнями повыбили, прикладами! Дверь с петель сдёрнули, в бесов дом ворвалиси! Красны

те советы к едрене-фене перешлёпали! Все нищebroды пулю схлопотали! Бабу чортову, забыл как звали стервь, выволокли из сельсовета и по решению всех мужиков на кол посадили. Очень она орала, когда её сажали на кол. Я рядом стоял, слишком близенько, и видал, как у неё глаза на лоб от страдания вылезали. Кол врыли в землю на утёсе, близ кладбища нашева. Мужики посылали сынов глядети, как баба та, жива ли ищо. Три дни мучилася. Потом издохла. Да, вспомнул: Есфирь её кликали!

Он думал: а чем же мы, жестоки мужики, зверюги, лучше ентоу волчицы Есфири? Да ничем!

Он думал: а как мы, мужики, расправились с нашими убийцами? Ни в сказке сказать! Новый летучий отрядец прискакал. По всем избам красны расселились. В трактире нашенском с утречка до ночи гуляли и всю посудёнку перебили. Чайную лавку ограбили, коней со дворов поуводили, сабе позабрали в отряд. Всех нас согнали, Господи, к церкви на сход. Командер у их с виду добренькай, бородка курчава, стеклушки на носу, и буркалы стеклушками блестять. Влез тот командер на тачанку и держит перед нами речь. Кричить: иди в советы, хто тут у вас наисамый умнай! Ково вы боле всех уважаети! Мужики имена выкликали. Командер всем назватым командуе: выдь все сюды, к тачанке! Все вышли. Топчутси. И я топчуси со всеми, вить мене тожа выкликнули. А енти, летучи, гляжу, в кружок собрались, нас, мужиков, окружили, како волков загнанных, командер руку взметнул, бородёнку кудряву вздёрнул и вопиёт: пли! И стреляють летучи! А мы, мужики, под выстрелами — падаемы! И мене подранило, и я свалился. А бабы на площади оруть благом матом! И вдруг как кинутси на ентих! На летучих! Оне ну отстреливацца! А народ напират! Командер к тачанке рванулси, а в пулемёте ленту набок скосило! И народ нахлынул и замаял ентих людишек! Колами били, оглоблями, слеги тащили, доски из заборов повыламывали! У их, кровавых, винтовки отбирали! И в их жа, аспидов, и стрелили! Командера сцапали. Зенки яму выбили. Волокём, слепова, к козлам, игде сельчане дрова пилють. Кинули яво на козлы. Ноги-голову держим. Макарка пилу несёт. Пилу мужики взяли. Перекрестились. Распилили яво, командера тово, пополам. Живова ищо! Мужики пилють — он вопиёт! Вопиёт так, што в самой Самаре слыхати!

Он думал: а што, нешто енто не жестоко?! Жестоко. Ищо как жестоко! Страшно енто! Но, Господи Ты Боже мой, сказано ране, ищо когда мы нихто не жили на свете: што посееси, то и пожнеши!

Он думал: Господи! Ты заповедал нам всем, несмышлёным: не убий! Не укради! Не прелюбодействуй! Не лги! Не возжелай сабе добришка ближнева своо, ни коня ево, ни вола ево, ни осла ево, ничево ево не пожелай сабе! Ибо грех енто есь!

А не грех, Господи, когда из избы выволакивають на снег старика иерея и насмерть забивают ево ногами?! Сапогами коваными?! А он жа, беднай старик, в церкви учил: не убий! Выходить так, нихто ентово и слыхом не слыхивал?

Он думал: и хоронити тово иерея запретили! Приказали: пушай лежить на снегу, и вороны ево расклёвывают, и звери гложуть! Так и лежал, беднай, смердел, и собаки даже ево не грызли. Посля, в ночи, останки те сердобольны бабы сволокли в овраг.

Он думал: а зерно? У ково хлеб, у тово и влась! И вот оне, аспиды, у нас хлеб отымали. И нам давали ровно столько, сколько надоть было, штоб выжити! Так оне оказались с хлебом. А мы — без хлеба. А потом оне оказались с землёй. А мы — без земли и без скотины на ней. Хлеб в руках имети — значитца, всю землёй и владети! Так всё просто! Оне стали наш, наш хлеб нам жа и раздавати! Наш, кровнай! Што мы сеяли и жали! А таперя мы ево как милостынку у их — просили! Хлеба у человека нетути — да он жа никогда не восстанет на влась. Не пойдёт на её с топором! Ибо устрашицца он, грешнай, ищо большех, страшных мук! А яму дитёв надоть растити! И кормити! Хотя чем! Хотя горсточкою зерна, корочкою хлебной... Чуть голод утолити! Кто, когда выдумал для людёв своих, живущих на земле, таку люту казнь! А и правда, хто?!

Он думал: знаю, хто! Ленин и Сталин — вот хто!

Он думал: чорт, изыди, сатана, подслушают мои мыслишки преступны, вдругорядь в катажку посадють...

Он думал: изымали вить урожай, а мужики толковали втихара, што на елеваторах хлеба много, им кормили всех иноземцев, всех мадьяр, латышов и китайчат, и немчуру тем нашим хлебом сытно кормили, а излишки сжигали, да нам грешным, мужикам, не давали! А сдохните вы все, мужики поганы! И сдохни вся земля русска погана, вместе со своима мужиками! А ищо мужик един умнай, ево посля тожа шлёпнули, он учёнай был, в Казани училси в уверситете, шептал мене на ухо: Троцкаму сказали, што люди с голоду мрут, а Троцкай на енто отвечал: енто, мол, ищо не голодуха! вот в Библии начертано, што была велика война, и еврейски матери ели своих дитёв! Вот когда я заставлю ваших матерей есь своих ребятишек, тогда вы придите ко мене и скажите: вот, мы голодаемы! Я опосля в Библии искал енти письмена. Наврал всё товарищ Троцкай, нетути в Писании такех письмён. Но енто всё едино. Значитца, он сам сабе считал уже пророком.

Он думал: Боже Господи мой, сколько жа я покойников видал, и оне при дороге валялись! Вот иду по дороге, а по обе её стороны — мертвецы, мертвецы! А из репродукторов бодря музыка несётся, песенки щастливы: нас утро встречати

прохладой, нас песней встречайт река! Песня! Мы-то што жа, лучей жизни не хотели, што ли?! Ишо как хотели! Возмечтали об ей! А отряды грабителей шли и шли. Наплывали, как чёрны лодьи. Сёла стоном стонали. Отымали всё, што могли отнять, на телеги, на грузовики грузили. Свозили всё отнято к железнам рельсам. Вываливали у путей. А тута дожди, снега, ветра. Вся провизия наша, кровна, землёю и нами рождёна, мокнеть, гниёт, пропадайт. Што посвежей, сама охрана слопайт. Ай посылочки домой сабе смастерить. А мы, мужики, и бабы наши, и детки жрали шелуху, очистки, крапиву да лебеду. Я-то сам, даром што мужик, приучилси блины из лебеды печи. А потёплу паслён собирать. Ягоды таки чёрны, сладки. Да много их не съешь. Отрависси. Свалисси замертво. И могут не откачати.

Он думал: Господи Боже! А сколь нам послано несказуемых мучений! Стольки, наверное, и при египетской язве не бывалочи, и при гибели самого Ерусалима святова. В Сызрань свозили мужиков и баб, хто посмел што негодно сказати ай восстати против ентуй новой власти. Хто в село наше из Сызрани возвратился—на тово страшно было поглядети. Тридцать годов мужику, а глядит ровно старик древней. В Сызране площадь обставили подводами, ящиками, шкапами старыми. На балконе бывшева Дворянска собранья пулемёт поставили. На колокольне разрушенной—другой. И зачали свозити в Сызрань со всей земли поволжской, жигулёвской мужиков, стариков, баб и дитят. Вставати в полнай рост запрещено: только встанеш—табе сразу жа—хлоп! А народу полный-полна коробочка. А всё ишо да ишо везут. И сидят енти люди на той площади, како сельди в бочонке. И в нужник их не водють. Како псы, землю под собою—копай! И—закапывай! А на телегах ко площади той мучительской подвозють гнилы овощи, подцепляють их лопатою и швыряють в енту толпу. Ясно, те, хто с краю сидит, енти овощи жадно ловить. А хто подале? Што ж! те умирають. А рядышком с ими люди тожа умирають с голоду. И мертвецов тех—едят. А иные встають с земли, в рост подымающа и в рожи пулемётчики глядят: на! стрельни! не могу боле жити! Пулемётчики сперва стреляли, а посла бросили: поняли, што люди смерти жають! Однажды дети удумали убежати. Сговорились—и к краю площади просочились. И—рванули постромки! И побежали сердешны! А пулемёт их с колокольни святой—косит, косит! У матки молодой младенчик помёр. Она ево не даёт зарыть, качает, колыбельну яму поёт. А опосля ей добра баба оттудова, снаружи, варёну картошку кинула. И матка ента за картошкой-то сунуласи, а у мёртвова иё сыночка ручка отвалиласи. И вот она ручку ту с земли схватила, стала нянчити, обливати слезьми, цаловати! И стала личико мёртвенького

сынка поцалуями жаркима покрывати! И ручонку ту отпалую—к тельцу ево бедному приставляти! И молитиси, штобы приросла она!

Он думал: Господи! Божечка мой! И Ты енто видал всё! И не свята ли та матенька, што мёртвова свово робёнка на краю своея могилы на руках нянчила?! И не есь ли она, матка та разнещастна, нова Богородица испытальнова, беднова времени нашева?!

Он думал: Господи! вить енто так и есь!

Он думал: сколько жа хрестьян убито, запятыно за все енти годы! Сколько от голода помёрло! Сколько на поселенья в дальни края, в леса и в тундровицу льдяну сослано! Сколько за колючкой, в неволе сгнило! Сколько без вести сгинуло! А щас вон оно как всё обернулось, все мужики пошагали на войну. Война! Мало нам революцыи да гражданской, вот нам ишо и с вражиной лютым война. И што, мужики?! Игде жа вы, мужики?! Мужики страны великой! Расеи, за иё жа все мы всегда истово молились Табе, Господи! Нетути вас ужо, мужики! Яко дым, вы исчезли! Будто вы были не мужики, а бесы, настоящи аспиды, и вас надлежало истребити, всех, до последнява, до единова в земле вашева корешка! Ну хорошо, хорошо, перебыють нас всех, всех перестреляють, перемучають, а хто останется?

Он думал: земля наша! богата ты, земля! немелена ты! просторы твои запредельны! простираешься ты и туды, и сюды! и нетути табе конца и краю! хошь на севера ступай, хошь на юга, хошь на восход, на заход хошь—ты везде! Вездесуща! И, Боже мой Господи, по всей землице, по табе, по телу твоему широкому да богатому—тюрьмы да тюрьмы, колючки да охрана! И все мы, мужики твои, земля наша,—твои заключенны, пленники и рабы твои! А не работники на табе свободны! Хто так придумал нам?! Соловки, Архангельск, Печора, Урал-камень, Ямал, Кола метельна, Барабинска тосклива степь, Виллой и Алдан, и Югра, игде нас с баржи выгрузили прямёхонько во снег и сказали: здесь живите! а хотите, и помирайте!—и Байкал, и Енисей, и вся дале, дале идёт-бежить, мерцаеть шкурою тайги, вспыхиваить каменьями мрачными своими, велика и страшна Сибирь-матушка, и дале Тихай океян, не видал ево никогды, а догадываюси, што он, како Ты, Бог, могуч!—земля моя, я имён твоех много знаю, много их слух мой старый вобрал, всяко ты зовесси, и всякех на табе царей поцарило разных, и я видал твои, землица, иные хребты да увалы, иншие реки пред глазами моима катились,—а в табе, земля моя родна, так и лежать, навечно покоицца будуть косточки белы наших, с Волги, несчастных хрестьян... Господи! Помяни их всех во Царствии Своем за их нестерпимы, нечеловечески муки!

Он думал: а как жа дале жити? Ну вот война, а како переплыти иё? А можа, враг нас разобьёт,

и нас всех под нову тяжку пята положуть? Вот прожил я на земле множество лет. И понял, Господи, едино лишь: в жизни есь только смерть. Не пойми енто, Господи, навроде как мой несправедный гнев на Табе! Я и помыслити не могу, штоб Табе нечестивою мыслью осквернить! Но, милый Господи мой, внемли мене: смерть и смерть кругом, а мы все, грешны, всё живём да живём! Кто сумел, тот и съел! Кому повезло, тот и выжил! Так? Или не так?! Так, сказал бедняк! Вот так оне и жили! Богу молились, а шею-то не мыли! Значитца, благодарити мене Табе, што Ты мене жизнь дал? Оставил?!

Он думал, оглядываясь на кровать, где тихо спала брюхатая Вобла: мене—вот ей—оставил.

Он думал: да вить енто наш владыка, он жа тожа жалаить земле нашей добра! И великости ей—жалаить! А можа, енто лес-ти рубять, а щепки летать! Летать и летать енти щепки! Навроде воробьёв, летать! В разны сторонushки! А щепки енти—мы. Мы, Господи! Нихто кроме нас! А хто нас охранить, крылом закроет? Нихто как Бог! Да вить и он, он, што в Кремле в том одиноко сидить, восседаить, ровно сыч, ночами, и он тожа печалуецца о земле нашей огромной! И он, небось, охватываить руками-ти башку свою и думаить думу: ах, да как жа енто сделати так, штобы врага сломити, на хребёт яму наступити? Ослепити, оглушити—и в землю втоптати?! В нашу, в нашу земельку... А посла... гнати ево, гнати супостата туды, откудова явился—в ево родну землю! Пушай и он вкусить так жа, сполна, наших всех страданий! Пушай, как в зерькале, наши мученья яво земля отражаить. Пушай услыхаить, как детки в горящих избёнках вопять!

Он думал: да што, ништо, Господи, прости, не станем мы дитёв-от вражьих жечи, не станем их на вилы насаживати, а ежели хто из солдатов наших и позверствуить, так то ж закон войны на то, а не ходи к нам с ружжом да со штыком, не насылай в наши небеса чисты да светлы—чёрны свои самолёты со смертью под брюхами! А не сжигай наши сёлы, не стреляй ты наших баб и детушек! Опять, вдругорядь костями земля полницца! А кости все те—святы: мощи... Бо за землю, землицу родну герои полегли и безвинны мученики...

Он думал: а што нас в грядущем дне ждёт? вот мы тут, на клочке земном окровавленном, мечемси, молимси, бьёмси,—а што же там-от, за окоёмом, за краюшком земли? За ентим златым светом, што могучай облак ослепительнам венцом опоясываить? Што там? И—хто там? Хто над нами, грешными, будить царити там, в позднее времячко? Грозной царь? Красной государь? Во френч солдатской облачатиси будет ай в парчовы ризы? И само главно—будет он ай нет нас, как клопов ночных, давити, к нохтю прижимати? Ай напротив, обмыть, обласкаить да превыше облак вознесёт? Скажет наконец-ти: народ мой!

я люблю табе, а ты люби мене! ну хто нам мешаить любити друг друга! хто нам, грешным, в ентом препятствуить! Скажет громко, во всю глотку, на всю землицу нашу: берите землю, владейте ею! Болейте, грешны, кажною иё болью! Лелейте каждый иё росточек малай! Вот вам она вся—в свободу, в вечно пользование! Растите деток своих на ей, радуйтеси каждой малой, духмяной щепоти иё! Изо всех репродукторов тот клич понесёцца. Все—уху навестрять! И пушай, пушай у тово владыки слово с делом не расходицца! И коли так—вот игде наступит царство хрестьян! Царство наше, родно государство! Што, мечта несбыточна?! А хто ево знаить, будущего владыку нашево! Можа, надоест яму зрети, как кровушка с нас всё льёцца и льёцца... всё льёцца и льёцца... всё льёцца... всё...

Он думал: енто жа целай праздник на всю землю и все небеса возгремять! А ежели не так оно всё станеть? Ежели—ищо хуже? Да хуже, чем нонче, не моёт уж и быти. Сединой сторонushки колючка, с другой поселенья, с третьёвой трудодни, с читьвёртай война—а пятай аныгел когды вострубить? И хлынет тогда льдяна вода на града и сёлы! и все мы потопнем! Допреж Страшнова Суда—потопнем... ох, не жалаю тово сабе, дитяткам своим, ближним своим и дальным...

Он думал: како бы жити на земле так, штобы не мучитси? Радостью и за-ради радости—жити? Радуга, восстани над пашнею! И мы по табе, радуга, в Царство Господа нашево—все, гурьбою, перейдемы! Так близенько оно! Вон, над полем, за тучею! И всево-то надоть подныцца в небушко, всё вверх и вверх иттить, по выгибу ясной радуги...

Он думал: радуга, Господи, Твоя... бессмертна... и бессмертен Ты, Господи, над нами грешными в небеси... спаси нас сохрани... всех сохрани, и живых и мёртвых... и тех, хто ищо народицца... благоволити... беду отведи... Отец наш... и Ты, Матушка, Заступница... заступиси... обими... поцалуй... поцалуй сердцем Твоём всеобъемлющем нас грешных... а мы Твое сердце, родненька... тысячью златых поцалуев мысленно покроемы... слезьми обольёмы... кровию своею омоемы... молитиси будем сердцу Твоёмую самую горячею молитвою... штобы нам всем, людишкам грешным, што отвалились от Табе, оторвались да и лежать, мёртвеньки, в грязи да в пыли, опять, снову прирасти к сердцу Твоёмую плотно-наплотно... только не отвращай лице Своё, светло и солнечно сияюще, от нас грешных... только, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим, не отверниси...

(роды Воблы и кончина Власа)

Лёгкая дымка окутала вспаханное поле. Над чернотой поднимались белые завихренья тонкого пара. Сквозь дрожащую линзу марева земля казалась чуть выгнутой, окрестные деревья—восковыми

и железными, а потом на глазах текли в небо жидким, прозрачным сотовым мёдом. Первая пушистая зелень, покрывшая робкую дрожь веток, под дуновением тёплого земляного дыма перелилась в густую синеву, потом стала серебряной, показала испод листьев; клейкость тополиных лопнувших почек тоже обратилась в майский мёд, и небо черпало его синей стальной, нержавеющей ложкой и жадно глотало. Перемешивались небо и земля, а потом разделялись. Тихие реки струились с гор, извивались светящимися змеями, их шкурка вспыхивала россыпью солнечных узоров. Над вершинами Жигулей мощно и печально ходили облака; в них превращался лёгкий парок, исходящий от чёрной земной груди. Земля выпячивала живот, и внутри неё копошились, желая родиться вновь, люди, звери, птицы и растения.

Нежные реки сплетались, они еле слышно бормотали старые песни. Речной говор доносился до щёк и ушей Воблы. Она легла на бок на тёплую пашню и тихо сказала Власу:

— Идти не могу.

Влас лежал рядом. Смотрел в небо.

Небо, подобно рекам, извивалось, текло и журчало песню. Оно отражало реки и землю огромным, как живот, выгнутым зеркалом. Небо выпячивало свой набухший облаками живот навстречу земле, оба, брюхатые, радовались приплоду.

В могучем зеркале неба тихо отражалась земля, она шелестела, перебирала зелёными липкими пальцами тополиных, ольховых ветвей, она качалась, вспоминая о любви и предчувствуя колыбель. Горы то плавно, мягко обнимали лесистыми мохнатыми руками ветреные облака, то вдруг вздымались уступами, утёсами, прокалывая тончайший облачный ажур, уходили в заоблачные плёсы, внезапно рушились и осыпались, превращаясь в скорбные руины. Там тоже шла своя, небесная война. Зрачок досягал до неё, а душа отворачивалась и приказывала глазам: не гляди на светопреставленье; если можешь, отвернись. А потом из мрачных недр поднимались навстречу солнцу новые увалы и хребты. Земля шла морщинами, и, старая, она опять хотела любви и ласки.

Нежная дымка обнимала зелень и пашню. Вобла прильнула к лицу свои руки. Они дрожали, она еле видела их сквозь дымку. Ей было очень больно, но она стыдилась кричать.

Реки текли, закручивались в весёлые синие, серебряные кольца. Реки, трава и горы обнимали её. Далёкая Волга мерно и мощно гудела. Река шла вдаль, как паровоз. Река ещё не была красна от крови, ещё враг до неё не дошёл, и родимый солдат с врагом ещё битву не принял. Серебряной лентой река тихо обвязала, как больничным бинтом, восставший к небу бешено и круто громадный живот тощей Воблы.

— Влас Игнатьич... Вла-а-а-ас!..

Не хотела кричать, а кричала. И не она это делала; за неё это делала земля, и сначала Вобла лежала на ней спокойно, крепко подтягивая колени к животу, а потом легла на спину и беспокойно задвигалась — то сдвигала ноги, то раздвигала, не знала, как ей будет лучше. Живот вспучивался и опадал. Опять вырастал и нависал над землёй. Ребёнок хотел родиться в жизнь, на свет, и не мог. Он тоже не знал, как это бывает. И ему, в ней, в матери, казалось, что он умирает.

А Влас мирно лежал на спине и смотрел в небо. Он понимал: он сейчас родится.

В смерть родится. Во тьму.

— Власушко-о-о-о!

Оба лежали в легчайшей, чуть синеватой дымке. Дымка переливалась лиловым и туманно-серым перламутром. Сквозь неё было видно увеличенный до размеров стрекозы, налитый мукой скошенный глаз Воблы; её потный лоб величиною с прошлогоднюю тыкву. Дымка искажала и укрупняла всё, делала его крупным, мощным — великим. А может, смешным. И стыдным, и бесстыдным. Величины смешались. Пространство колыхалось лёгким пологом из башкирского тюля. Влас подумал: у Зёмки в избе такой был, она занавешивала им кровать Рады.

Время тоже колыхалось; оно текло многими реками, они медленно сливались в одну, и Влас припоминал, как её звали, Волгою или как-нибудь ещё.

Он чувал всю землю спиной. Его рёбра в землю врастали. Сквозь него прорастали первые нежные травы. Прокалывали его плоть, и он испытывал боль. Благословлял эту боль. Земля была чёрной болью, и он любил эту боль. Понимал: он сейчас войдёт внутрь боли, и боль насовсем станет радостью.

Земля медленно ворочалась под ним раздавленной любовной тяжестью бабой. Стонала. Тихо выла далекой волчицей, ведь померли щенки. Потом чернота сгустилась и вспыхнула. Земля под ним, смиренно лежащим, воссияла. Она стала пылающей, горячей и жестоко обожгла сначала изношенное тело Власа, потом его сильную, молодую душу.

Ветер налетел и чуть приподнял их обоих над землёй. Теперь они лежали в воздухе, будто лодками плыли, и подол платья Воблы свешивался вниз, и Власу она, висющая в небесах в цветастом платье, напомнила ту жалкую цветастую ширму, по обе стороны которой, как на двух берегах ледяной таёжной реки, спали они в томском бараке.

Он хотел окликнуть её: «Вобла!» — а вместо этого вышптал:

— Волга!

Она судорожно поднимала, вздёргивала над животом платье, ногтями рвала его вверх, к груди, обнажая живот. Луч солнца ударил ей в живот и рассыпался на мелкие осколки. Это разбилось

небесное зеркало. Смотреться стало не во что. Теперь она смотрела в себя, в свою боль, и видела только себя.

И видела—во тьме—лицо того, кто радостно плавал в её водах, речных и молочных.

То кричала, то замолкала. Небо и земля слушали её и молчали. Им нечего было сказать ей. Ребёнок силился выйти наружу. Вобла думала краем мысли: только бы не обмотался пуповиной и не задохнулся. Она вспомнила, бабы рассказывали об этом.

А Влас лежал рядом и смотрел в небо.

Он из последних сил протянул по сырой земле руку, нашёл её руку и сжал.

Так он молча ободрял её и благословлял. И говорил ей о любви.

Под пристальным, синим взором Власа зеркало неба срослось, воедино слепило осколки.

Небо смотрело сверху и видело: лежат на поле, парят над полем два человека. Старик и женщина с видом девчонки. Из одного выходит душа; из другой новое тело. Тело есть плотное, а есть прозрачное. В зеркале неба отражались сразу все тела: старое, молодое и то, которого ещё не было, и то, что медленно уходило в зелень, синеву и тёплое серебро.

Зеркало неба накренилось, обе лежащие фигуры покатились вбок и вниз, дрожало зеркало и вспыхивало, его вертели гигантские руки, забавляясь, вот-вот выкатится из рук, опять разобьётся, а потом осколки заграбастает ветер в незримую длань, воздымет, сожмёт,—склеит. За разрушеньем идёт волна рожденья. Так дышит земля. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох...

Вобла, бешено косясь на свой голый высокий живот, раздвинула ноги, натужилась и вытолкнула из чёрных, кровавых недр младенца на солнечную землю.

Ребёнок вдохнул ветер и завизжал.

Он визжал как поросёнок, а потом тонко, слёзно вздыхая, заплакал, жалуясь:

— Ах-я! Ах-я! Я-а-а-а!

Пуповина вилась по земле алым, синим ручьём. От ближних тополей бежали бабы, всплескивая большими грубыми руками. Рукава их рубах были закатаны выше локтей. Они бежали в сапогах, увязая в земле, а кто сердито скинул сапоги и бежал по свежей пашне босиком.

— Бабы-и-и-и-и! Кто-нибудь! Обратно дуйте в село!

Бежали так на Воблины крики, что одна баба даже упала и на земле растянута,—перепачкалась, материлась.

— Вызывайте фершала Пупынина! На телеге пушай катит!

Только пятки засверкали, бабёнка обратно полетела. Сапоги, велики, слетали. Сбросила и босиком по пашне понеслась, сапоги—под мышкой.

Время растекалось синими извилистыми реками и протоками, над их излуками всё висела,

мерцала сизая, нежнейшая дымка. Лица баб, склонённых над ней, Вобла видела в дымке. Синий, серебряный дым окутывал и лицо Власа. Оно тихо становилось ликом. Бабы трясли Власа за плечи: эй, Игнатъич, плохо тебе, миленький?! скажи что-нибудь, ну скажи!

— Бабы,—вытерла пот со лба Душка,—да не трясите вы его, отходить он...

Лошадь стала возле пашенной кромки. Из телеги вылез фельдшер Пупынин, ковыляя, неся чемоданчик фельдшерский в руках. Чемоданчик прямо на землю поставил, раскрыл. Обрезал пуповину, перевязал бинтом, обработал йодом и спиртом. Всё делал серьёзно и не спеша, будто суп варил, а бабы страшно гомонили вокруг, суетливо подкладывали под Воблу руки, гладили её по разившимся волосам. В волосы, тоньше первых тополиных листьев, набилась земля.

— Товарищ фершал, а ентово поглянь-ко! Игнатъича! Чево развалился!

— Умират он, Лидка, чево, а всё тово...

— А младенчика-ти чево, вить обмыти надоть! Тута—ручей поблизости...

— Ручей! Ручей, да ничей... чай, холодна вода-ти в ём...

Фельдшер Пупынин сложил инструменты в чемоданчик, застегнул его на стальную застёжку, строго обсмотрел всех баб и хрипло, твёрдо сказал: — Обмывать ребёнка будем дома. Домой сейчас поедем. Домой.

Жестом скомандовал бабам: подымай родильницу! Бабы подняли Воблу, понесли. Ребёнок лежал на руках Душки, постанывал.

— Обмотай,—сухими на ветру губами прохрипел фельдшер Пупынин,—обмотай хоть юбкой своей, что ли.

Душка, ничуть не стыдясь, одной рукой придерживая у груди младенца, другой стащила с себя юбку на резинке и завернула в неё дитя. Так, в пёстрой первой пелёнке, и лежал на бабьих руках.

Дошли до телеги. Воблу уже посадили. Она сидела на сене, покрытом рогожей. На руки ей Душка осторожно положила младенца.

— Дочка?—тихо спросила Вобла.

— Сынок,—ответила Душка.

Вобла сидела с ребёнком на руках в набитой соломой телеге, и со всех сторон чёрного поля, со всех четырёх сторон земли, окутанной нежной сияющей дымкой, шли к ней звери и птицы. Вышагивали по комьям пашни вороны и грачи. Летели, порхали в легчайшем воздухе жаворонки. Воробьи садились ей на плечи. Бабы сгрудились вокруг, иная села на землю, заворожённо глядя в лицо Воблы, полное солнца и счастья. Самоцветные понёвы ярко вспыхивали под солнцем. Серые застиранные юбки, нищенские кофты мерцали старым серебром, бабкиным, из буфета, мельхио-ром. Лица баб над родимыми тряпками всходили

лунами и солнцами, круглились планетами, укатывались за горизонт и снова катились сюда, к тому месту на земле, где появился новый её житель. Долго ли проживёт, коротко ли? Шли по полю кошки и собаки, волокся позади них отошальный медвежонок, сирота, у него убили мать, а он тоненько поскуливал наподобие забитого щенка и шёл, шёл к людям, авось не убьют, а накормят. Скакали из Ушковского пруда говорливые, с раздутыми зобами лягушки, пели родильнице смешную залиvistую песню. Черви ползли, вырытые из чёрного покоя острым и жестоким плугом; реки, завиваясь шёлковыми лентами, текли и вpletались в тёмные земляные косы, и рыба шла в них против течения, навстречу рождённому, чтобы ему поклониться. Рыбы высовывали морды из воды и, вроде тонущих людей, хватали ртами воздух, но сказать ничего не могли голубыми, белыми мягкими губами, только блеском чешуи выказывали торжество, только мощно плескали флагами хвостов. Водоросли кивали, гнулись и перевивались под синюю светлой водой. И воздух колыхался водой; под толщей воздушной воды водорослями медленно и важно качались под ветром деревья, трепетала трава, она тоже кланялась счастью. Всё рождалось, и всё пело, и всё плакало — оттого, что милую землю всякому, на ней рождённому, когда-то придётся покинуть. Навек? Или на время? Фельдшер Пупынин стоял около телеги. Глазами гладил юную мать по плечу, по залитому слезами лицу и губам, что, искусанные в кровь, ясно улыбались. А внизу, у их ног, лежал старик Влас Ковылин. Он видел своего рождённого сына теперь глазами живого неба.

И всё живое, подползая, подходя неспешно, подлетая торопливо к царской, с золотой соломой, телеге, замолкало, замирало: поклонялось, молилось.

Фельдшер Пупынин шагнул ко Власу и наклонился над ним.

— Игнатич, — голос фельдшера звучал смущённо, — ты потерпи, товарищ...

Молча, жестом скомандовал. Бабы, как в армии, быстро, под пенье птиц, ржанье лошади и лёгкий посвист ветра, погрузили недвижимого Власа в телегу. Положили на солому рядом с Воблой.

И тут Влас моргнул. Вобла поняла, что он её ещё видит.

Из его небесных глаз по вискам, в руслах морщин, катились быстрые слёзы.

— Молюси, душечка... за тебе... за сыночка нашего... Всех прощаю, слышь... всех, кто мене горе како причинил... Все вить умрут... за Родину надоть... умерети... правду калякала тогда Матронушка... с молитвою в бой идить... но никогда, никогда никога... не осуждайта...

Фельдшер Пупынин сел на облучок, вскричал: н-но-о-о! — и дёрнул вожжами, кобыла слабо,

шатко пошла вперёд, ноги её по самые бабки вязли в мягкости пашни. Бабы медленно шли за телегой. Вобла сидела в соломе, на рогожке, прижимая к себе ребёнка, запелёнутого в цветастую Душкину юбку. По пути домой телега с Воблой и младенцем и бездвижно лежащим Власом обрастала народом. Обступали её старики молчаливые, что остались в живых после голодной зимы; дети, они хватались малыми лапками, как зверьки, за края телеги; новые бабы и девки подходили, подбегали, у иных на устах гасли новости из столицы, о том, какой город отбили у немцев наши, а какое село оставили врагу на разграбление и смерть; подходили калеки-мужики, ведя коней в поводу, тощих, ребрастых, жалких; подходили подростки, на руках таща сурков и белых крысок из школьного живого уголка, и отчего-то на руках светлой девочки в веснушках сидел синегрудый павлин с оборванным хвостом, может, его привезли из городского голодного зоосада на спасенье в село; и горностаев несли дети, и банки с крохотными рыбками, рыбки умирали в голодных аквариумах, но всё равно, из последних силёнок, упрямо размножались, это был их долг и их домашнее задание; и вокруг таяла в дымке счастливая весенняя земля, вздуваясь отрогами и вершинами, синяя последними снегами в лощинах, ослепительно вспыхивая излучами нежных рек и мохнатыми небесными подснежниками, бредовой сон-травой, что густо устилала луга, восставшие от зимней смерти; людей обступала земля и вроде как не земля, они шли за медленно катящейся святой телегой и не узнавали землю в лицо, она была совсем другой, иной, странной и целиком, навеки забытой, она восставала из мрака и сияла так нестерпимо, что люди жмурились и ахали, и им в удивлённые рты влетал душистый ветер и дальний пожарный дым, крики убиваемых и вопли новорождённых.

А вокруг! — сыпалась с ольхи золотая пыльца, раздвигалась грязь под сапогами, обнажая первобытную чистоту, и исчезал первородный грех, уступая навеки место первородной святости и первой, самой честной и чистой благодати. Первозданная ты земля! Ты же не земля вовсе, ты Райский Сад. В саду том охватит тебя небесное, высочайшее счастье. Катись, телега! А мы за тебя, родная, хоть поддержимся, за твои деревянные, нищие края. Ты катишь по Раю! Светлый он какой! И всё в дымке нежной, чуть синеватой. Всё — зеркалами играет! А в зеркалах — время: можем себя в рост увидеть, и своё настоящее, и всехное будущее, не страшись его, оно ведь всё равно придёт, хочешь не хочешь. Рай! Ты и есть земля. А как это мы раньше не понимали! А вот теперь, в войну, только и поняли! Какие звёзды над тобой! Красные? Алмазные? Мы про них забыли. Мы помираем с голоду, проклиная врага, видим только смерть впереди. А ты, Рай, ты-то, оказывается,

рядом с нами! Мы—в тебе живём! В Раю Божьем! И не сознаём того! Кто залепил нам глаза?! Кто нам уши—калёным железом проткнул?! Чтобы не видели, не слышали. Кто дико, во всё горло, смеётся над нами: нет, люди вы глупые, вашего Рая и не будет никогда! А он—есть! Есть! Вот же он! Мы идём по нему и живём в нём! Рай—это и есть Родина. Она! Можно жить в чужой земле. Можно Родину покинуть и издалёка, из-за морей и океанов, молиться за неё. А можно смеяться над ней, глумиться над ней. Ненавидеть её! Мыслью топтать и терзать тех, кто в ней живёт, кто в ней остался жить, страдать, любить её и бороться за неё! И возделывать её землю! И это мы, мы остались в Раю! Мы живём в Раю! И только лишь потому, что мы живём в Раю, вы, никакие враги, нас не победите. Пусть иные земли нашего Рая обнесены колючей проволокой! Рай, он в лицо должен был увидеть Ад, и он увидел его. Настанет время, мы разорвём колючую долгую нить. И скинем с трона тех врагов, что всецело владеют нами. Пусть вы, враги, смеётесь над тем, что неграмотны и неучёны мы! Зато наши крестьяне молча, не похваляясь, не крича об этом на весь мир, спасают, века напролёт, и человека, и корову, и собаку, и надел ближней земли, засевая зерно в неё и пожиная спелую рожь и пшеницу. Мы кормим вас! А вы плюете нам в лицо. Ну, плюйте, плюйте! Вы плюёте вашей земле в лицо. Кормильцам своим—в сердце—плюете! Вы наводите винтовки, и звучит приказ: пли! Целься в мать! Убивай мать! Крови вытечет—без берегов. Прямо в живой зрачок ей целься, бесстыжий злыдень! Мать упадёт на землю. И родная земля её примет. И воскреснет она, мать наша, всеобщая мать, земля наша, потому что она и есть Бог. Она и есть наш Рай. Наша жизнь. Живи!

Не умирай!

И так собрался вокруг Воблы с ребёнком на руках, вокруг телеги с золотой соломой и голодной кобылы, вокруг Власа умирающего—весь мир; собралась и глядела на них, поклоняясь им, вся их жизнь, и верхняя, где звёзды и Рай, и их собственная, где земля под ногами и ветер в волосах, и нижняя, та, где в глубочайшей тьме хоронятся гробы, камни и корни; все три жизни образовали вокруг них праздничный и бесконечный хоровод, текли, перевиваясь алмазными верёвками, звёзды, катились яблоки и сливы, похожие на плачущие лошадиные глаза, падала в ладони спелая малина и тёмная, тайная ночная ежевика, стреляли люди из своих жестоких орудий, и падало под выстрелами всё живое, а потом чудесно оживало и, плача-заливаясь, обливаясь кровью, задыхаясь от боли, ползло опять к ним, всё к ним, к старику этому, худой маленькой женщине и ребёнку у неё на руках; и они, на телеге, озирали невидящими глазами весь этот трёхслойный мир, горький на вкус, а для глаза смертельно сияющий, и они,

старик, женщина и младенец, сейчас пребывали его неоспоримой сердцевинной.

И кобыла брела, телега катилась, тяжело вращались колёса. Они ехали в телеге, а весь мир шёл за ними, потому что никак нельзя было потерять из виду сердцевину, сокровище,—сердце.

Телега остановилась возле Макаркиной избы. Бабы помогли Вобле добрести до крыльца. Она осторожно несла ребёнка. Он утих, уснул. За Воблой бабы и старики на руках тащили Власа. Внесли в избу.—Кладите сюды, на лавку... да не туды, сюды, пред божницей...

Положили. Он уже тяжело дышал. Хрипел.

Воблу с ребёнком посадили на стул напротив, чтобы она могла мужа видеть.

Грудь Власа поднималась рывками, он хватал ртом воздух, хрипы вылетали из его груди и, скрежеща, таяли за половицами, в подпечье.

—А ты подойди, подойди-ко к яму, милушка...

Её толкали в спину—она сидела, не шевельнувшись. Как вросла в стул.

—Он всех простил,—сами, отдельно от неё, вздрогнули её губы.

Ребёнок закричал. Вобла стала качать его, опять укачала. Людей много набилось в избу. Все молча глядели, как уходит в небеса Влас.

Он прохрипел ещё раз, и грудь его встала железно, как встаёт, содрогнувшись, у перрона состав. Застыла.

Вобла глядела на его лицо. Он превратилось в стусок света. Он лежал в Раю, она хорошо видела это. Рай обнимал его; Райские деревья нависали над ним, Райские драгоценные, самоцветные птицы, вспыхивая радужным опереньем, уже пели над ним сияющие песни. Птичьи мелодии сплетались и разлетались, порхали над его головой, надо лбом. Лоб становился гладким и мраморным. По нему стекали капли последнего, ещё живого, и уже смертного пота. Стекали, как небесные слёзы. Золотые стволы сплетались; мрачная, густая и глянцеваая листва неслышно шелестела под звёздным ветром, и во мраке листвы вспыхивали золотые неведомые плоды. Вобла вспомнила мандарин, что Влас поднёс ей на Новый год. Через полгода началась война. Её пальцы ощутили мокрую шкурку того мандарина, ноздри раздулись, чую Райский запах острого, жгучего эфира, душистых масел, ночного томного, с узорчатой позолотой, нагого Востока и дивной снежной, морозной, детской сказки. Ночь в Раю—это день, подумала она, а день—это ночь. Всё меняется местами. Война завтра станет миром. И мы забудем её, как её и не было. Плохо это или хорошо? Враг будет разбит. Победа будет за нами! А Рай? Его разгромят—или он останется в небесах навек, навсегда?

Райские ветки наклонились над Власом, осыпая Райские плоды. Влас вытянул ноги на лавке. Его пятки дико, страшно вывернулись наружу.

— Всё, кончилси,—вышептала Душка и широко перекрестилась.

Старики дружно закрестились. Дети стояли, испуганно переглядываясь. Баба заголосила:

— Ахти мене-е-е-е! На ково нас Влас Игнатъич покину-у-у-ул!

— Цыть ты,—прошуршал мышиными когтями стариковский тенорок,—лучче промолвь: Царствие Небесное...

Ребёнок на руках у Воблы завозился. Край чужой цветастой юбки, первой пелёнки, падал у неё с колен на пол.

— Дык от чево ж помёр-ти?

— Да в поле прихватило... можа, с Зойкой картошку прошлогодно почапала искати... можа, сердце... дык вить стар уж дед...

— Да ну вас, мужики. Не столь от годов он умер, сколь от голоду.

— Зойку—жалко...

Она не слышала. Сидела тихо.

Ребёнок тихо спал у неё на руках.

Влас тихо спал на лавке, вытянув ноги.

Всё было тихо, покойно в избе.

(картина маслом в сельском клубе. Ледоход)

Лёд шёл по реке. Плыли льдины. Огромные сколы, слепые торосы. Люди стояли на льдинах. Махали руками тем, кто на берегу. Плыли на льдинах собаки и коровы, гуси и утки, квохтали куры. Лежали черно, ржаво бороны и плуги, сохи и грабли. В руках детей горели свечи. Дети защищали огонь ладонями от ледяного ветра. Дети в тулупчиках, в старых ботах, в валенках, что велики, со взрослой ноги. Девочка, с толстыми русыми косками, в расстёгнутом тулупчике, держала перед собой, у груди и живота, икону Божьей Матери Хахульской, с крупным жемчугом и яркими лалами в короне надо лбом, в медном позеленелом окладе. Ружья на льдинах лежали, и пистолеты, и финские ножи в кожаных чехлах. Железные бандитские кастеты; под солнцем сияли как игрушки ёлочные. Ёлка плыла. Гордая, чёрная. Пахло смолой и хвоей. Красная звезда горела на верхушке её. Холодом веяло от реки и от мощного, неохватного синего неба. Лёд истончался, таял на глазах. Весь покрывался дырами и грязью, его выгрызало могучее тепло, дикое и далёкое солнце. Плыли все звери, и все люди, и все жизни, и все смерти плыли, плыли дорогие могилы, ещё не затопленные, не погребённые под водой. Самовары разожжённые плыли. На бок латунный, гербами клеймённый, валились, и кипяток на лёд выливался. Падали на лёд голодные птицы. Ходили под мрачно-изумрудной толщей воды сонные зимние рыбы. Весна рыб разбудила. Одна рыба серебряной, полоумной свечкой выпрыгнула из воды и шлёпнулась на льдину. Лежала, била хвостом на ледяной сковороде. Рассыпались по льдинам сосновые сухие шишки,

гнилые доски сожжённых изб. Головёшки тлели, алые, синие, сны сожжённых печей. Бились об лёд рыбы, ещё живые. На коленях стояли и плакали люди по людям, а может, по любимым зверям, а может, по Богу, что всю людскую беду видел, да не мог помочь. Стоял мальчик в овчинном тулупе, смеялся, глядел на солнце из-под рукавицы. Чайки срывались с небес и падали на медленно плывущий, великий лёд. Вода сверкала тьмой между льдин, клубилась и бурлила, бешеную радость реки было не усмирить. Река стала свободой. Лошади стояли на грозных льдинах, впряжённые в скелетные смертные телеги, ржали, рвали постромки, били копытом в лёд, и лёд летел зеркальными искрами, лютыми осколками. Лошади боялись безумной воды. А льдины шли, напирали. Ветер поднимал их и переворачивал. Люди и звери тонули, кричали, пытались выплыть. Река шла. Лёд по ней с шумом, грохотом шёл. Неостановимо. Неисследимо. Громадным зеркалом отражала тёмная, страшная река белые, источенные ветром льдины; худая девочка с лицом как ледяной осколок, молча глядела на ледоход изнутри зеркала. Сжатые в нитку губы, широкие как небо глаза. Гляди, девочка, такое не всякий раз увидишь. Лёд идёт, и ты глядишь. Река мощно несёт на живом горбу лёд. Вода дрожит и меркнет. Люди стоят на льдинах, машут руками, кричат. Они кричат тебе. Они машут тебе. Помаши им. Крикни в ответ. Попрощайся.

Волга, Волга ты, Волга моя реченька!

Много, Волга, в табе рыбы красной,

Рыбы в табе красной да прекрасной

Ходить рыба, ходить рыба косяками,

Да таскають рыбаки ея сетями.

Да таскають рыбаки ея сетями,

Выбирають из сетей на днище лодьи.

Рыба бьётца, рыба бьётца да играеть,

В лодье той смолёной помираеть,

Рыбари багром бьють рыбу да веслами,

Заматають туго крепкими сетями.

Ах ты, рыба, ты еда людская!

Поплывёт по Волге лодья к синю морю,

К морю синю да Хвалынскому направить.

По морю Хвалынскому казаки ходють,

Да раскосы девки танцы хороводють!

Тако пляшуть, инда сердце вынимають,

На гусях на звонках, на дудах играють.

Угощу табе, девчонка, красной рыбой,

Подарю табе, девчонке, красны сапожки:

Ты носи, носи сапожки те до свадьбы,

А ту свадьбу заиграй со мной, красава!

Ты носи, носи сапожки те до смерти,

Износи сапожки красны до нитки,

Ты приди в сапожках красных к Богу,

К Богу Господу приди да повиниси:

Мало мужа свою на земле любила,

Мало детушек яму я породила.

Мало милово я в губы цаловала,
Мало, мало с им на лодочке каталась,
На лодье смолёной по Волге широкой,
По Волге-реке, широкой да глубокой,
На закаты мало любовалась,

Ко груди яво широкой прижималась.
Ах ты, Волга-реченька глубока,
Мало с милым я в табе купалась,
Да в волне твоёй плескалась под звёздами,
Ко устам да прижималаси устами...

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №9-10 | 2005

Наталья Горбаневская

Из новых стихов



Вот узнаешь, почём
этот фунт одноглазого лиха,
провалившись плечом
в паутину, где спит паучиха,

прорубясь топором
в запертую кладовку дракона,
оттолкнувши паром
на манер всё того же Харона.

На манер, например,
той старухи, что ходит по мукам,
что оставила мир
не правнукам, а лучнику с луком.



Раз-два-три, раз-два-три,
вот вам и вальс,
разные разности
резвой ногой.
Около «Сокола»
милый трамвай
с мёрзлыми стёклами,
с гордой дугой.

Раз-два-три, раз-два-три,
сколько вам лет?
А нам без разницы,
хоть бы и сто.
В шкафчике спрятанный,
пляшет скелет
в чинённом, латанном
летнем пальто.



А вчера вечера
были дольше, светлее,
и металась пчела
над пылью шалфея,

и училась отнять
этот мёд, эту малость,
и взлетала опять,
и опять приземлялась

на дрожащий шалфей,
на раскрытое рыльце —
так, как будто Алкей
в рифму разговорился.



Ты—это Сущий—
имя Господне,
славу и Царство,
Царство и славу...
Хлеб наш насущный
дай нам сегодня,
а не богатство
и не державу.

И упаси нас
от нашего беса,
а уж от мора
или от голода —
если посилено,
стань как завеса
всякого бора,
всякого града.

Варавара Юшманова

Гелия

Гелия

Семиглавый ветер жил посреди долин,
Посреди пути, ведущего на восток.
Был он страшен и всеобъемлющ, как исполин.
Был холодным он и бушующим, как поток.

Семигласый ветер пел и будил поля,
Угрожал, кричал и шёпотом выстужал
И деревья и камни. Только одна земля
Не боялась его бессчётных тисков и жал.

Вырывал траву и рыхлое обнажал.
С неба молнию брал и будто вонзал кинжал.
Чернозём его вздохом праведным провожал.
Как хозяин лежал.

По семи сторонам летал семиглавый дух.
Всё он злился на мир, а то уставал и выл.
И тогда расцветал цветок, выходил пастух,
Вылетал мотылёк, прекрасен и белокрыл,

Всюду нюхая, из норы вылезала мышь,
И жуки поднимали крылья свои жужжа,
Пел кузнечик, и веселился в полёте стриж,
И трава раздвигалась пред головой ужа.

То дремала земля, а то пробудилась вся.
Семена занялись, почуяли свет ростки.
Но опять возвращался ветер и, голося,
Всё завешивал пылью и пригибал цветки.

Опадали бабочек синие лепестки.
Червяки уползали глубже, и от тоски
Умирали едва взошедшие колоски.
Поедали траву пески.

Не боялась земля, но семени не взрасти.
И однажды пришёл ребёнок, пока был штиль,—
Ясноокая девочка Гелия лет шести,
Точно знающая, кто здесь поднимает пыль.

Семь уздечек она сжимала в своём мешке.
А на шее её отсвечивал амулет—
Чёрно-синий камень звёздный на ремешке,
На любой вопрос дающий простой ответ.

Знала Гелия—здесь живёт семиглавый бес,
Кто его укротит, тот сможет на нём верхом
Улететь в долину, видную лишь с небес,—
Полустёртый, забытый и невесомый дом.

Здесь была ли она—найдёныш, дитя долин,
Благодарное чадо добрых чужих сердец.
Но недавно она узнала, что есть вдали
Те заветные земли, где её ждёт отец.

Ей старуха шаманила: «Ветер туда снесёт.
Оседлаешь его, пришпоришь и лишь держись...
Семь уздечек возьми с собой, остальное всё
Оставляй. Со скорбем не начинают жизнь».

Вышла Гелия в поле, дунула, и в ответ
Закачался на шее каменный амулет.
Взмыло пыльное облако, загрозило свет,
И возник силуэт.

Семиглавый демон ринулся на неё.
Завертелись комья, и полегла трава.
Но сквозь эту силу властную и вытьё
Раздались ему навстречу её слова:

Видь, на нас направлен глаз
Аз
Неба праведного дети
Веди
Равноправна наша боль
Глаголь
Дух стрижа—его перо
Добро
Самому себя не счесть
Есть—
Раньше срока рассвело
Зело
Всё подымет, исцеля
Земля.

Замер вихрь воздушный, будто остолбенел.
Семь уздечек достала девочка из мешка.
Он покорным был, и норов его немел,
Словно он теперь обрёл своего божка.

Постаралась Гелия, не подвела руку.
Взобралась, сама как воздух и дым легка,
И пришпорила невидимые бока,
Поднялась в облака.

Осветило долину солнце, впились лучи
В разорённые ветром, гибнувшие поля.
И обратно своё величие получив,
Глубоко задышала раненая земля.

Наташе Камневой

Когда проходят годы и невзгоды,
Уже тела зависят от погоды,
Уходят люди, ставшие родней,
Ты обростаешь медленно броней.

И жизнь свою, как хлебную нарезку,
По ломтику съедаешь, по отрезку.
А каждый ломтик — сам себе судьба
И вяжется с другими лишь едва.

А каждый ломтик — люди дорогие,
Одни сначала, а потом другие
Дома, маршруты, песни и слова,
И всё в себя вобравшая Москва.

И вроде панцирь противоударен,
И вроде ты за это благодарен...
Да ночью сны встают в законный ряд
И всё с тобой о прошлом говорят.

Три минуты

Когда планета Меланхолия
врежется в Землю,
это произойдёт не мгновенно.
Быстро, но не мгновенно.
И когда моя часть Земли
будет уже поражена взрывной волной,
когда всё вокруг меня исчезнет,
там,
где сейчас он,
все ещё будут живы.
У него будет, наверно, пара минут.
А может, даже три.
Не так уж и мало.
Можно успеть помолиться...
поцеловать жену...
улыбнуться...
Можно выпить пива...
посмотреть на небо...
закричать
в последний раз.
Не вмещается ли вся наша жизнь
в настоящие три минуты...

Три минуты для него.
Только они и могут быть оправданием
тому,
что мы всегда
так далеко друг от друга.

Свадьба

Не подливай мне: не с кем танцевать.
Невеста в белом, словно герцогиня.
Салат пожух. Уже жаркое стынет.
И шафер продолжает гарцевать.

В моём селе был ЗАГС в фойе ДК,
В кафе «Оазис» — свадьбы, юбилеи...
Там кавалеры были посмелее,
Не приглашала баба мужика.

И я мечтала в это вот фойе
Войти невестой пышной и довольной,
И чтоб жених кудрявый был и стройный,
И самый кулакастый на селе.

А что в итоге? Водка да кровать.
И вспомнить нечего: была ль женою...
Налей-ка мне! Я выпивши не ною.
Плохая свадьба. Не с кем танцевать.

Песня

Разворачиваю фотоплётку,
И чёрные окошки
Говорят, каким разным
Может быть моё лицо.

Я могу быть сыном.
Я могу быть братом.
Я могу быть отцом.
Я могу быть мужем.
Но когда же я буду собой?

Приходя к кому-то,
Я смотрюсь в чужие зеркала,
И везде я разный.
Только у меня в доме
нет своего зеркала.

Я могу быть врагом.
Я могу быть другом.
Я могу быть рабом.
Я могу быть богом.
Но когда же я буду собой?

Знаю — где-то река,
Текущая по кругу.
Приехать бы к ней,
Снять рубашку и джинсы
И войти, и смотреть
На кружащую воду.
И тогда, может быть...
может быть...

Лиса

- Кадочка,— говорит,— у тебя пуста.
Дай мне ещё полста.
- Медведь глядит на лису и не разберёт—
Был или не был мёд.
- Выступив чуть вперёд,
Сгоряча ревёт:
- Ты ли, кума, излазила закрома?
Знаю, хитра, тебе не занять ума.
- Только лиса встаёт, будто не сама,
Шкуру снимает лисью,
- Отстёгивает хвост,
Встаёт в человеческий рост.
- И говорит:
- Греши или не греши,
Будем мы всё одно утопать во лжи
- И перед смертью общий держать ответ.
Так что разницы нет.
- Мишка же пуще сердится и ревёт:
- Полно, лиса, у каждого свой черёд.
- Смотрит в глаза, дознаться бы: врёт—не врёт.
- Нет, я не ела мёд.

У шкафа

Скалит зубы литература—
Полки выгнуты, в ряд тома.
Если б только была микстура
От Шекспира и от Дюма.

Не дышать бы пылицей этой,
Не тащить их к себе в кровать,
Не вздыхать по ночам с Джульеттой
И с Татьяной не горевать.

Жить и жить, словно обыватель,
Вечерами смотреть ТиВи
И мечтать о кольце и платье—
Не о мире, не о любви.

Только что говорить напрасно,
Если брошены все дела,
И в крови закипает масло,
То, что Аннушка пролила.



— А тебе в твоём доме
Хорошо ли одному?
Арсений Тарковский

Когда не спится и не ходится,
Лежишь один в своём доме.
Устало смотрит Богородица,
Не удивляясь ничему.

И в мутных окнах отражение
Толкует о прошедшем дне.
К тебе является решение—
В ночи наведаться ко мне.

И ты идёшь, слегка нахохленный,
И знаешь верно, что опять
Увидишь за моими окнами
Разверзнутую благодать.

Да только мне другое ведомо.
Я сплю и вижу сон земной,
Что ничего страшнее этого
Уже не станется со мной.



Среди улиц, среди пятниц
Я брожу одна.
На щеках моих румянец,
Но душа бледна.

Солнце старится над всеми,
Словно абажур.
Я ищу другое время
И не нахожу.

А плакат на старом храме
Ждёт неделю мод.
И лежит забытый в хламе
Приодетый кот.

Я клонюсь над этим ложем,
Нас во всём вина.
И внезапный Бог в прохожем
Смотрит на меня.

Екатерина Сергеева

Мне снилась «Альбертина»



Бабушка, Галину косу легко расплетая,
Песни поёт, что остались на память о мае.
Или апреле.
Неважно, я точно не знаю.
Русые пряди пахнут полынью и мятой.
В песне — ушёл навсегда, позабыл, не вернулся.
Сладкие ягоды — вместе, а горькие...

Капли
Ползут и ползут по листу бархатистому мяты.
Мятое платье и алые пятна на белом.
Снегом заносит следы уходящего в завтра.
Завтра приходит как снег, неизбежно, внезапно.
Бабушка плачет — зачем вы красивых, девчонки?..
Горсть серебра растворяется, ртутью стекает.
Или водою?
Неважно, я точно не знаю.
Волосы вьются, сплетаются в пряди густые,
Шею целуют, скользят по щекам, нежно, ловко.
Алым сверкают глаза на змеиных головках.
Тел глянцевиных плетенье.
Теперь ты такая?
Взглядом — любого...
Неважно. Я точно не знаю.



Мне снилась «Альбертина»¹ — стройность стен.
Стою, смотрю — безграмотной скотиной.
Клубок пути размотан — половина.
Отмеряно. Отрезано. Как всем. Как «Альбертине» —
Университет — листаю робко гордые страницы.
Танцую на пороге дурой-птицей,
Попав в медово-равнодушный плен.
Булавки, братства, флаги, ректор —
Кант.
Хочу туда, где знает тайну пудель —
Полишинеля — чай, немецкий штрудель...
Всё то, что в пепел превратил

Закат.
Читаю — мене, текел, дальше — страшно.
Дышу, иду, почти срываясь в бег.
Снег под ногами хлюпает вчерашний.
В Калининград бегу?
Нет.
В Кёнигсберг.



Бросало мне под ноги море
Осколки цветного стекла,
Двустворчатых плоских моллюсков.
В них — жемчуг.
А я не брала.
Волна приносила на берег
Смешных голубых осьминогов.
Как сладкое масло блестили
Монеты в песке меж камнями.
Дни плыли вдогонку за днями...
Дарило мне море кораллы.
Янтарь и куски серебра.
Цветных переливчатых рыбок —
На счастье.
А я не брала.
Декабрь наступил. И однажды
На берег кувшин принесло.
Невзрачный. Помятый. Из меди.
Взвыл ветер тоскливо и зло,
Обидчиво. Стало понятно —
Не следует ждать мне обратно
Ту кружечку с синим слонёнком —
В волну уронила ребёнком.
Швыряла я в море камнями,
Рыдала — давила на жалость.
Но море в ответ хохотало.
Да пеной в лицо мне плевалось.



Кукушонок всегда сильнее.
Полосатый, крупноголовый.
Знаю я, что он петь умеет
Может быть, танцевать умеет.
И красиво поставить слово.
К сожалению, совершенно
Не умеет делить тепло.
Край гнезда — негнездо —
И холод.
Кто-то плачет ревниво, зло.
Говори карамельно, сладко.
Утешай меня, говори.
Убиваю я кукушонка,
Что без спроса живёт внутри.
.....
1. Кёнигсбергский университет.

Кристина Кармалита

Под звёздным куполом-отцом



В ночной засаде страхов и стихов,
В бессчётном преступлении завета
Не то теснит, что не простят грехов,
Но мрак иной терзает до рассвета—

Придёт тихонько ласковый покой,
И, не жалея, выведут чернила:
Жила, болела корью и тоской,
И никого не свете не любила.



отрыдают любые печали
опрокинется счастья стакан
на коротком, прощальном причале
повстречает худой капитан

небольшой, но надёжный корабль
обрисует последний предел
пусть бы, Господи, только журавль
над моей головою летел



На сколько хватит этого добра,
Которое заваривала мама
В стеклянном шаре раннего утра,
И уходила исполнять программу

По отмыванию чьих-то чёрных рам—
До вечера, до ночи, до забвенья...
А я живу, пишу стихотворенья
И никаких не ведаю программ.

Спасибо вам, хранителям систем,
Которые в пыли житейской драмы
Спокойно шли и отмывали рамы
От жирного налёта вечных тем.

И терпеливо подносили рты
Галдящей стае выводка рябого,
Которая не ведала ни слова,
Ни этим словом свитые кресты.

Спасибо вам. От ночи до утра,
С утра до ночи—непоколебимо
В стеклянном шаре раннего добра
Хранится всё, что должно быть хранимо.



Привычно догорел обычный день,
И капли звёзд нападали во тьму.
«Пойду на воздух». «Тёплое надень.
Возьмёшь сухое белое?» «Возьму».

Взрывает полночь голубой раскат.
«Всё не могу решить вопрос простой:
Господь сердит или свой грешный сад
Он освежает спелую водой?»

«Ты выпила». «Я выпила давно.
Но хмель того вина не растворим
Так просто». «Милая, закрой окно,
ложись ко мне, потом поговорим».

Уносят дни настенные часы—
Стучит каблук по длинной мостовой.
«Ты спишь?» «Я спал». «Какие видел сны?»
«Я сплю ещё. Мне снится голос твой».

Тревожными лучами мрак прошит.
Заплакано стекло. «Который час?»
«Четыре... Пять... Всё не могу решить:
Господь спасёт или погубит нас?»

Рассвет вползает медленно, как тать,
Вскрывает тайники ночных углов.
«А мне никак сегодня не понять,
Что станет с нами после столько слов?»

«Мне рано на работу». Стынет твердь.
Дождь разучил кантату на трубе.
«Но чтобы ты спала ночами впредь,
Послушай, милая, что я скажу тебе:

Мы станем небом, звёздами, луной,
Орлом в полёте, голубем в руке.
Мы станем полем, зёрнами, травой,
Собакой в будке, ланью вдалеке.

И если нам положат сотню лет
Грести в Оби чешуйчатым хвостом—
Мы выплывем и превратимся в свет,
Разлитый над Димитровским мостом».



Заболею — никто не поможет,
Заболею — никто не придёт,
На кровать отдохнуть не положит,
Не согреет, воды не нальёт.

Заболею — напьюсь в одиночку,
В подворотне в сугроб упаду.
Старый чёрт мне напишет отсрочку:
Нет свободного места в аду.

Зарыдаю печально и звонко,
Соберу все обиды за век.
«Успокойся, дурная девчонка» —
Скажет рядом упавший на снег.



И пело небо за окном
Звездой в подушку
И целовались за углом
Пастух с пастушкой
И кожу сбросила в огонь
Лягушка

И сохло время на столе
Забытой крошкой
И сон болтался на стене
Убитой мошкой
Луна сползала по спине
Дорожкой

И было лето в сентябре
Окно на кухне
Ночной фонарик в серебре
Вот-вот потухнет
И жизнь стояла на ребре
Не рухнет



Тонет вечер пятницы
рукавом в вине,
шарик в небе катится
от вина к вине.

Всё на свете спросится,
потому, дружок,
возле тихой рощицы
вытри сапожок.

Всё на свете сказано —
почитай века,
всё на свете связано —
помни, а пока

помаши летящему
от луны к луне
и подай просящему
в память обо мне.



Возможно, ваш компьютер заражён,
Возможно, завтра будет непогода,
Возможно, режет кухонным ножом
Сосед за стенкой ручки у комода.

Возможно, я сказала не про то,
Возможно, ты подумал не об этом.
Висит в шкафу осеннее пальто,
А я его сносила этим летом.

Всё невпопад, и в спину отдаёт
Грудная боль, а думалось: едва ли
Сегодня будет дождь. И крепнет лёд
Забытой в морозилке «Циндандали».

Но будем завершать. Возможно, ты,
Возможно, я, возможно, мы, возможно...
Лежат на клумбе мёртвые цветы,
Задетые рукой неосторожной.



Подобие весны московских улиц
Налипло грязью вымокших ботинок.
О, этот горький вечный поединок:
Природа человеку кажется дули,
Пока он утверждает господина.

Москва, Москва, оставь меня, оставь.
Я здесь случайный неуютный житель —
Подержанный пустой огнетушитель.
Москва — огромный огненный состав.
Дрезину мне! И больше не держите.

Нет места человеку на Земле.
Тем более в Москве ему нет места.
Он бежит по лужам, месит тесто,
Но чем быстрее, тем взгляд его тусклей
И голос злей и хочется протеста...

Бунтует человек среди Москвы.
Ах, как я понимаю эти волны!
Их дикий шум — неистовый, разбойный,
Масштабы операций восковых
И вёдра новогоднего попкорна...

В Сибирь, в Сибирь! Скорей и навсегда.
Пока душа ещё надёжна в теле,
Пока я помню ель и запах ели,
Пока стоят другие города,
Я — из Москвы. Уже на той неделе!



От люстры до потолка? — Провод
От Земли до Луны? — Холод
От рожденья до смерти? — Пролог
От меня до тебя? — Бог

Михаил Червяков

Творящие чудо

Держа тебя за руку

Всё сразу увиделось в истинном свете,
 Как только сомнения исчезли.
 И влюблённые как маленькие дети
 На небо... нет, не полезли,
 А оттолкнувшись прыгнули выше головы.
 И встречные птицы разлетались в панике.
 А под ними простирались зелёные ковры
 И на верёвках сушились пододеяльники.
 Но от всего мира не спрячешься тут.
 И на розовом фоне два очертания
 Прыгали с батута на батут
 Взявшись за руки. Преодолев расстояние
 И надышавшись воздухом с запахом дыни
 На землю спустились... и там
 В кармане щепотка золотой пыли
 Напомнит о прогулке по облакам.

Человек с монеты

О красоте этого человека судить
 Можно по изображению на монетах.
 Он просунул в иголку судьбы нить
 И своё имя вышил на континентах.
 Человек надел пиджачную пару
 И гладко зачесал назад волосы.
 Он медленно пережёвывает сигару,
 От которой отходят сизые полосы.
 Рациональный, расчётливо мыслит.
 Он, сильнее всех обстоятельств.
 Этот человек не от кого не зависит.
 И никаких у него нет обязательств.
 Есть лишь всемогущества перст,
 Позволяющий всё у всех брать.
 Но заходя по ступеням в подъезд,
 Каждый раз ему хочется знать:
 Сквозь жизненную круговерть
 Кто там скребёт все эти месяцы?
 И присмотревшись, увидел смерть!
 Поймав её взгляд из-под лестницы.

Творящие чудо

Мы с ней стояли вдали от всех,
 Когда на моих глазах сотворила чудо
 Она, подкинув руку ладонью вверх,
 Попросила принести ей хлеба оттуда.
 Моего воображение у меня не отнять,
 Даже после пластилиновых мультфильмов.
 Могу целую горсть солдатиков тебе дать,
 Если будешь дружить со мной сильно.
 И вот мы уже бежим под синим небом,
 Которое как обёртка от жвачки «Дональд Дак».
 А день гонится за нами следом
 И не догонит никак.
 И, точно применив полученные знания,
 Я распечатал радости целую упаковку,
 Когда с себя снял, затаив дыхание,
 Свою первую божью коровку.

Отчим

— Прошу, уйди! И больше нас не мучай!
 Я её сын, и моё мнение нужно учитывать.
 Если в жизни все полагаются только на случай,
 То мне тут тогда на что рассчитывать?
 Вдыхая рывками терпкий запах перегара...
 Наверное, всё же я ещё слишком мал.
 Потому и закрываю лицо от его ударов,
 Пытаясь понять, что я не так сказал.
 И вспомнил... вспомнил, как однажды
 Убегал от него босиком по снегу,
 И была у него неутолимая звериная жажда,
 А у меня—ни суперсилы ни оберега.
 И продолжая держать ладони у лица,
 Пока в доме телевизор орал посреди ночи,
 Я понял одно: что хуже пьяного отца
 Может быть только пьяный отчим.

Мир двоих

расползлись над миром тяжёлые тучи
обрушивая ливень житейских невзгод.
но увидев посылаемый нами лучик
ангел прервал свой полёт.
и теперь укрывают нас от дождя
ослепительно серебристые крылья.
за ночь по несколько раз жму я
на самые мягкие буквы твоего имя.
и будь то чарующая музыка в дали
или принесённые в постель вишни
нам напомнить о красоте любви
в любое время не будет лишним.
и прижавшись к плечу головой
мы до старости так и дожили.
и если б не ты рядом со мной
тут для меня все были б чужими.

Прощение, последует сразу за страданиями.
И в конце концов, человек человека пожалеет.
Ты нашёл те заповеди — ведомый знаниями.
А если не умеешь читать, попроси тех, кто умеет.
У человека с человеком случилось свидание.
И на звериных шкурах, она у костра руки греет.
Ведомый желаниями — ты нашёл то сияние.
А если не умеешь любить, попроси тех, кто умеет.
Человек всю жизнь идёт к золотому порогу.
Под ногами вид камней видом глины сменяется.
Ведомый интуицией — ты вышел на ту дорогу.
А если ошибся, спроси у тех, кто не ошибается.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №3 | 2008

Вячеслав Тюрин

Вавилонская молва

1.

Дитя трущоб в колготах «Оро Россо»
готова стать игрушкой матроса
всего за несколько монет. И всё же
вам это обойдётся не дороже,
чем напускная вежливость девицы,
с которой невозможно поделить
последними грошами, потому что
ей нечто человеческое чуждо.

2.

Вот девушка в набедренной повязке:
совсем другое дело, право слово!
Без песни жить не может, как без пляски, —
в том смысле, что физически здорова.
Сучит ногами, схвачена сатиром —
козлобородым юношей, который
известен тем, что ходит по квартирам
и прячется — вот именно — за шторой.
(Либо в шкафу — смотря по обстановке.)
«Послушайте, какой же вы неловкий!

И почему вы дышите неровно,
держа не в той руке пустую вилку?
Не вы конкретно — все вы поголовно
зальёте шар и лезете в бутылку».

3.

Свобода тела, торжество торговли!
Тут ловят кайф, и люди в этой ловле
подпишутся на всё во имя страсти,
кружа в калейдоскопе карнавала.
Достаточно зайти с козырной масти,
чтобы мадам тебя поцеловала.
Достаточно как следует влюбиться,
с цепи сорваться, выйти вон из ряда.
Тут Вавилон — и можно заблудиться,
но публика тем паче будет рада
блуждающей звезде, надрыву скрипок
в оркестре, странствующем одиноко.
Дитя трущоб, не бойся: с нами Стрибог
и старая кремнистая дорога.

Дмитрий Дергалов

Пусть кому-то будет не всё равно...

Свидетель

Он жил на белом свете
Две тыщи лет назад.
Он сам тому свидетель,
Как был Христос распят.

Он сам тому свидетель,
Как шёл на брата брат.
Он жил на белом свете
Столетие назад.

Он жил на этом свете
Лет семьдесят назад.
Он сам тому свидетель,
Как бился Сталинград.

Он сам тому свидетель,
Что всё пошло на лад...
Он жил на этом свете
Мгновение назад.

Ракушка с острова Крит
Ракушка с острова Крит.
О чём она говорит?

О том, как безумный шквал
Над Грецией бушевал.

И остров восстал со дна.
И в куче песка — она.

И схлынул поток воды,
Оставив на ней следы.

Ракушка с острова Крит.
О чём она говорит?

О море среди земли,
В которое боги ушли.

И больше их голоса
Не сотрясут небеса.

А будет лишь шепоток
Витать из витка в виток.

Судьба

Знать, судьба моя такая —
Через бездну к небесам.
Понимаю, понимаю,
Всё я должен сделать сам.

Пред душой всегда в ответе
За слова и за дела.
Был один на белом свете,
А судьба с тобой свела.

Всё пройду, что Бог отмерил,
Даже то, что не пройти,
Лишь бы ты меня у двери
Обняла в конце пути.

Рай

И понеслась душа в рай...
Всё позади.
«Я тебя жду, прилетай!»
Жди меня, жди!

«Делай добро, люби всех,
Слёзы прощай.
Да не впади душой в грех,
Не обнищай!»

Я терпеливо дождусь
Дня своего.
Ведь если в рай не сгожусь —
Жил для чего?

«Здесь нет печали и зла,
Только любовь.
Это она собрала
Всех нас здесь вновь.

Здесь хорошо просто жить,
Жить не спеша...»

Голос чудесный дрожит.
Плачет душа...

Собачья звезда

Лежат две собаки, подставив солнцу бока.
И этим собакам известно наверняка,
Что жизнь хороша, и наш мир не так уж и плох,
И что нас не бросит в беде всевидящий Бог.

Лежат две собаки и думают о своём:
«А вдруг да хозяин найдётся? Вот заживём!
Любовь, игры, ласки, еда, домашний уют...»
А может, они и сейчас неплохо живут.

Лежат две собаки, а люди мимо идут.
Пытаться вниманье привлечь—бессмысленный труд.
А я подошёл. Улыбаюсь им, просто так.
Я очень люблю наших добрых, мудрых собак.

Лежат две собаки. А мне пора. Ухожу.
Мне видится: я, как они, под солнцем лежу.
И ходят собаки вокруг, туда и сюда.
И Сириус светит с небес—собачья звезда.

Весна

Очень странное время—рубеж февраля и марта.
Ни капли, ни солнца, а все говорят—весна.
Но, похоже, мне в жизни легла неплохая карта:
Я с весенней улыбкой в душе встаю от сна.

И с такой же улыбкой от сна восстаёт природа.
Пробудились медведи, пророчат весне успех.
Ведь весна, она хоть и кратчайшее время года,
Но приносит надежду, а значит, сильнее всех.

Сорокопут

Сорокопут—птица с простой судьбой.
Сорок путей простёрты перед тобой.
Выбрал. Взмахнул крыльями, полетел,
Чувствуя взгляды усталых небесных тел.

Долго ли, коротко... Добрых ты ждал вестей,
Но вновь перекрёсток, и снова сорок путей.
Делай свой выбор, взмах—и смелей лети!
Ты ведь птица. Ты знаешь свои пути.

Фонарь

Зимний вечер, звёздный, нежный.
На носу январь.
Ты, идущий тропкой снежной,
Выключи фонарь.

Убери, зачем же это,
Что не видишь ты?
Снег и сам—источник света
Дивной красоты.

Небо звёздное спустилось
Под ноги твои.
Это чудо! Божья милость!
Свет его любви.

Вот спасибо. Славный вечер!
Побегу вперёд.
Вон, ещё один навстречу
С фонарём идёт.



Вокруг меня снег.
Внутри меня—век.
Вокруг меня бег
Невидимых рек.

Мне подан был знак.
Я делаю шаг.
Вокруг меня мрак.
Но это не так.

Внутри меня—свет.
Сомнения нет.
Не чувствуя лет,
За Господом вслед.

Владимир Замышляев

Язык, литература, воспитание

Первым «гениальным произведением» древних людей был язык—Слово, возникшее стихийно при становлении *homo sapiens*, тождественное его сознанию и отражённой в сознании природе. От осознания человеком самого себя разумным, в отличие от природных существ, до утверждения *homo sum*—Я человек—прошли, очевидно, тысячелетия. И всем понятно, что язык—это первая устная коммуникация, первая социальная связь по причине объективной необходимости ради общего дела. Как и когда произошло обособление языка в «устное народное творчество», вряд ли кто возьмётся утверждать, указывая календарную дату начала словесного творения, закреплённого в памяти, которая несёт в себе и генетическую наследственность—«способность к памяти».

Период первоначального накопления слов, называемый «язычеством»,—это циклическая память поколений. Язычество включало в себя две функции: обыденную—полезную, социальную информацию и сакральную, символическую—мистика, религия, космос. Обе функции на первобытных стадиях появления были в форме синкретизма—в слитности слова, музыки, жеста, атрибутов одежды и психического экстаза. Далее, в историческом времени произошло деление родового человеческого сознания на фольклорное сознание (с тождественными ему объектами повседневной жизни) и сакральное (священнические тексты, как, например, «Книга мёртвых» в Древнем Египте или «Ригведа» в Древней Индии). Фольклорное сознание, именуемое и «народной мудростью», отложилось в пословицах, поговорках, песнях и танцах, в календарно-земледельческих праздниках. Народная мудрость—это выразительная форма исторического опыта жизни, очень ёмкая по содержанию, краткая по выражению, всегда педагогически направленная, поучительная—в

интересах целого, с подчинением ему частного. Язык народной мудрости поистине является непреходящим культурным наследием. Понятие о национальном в культуре содержит в себе коды народной мудрости, архетипы бессознательного.

С переходом от анимизма (как «минимума религии») к мифологии, а потом к мировым религиям народная мудрость и священнические тексты стали отделяться друг от друга, их смешение не допускалось, считалось «греховным», святотатством, изменой Вере, Богу, Бессмертию. Появились канонические религиозные тексты-сочинения: Ветхий Завет, Новый Завет в христианстве, Учения Будды, Конфуция, Лао Цзы на Востоке, Коран в исламе. Именно они стали считаться Книгами Вечного Бытия для человека, отвечавшими на все его вопросы. Остальное человеческое «мудрствование» считалось суетным, преходящим, ничтожным в сравнении с Божественным Откровением. Всё более стали отдаляться и языки: разговорный, обыденный, служебно-функциональный и сакральный, священнический, молитвенный, литургический. Резкая граница между ними обозначилась в результате возникновения письменности и книгопечатания. И человек, опытный в устной речи, в ораторском искусстве, превратился в человека, опытного в писании—*homo scribendi peritus*. Открытие же книгопечатания, «Галактики Гутенберга» по определению М. Г. Маклюэна¹, начавшегося с тиражирования религиозных канонических текстов, открыло возможность и для распространения текстов, не имевших религиозного значения. Например, в России в XVIII веке впервые были напечатаны тексты русских народных песен без нотного сопровождения. Да и первая газета «Ведомости» при Петре I—это светский текст, как одно из свидетельств начавшейся секуляризации печатного слова после Средневековья в России и в Европе. Как указывает М. Маклюэн в названной выше работе, книгопечатание послужило и рождению публичного чтения нерелигиозных текстов. Появились и журналы, и публикации в них на разные темы. «В журнальных публикациях читатель находил для себя не фиксированное знание, а живой современный интеллектуальный материал для размышлений, провоцирующий на выражение своей точки зрения»². На рубеже XVII–XVIII веков

1. Камчатнов А. М. Библия, А. С. Шишков и «Гроза двенадцатого года» // Книга в пространстве культуры: сб. ст. / Рос. гос. б-ка; сост. Т. Л. Миронова.—М., 2012.—Вып. 1(8).—160 с.—(Приложение к журналу «Библиотекосведение»).
2. Красноярова О. В. Гипертекст как коммуникативное пространство // Обсерватория культуры.—2011.—№ 4.—С. 111.

в Европе, особенно в Англии (в Лондоне), были популярны кофейни, где посетители обменивались мнениями, читали газеты и журналы и даже встречались со знаменитыми авторами того времени: Дж. Свифтом, А. Поупом и др.

Мы обращаем внимание на эти исторические факты, чтобы отметить динамику социального пространства языка, ведь он развивается одновременно в качестве разговорного (обыденного), сакрального (священнического), публичного (дискуссионного и критического), служебно-специального (политического, государственного, научного, просветительского). И, наконец, в качестве литературного (наиболее автономного, свободного от всех остальных видов устного и письменного языка). Когда возник литературный язык? И что считать формой и содержанием литературного текста? Литература—слово латинское. В широком его значении—это совокупность письменных и печатных произведений (научных, философских, художественных и т. п.) того или иного народа, эпохи или всего человечества. В узком употреблении—художественное творчество, выраженное в слове, т. е. художественная литература. Иногда и так понимается—совокупность печатных произведений по определённому предмету или вопросу. В данном случае мы делаем акцент на художественной литературе «всех времён и народов» и на русской в особенности!

Художественная литература, её образная система, метафоричность, афористичность, является самым сильным средством, как показывает история, воздействия на ум и душу человека. Слово лечит и калечит, возвышает и убивает, туманит сознание и проясняет его, мобилизует на дела и подвиги, воспекает любовь и осуждает ненависть, закрепляет семейственность, материнство и детство. Во времена самых тяжёлых испытаний человек обращается за помощью к художественному Слову. Оно родилось в историческом времени позже, чем главное Слово «Бог» среди верующих, если иметь в виду его текстуальное начертание. А устное Слово в народе изначально было метафорическим, поэтому современные писатели до сих пор пользуются словесным наследием крестьянской культуры, основанной на земледелии. А труд на земле, образы природы закреплялись постоянно в народной речи, в эмоциональном высказывании о ней и о самом человеке на земле в четыре времени года. Один из ярких периодов в творчестве А. С. Пушкина называется «Болдинской осенью», как пример связи гения литературы с природой и с народом: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, Спой мне песню, как девица за водой поутру шла».

После эпохи Возрождения и Просвещения художественная литература отделяется от сакральной канонической словарной системы, становится секуляризированной, автономной в обществе,

свободной от церкви, а потом и от идеологического диктата государства. С введением и развитием просвещения, образования художественная литература превратилась в учебный предмет, в педагогическое средство воспитания подрастающих поколений, потеснив лобовую нравоучительную дидактику.

На первых порах становления художественная литература была даже на службе у государства. Выражение «придворный поэт» отражает это отношение. Например, императорское правление Петра I в России сопровождалось служением имперской власти некоторых творческих деятелей: историков, писателей, композиторов, художников. Писались торжественные оды в честь императорских преобразований, сочинялись «во славу» хоры и кантаты. Так, в 1709 году была сочинена музыкантом В. Титовым музыкальная стихира «Полтавскому торжеству»—в честь Победы под Полтавой над шведами. Пётр I назначил В. Титова дьяком среди певчих при дворе. Это ответственная должность. В те годы «стихиры» и музыка часто соединялись, ибо единение слова и пения наследовалось ещё и по языческой традиции. Хоровое пение (звучащее слово) возникло до христианства.

Не следует умалять роль художественной литературы и искусства вместе с ней в становлении, укреплении государств, в мобилизации людей на защиту страны от посягательства врагов. Показательным примером высокого служения Слова Отечеству является духовный подъём русского общества, деятелей культуры и литературы в 1812 году—в борьбе с нашествием армии Наполеона на Россию. Император Александр I, отстранивший от государственной службы М. Сперанского, пригласил 22 марта 1812 г. на беседу литератора А. С. Шишкова, слывшего «консерватором», и сказал ему: «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству. Имея таковые чувства, вы можете ему быть полезны. Кажется, у нас не обойтись без войны с Французами; нужно сделать рекрутский набор; я бы желал, чтобы вы написали о том манифест»³. За год до этой встречи А. С. Шишков написал «Рассуждение о любви к отечеству» и прочитал его на заседании «Беседы любителей русского слова» 15 декабря 1811 года. Многолюдное собрание с большим воодушевлением встретило это «Рассуждение...». А. С. Шишков утверждал, что любовь к отечеству есть «сильнейшая ограда всякой державы». Эту «ограду» он выстроил на основе православной веры, на отечественном воспитании и на любви к родному языку: «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник

3. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего.—М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005.—С. 63.

дел. Возвышается народ, возвышается язык; благонравен народ, благонравен язык... Одним словом, язык есть мерило ума, души и свойств народных». А. С. Шишков написал по просьбе императора «Манифест», который можно воспринимать как литературный текст с обширными цитатами и ссылками на Библию, на историю, на патристические подвиги русского народа и т. д.

Патриотический порыв в русском обществе 1812 года послужил созданию многих художественных сочинений деятелями культуры и в период войны и после неё. Некоторые художественные сочинения стали классикой русской культуры XIX века и даже получили мировое признание, как «Война и мир» Л. Н. Толстого. И в целом вся художественная литература России в столетии А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других блистательных имён была глубоко патриотичной, высоко нравственной, с образцами прекрасного слова «во дни торжеств и бед народных». «Ругательный» тон в ней, по мнению В. Розанова, стал складываться во второй половине столетия, с приходом в общественную жизнь разночинцев-демократов, анархистов и социалистов. Но нравственный заряд в русской литературе, поиск с её прямым участием общественных идеалов оставались как постоянная константа национального сознания. Немецкий писатель Томас Манн назвал русскую литературу «святой».

Всем нам хорошо известно, что художественная литература в СССР имела безусловную патристическую ориентацию, а русская классика (литература предыдущего столетия) была обязательным предметом изучения в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях, да и зарубежная литература тоже изучалась в системе образования. И тиражи издания художественной литературы превышали многие тысячи и даже миллионы экземпляров. Это ли не свидетельство того, что художественная литература в секулярной культуре трёх столетий была феноменальным духовным ресурсом любой нации, имевшей такую литературу, а Россия особенно отличилась художественным словесным творчеством и приобрела мировую известность и славу. Надо бы обратить внимание и на то, что художественный язык, образное мышление и выражение с помощью развитого языка имеет необычайно сильную интеллектуальную и эмоциональную энергетику при формировании личности человека, его способности к универсальной коммуникации среди людей. На язык и литературу надо смотреть с точки зрения земного цивилизованного пространства — как Мира Разумных Людей. Умаление роли художественной литературы (подобные попытки делаются в России) ведут к деградации человека, достигшего художественных высот за предыдущие тысячи лет своего развития. Зачем отказываться от такого духовного наследия?! Это во всех смыслах неразумно и во вред человеку.

Сергей Арутюнов

Господа Порхневичи

Михаил Попов. На кресах всходних: роман. — М.: «Российский писатель», 2017. — 470 с.

Ровно об ту пору, когда нобелевские премии выдают за обличение русских в том самом смысле, что цивилизация мы (если вообще—цивилизация) рабская и тупиковая, да ещё дают их исправно исполняющим наказ Европы белорусам, тянется рука—нет, не к мести,—к чему-то гораздо большему, чем месть.

Может быть, к правде и исторической, и человеческой, которая, по завету классики нашей, зачастую куда объёмнее первой. Не вербатовым, как говорится, единым, но слогом, не вызывающим ни малейших сомнений: вот она, традиция, дальше отступать некуда, и вот наступать куда—есть.

Бредни по поводу конца русской литературы и несостоятельности русской мысли как величин противоречивых, зависимых от конъюнктуры, могут, в конце концов, нешуточно нарваться на гуманитарное событие, топтать которое станет несподручно ни осиянному партийной логикой критику, ни «национально мыслящему» колумнисту.

Кстати, запаздывают они в этом случае почти фатально—не то что в дни, когда вышло солженицынское исследование о роли еврейства в судьбах Отечества. Тогда, помнится, скрипучий вой начался с горького смеха, дескать, нечего опровергать! Ложь от первого до последнего слова! Антисемитизм! Ну да, слышали.

Кампания пучилась где-то с год, и как по мановению (по команде) стихла. Ещё нудно, по пунктам, «опровергали гнусные измышления» правоверные ребята с заковыристыми фамилиями из провинции, но уже смолкала центральная пресса, и в самом воздухе зависло—«а ну, не трогать классика, ему—можно»...

...Если кратко—впечатление огромное. Случается читать всякое, но давно уже не помню, чтобы так фундаментально шло письмо, с таким блеском рисовалась логика людского поступка. И—говорил автору—под конец (волшебство) без всякого портрета начинают всплывать облики персонажей, то есть начинает работать подсознание. В туманной дымке, но встают—в подробностях. «По одежке»—каждый. Ни одного выверта за границы здравости: не потому, что, «как у батьки

Шекспира», гибнут все (так и было), но потому, что чуть раньше вырываются из земли хилые корешки, а уж потом всемирный ветер приканчивает и целые дубняки, и, выносясь за пределы отведённого Природой, выворачивает и несёт по воздуху вековые пни.

Семейная сага, да ещё на фоне первых сорока пяти лет прошлого века,—жанр благодатный. Сравнимым по объёмам историческим эпопеям нашим, исполненным после 1991 года наскоро и, разумеется, с разной степенью обиды на большевиков, царя, жидомасонов, нужное подчеркнуть, не хватает, кажется, именно «мотивации», железной обоснованности, которая первой ощущается в тексте как первооснова всему дальнейшему. Поехал—куда? Почему? Заметьте—не «на чём», а—по какой надобности? И думал—что?

Беларусь... по старому, по-нашему—Белоруссия. Картинка, встающая в сознании, проста и непреложна: леса да болота, и меж ними, на густых сплетеньях тропок, то бревенчатые, то белёные хаты, дровяные ограды, выпасы да поля. Русь, да не Русь. Белая, чёрная, кто теперь разберёт, после Беловежья.

Года с 1908-го по 1945-й, с финальной сценой в 1995-м расписана история истребления одной, по сути, семьи и примыкающих к ней некоторых других фамилий, идущих фоном. Топос—лесная глухомань, вдали (на равноудалении) от любых родов, что крупных, что мелких. Свойства деревни Порхневичи таковы, что даже при номинальном русском графе Турчанинове правит в самом населённом пункте родовая аристократия, именем которой пункт и называется. Родовая-то родовая, только неподтверждённая: документов на владение у неё, аристократии, нет, и отродясь не было. Архивы молчат примерно так же, как сегодня на запросы самозванных певцов и певичек, метящих во дворянство. И приходится нехило платить, чтобы разомкнуть неподатливые уста—тогда и наёмные генеалогисты, или как там они зовутся, впишут, что и где надо. Внесут, так сказать, в кортесы.

Порхневичи—тип хозяев волевых, по-своему страстных, жестоких, идущих в хотениях своих

до конца, и, разумеется, ошибающихся, причём фатально, то есть копящих себе не столько преданных слуг, сколько лютых ненавистников. Как и заведено в настоящем мифе, хозяева высоки, подвижны, могущественны, малоразговорчивы — сушие волки.

Это «соцреализм навыворот»: без иллюзий. То самое видение, которое достигнуто человеком наших лет — прошедшим советчину и бессовестчину, лично убедившимся в том, что движущие силы мира отличны от терминологии любых идеологий, носящихся над ним. В изображении Порхневичей и их присных автор достигает, кажется, предела возможной достоверности, предела реализма, который не принадлежит ни социализму, ни капитализму — только одинокому опыту исступлённого наблюдения за жизнью.

Автору самому бы хозяйствовать, и удачно, с такой тщательностью выписаны основная и вспомогательная системы снабжения и достатка Порхневичей: с одной стороны, конечно, мельница и кузня, но с другой стороны — подпольный винокурный заводик, и большие перспективы в этой связи — бутылочный бизнес с выходом на города...

Разительно понятен в романе способ хозяйствования — общинно-барский: все на себя, но во имя паново. Ну никак не Шолохов, где каждый казак — блаженная семейная единоличность с замкнутым циклом от поля и реки до стола. Вёшенские друг другу, прежде всего, соседи, юркие поречни в тугих струях донского времени.

Порхневичи — извечно прорежаемые от сорняков грядки «справных» и «несправных» трудяг. Вот уж откуда подлинно «нет выдачи»! Единственный, по сути, уцелевший, скрывается от родового «парадиза» в Канаде, уверенный женой в том, что сын его на самом деле — от пана. Почувствовал свободу... и пришкандыбал на очередное 9 мая ещё бодрый, в пенсионерских джинсах, и сел, и слушал.

Пара ретроспекций из военных лет, суть которых становится понятной в конце (уцелевший графёнок идёт мстить Порхневичам за погром имения), и к этим самозванным панам привыкаешь. Больше всего — к их беспокойному образу мысли, постоянным разъездам, тихому, но упорному давлению на каждого, попавшего в орбиту их влияния... Громадный Ромуальд и сын его Витольд — настоящая крепь, терпкие аммиачные соли, без которых Порхневичи в два счёта превратятся поглотятся ненасытной пущей... Собственно, так и происходит в финале: на пепелище после двух немецких карательных операций не спешат даже случайно выжившие.

Итог правления белорусских Форсайтов плачевен, но велик именно трагическим концом одной жизни и начала неведомой новой. «Проклятье» ли «картофельного поля», или просто прихоть

судьбы, несчастье малого народа, разбросанного лесами племени, затёртого между немцев, поляков и русских?

Кстати, о русских: роль «Большого Брата», постоянно твердящего сегодня о «братском белорусском народе», в романе невелика. Звучит, когда барчонок почти дорвался до мести Витольду: белорусу любой барин враг, что русский, что польский, кровопийцы — все. А свой, белорусский барин? И — он. За компанию. Терпим, но не любим.

За такое желание свободы платят миллионами жизней, что и было сделано. По сути, мы, авторской волей, застаём целую нацию «лесовиков», мелких заводчиков в момент величайшего цивилизационного реформирования: им предстоит лишь пустить потомство и немедленно пропасть без вести. А поедемте в Ветчиновичи? Не хотите? Тогда — в Лососиновичи. И быстро, пока не догнажи.

С самого детства я, знавший более-менее близко нескольких этнических белорусов, чувствовал куда интенсивнее, чем в отношении даже армянской родни, — спрашивать их о прошлом не то что неловко, а — нельзя. И не скажут ничего, и посмотрят так, что второй раз спрашивать не захочешь. Какая-то неисцелимая трагедия стояла, по совпадению, за каждым из них, какое-то страшное молчание... как в «Иди и смотри», когда зажмурившиеся подростки пробегают мимо стены, у которой навалены тела расстрелянных — на один миг только видны белые трупы, а уже хочется зажмуриться, разинуть рот в беззвучном крике.

Из русских здесь — отец Иона, роль которого прочерчена максимально «по касательной». Несчастные, убитые за расширение бутылочного бизнеса Турчаниновы, какие-то голодные пленные, сбежавшие из польских концлагерей после неудачного наскока Тухачевского на Пилсудского (уж не внутринациональная ли драма?), нанизываемые на крестьянские вилы. В чём же вековое братство, единящая роль Православия, наконец? Отстранённость и от царских догматов, и от «большевистских орд» колоссальна: «вместе» мы, мягко говоря, недавно, с конца войны по конец Союза. С полвека не наберётся.

А — «ментальность», образ, то бишь мысли? Не смешите. Волосы шевелятся: уж если на таком тонком волоске висят два самых близких народа (Украина уже показала нам, какие мы братья), чего стоят остальные наши «межнациональные узы»? А могла ли точно такая же, только уже не Далибукская, а какая-нибудь иная сага развернуться в Сибири? И могла, и развёртывалась. Так в чём же дело? А в том, что между народами и «в составе», и вне его, расстояния — планетарные.

А мы всё — русофобия, русофобия. Да какое там... Из невозможной, галактической дали видимся — спасибо роману — себе — мы. Пока, значит,

у нас грохотали первые пятилетки, и уже вымарывались неудобные фамилии, и подменялись биографии ревизскими сказками, и получались новые «чистые» документы представителями не нужных более сословий, и шли суды над проштрафившимися, «там» до самого конца войны бытовали — паны. Порхневичи в белом и в чёрном, но — Порхневичи, для которых наши обклеенные изнутри фотографиями из журнала «Огонёк» индустриальные сундучки — ничто. Меньше, чем ничто. У них — бутылки, направляемые в города с названиями, звучащими по-славянски, но по сути — польские, польские и ещё раз — до неметчины — польские.

Архитектоника власти (пусть местной) в романе дана беспощадно: «общее благо» для властвующих — уморительный миф. Власть, обладание ею над людьми является психобиологическим свойством натуры, передающимся (или не передающимся) по наследству. Власть можно уничтожить так же, как срезают гриб, но грибница — «отношение» останется в земле на долгие десятилетия, если не века, и новые боровики и поганки взойдут над ней.

Власть не мудра, она не заботится ни о ком и ни о чём, кроме удовлетворения своего чувства владения, и лишь попутно «решает проблемы». Своды законов, по которым она якобы действует, — чистая фикция придания себе легитимности. От вора в законе Порхневича не отделяет ни гран, ни йота: он сам поставил себя во главу угла, и угол, несмотря на его старания сохранить овец, выгорает дотла.

Чтение «На креслах восточных» подспудно убеждает в том, что за строками речь идёт ни много ни мало о генезисе славянской, взятом в одно из самых экстремальных географических и культурных стыков, даже не с «коллективным Западом», но с миром вообще.

В тексте, словно на коричневатом-белёсом дагерротипе огромного разрешения, видны родовые шрамы народа, если и получившего волю, то не знающего теперь, после 1991 года, как и большинство постсоветских народов, что с этой волей делать. И мы не знаем, и они, ради чего гибли и гибли без счёта миллионы, от которых ни фотографий, ни преданий не осталось. За какую ж такую «волю» ораторствовала национальная интеллигенция? Биографии «мыслителей» вывернуты перед нами, как карманы обыскиваемых: воры, растратчики, стелившиеся под поляков, «когда нельзя было сделать ничего другого» — это же не только они, но и мы. И под Игом точно так же, несомненно, и было: и витийствовали, и скрипели зубами под одеялом на «закручивание гаек», и благодарственно плакали при послаблениях.

Роль поляков Попов рисует, не жертвуя ни единым горьким штрихом: на каждого зверя-помещика, что совершенно убивает, зверя образованного

и логичного, находится несчастный ксёндз, укрывающий еврейских детей, но! — суть нации, заигравшейся в самостийность, впавшей в наркологическую зависимость от мечты о ней, никогда реальностью не бывшей, остаётся единой и неделимой: предавать всех. Это, судя по сказанному в романе, да и чувствуемому кожей, и составляет, так сказать, модус. И вивенди, и операнди. Чем наглее «гордость», тем сокрушительнее и предпринимаемое ради неё унижение. Се тот самый уровень исторического самосознания (и поведения), до которого «самостийные» белорусы, объявившие о своей независимости под самый конец войны, пытались дорасти, но — слава Богу! — не доросли.

Особого, сверхреалистического толка концепция напрашивается сама собой: единственное, что можно прозревать в кровавом хаосе, за строками учебников — равновесие. Нельзя выписать даже самый пострадавший народ безвинной жертвой (точно так же, как в «Апокалипто» задолго до прихода португальцев идёт бешеное истребление «развитым» индейским городом индейской же деревни), невозможно объявить святым даже то, что свято в согласии с величайшей ценой, заплаченной за несколько десятилетий отсутствия войны.

Великое равновесие Добра и Зла в людях, их восприятию жизни — единственная, может быть, реальность, достойная описания и назидания, и в этом ноу-хау «Кресов».

Плод истинно созревший падает к ногам со звучным хрустом, показывая нутро. Таков и роман Михаила Попова — результат детских, ещё советских впечатлений, когда семилетнему мальчику было открыто всё — и советские солдаты, дошедшие с маршевыми ротами до Берлина, и бывшие полицаи на немецких протезах, и укрыватели, и укрывавшиеся, и предатели, и преданные. Здоровающиеся и отмалчивающиеся, слившиеся в новые семьи палачи и жертвы. Что это? Как? Можно ли не провести неисцелимо кровавую границу между теми, кто мучал и был замучен? Не всегда: и палач понимает, в какую сложную механику посмертной воли попал, и как невозможно выпутаться из сетей долга перед оставшимися, и жертва подсознательно чувствует: долги надо успеть выплатить, и бьёт, и плюётся, и царапается, но и затихает, и готова простить...

Это единение не в совершённом ужасе, но в судьбе, скрутившей вихрами два рода. И здесь не столько царство биологии, но человеческого понимания совершённого насилия. Метафизика: Янина Порхневич, сестра, в общем, «палача еврейского народа», выводит уцелевшую девочку-еврейку Сару к своим, но та, не дождавшись чуждой ей жизни, бежит к расстреливаемым своим, чувствуя судьбу, избегая, может быть, куда большей муки в лесах с теми, кто никогда не станет её семьёй.

И Янина, обваренная супом старшей сестрой Сары (первый звонок неукротимой ненависти), погибшей во время очередного погрома, понимает рациональность сумасшедшего шага под пулю: ещё раз судьба тычет ей в лицо тем, что сотворил её Вениамин. Прощения ни ей, ни миру в этих людях — нет. Так они сотворены — жертвами и мстителями оком за око.

Взгляд автора целомудрен: в непосредственный момент насилия он теряет способность видеть, будто мгновенно застилается слезами.

Одна из самых значимых для меня сцен в «Иди и смотри» — параллелизм немцев, стоящих перед сжигаемыми в сарае людьми (адская толпа подонков, сюрреалистически развязных, настоящих дьяволов) и советских партизан, выстроившихся для общего фото. Холодком обжигает: и народные

мстители, возглавляемые удалым начштаба, воздевшим шашку, кажутся толпой агрессивной, в любой момент могущей слететь с катушек. Интуиция художника: сравнение «европейской нации» с животными заметили все, а тычок в собственную спину...

Михаил Попов если и доказывает нечто, то самое значимое: мы — свободны. Может быть, впервые, и так же, как белорусы, молдаване, узбеки, грузины, понятия не имеем об этом. Свобода наша заключается в том, что мы можем видеть себя без прикрас, такими, какими нас вылепили мы сами, наши предки и система, прости, Господи, образования.

Цензуры нет — осталась боль, которую мы, конечно же, навесим на оглашенное потомство. Зачем? Чему оно с ней научится? Пусть бы слегка большему, чем мы: поменьше мечтать о свободе, но быть свободными от рождения.

ДиН ЮБИЛЕЙ

По страницам
«ДиН» № 1-2 | 2007

Александр Городницкий Топонимика



Пока не заплачет ребёнок,
Очнёшься неведомо где.
Кораблик выходит за божу
По утренней чистой воде.
Волну раздувающий ветер
Вгоняет каюту в пике,
И зайчики пляшут, как дети,
На низком её потолке.

Пока не заплачет ребёнок,
Припомни звериный оскал
Базальтовых чёрных гребёнок
Холодных арктических скал.
Гусей перелётные стаи,
И старый охотничий нож,
Далёкую юность листая,
Которую вспять не вернёшь.

Пока не заплачет ребёнок,
Ты можешь почти досветла,
Грустить о друзьях погребённых,
О жизни, что в целом прошла.
Из мест и времён отдалённых
Тяни ностальгический сон,
Пока не заплачет ребёнок,
Вея позабыть обо всём.

Любите Родину

Когда метель за окнами шальная
Свирепствует, нередко иногда
Учительницу нашу вспоминаю,
Войною опалённые года.
Она твердила по сто раз когда-то
Голодным ленинградским пацанам:
«Всегда любите Родину, ребята»,
За что любить, не объясняя нам.
Был муж её в тридцать седьмом расстрелян,
А мать её в блокаду умерла.
«Любите Родину, ведущую нас к цели!
Любите Родину и все её дела!»
Она болела тяжело под старость.
Ушла её седая голова.
И всё, что от неё теперь осталось, —
Вот эти лишь наивные слова.
Я к ней несу цветочки на могилу,
И повторяю по сто раз на дню:
«Любите Родину, покуда будут силы».
За что любить, увы, не объясню.

Ольга Немежикова

Люди и время в прозе Игоря Германа

Герман Игорь. Премьера: рассказы и повести.— Красноярск: «Палитра», 2017.

Минусинский писатель, актёр, режиссёр Игорь Герман по-своему решает задачу художественного слова дня сегодняшнего. Яркий дебютант реалистической школы, он без метафор умеет разобраться в руинах перестройки массового сознания, понять, откуда дует ветер и как с этим быть отдельно взятой личности. Последнее представляется совершенно невероятным, но книга «Премьера» — тот самый случай, когда художественная литература даёт силы для жизни в её диалектической полноте, не шарахаясь от тёмных и отвратительных сторон души и не придавая им гротескных и гипертрофированных форм. Жизнь как она есть, узнаваемая, непредсказуемая и бесконечно прекрасная. Продолжая традиции русской классической литературы, автор самобытно исследует национальный характер в реалиях новейшего времени.

Герои двадцати рассказов и двух повестей — учителя, врачи, музыканты, артисты, деятели культуры — наши современники, жители провинциального городка.

Родная Игорю Герману тема театра не только выведена на обложку. Театр предстаёт зеркалом повседневности и одновременно испытательным полигоном. Подборка рассказов симметрично прошита театральной трилогией с единым составом персонажей. Сама архитектура сборника разворачивается по законам драматургии. После «читки пьесы» читателю как бы даётся возможность познакомиться со «своеобразием» материала. В середине подборки мы снова попадаем в театр, чтобы оттуда вновь отправиться на полевые наблюдения. После объявления премьеры начнётся первый акт — безотрадная драма повести «Братья Шуть». В финале второго акта (повесть «Отец») хочется хлопать стоя. Из театра зрители (читатели) и актёры возвращаются домой, в свои семьи. Здесь начинается самое сложное и интересное — обдумывание (перепрочтение), спуск в лабиринты творческого замысла, неожиданные открытия. Но обо всём по порядку.

Название первого рассказа театральной трилогии, «Приглашение к безумию», недвусмысленно вызывает тень романа Владимира Набокова. Приглашённый в такую провинциальную глубинку

из Москвы молодой режиссёр Болотов с дьявольской обходительностью готовит к постановке продукт «молодой современной драматургии». Поток сквернословия по тексту пьесы будет проноситься актёрами только на репетициях, а во время спектакля фантомно проговариваться в голове, чтобы зрители наверняка смогли прочувствовать пафос детища драматурга. Возникшая ситуация неожиданно сдувает с актёров интеллигентную оболочку, оказавшуюся для них самих удивительно хлипкой. *Время других ценностей, других отношений, других пьес. (...) Время других людей* — лейтмотив книги — будет кочевать из рассказа в рассказ, поворачиваясь так и этак. Как и дилемма о сути искусства. Стоит ли разделять сцену и жизнь? Что же такое современная пьеса, в чём её философия? Читатель удивится вместе с актёрами: так вот вы какие, Ромео и Джульетта с мобильниками! Это — любовь?!

«Театральная история», второй рассказ трилогии, с юмором расскажет о «маленькой слабости» актёра Гутина и не только его одного. Каскад лестных записей в книге зрительских отзывов оказался написан одной рукой. «Справедливое возмездие» актёра Гутина коллеге Херсонову, хитроумно прокладывая путь через бутылку, находит выход самый неожиданный. Мучительная творческая неудовлетворённость под влиянием алкоголя вылилась в разговор по душам, и Гутин *вдруг остро почувствовал в (Херсонове) товарища по искусству, а значит, товарища по несчастью. Такого же ранимого. Такого же избитого.*

Молодой артист, дебютант Колпаков примет в «Премьере», заключительном рассказе трилогии, боевое крещение. Инициированная коллегой Херсоновым попойка с «убедительным» поводом даст возможность насмеяться до слёз, и эту возможность читателю лучше использовать, потому что нижеследующее по тексту, в том числе и за пределами рассказа, смешным уже не будет. *У него было полное ощущение, что он столкнулся с чем-то непробиваемым и тяжёлым, которое когда-нибудь, при других обстоятельствах непременно раздавит и его так же, как раздавило многих его товарищей.* Андрею Колпакову повезло: на следующее утро, перед дневным спектаклем, актёр Тяврнин,

не принимавший участия в «театральной традиции», скажет всё, что думает по этому поводу.

Запомни, Андрюша, раз и навсегда: в театре существует только одна традиция — хорошо работать. Всё остальное — повод для пьянки. (...) Тот театр, который ты наблюдал вчера, он действительно существует. (...) Но есть ещё и другой театр. (...) Такой театр находится и в тебе. Поищи его. Театр — это то, во что каждый из нас превращает свой Божий дар. (...) Скажу тебе правду: меня очень трудно сбить со своих позиций, но и я, наслушавшись подобных разговоров, потом долго не могу прийти в себя. Мне нужно какое-то время, чтобы восстановить силы и зарубцевать язвы, которые разъел в моей душе чужой чёрный скептицизм. Творческая душа очень ранима. Оберегай её от влияния разочарованных людей. Помочь им ты уже ничем не сможешь: творчество — это плавание в одиночку... Постарайся помочь хотя бы самому себе. (...) Человек должен служить какому-то делу. Я выбрал своё и не жду за это от судьбы награды и благодарности. Напротив, я даже сам благодарен судьбе за то, что имею счастлившую возможность служить своему делу... Подумай. Разберись в себе. Может быть, это и твой путь.

Наставник понимает, что редкий человек отважится противопоставить себя большинству. Речь Тявринина о главных вещах, изложенная без патетики и дидактики, без кликушества и проклятий «заедающей» среде, воспринимается как откровение. Безусловно, ради этих слов и был написан рассказ. Ради этих слов книгу стоит прочесть, и она уже не забудется. Говоря языком религиозным, ради спасения души.

Новое время — новые реалии. Продолжая чеховскую традицию, Игорь Герман пишет свои рассказы-открытия. Школьный инцидент о пресечении распространения порнографии среди четвероклассников под натиском юридически подкованной мамы претерпевает инверсию самую парадоксальную. Под предлогом защиты прав личного пространства и собственности ребёнка школьной системой цинично унижена учительница, которой год осталось до пенсии. Морально раздавлен человек, чётко, в отличие от амбициозной родительницы, разделяющий добро и зло, способный принимать по обстоятельствам оперативные решения («Урок гражданского права»). Другая «мать» («Кукольное сердце»), потеряв всякие ориентиры, но заливаясь слезами, за пачку валюты продаёт малолетнюю дочь на поругание.

В *настояще(м) предательств(е) своего таланта* обвинит преподаватель музыкально одарённую Наташу Костицину («Ах, музыка, музыка...»), которая с первого класса под патронажем мамы развивает свои способности. С пятого класса честолюбивая Наташа осознанно стремится вырваться из опостылевшей бедности. Учитель даже

в мыслях не допускает, что не музыка для девочки цель. Музыка оказалась средством и привела девушку через замужество напрямую в бутик элитного белья — подарок состоятельного жениха к свадьбе.

Я — хозяйка! Хозяйка, мама, хозяйка. Ты могла себе такое представить, подметая эти грязные, заплёванные подьезды?... Порадуйся за меня, мама... (...) я стану обеспеченным человеком: не только хозяйкой магазина, но и хозяйкой своей судьбы...

Многоточия, а не восклицательные знаки в восторгах прелестной невесты оставляют открытым вопрос, сможет ли Наташа стать хозяйкой своей судьбы, став хозяйкой магазина? Возможно, когда-нибудь Наташа тоже сделает неожиданное открытие. Ах, музыка, музыка!..

Публицистический рассказ-манифест отца, казалось бы, о причинах отсутствия друзей у пятнадцатилетней дочери («Почему у моей дочери нет друзей? (Размышление 2009)») открыто выражает позицию, под которой подпишется любой человек, если ему не безразличен моральный облик общества как минимум за окнами квартиры. Отец и дочь не могут оторваться от экрана, поражённые омерзительным зрелищем. Наглядная картинка, как запах, как звук, минуя разум, напрямую проникает в подсознание зрителей СМИ, ошарашивая, разрушает личность, которая, не имея действенных механизмов защиты от агрессивной среды, вынуждена приспосабливаться к навязанным «нормам». И вот уже повсюду, на улицах, в общественном транспорте и даже в учебных заведениях, на правах разговорных штампов звучит матерщина. Из махровых цветочков завязываются ядовитые ягодки...

Героем мифа Древней Греции, почти Прометеем, предстаёт гражданин Брусникин из рассказа «Фигурант». Вспять личному благоденствию гражданин Брусникин радеет за состояние дорог любимого города. Не менее легендарны жители, не поленившиеся выдвинуть и поддержать его кандидатуру на звание «Человека года».

Пятую часть сборника автор отдаёт ироничным и просто забавным историям о взаимоотношениях мужчины и женщины («Единое мнение», «Романтики», «Свет мой, зеркальце...», «Знакомство», «Реакция Вассермана»), мистической новелле («Невероятный случай»), сатирической зарисовке о футбольном фанате и его не менее фанатичной маме («Заботливый сын»). Читателю будет, где перевести дух.

Рассказ «Самый страшный случай» — единственный, выходящий за временные рамки постсоветского пространства. Однако именно он связывает Россию былую и настоящую, обращает к героическому прошлому, поскольку внук, которому дедушка рассказывает самый страшный для него случай на войне, давно вырос. Этот внук запросто

может оказаться повествователем книги. Что может быть самым страшным? Зов родной крови заглушил разум, оказался сильнее страха смерти, и не только смерти. *Мне было скверно до полнейшего равнодушия к собственной судьбе. Я ничего не хотел понимать.* Желание увидеть родителей, возможно, перед смертью в бою, настолько сильно, что молодой солдат решил рискнуть не только жизнью, но даже честью — в случае опоздания к отправке эшелона его ждёт трибунал.

Где подспудно, где прямым текстом Игорь Герман проводит библейскую тему отца и сына, наставника и ученика — главную, генеральную линию книги.

Тридцатилетний учитель Латышев («Работа над ошибками») ненароком обидит бездомного щенка, доверчивый взгляд которого *поразительно напомина(л) взгляд ребёнка*. Щенок появился, чтобы исчезнуть, но при этом окончательно растормошит сердечную тайну учителя, давно уставшего не только от своей работы. *Он проигрывал самому себе, и окончательное поражение духа было только вопросом времени.* Автор даёт возможность герою после проверки работы над ошибками своих учеников совершить поступок — поехать в другой город для знакомства с шестилетним сыном. Неизвестно, как сложится дальнейшая судьба, появится ли у Латышева семья, возникнет ли интерес к жизни, но с сыном он наконец решился встретиться.

А семилетний Дима («Попутчик») всякий раз сам идёт к папе через ночной город, стараясь по темноте заручиться попутчиком. Родители мальчика разошлись. Мама, которой двадцать шесть лет, пьёт и плачет, не находя в себе силы преодолеть проклятую слабость. Отец с новой семьёй живёт в стеснённых условиях и, спасибо, на ночь даёт сынишке приют. А он, такой маленький, всё понимает и совсем не по-детски жалеет мать: *«Она хорошая. Это всё её друзья»*

Игорь Герман даёт шанс своим героям увидеть пустоту ни к чему не обязывающего прожития времени жизни. Мужчина, живущий как ему удобно. Мечта женщины о «настоящей» семье и долгожданных детях. Именно мечта, потому что женщина готова покорно следовать воле мужчины. Но случается чудо. Неродившийся ребёнок, во сне назвавший главного героя папой, ждёт решения своей судьбы. *Ну, это ведь ещё не ребёнок. И вообще пока не человек. Совесть мужчины в таких щепетильных случаях чиста. Почти чиста.* Тем более, успокаивает себя мужчина, *стать отцом никогда не поздно.* Герои рассказа «Пограничное состояние» символично лишены имён: только он и она, и неизбежное «ты меня любишь?»

Рассказ «Учитель» зеркально перекликается с содержанием рассказа «Кукольное сердце». Если в последнем у вполне адекватной матери выросла

аномально бесчувственная дочь, то здесь непутёвый отец (тоже сын вполне благополучной матери) становится антиподом для своего ребёнка. Яблоко от яблони упадёт очень даже далеко. По этому поводу можно развить немало теорий, но решающее слово в конечном итоге остаётся за автором, за его самобытным взглядом на проблему воспитания личности и основу стабильности общества.

Заключительные повести обобщают логику авторской мысли.

Мрачная, в духе Достоевского, повесть «Братья Шуть» безысходна. Безработица, безденежье, отсутствие надежд на лучшее завтра, лишние люди. Общество выживания, где само качество жизни уподобляется мясорубке души. Она перемалывает людей в неудачников, в отверженных, в мстителей. И для старшего брата Шуть, безработного учителя, правила вдруг открывшейся игры ход предлагают самый зловещий.

Повесть «Отец» контрастно светла и не менее убедительна простотой и вечностью сюжета. Социальная жизнь героев обустроена, завтрашний день, если их и волнует, то исключительно в плане душевного комфорта. Страница за страницей неторопливо посвящают в таинство возвращения сыну вынужденно блудного отца. Повествование глубоко психологично, характеры героев с их достоинствами и слабостями узнаваемы и понятны. Читательское сопереживание освящено библейской легендой. Отец и сын становятся читателю настолько родными и близкими, что в финале мы вместе с сыном едва не лишаемся чувств, увидев пустую больничную койку отца. Тема прощения и любви к ближнему, традиционная для русской литературы, звучит в повести симфонической музыкой.

Время других ценностей, других отношений, других пьес. (...) Время других людей. Других ли людей время? И да и нет. Люди пытаются приспособиться, приходит понимание, что рассчитывать можно лишь на свои силы. Духовные силы. Если герои оказываются в стабильных экономических условиях, они успешно решают любые психологические проблемы. Если материальные основы жизнедеятельности в руинах — беда неизбежна. Но такой вывод лежит лишь на поверхности, авторская идея гораздо глубже. Повесть «Братья Шуть» иллюстрирует безотцовщину. Старший брат вынужденно занимает место отца для младшего, но во время социальных испытаний не только не может стать ему духовной опорой, но гибнет сам и губит его. Мать братьев — женщина во всех отношениях положительная, однако это ничего не меняет.

В «Уроке гражданского права» нет упоминания о том, что мальчик воспитывается в полной семье. Героиня «Кукольного сердца» — мать-одиночка. Похоже, такова и её мать. Наташа Костицина

(«Ах, музыка, музыка...») выросла без отца. Авторитарная женщина в роли отца (повесть «Отец») под пером Игоря Германа выглядит откровенно диковатой фигурой, но вполне правдоподобной фурией.

Идея полной семьи как гарантии полноценного общества актуальной будет всегда. В лихие времена вся тяжесть дления жизни естественным образом ложилась на женские плечи как минимум на пару поколений, и мир держался, не падал. Для счастливой семьи вопрос «кто главнее?» даже не поднимается, люди сами находят гармоничные пропорции. Равноправные отношения не только Эрих Фромм считает самыми совершенными.

А для кого-то лишь дилемма «кто кого?» будет единственно азартной. Жизнь многолика и неистощима на эксперименты, и всё сложнее загнать общество в единые стандарты. Но дело художника — творить свою реальность, и Игорь Герман её творит. В его идеальном художественном мире царит патриархат. Если этого не происходит, случаются катаклизмы, которые и становятся предметом искусства.

И всё-таки в мире Игоря Германа побеждает добро. Не трезвый расчёт, не компромисс, а добро, которое без причин, которое только и позволяет человеку чувствовать себя человеком. Во все времена.

ДиН юбилей

По страницам
«ДиН» №2 | 2008

Илья Фонаков

Сибирская ностальгия



Протри глаза: на Чуйском тракте — мамонт!
Всамделишный, хошь верь, а хошь не верь.
Как в старых фильмах фирмы «Парамаунт»,
Доисторический прекрасен зверь.

Воздвигнут он не просто по капризу:
С ним сняться разрешают за рубли.
Шерсть бурая, расчёсанная книзу,
Свисает и касается земли.

Турист позирует, обняв подругу,
И видит, выше поднимая взгляд,
Что на горах, по скошенному лугу,
Стога, как стадо мамонтов, стоят.

На Алтае

Молитвенное дерево Алтая
На перевале, в тряпочках цветных.
Тянусь как можно выше и вплетаю:
Пусть и моя останется среди них.

Без всяких просьб, желаний, знойным летом,
Встав на одном из выгнутых корней,
Тянусь, тянусь — и, хоть на миг, при этом
Сам становлюсь чуть выше и стройней.

В богов не верю, но в молитву верю.
Недаром с давних пор в горах, в глуши
Звезде молились, кедру, камню, зверю:
Молитва — устроение души.



Что Москва, что здешние районы —
Облик схож у нынешней толпы:
Те же сотовые телефоны,
Те же обнажённые пупы.

Летом семьдесят второго года
Свой прогноз на обозримый срок:
Именно такая будет мода! —
Выдал нам компьютерный пророк

Это было в городке научном.
Для тогдашних деловых ребят
Был товаром шуточным и штучным
Сей парадоксальный результат.

Мы тогда в грядущее глядели
Сквозь манящий розовый туман.
Новой экономики модели
Составлял Абел Аганбегян.

Нам с трибун ораторы вещали
С цифрами в руках, не на авось,
Напророчили, наобещали...
Радуйся: хоть что-то да сбылось.

стр.
187

Арутюнов Сергей Сергеевич
Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий — «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии», «нг-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (дважды, 2010, 2012), ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр.
40

Брагин Никита Юрьевич
Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический факультет Московского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Геологического института РАН, эксперт ВАК, автор многочисленных научных работ. Преподаёт в Российском государственном геологоразведочном университете (Москва). Автор сборников и книг стихов: «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, потоки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» (2010). Публиковался в альманахах и сборниках по итогам различных поэтических конкурсов, журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», «Чайка», «Литературный меридиан», «Невский альманах», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России.

стр.
56

Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинск Свердловской области. Рос и учился в селе Пятёрыжск на Иртыше в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газете Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси—2008» (номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011) «Рождественская звезда—2011» (номинация «Проза»). Член Союза российских писателей.

стр.
182

Дергалов Дмитрий
Нижегородская область, 1991 г.р.

Родился и живёт в посёлке Семёновском Нижегородской области. Окончил лицей №1 города Семёнова, затем нгту имени Р.Е. Алексеева по специальности «Компьютерные технологии в проектировании и производстве». Работает инженером (это тот редкий, исключительный случай, когда хотелось бы сказать «инженером человеческих душ») в АО «НПП „Полёт“». Победитель в поэтической номинации Болдинского слёта-конкурса молодых литераторов 2015 года,

обладатель специального приза семинара-совещания «Мы выросли в России» (Оренбург, 2018) Его стихи публиковались в нижегородских альманахах.

стр.
184

Замышляев Владимир Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в Петрозаводске. Детство провёл в Сусанинском районе Костромской области. По окончании средней школы работал на заводе, служил в армии. Окончил Ленинградский институт культуры. По окончании института приехал в Красноярск. Работал директором краевого Дома народного творчества, в краевом управлении культуры, в краевом совете профсоюзов. В 1978–1983 годах работал директором Красноярского книжного издательства и заместителем главного редактора журнала «Енисей». Окончил Академию общественных наук (Москва). Кандидат философских наук. После академии находился на партийной работе, преподавал в Красноярском институте искусств. С 1991 года — в Сибирском аэрокосмическом университете имени М. Ф. Решетнёва. Автор четырёх поэтических сборников, публицистических книг «Философия выбора» и «Енисей — река свободы», соавтор более 20 коллективных сборников, альманахов поэзии и книг публицистики. Печатался в журналах «Енисей», «Звезда», «День и ночь», «Книжное обозрение» и др. Профессор СибГАУ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей и Союза журналистов России, член-корреспондент Академии гуманитарных наук (Санкт-Петербург).

стр.
6

Ишбулдин Тимур Эрнстович
Башкортостан, 1976 г. р.

Выпускник Горного политехнического техникума. «Инженер поневоле, механик в силу склада ума, философ по случайному стечению обстоятельств, живёт и работает в дороге, бесконечно перемещаясь по миру, в котором Провидением Божиим имел честь родиться». В литературном журнале публикуется впервые.

стр.
178

Кармалита Кристина Евгеньевна
Новосибирск, 1984 г. р.

Окончила факультет психологии Новосибирского государственного педагогического университета, сценарный факультет вгик. Работает фотографом. Автор сборника стихов «Сны стеклодува» (Новосибирск, 2013) и сборника пьес «Голоса» (Новосибирск, 2014). Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «Алтай», «После 12» и др., в газетах и сборниках. Лауреат молодежной премии журнала «Наш современник» в номинации «Поэзия» (2015), драматургических конкурсов «Евразия» (Екатеринбург, 2014, 1-е место в номинации «Пьеса для камерной сцены»), «Филатов Фест» (Москва, 2017),

37-го Международного студенческого фестиваля вгик-2017 (сценарный конкурс, за сценарий полнометражного фильма «Мои родители», 2-е место). Член Союза писателей России. Соруководитель Товарищества сибирских драматургов «ДрамСиб».

стр.
42

Кравченко Наталия Максимовна
Саратов

Филолог, член Союза журналистов, работала корреспондентом ГТРК, социологом, редактором частного издательства. Читает публичные лекции о поэзии разных стран и эпох. Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критических статей. Публиковалась в журналах и литературных альманахах «Саратов литературный», «Эдита», «Русское литературное эхо», «Сура», «Параллели», «RELGA», «Новый свет», «Фабрика литературы», «Порт-фолио», «Артикль», «Эрфольг», «45-я параллель», «Семь искусств», «Лексикон», «Золотое руно», «Гостиная», «Подлинник», «День и ночь», «Нева», «Южное сияние», «Зарубежные Задворки». Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии «Пушкинская лира» (Нью-Йорк, 2-е место). Финалист 5-го Международного конкурса поэзии имени Владимира Добина (Ашдо-Израиль). Лауреат Международных поэтических конкурсов «Серебряный стрелец», «Цветаевская осень», «45 калибр», «Эмигрантская лира-2013/14», конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия», конкурса имени Дюка де Ришелье (Серебряный Дюк), международного конкурса «Серебряный голубь России 2016» (Санкт-Петербург, 4-я премия), финалист и дипломант межобластного конкурса поэзии «Чем жива душа...» (Ярославль, 2016), международного литературного конкурса «Родной дом» (Минск, 2016), лауреат литературной премии «Свой вариант» (Луганск, 2016).

стр.
131

Крюкова Елена Николаевна
Нижний Новгород, 1956 г. р.

Родилась в Самаре, на Волге. Русский поэт, прозаик, искусствовед. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Финалист премии «Ясная Поляна» (2004, роман «Юродивая») и «Карамзинский крест» (2009, роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — лонг-лист премии «Национальный бестселлер» (2003). Лонг-листер премии «Русский Букер» (2010, роман «Серафим»). Лауреат премии имени М. И. Цветаевой (2010, книга стихов «Зимний собор»). Лонг-листер премии имени И. А. Бунина (2010, «Зимний собор»). Лауреат премии «Согласование культур» (Германия, 2009)

в номинации «Поэзия». Финалист Волошинского конкурса в номинации «Проза» (2009, рассказ «Яства детства»), Волошинского конкурса в номинации «Проза» (2010, рассказ «Краденая помада»). Лауреат премии имени И. А. Гончарова за роман «Беллона» (2015). Арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов в России и за рубежом (вместе с художником Владимиром Фуфачёвым): «Священный бык» (Музей современного русского искусства, Нью-Йорк, 1998–1999); «Небесная колесница» (Марсель, 2004); «Архетип» (Нижний Новгород—Москва, 2006); «Символы Земли» (Кассель, Германия, 2006–2007); «Анестезия» (Нижний Новгород, 2007); «Долина царей» (Москва, 2008) и др. Директор Культурного фонда «Fermata» (США, с 2008). Член Союза писателей России.

стр.
46

Лыткин Сергей Григорьевич
Красноярск, 1953 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет. Служил в Советской Армии. В 1975 году пришёл на телевидение, работал режиссёром, редактором и продюсером телевизионных программ. Был редактором и заместителем директора Красноярского отделения издательства «Стройиздат». Как журналист и поэт печатался в краевых газетах «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец», альманахе «Енисей», журнале «День и ночь», ежегодниках «Поэзия на Енисее». Более десяти лет в репертуаре Красноярского театра кукол шёл спектакль «Золотой ключик» с песнями на его стихи. Член Союза журналистов России.

стр.
73

Миронов (Лазарев)
Вячеслав Николаевич
Красноярск, 1966 г. р.

Родился в Кемерово, в семье военнослужащего. С родителями объездил половину Советского Союза. В 1988 году окончил ВВКУС, в 1992-м — Высшие курсы военной контрразведки МБ РФ, в 2004-м — Сибюи мвд РФ. В различных должностях принимал участие в некоторых вооружённых конфликтах на территории СССР и РФ. Имеет ранения, награждён орденом Мужества. Автор нескольких книг прозы. Лауреат различных литературных премий. Полковник полиции в отставке. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

стр.
44

Моисеев Вячеслав Геннадьевич
Оренбург, 1962 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Окончил Оренбургский государственный педагогический институт в 1984 году. Работал в школе, служил в армии, затем был принят в газету «Комсомольское племя» («Новое Поколение»), где прошёл путь от корреспондента до заместителя редактора. В 1992–1994 годах — пресс-секретарь главы

администрации Оренбургской области, с 1994 года — главный редактор областной газеты «Оренбуржье». В 2000–2001 годах — главный редактор информационного агентства «Априори» (Оренбург), в 2001–2002 годах — главный редактор газеты «Оренбургский курьер», в 2002–2004 годах — директор редакторского издательского комплекса Оренбургского государственного университета, главный редактор газеты «Оренбургский университет», с 2004 по март 2005 года — директор по связям с общественностью ООО «КомТелСвязь», в настоящее время — руководитель Оренбургского бюро «Российские газеты», председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, редактор альманаха «Башня». Первая литературная публикация — подборка стихов в газете «Комсомольское племя» в июне 1986 года. Первый поэтический сборник «Предлог» вышел в Оренбурге в 1998 году. Автор трёх сборников стихотворений, прозы и переводов с французского и немецкого языков. Публиковался в журнале «Урал» (2002. №10), альманахе «Чаша круговая» (Екатеринбург), всех выпусках «Башни», сборниках «Цветы», «Стансы страстные». Член Союза журналистов России с 1986 года, член Союза российских писателей с 1999 года. Лауреат конкурса переводчиков фонда «Евразия» (Оренбург) в номинации «Французский язык» (2003, 2004), Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка за вклад в развитие уральской переводческой литературы (2004).

стр.
191

Немежикова Ольга Владимировна
Красноярск, 1965 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила с отличием два факультета в кицм (ныне ицмим) по специальностям «Горный инженер-геолог» (Ленинская стипендиатка, 1987), «Экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в литературном журнале «День и ночь».

стр.
26

Саввиных (Наумова) Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор десяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи

храмы» (2016). Член Союза российских писателей, Международного Союза писателей Иерусалима, Международного пен-клуба, Гильдии межэтнической журналистики. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века». Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Награждена орденом общественного признания имени Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр.
177

Сергеева Екатерина Юрьевна
Красноярск, 1970 г.р.

Родилась в Душанбе (Таджикистан) в семье военнослужащих. Окончила Красноярский государственный медицинский институт, лечебный факультет; Красноярский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Доктор биологических наук, профессор кафедры патологической физиологии Красноярского государственного медицинского университета. Публиковалась в журнале «День и ночь», альманахе «Енисей», нескольких коллективных сборниках, изданных в Красноярске и Санкт-Петербурге. В 2008 году вышла книга стихотворений «Маленькие кошки». Победитель конкурса «Пушкин. Лето. Красноярск» (2008) в номинации «Лучшее литературное произведение». Живёт в Красноярске.

стр.
38

Синельников Михаил Исаакович
Москва, 1946 г.р.

Известный русский поэт. Автор 21 оригинального поэтического сборника, в том числе однотомника (2004), двухтомника (2006) и книги «Сто стихотворений» (2011). Его стихи постоянно печатаются в основных литературных журналах, в «Литературной газете», вошли в существующие антологии русской поэзии XX века, переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, сербско-хорватский, словенский, румынский, турецкий, азербайджанский, фарси, хинди, узбекский, киргизский, грузинский, армянский, осетинский, монгольский, вьетнамский, корейский языки, отдельными книгами вышли в Черногории и Румынии. Поэзия М. Синельникова в разные времена вызывала интерес отечественной и зарубежной критики. Его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими и иностранными премиями, в том числе премиями Министерства высшего образования СССР (за юношескую работу об античном театре), Ивана Бунина, Арсения и Андрея Тарковских, «Глобус», «Золотое перо», «Исламский прорыв», грузинской премией Георгия Леонидзе, киргизской премией Алыкула Осмонова, таджикской

премией «Боргои Сухан», румынской премией Фонда «Пауль Полидор», премиями литературных журналов. Среди наград — грузинский орден Святой Нины, серебряная медаль Ивана Бунина (от Российской академии естественных наук), медаль Валерия Брюсова, армянская золотая медаль «За литературные заслуги», таджикская медаль «Знак Слова», Почётная грамота Президента Кыргызстана. Заслуженный работник культуры Ингушетии, член Исполкома «Общества культурного и делового сотрудничества с Индией». Является также действительным членом Российской академии естественных наук и Петровской академии, академиком турецкой Академии культуры и поэзии (Чанаккале). В московском Институте стран Азии и Африки преподаёт разработанный им курс «Азия и Африка в русской поэзии». Является членом редакционной коллегии выходящего в Бухаресте интернационального журнала «Диалог морей». Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы.

стр.
48

Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г.р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики МГУ (2004). Кандидат филологических наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум Арт», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона плюс». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крепщатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП

России, Союза писателей Москвы, пен-клуба, правления Союза литераторов России.

обл. Татаурова Татьяна Филипповна
Омск, 1960 г. р.

Родилась в деревне Усть-Шиш Омской области. В 1982 году закончила художественно-графический факультет ОмГПИ имени А. М. Горького. Педагог художественного отделения МОУ ДОД «Детская школа искусств №3», председатель секции декоративно-прикладного искусства городского методического совета ДШИ и ДХШ Омска, член методического совета ДШИ и ДХШ Омской области. Постоянный участник городских, областных, региональных, всероссийских, международных выставок. Произведения хранятся в Городском музее «Искусство Омска», в Омском государственном историко-краеведческом музее, в музее изобразительных искусств имени Семьи Невзоровых в Семипалатинске (Казахстан) и в частных коллекциях Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Франции, Германии.

стр. 61 Теплицкий Виктор
Красноярск, 1970 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в Сибирском технологическом институте, служил в Советской Армии. В 1992 году принял крещение и оставил институт. Работал дворником, грузчиком, посещал церковные богослужения. Окончил Высшие богословские пастырские курсы в 1999 году. В настоящее время служит священником в храме Николая Чудотворца, возглавляя одновременно молодёжный отдел Красноярско-Енисейской епархии. Печатался в литературном журнале «День и ночь», в литературно-художественном и религиозно-философском журнале «Новое и старое». Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат литературной премии всероссийского фонда В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце» (2005).

стр. 180 Червяков Михаил Сергеевич
Липецк, 1984 г. р.

Родился в Калуге. Жил в Москве, с 2006 года живёт в Липецке. Окончил институт менеджмента, маркетинга и финансов. Сменил много видов деятельности — от похоронного бюро до техподдержки. Лауреат литературных конкурсов «Стихоборье-2014» (Воронеж), «Осиянное слово» (2015). Лауреат премии 2015 года литературного журнала «Петровский мост» в номинации «Поэзия». Победитель театрально-поэтического конкурса «Эвтерпа», приуроченного ко дню рождения Александра Блока. В VII Всероссийском конкурсе-фестивале мелодекламации «Петербургский ангел — 2018» в номинации «Я с колокольни вижу этот мир» занял 2-е место. Занял 1-е место

в номинации «Поэзия» в семинаре-совещании молодых писателей «Мы выросли в России — 2018», организованном Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области и «Областным Домом литераторов имени С. Т. Аксакова».

стр. 23 Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, лес-промхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр. 3 Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, ныне возглавляет Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк»

и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр.
174

Юшманова Варвара Алексеевна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика».

Студентка пятого курса Литературного института имени А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга—XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы Казаковой «Начало» (2014).

главный редактор

М. О. Наумова

издательский совет

Иса Айтукеев

Андрей Бардаков

Ольга Ермакова

Валентина

Ерофеева-Тверская

Ольга Карлова

Татьяна Савельева

Михаил Тарковский

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Дарья Романова

секретарь

Юлия Вятчина

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Сергей Арутюнов

Москва

Александр Астраханцев

Красноярск

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Вера Зубарева

Филадельфия, США

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим, Израиль

Виталий Молчанов

Оренбург

Миясат Муслимова

Махачкала

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Вероника Шелленберг

Омск

Владимир Шемшученко

Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева

Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки использована картина Татьяны Татауровой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

издатель

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт

4070 2810 8006 0000 0186

в «Сибирском» филиале

банка ВТБ ПАО

в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт

3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются

по электронной почте:

dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,

т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 19.11.2018

Дата выхода в свет: 30.11.2018

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.

в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,

д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340

эл. почта: 2007tex@mail.ru



Баир Тайсаев (Республика Бурятия) | Середина Байкала—рождение дня | 60 × 90 | 2018



Андрей Дрозд (Кемеровская область) | В окрестностях Томской Писаницы | 120 × 150 | 2009



Евгений Дорохов (Омская область)
Небеса | 120 × 100 | 2017

На обложке: **Татьяна Татаурова** (Омская область)
Блуждающая река (фрагмент) | 90 × 100 | 2017